С.П. ЖИХАРЕВ



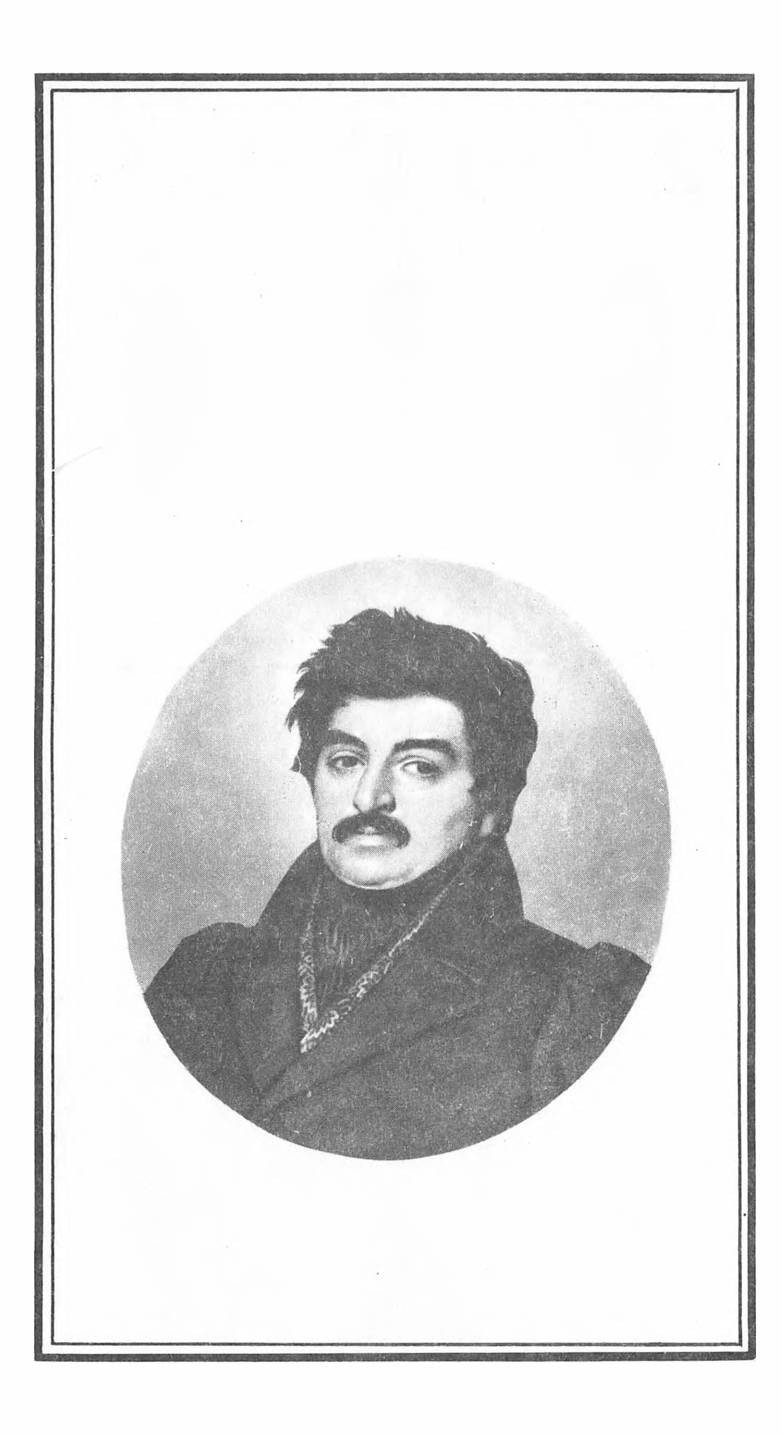
2

С. П. ЖИХАРЕВ

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА





С.П. ЖИХАРЕВ

2

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА

ДНЕВНИК ЧИНОВНИКА

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА

«ИСКУССТВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1989

ББК 85.443(2)1
Ж75

Комментарий Л. Н. Киселевой
Указатели А. Г. Кожиной
Художник Э. Д. Кузнецов
Фотоработы Н. И. Сюльгина, К. А. Шаломаева

С. П. Жихарев.
К. Гампельн.
Миниатюра на кости. 1830-е гг.

Ж $\frac{4907000000-031}{025(01)-89}$ 102-88

ISBN 5—210—00439—2
ISBN 5—210—00438—4

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДНЕВНИК ЧИНОВНИКА

Москва. 25 августа 1806 г.,
суббота.

Я в Москве с 16-го числа. Меня протурили из Липецка по разным делам, а признаюсь, грустно было оставить милый городок, с которым соединено столько приятных воспоминаний; mais le devoir avant tout [1]. Впрочем, как ни настаивают мои покровители о скорейшем приезде в Петербург, я полагаю, что еще нескоро туда попаду. Альбини решительно хочет отвезть меня сам, и домашние мои тому рады; но Альбини прежде окончания сезона вод оставить Липецка не может, следовательно ближе октября или даже ноября я Петербурга не увижу.

И. И. Дмитриев пожалован сенатором; я ездил его поздравить и нашел у него Н. Н. Бантыш-Каменского, которому он меня рекомендовал, объявив, что я из студентов и записан уже в Иностранную коллегию. Каменский вспомнил, что видел меня в прошлом году у графа Остермана, дозволил мне приехать к себе и обещал дать рекомендательное письмо к обер-секретарю Иностранной коллегии И. К. Вестману.

Глас народа — глас божий; что говорили, то и случилось: власти в Москве другие; нового губернатора, Ланского, очень хвалят, но о генерал-губернаторе Тутолмине не говорят ничего и, кажется, его не знают. Он приехал 19-го числа и вступил в должность. Сожалеют

---

[1] Но долг прежде всего (*франц.*).

об Александре Андреевиче, которому болезнь воспрепятствовала продолжать быть пестуном древней столицы. Я недавно только узнал, что Беклешов тоже был не главнокомандующим, а только генерал-губернатором; в чем состоит эта разница, я не понимаю; если для звания главнокомандующего нужно фельдмаршальство, то отчего же в Петербурге Вязмитинов называется главнокомандующим, когда он только полный генерал и даже в чине моложе Беклешова.

Ждут не дождутся манифеста о войне. Все умы в волнении пуще, нежели были в прошлом году. Князь Одоевский опять занял квартиру свою против ворот Почтамта, чтоб скорее получать новости.

Монета в цене возвышается: рубль ходит уже 1 р. 32 к., а червонец — 4 р. 10 к. и, говорят, будет еще дороже.

На другой день приезда был в русском театре. Давали «Купца Бота», в роли которого Плавильщиков так хорош. После комедии играли оперу «Служанка-госпожа»; вот настоящая роль Сандуновой: ломайся себе сколько угодно, все будет хорошо; итальянские оперы по характеру ее игры и пения.

29 августа,
среда.

Был у Н. Н. Бантыш-Каменского. Да это не человек, а сокровище; с виду наказист: так, старичишечка лет семидесяти, маленький и худощавенький, а что за бездна познаний! Принял благосклонно и удивлялся, отчего я не просился на службу в Архив, как то делают все московские баричи. В том-то и дело, сказал я, что я не московский барич и мне нужна служба деятельная. Он похвалил, но прибавил, что кто желает быть полезным, тот найдет всюду дело. Он говорил большею частью о московской старине, об эпохе чумы и пугачевского бунта. Желая поверить рассказ Алферьева о Перрене, я осмелился спросить его, точно ли этот француз и особенно история его с Глебовым обратили на себя такое внимание тогдашнего московского начальства? «Помнится, что-то похожее было,— отвечал мне Николай Николаевич,— но я мало занимался этим вздором; впрочем, после чумы на Москву напала другая

зараза: французолюбие; много французов и француженок наехало с разных сторон, и нет сомнения, что в числе их были люди очень вредные; не одному Глебову подсунули французскую шлюху: много москвичей и познатнее его были жертвами беспутства; только деяния их не могли быть мне в подробности известны, потому что я вел очень уединенную жизнь, занимаясь делами Архива». В. И. Богданов сказывал, что Каменский очень дружен с митрополитом Платоном и чрезвычайно уважаем всеми духовными.

6 сентября, четверг.

Наконец манифест от 30 августа о войне с французами получен: записные политиканы наши, по словам Дмитриева:

И едут, и плывут,
И скачут, и ползут,—

чтоб сообщить друг другу слышанные или полученные ими из Петербурга по сему случаю новости. Я не очень знаю, что говорится и делается в высшем кругу, но что касается до круга моих знакомых, то они все радуются решимости государя, и все вообще готовы не токмо на какое пожертвование, но и на всякое самоотвержение. Намедни новый губернатор как нельзя лучше выразился насчет этого общего любопытства и толков о предстоящих событиях. «Да,— сказал он,— заговорило сердце русское!» Теперь еще покамест Москва пуста, только некоторые знатные москвичи возвращаются из подмосковных, но как скоро все съедутся, то я уверен, что пойдет дым коромыслом. Новый генерал-губернатор открыто говорит, что необходимо поголовное вооружение и что надобно одним разом уничтожить врага, а для этого нужны сильные средства. В манифесте есть ссылка на указ 1 сентября прошлого года; в этом указе сказано, что государь не может равнодушно смотреть на опасности, угрожающие России, и что безопасность империи, достоинство ее, святость союза и желание, единственную и непременную цель его составляющее, водворить на прочных основаниях мир в Европе заставили его (тогда) подвинуть войска за гра-

ницу. Кажется, лучших причин к войне и теперь быть не может. Благослови господь!

Фельдмаршал граф Каменский в Петербурге и будет, кажется, командовать армиею. Опытные люди говорят, что он всегда известен был за отличного тактика, а с Бонапарте это качество не лишнее: храбрость храбростью, да и военные соображения необходимы — они сберегают солдат. А между тем покамест еще фельдмаршал не перед войском, он присутствовал 1-го числа на празднестве Академии художеств и подарил нескольким ученикам, которых ему рекомендовали за отличнейших, по сту рублей. Я сам сегодня читал письмо архитектора Бушуева к матери, в котором он описывает бывшее празднество и вместе великодушие старого воина — черта похвальная, но меня-то зачем он обидел в прошлом году грубым приемом? Впрочем, бог с ним! лишь бы посчастливилось ему скрутить французского забияку.

10 сентября, понедельник.

Сегодня неожиданно посетил меня приехавший из Петербурга Бахерт, чиновник очень порядочный, который, по страстной любви к мадам Кафка, намерен на ней жениться и вступить в актеры. Нечего сказать, охота пуще неволи! Сезон немецкого театра открывается 14-го числа 2-ю частью «Русалки», в которой главную роль будет занимать нареченная невеста. Не думаю, однако ж, чтоб Бахерт сделал глупость жениться на актрисе, и еще на какой? на актрисе par excellence. Потолкуют — и будет с них.

Я решительно не намерен более ездить в немецкий театр иначе, как в дни представления больших опер. Драмы и комедии без Штейнсберга, при настоящих распоряжениях, будут похожи на площадные игрища. Игра свеч не стоит; правду сказать, и давно бы пора перестать кулисничать. Времени потеряно много, а польза невелика. Впрочем, я ошибаюсь — польза есть: никогда не научился бы я ни с кем так болтать по-немецки, как с этими немками, и не полюбил бы так немецких поэтов, как люблю их теперь. Они — отрада души моей, как выражается князь Шаликов.

13 сентября,
четверг.

В Английском клубе рассказывают, что 7-го числа торжественно поднесено было от Сената государю благодарение по случаю изданного 30 августа манифеста. Депутатами были князь Н. И. Салтыков и граф А. С. Строганов. Вот так славно! расцеловал бы того, кому такая мысль пришла в голову. В прошедшее воскресенье лютеранской церкви пастор старик Бруннер в поучении своем сказал: «Какая награда может быть государю за неимоверные труды и попечения, которые он подъемлет для блага и спокойствия своих подданных, кроме искренней их признательности? И потому, любезные слушатели, в полном сознании действительности его благодеяний будем ему признательны, будем любить его и молиться за него тому, в чьей руке сердце государя и собственный наш жребий». Прекрасно!

Погода стоит удивительная. Небо так ясно, так безоблачно, хоть бы в мае. Говорят, что это плохой знак для будущего урожая озимых хлебов, но на людей бог не угодит: то молятся о дожде, то о вёдре, то есть всякий молится о том, что ему нужно в частности, а об общем итоге не думает. Мне случилось встретиться с одним помещиком, который чрезвычайно негодовал на дождь потому только, что он мешал ему кончить строение. Ф. С. Мосолов заметил, что строение кончить можно и после, а дождь случился так вовремя, что для хозяина и земледельца он сущий клад. «Да у меня все имение на оброке»,— возразил помещик с неудовольствием и — тем порешил дело.

16 сентября,
воскресенье.

Вчерашний день, по случаю празднества коронации, в Успенском соборе было необыкновенное стечение народа. Преосвященный викарий Августин служил собором и произнес прекрасное слово. Благодаря некоторым знакомым священникам я пробрался до самого почти алтаря и, стоя на клиросе, мог рассмотреть все власти московские — вид великолепный! Между прочим, заметил и обер-полицеймейстера А. Д. Балашова, которого,

говорят, И. И. Дмитриев сосватал на одной своей родственнице — Бекетовой.

В русском театре давали трагедию «Титово милосердие». Плавильщиков играл Тита хорошо. О прочих актерах говорить нечего: ниже посредственности. Публики было много, и она не сидела поджавши руки; аплодисменты не прерывались; всякий стих, имеющий какое-нибудь отношение к государю, заглушаем был рукоплесканиями. В партере встретился со стариком Алферьевым, приехавшим с липецких вод. Звал меня к себе покалякать. Он остановился у Баца, на Тверской, и пробудет здесь с неделю. Непременно у него буду: не расскажет ли еще что-нибудь.

П. П. Бекетов и князь А. А. Урусов пожертвовали университету своими собраниями дорогих камней и чучел разных птиц и животных. Спасибо. Если б нашлось поболее таких жертвователей, то университетский музеум вскоре бы обогатился; к несчастью, они редки.

22 сентября,
суббота.

Домашние мои пишут, что у них начались беспрерывные полевания. Я завидую тем, кто в них участвует, потому что, как тебе известно, у меня страсть к охоте наследственная. Не знаю, как у вас, но говорят, что в нашей стороне нынешний год бездна всякой дичи и зверей всякого рода. Как бы я желал теперь вспомнить блаженные времена моего детства и по-прежнему порыскать

По полям, и по лесам,
И по мхам, и по болотам,
По долинам и буграм,
И сказать: прости — заботам!

Мне рассказывали, что лет десять или двенадцать назад в Москве существовала английская парфорсная охота, которой главная квартира находилась прежде на Воробьевых горах, а после в селе Троицком. Директорами этой охоты были Н. М. Гусятников, превеликий англоман и человек очень аккуратный, и какой-то богатый англичанин, которые содержали ее на счет общества охотников великолепно: гончие собаки были настоящие английские, равно и пикеры, то есть ловчий и

доезжачий, были англичане и ездили на английских гунтерах; несколько времени все шло как нельзя лучше, и все были довольны, но после нескольких случаев, в которых иные богатые маменькины детки и бабушкины внучки чуть не посломали себе шей, перепрыгивая, по английскому обычаю,

Чрез пни, чрез кочки и колоды,
Через заборы, рвы и воды —

на таких лошадях, которые умели не прыгать, а только пиафировать, вдруг на бедную охоту и ее директоров восстало страшное гонение: она подверглась общему негодованию в московских салонах, и, к сожалению, надобно было ее уничтожить. А жаль! Эти охоты, содержимые на общий счет желающих ими пользоваться, чрезвычайно удобны для охотников всякого состояния. Заплатил один раз в год известную небольшую сумму — и езди себе барином, не заботясь решительно ни о чем.

25 сентября,
вторник.

Знаменитая панорама Парижа, принадлежавшая архитектору Кампорези, снята, и самое строение продается в сломку на дрова. Sic transit gloria mundi [1]. А какая прелестная была эта панорама! Говорили, что хотят снять панораму Москвы с колокольни Ивана Великого. Если это правда, то архитектор или живописец, который с сей точки снимать ее будет, ошибется в расчете: он потеряет лучший point de vue [2] — Кремль. По мнению знатоков в этом деле, например Тончи, Молинари и других, лучшим пунктом для снятия Москвы могут быть Воробьевы горы, с которых вся Москва видна как на ладони, или Сухарева башня. Если же бы захотели представить Москву в отдалении, пейзажем, то надобно рисовать ее с Поклонной горы или с возвышенностей села Черкизова.

На будущей неделе фехтовальный учитель Севенар с сыном будут держать публичный assaut [3] с другим та-

---

[1] Так преходяща мирская слава (*лат.*).
[2] Угол зрения (*франц.*).
[3] Состязание (*франц.*).

ким же фехтовальщиком, как и они сами, сэром Сибертом. Посмотрим, кто из них проворнее и ловчее. Я учился у Севенара и прежде у Сиво в пансионе Ронка и, к сожалению, не могу похвастаться их отзывами. На вопрос Ронка Сиво, надеется ли он, что я успею сколько-нибудь в искусстве, последний отвечал: «Monsieur, je n'ai jamais vu de flandrin plus gauche que celui-là»[1], и справедливо: я было выколол ему глаз. Танцеванье и фехтованье дались мне еще менее, чем математика.

29 сентября,
суббота.

Альбини приедут в Москву не прежде, как в конце будущего месяца, следовательно, и думать нечего быть в Петербурге ближе ноября. Петр Иванович восхищается моим «Артабаном», которого 4-е действие я почти кончил, но я не очень ему доверяю. Когда совершенно кончу, покажу Мерзлякову и Буринскому, а там решусь показать Плавильщикову, которого попрошу сказать мне откровенно свое мнение и дать совет насчет расположения сцен. Первую песенку, зардевшись, спеть!

Не помню, на чем остановилась история о Перрене,— кажется, на записке, найденной мужем в комнате жены своей. Из этой записки, заключавшей в себе наставления и средства, как скрыть некоторые обстоятельства, предосудительные для чести мамзель Рабо, Глебов получил понятия, хотя и не совсем ясные, что он мог быть жертвою обмана, и потому решился надзирать за женою и за окружавшими ее французами молча и скрепя сердце. Так прошло несколько месяцев, и однако ж не представилось ни одного случая, который бы дал возможность Глебову убедиться или в справедливости, или в неосновательности своего подозрения. Он страдал, потерял аппетит и сон, ослабел, похудел, сделался равнодушным ко всему, кроме одной идеи: подстеречь жену свою, которая между тем с каждым днем становилась к нему нежнее, оказывала ему наивозможные ласки, пеклась о нем и тысячью мелочных предупреждений, которых тайна известна одним только

[1] Я никогда не видал более неловкого растяпы (*франц.*).

женщинам, старалась рассеять мрачные мысли своего мужа и возвратить его нежность.

Наконец случай, так нетерпеливо ожидаемый Глебовым, представился. Однажды ночью услышал он, что чуть-чуть скрипнула дверь, ведущая из спальни в коридор, в глубине которого находилась комната мамзель Шевато, и что с этим скрипом жена его, встав с постели, тихонько на цыпочках пошла в коридор и затем, как ему почудилось, в комнату своей горничной. Глебов сделал то же самое: встал и также на цыпочках отправился за женою, остановился у дверей Шевато, притаил дыхание, приложил ухо к дверям и стал слушать с напряженным вниманием. В комнате начался уже разговор шепотом: «Да отчего же ты, несчастная, до сих пор ничего еще не умела сделать ни для себя, ни для нас? Ты видишь, муж твой олух; что можешь ты извлечь из него одними ласками и угождениями, когда нужны характер и настойчивость? Надобно подчас и возвысить голос. Ласки твои были кстати для начала, но теперь, когда ты видишь, что за человек твой муж, который как будто пренебрегает твоими ласками, надобно взяться за него другим образом: надобно у него просить, требовать и надоедать ему. Где брильянты первой жены его? Они все должны бы давно принадлежать тебе и нам. Да отчего он так переменился вскоре после свадьбы? Этой загадки ты не умела разрешить мне до сих пор; сделала ли ты именно все то, о чем я говорил тебе и даже дал письменное наставление? Я всегда знал, что ты глупа, но до сих пор не думал, чтоб ты была глупа до такой степени». Этой выходки говорящего достаточно было для Глебова, чтоб узнать в нем Перрена; с этой минуты все для него было ясно. Он возвратился в постель свою, закашлял и как будто не нарочно, впросонках уронил со стола табакерку, чтоб прекратить ночное свидание и вызвать жену, которая точно возвратилась, но уже не на цыпочках, и хотя тихо, но обыкновенною своею походкою и спокойно, как будто выходила за чем-нибудь другим. Муж не обратил внимания на приход жены и притворился спящим, но между тем обдумывал план, который на другой же день и хотел привесть в исполнение.

Утром Марья Петровна разливала чай, но была печальнее обыкновенного; Глебов же, напротив, казался спокойнее и был разговорчивее. «Нынешнею ночью мне

снились престранные вещи,— сказал он,— между прочим, приснилось мне, что ты — не ты и что вместо тебя я обнимаю змею». Жена посмотрела ему пристально в глаза. «Сон твой удивителен, милый друг, но мой сон еще удивительнее: мне пригрезилось, что какой-то злой дух точно обратил меня в змею и я жалила и кусала тебя, но, побежденная твоим терпением, я опустила голову; ты хотел раздавить ее и, однако ж, не раздавил, а великодушно предоставил меня судьбе моей». Глебов изумился. «Так поэтому ты догадываешься, о чем я говорить намерен?» — «Не только догадываюсь, но знаю и два месяца ищу случая броситься к ногам твоим и открыть тебе все адские против тебя замыслы, которых хотели меня сделать орудием».— «Кто ж ты, несчастная?» — «Я бедная сирота, воспитавшаяся из милости в одном богатом парижском доме и обольщенная Перреном. Фамилия моя точно Рабо, но мне не девятнадцать лет, как хотели в том тебя уверить, а двадцать четыре. Я долго отказывалась от участия в замыслах злодея, но меня к тому принудили почти силою и угрозами, а сверх того, представили такие блестящие надежды в будущем, что они в несчастном, отчужденном моем положении вскружили мне голову. Я сказала все, остальное ты сам узнать можешь. Теперь делай со мной что хочешь: совесть мучит меня и я готова искупить мое заблуждение и, если хочешь, преступление такими наказаниями, какие ты придумаешь; подвергаюсь им безусловно, как бы они жестоки ни были, но будут всё легче теперешнего невыносимого моего положения». Кончив признание, она зарыдала. Глебов обомлел и погрузился в размышление. Наконец, собравшись духом, он подал ей руку и сказал, что ее прощает, но что она должна все сказанное ему подтвердить перед тем лицом, которое он привезет с собою, а между тем чтоб до тех пор весь разговор сохранялся в тайне от Перрена, Шевато и Курбе.

У Глебова был приятель, начальник розыскной экспедиции, князь Николай Федорович Борятинский. Он поехал к нему, открыл ему всю подноготную и просил совета и наставления, что делать в таких обстоятельствах. «Что делать? — сказал ему Борятинский,— да главное ты уже сделал, то есть простил жену свою, и поступил умно: иначе вышла бы огласка, а насмешники не были бы на твоей стороне. Пусть эта раскаявшаяся

женщина в поступках своих отдаст теперь отчет богу, но разбойников преследовать должно; поедем сей час к Архарову, а уж он по своей обязанности будет уметь распорядиться как следует».

Тогдашний обер-полицеймейстер, бригадир Н. П. Архаров, имел репутацию мастера своего дела. Его иначе не называли, как русским де Сартином; насчет его догадки и проницательности ходило в народе множество анекдотов, которые — были справедливы или нет — не доказывали, однако ж, что Архаров обладал большими способностями для своего назначения. Он терпеливо выслушал обоих друзей, несколько подумал и потом громко свистнул. На этот свист явился дежурный полицейский, которого он тотчас же отправил за одним из помощников своих, Максимом Ивановичем Шварцем. «Это малый ловкий и дельный,— сказал Архаров,— хотя душонка-то у него такая же, как и его фамилия».

Шварц не замедлил явиться. «Знаешь ли ты, Максим Иваныч, француза Перрена?» — «Как не знать, ваше высокородие! это самый тот, который возлюбленную свою выдал недавно замуж за одного богатого помещика».— «Это, братец, не наше с тобою дело: всякий волен жениться на ком похочет, а вот видишь ли: у этого Перрена должны быть другие замыслы, так надобно сегодня же о них поразведать и узнать покороче, чем он промышляет, какие и откуда имеет доходы, с кем водится и нет ли у него каких товарищей и пособников. На этого француза жалоб никогда не бывало, и видишь ли, он принят в хороших домах, однако ж мне нужно узнать в подробности весь его домашний быт, так ты собери-ка немедленно все сведения, да завтра же утром и представь их мне. Теперь ступай с богом». Отпустив Шварца, Архаров распростился также с князем Борятинским и Глебовым, наказав последнему не отлучаться на другой день из дома, потому что в продолжение дня он побывает у него сам, инкогнито.

А покамест — прости, на досуге доскажу окончание этой истории.

4 октября,
четверг.

У Алферьева видел я старика Дмитрия Федоровича Алфимова, который некогда служил товарищем москов-

ских губернаторов, прежде И. И. Юшкова, а потом графа Федора Андреевича Остермана, брата канцлера (1771—1778), вместе с Никитою Ивановичем Бестужевым. Ему давно за семьдесят лет, а до сих пор так жив, так разговорчив и такую имеет память, что нельзя не удивляться. Это неисчерпаемый источник разных сказаний о современных ему событиях. За завтраком — nota bene, весьма невкусным, стряпни г. Баца — после нескольких рюмок вина, которые развязали ему язык, он забросал нас анекдотами о некоторых прежних своих сослуживцах, которые, видно, были препорядочные оригиналы. Так, например, рассказывал о губернаторе Остермане, которого необыкновенная рассеянность известна всем по преданиям, как он однажды приехал в присутствие, имея вместо шляпы ночной горшок в руке; как принял одного знатного посетителя за одну барыню, обличал его в мотовстве и распутстве и грозил отдать в опеку и как в одном приятельском доме он хотел поднять хозяина на руки вместо внука его, удивляясь, отчего мальчик в неделю так потяжелеть мог. Между прочим, смешил он нас рассказом о процессе тогдашнего прокурора Тимофея Григорьевича Миславского, известного под скромным названием Тимоши, с асессором розыскной экспедиции Вележевым за корову, процессе, продолжавшемся лет восемь, доходившем до сената и кончившемся тем, что корова признана не принадлежащею ни тому, ни другому; наконец, pour la bonne bouche [1], рассказал о двух братьях Михиных, из которых один служил секретарем, женившихся в один день и час и в одной церкви на бабушке и внучке по вынутому жеребью, кому какая достанется. Эти Михины имели некоторое состояние и были очень дружны между собою, но до женитьбы так скупы, что вся цель их брака, кроме надежды на приданое невест, состояла в том, чтоб не платить работницам. Однако ж они обманулись в расчете и вместо предполагаемой экономии вовлечены были в излишние издержки, о которых толковали ежеминутно с самою плачевною физиономиею. Алфимов подтвердил историю о Перрене со всеми грязными ее подробностями, и старики друг перед другом взапуски вспоминали о минувших годах своего молодечества, удивляясь, как могло все так безнаказан-

---

[1] На закуску (*франц.*).

но сходить им с рук, и еще более тому, что прежняя буйная и непотребная их жизнь не оставила на них никаких следов и они до сих пор пользуются совершенным здоровьем. Жаль, что пришедшие не в пору к Алферьеву другие посетители помешали мне кончить мои расспросы у словоохотливых стариков о происшествиях, бывших во время чумы, и особенно о том участии, которое принимал в уничтожении заразы присланный от императрицы князь Г. Г. Орлов, которому приписали восстановление порядка в Москве,— между тем как известно, что сенатор Еропкин был главным виновником спасения столицы от последствий страшного безначалия и неистовства народного. В продолжение моих расспросов я заметил, до какой степени все эти старики были проникнуты уважением к памяти императрицы Екатерины: ни один из них не мог произнести имени великой, не вздохнув глубоко и не прибавив к нему официальной фразы: блаженной памяти.

9 октября, вторник.

Мало-помалу москвичи начинают возвращаться из деревень, и общества становятся гораздо оживленнее. В клубе возникают толки и разные предположения касательно наступающих военных действий; а между тем вчера Общество испытателей природы праздновало день своего основания; президентствовал граф А. К. Разумовский, у которого в его селе Горенках такая богатая коллекция разных заморских растений, собранная с неимоверными трудами и издержками во всех частях света. Были Ив. Ив. Дмитриев, граф Хвостов, обер-полицеймейстер Балашов, Бекетов, много других особ и, между прочим, доктор Фрез или Фрезе, состоящий членом общества. Без этого Фреза или Фрезе ни один достаточный москвич ни выздороветь, ни умереть не смеет: это оракул всех богатых домов; кроме того, что он по званию своему медика полновластно распоряжается здоровьем своих пациентов, он их духовник, советник, опекун и в одном лице своем соединяет все эти важные и тягостные обязанности. Говорят, что он человек умный и благонамеренный; должно

быть, так, если умел снискать такое общее благорасположение. Нынешнею весною за кузину нашу М. Ф. В. сватался жених, и партия, казалось, была очень выгодная, но тетка не могла решиться без согласия Фреза, который этого согласия, к прискорбию невесты, почему-то не дал, и жениху отказали. Как хочешь суди, а нельзя без положительных достоинств добиться такого влияния на семейства: мы не гуроны же какие-нибудь.

Помещик Кологривов, родственник полицмейстера Ивашкина, приехавший по делам в Москву, привез борзую собаку такой неслыханной резвости, что у всех охотников только и разговоров, что об этом феномене. Говорят, что Л. Д. Измайлов предлагал за нее две тысячи рублей, но Кологривов отклонил предложение, сказав, что, будучи сам охотником, он не отдаст ее ни за какие деньги; отказ его изумил многих и еще более возвысил достоинство собаки в мнении охотников. Все наперерыв ездят на садку взглянуть на Вихря, но только редким удалось видеть его, потому что Кологривов вывозит свое сокровище не в назначенное время, а как случится.

12 октября,
пятница.

На этих днях, после разгульного обеда у А. Ф. Воейкова, Мерзляков, заспоривший с амфитрионом об истинном красноречии, спросил у него: «Да знаешь ли сам ты, что составляет настоящую силу красноречия?» Воейков захохотал. «Это знает всякий школьник, Алексей Федорыч: ум, логика, познания, дар слова, звучный и приятный орган и ясное произношение составляют оратора».— «Не на вопрос ответ, Александр Федорыч. Я спросил, что составляет н а с т о я щ у ю силу красноречия?» — «Да что ж другое может составлять его, как не те качества, которые я уже назвал?» — «Эх, любезный! да разве простой мужик имеет какое-нибудь понятие о логике? разве он учился чему-нибудь? разве произношение его ясно и правильно? А между тем мы видим часто очень красноречивых людей из простонародья. Нет, Александр Федорыч, действительная сила красноречия заключается единственно в собственном неколебимом убеждении того, в чем других убе-

дить желаешь. Не знай ничего, имей какой хочешь орган и выговор, но будь проникнут своим предметом, и тогда будешь иметь успех, иначе со всеми твоими качествами ты останешься только простым школьным ритором».

Воейков объявил, что хочет написать поэму. «Метишь в Хераскова, любезный! — сказал Мерзляков.— Лучше напиши хорошую песню: скорее доплетешься до бессмертия. До Гомера или Вергилия достигнуть мудрено, да и при нашем образе мыслей и жизни, при наших понятиях и верованиях какой вымысел может подействовать на душу твоих читателей? К тому же, принимаясь за дело, надобно прежде соразмерить с ним свои силы. Ты человек умный и должен знать, что страсть к большим литературным трудам — несомненный признак мелкого таланта, точно так же, как и страсть к необдуманным колоссальным предприятиям — резкий признак мелкой души: то и другое доказывает только неясное сознание своей цели и заблуждение самолюбия».

Мерзляков обещался просмотреть моего «Артабана». «Но зачем принялся ты за трагедию? — сказал он мне.— Разве не нашел занятия более по твоим силам? Озеров всех вас свел с ума». Я откровенно признался ему, что сочиняю «Артабана» в том только намерении, чтоб проложить себе дорогу в общество петербургских литераторов, зная сам, что трагедия моя не будет иметь никаких сценических достоинств; но, по крайней мере, некоторые порядочные в ней стихи могут служить доказательством моей грамотности. «Ну, это дело другое, и выдумка недурная,— улыбаясь, сказал Мерзляков,— посмотрим твоего барабана».

16 октября,
вторник.

Вчера выехал военный губернатор в Петербург. Нашлись люди, которые чрезвычайно озабочены тем, что он отправился в понедельник: какая-де надобность выезжать в понедельник? ведь в неделе семь дней. Истина неоспоримая!

А между тем в клубе толкуют, что Тутолмин поехал точно недаром и что поголовное вооружение долж-

но состояться непременно. Странное дело: поголовного вооружения желают наиболее те люди, от которых нельзя было ожидать какой-нибудь воинственности: это старики или отставные, давно живущие на покое.

В детстве моем случалось мне видеть известную Катерину Прокофьевну Трощинскую, необыкновенную красавицу во всех отношениях, которая в Москве с ума сводила молодых и стариков, знатных и незнатных и которую нарочно ездили смотреть в те общества и собрания, где встретить ее предполагали. Она обыкновенно каждую весну и осень по дороге из Москвы в деревню и обратно заезжала с мужем к моей бабке и отдыхала у нас целые сутки, а иногда и более; она очень ласкала меня и всегда привозила какой-нибудь гостинец. Первая книга гражданской печати, которую я читал, «Свет зримый в лицах», с картинками, была последним ее подарком; после я не видал ее более, но сохранил о ней самое приятное и даже ясное воспоминание.

Намедни в Новодевичьем монастыре, отслушав обедню и подходя к кресту, я поражен был сходством одной старицы с Катериною Прокофьевною: тот же рост, те же черты лица, только похудевшего и пожелтевшего, те же глаза, только угасшие и впалые, те же ямочки на щеках и то же кроткое выражение физиономии. Я на нее смотрю пристально, и она на меня так же смотрит: я смешался и, однако ж, не смог свести с нее глаз. Она улыбнулась и, указывая на меня, что-то сказала послушнице, стоявшей с нею на клиросе. Та подошла ко мне: «Мать Екатерина приказала спросить вас: вы не сын ли Александры Гавриловны?» — «Точно так. Но скажите, неужто же это Катерина Прокофьевна?» — «Да-с. Мать Екатерина просит вас, если что не мешает вам, зайти к ней в келью».— «С радостью! Скажите матушке, с величайшею радостью»,— отвечал я: и точно, я так был счастлив, что готов был заплакать от удовольствия.

Первым словом Катерины Прокофьевны, по входе моем в ее келью, было: «Ты ли это, Степушка? Боже, мой, как похож на мать! Если б не твое сходство с нею, я никогда бы тебя не узнала».— «Но я бы узнал вас, Катерина Прокофьевна, несмотря на черное одеяние ваше и эту высокую шапку».— «Да,— сказала она,— бог привел меня к тихому пристанищу; не знаю, как

благодарить его за то душевное спокойствие, которое я нашла в этих стенах. Теперь молюсь об одном, чтоб кончина моя была так же тиха и безмятежна; что же принадлежит до жизни загробной, то буди его святая воля! Я верую во спасение, потому что и на мне также есть капля крови Христовой». Тут пошли взаимные вопросы и расспросы: я рассказал ей о своих, о себе, о моих надеждах и предположениях и проч. и просил ее рассказать мне свою историю. «Она коротка,— отвечала она,— я овдовела; успехи в обществах, которые я имела, никогда не прельщали меня, и этот коварный свет не владел моим сердцем. Я размыслила: что я буду делать в обществе одна, без связей, без сердечных привязанностей? Быть целью искательств бездушных людей или предметом злословия... Бог с ним, этим обществом! И вот решилась идти в монастырь, продала свои сто душ и столько же оставленных мне мужем, построила себе эту келью, шесть лет жила на послушании, пять лет как пострижена, половину капитала отдала монастырю, меня приютившему, остальной — родственникам покойного мужа, которые снабжают меня всем нужным превыше моих надобностей, и живу, как я сказала тебе, в ожидании безмятежной кончины. Я рада была тебя видеть, потому что знала тебя ребенком, но других старых знакомых редко принимаю: они напоминают мне такое время и такие обстоятельства, которые я стараюсь забыть, и господь помогает мне слагать с себя ветхого человека и мало-помалу облекаться в нового».

Напившись, по обыкновению монастырскому, чаю, я оставил Катерину Прокофьевну с неизъяснимым чувством умиления и покорности провидению. Она напутствовала меня благословениями. Бог весть, удастся ли опять видеться с нею?

21 октября,
воскресенье.

Перестань выть, любезный; вот тебе требуемое окончание истории о Перрене. Проклятый надоел мне смертельно. У меня доставало духу передать тебе в подробности всех проделок этого мерзавца и потому должен был сокращать и очищать записанный мною

буквально рассказ Алферьева, а это стоит труда и отвлекает меня от «Артабана». Ну, слушай.

Архаров, по обещанию своему, точно на другой день вечером приехал к Глебову и привез с собою Шварца. Оба прибыли в партикулярных платьях и под другими фамилиями. Глебов представил их как стародавних приятелей жене и просил ее рассказать им откровенно все то, в чем она ему накануне созналась, и вместе пояснить многие другие обстоятельства, о которых они спрашивать ее будут. Глебов представил ей, что этого требует обоюдное их спокойствие и чтоб она не имела за себя никакого опасения. Марья Петровна сначала несколько смешалась, но потом, тотчас же оправившись, объявила, что она не намерена ничего скрывать и, решившись однажды сделать признание мужу, не имеет причины утаивать проступка своего от его приятелей, тем более что он сам того желает. За сим подтвердив Архарову и Шварцу все сказанное мужу, она кончила исповедь свою тем, что изъявила готовность отвечать на все другие вопросы, какие ей сделаны будут.

Русский де Сартин с своим помощником остались довольны дальнейшими показаниями Марьи Петровны. Из них открылось, что Дюкро, один из известных парижских искателей приключений, не поладив с парижскою полициею, отправился под фамилиею Перрена, физика, химика и механика, в Вену, в которой хотел основать свою резиденцию и общество алхимиков; однако же, не встретив в расчетливых немцах ни того радушия, ни того любопытства и легковерия и особенно той щедрости, какие для успехов его операций были необходимы, он бросился в Петербург и прожил там около года, втираясь в высший круг общества и составляя себе нужные знакомства; как вдруг после одного свидания с каким-то богатым человеком он тотчас решился ехать в Москву, приняв к себе в услужение фокусника Мезера, слесаря Курбе, кондитера Гофмана, бывшую надзирательницу в одном пансионе мадам Пике и швею Шевато. По прибытии в Москву нанял он для себя квартиру на Мясницкой, в доме Левашова, а для своей колонии — в отдаленной части города, в доме Мартьянова, в котором водворил мадам Пике полною хозяйкою, выдав ее за вдову одного французского полковника, оставившего ей по смерти хорошее состояние, и за крестную мать сироты Рабо; прочие же французы и немец, в надеж-

де будущих благ, исполняли должности — первый домашнего друга, а последние разных служителей, разумеется только при гостях; но без посторонних людей они были такими же господами, как и сама хозяйка. Откуда Перрен получал деньги, Марья Петровна сама не знала, но ей известно было, что в деньгах он никогда не нуждался, щедро платил своим агентам и давал ей самой более, нежели сколько было нужно, непременно требуя, чтоб она всегда была щегольски одета. «Я имею свои виды,— говорил он ей,— и хочу сделать твое счастье, это счастье может заключаться только в замужестве с богатым человеком, и я уверен, что оно скоро удастся, но для этого ты должна войти в мои намерения и способствовать им всеми твоими силами и способностями. Обратись покамест, так сказать, в машину, которою я буду двигать по своей воле. Доселе я мог быть виноват пред тобою, но что было, то прошло, и воспоминание прошедшего не должно препятствовать твоей будущности. Мы находимся в такой стране, в которой с умом и ловкостью до всего достигнуть можно. Итак, вот роль, которую ты на себя принять должна: ты крестница мадам Пике, сирота, воспитанная ею; тебе девятнадцать только лет; первому мужчине, которого я укажу тебе, ты должна оказывать возможные ласки и стараться влюбить его в себя, показывая к нему сердечную склонность, и если б успех увенчал наше намерение, то, разумеется, ты должна разделить с нами все то, что приобресть можешь от его нежности и щедрости. В противном же случае я должен буду бросить тебя на произвол судьбы, потому что средства мои почти совершенно истощились, и если какой-нибудь благоприятный случай не поправит моих обстоятельств, то чрез шесть месяцев я буду в Лондоне или в Мадриде». Таким образом, Марья Петровна волею и неволею приняла на себя роль невинной девушки и ежедневно исполняла ее сообразно намерениям Перрена, стараясь нравиться тем посетителям, которых он привозил к мадам Пике, и завлекать их в свои сети, но старания ее были безуспешны до тех пор, пока она не встретилась с Глебовым, которому, наконец, она понравилась, и вышла за него замуж.

«Но скажите, сударыня,— спросил ее Архаров,— что делали посетители в то время, когда они вам не строили кур?» — «Что делали? — отвечала Марья

Петровна.— Некоторые пили и играли в карты или кости, а другие занимались с Перреном в особом кабинете, в который ни я, ни мадам Пике, ни мамзель Шевато не имели позволения входить. В чем состояли эти занятия, происходившие почти всегда после ужина,— мне неизвестно, но полагаю, что в физических опытах». Архаров продолжал свои расспросы: в какую игру чаще всего играли гости? если в фараон, то кто метал банк? все ли вообще занимались игрою? кто именно был в числе гостей? по каким дням происходили собрания? были ли для них назначаемы особые дни, или всякий имел право приезжать ежедневно? какие роли занимали мадам Пике и Шевато? и наконец, нет ли у Перрена каких-нибудь других знакомств и связей с подобными ему авантюристами? Марья Петровна объяснила, что гости большею частью играли в фараон и Мезер, в качестве домашнего друга, держал банк; что не все посетители играли, но некоторые молодые люди занимались ею или слушали рассказы Перрена, а люди пожилые большею частью отправлялись с ним в кабинет, но что там делали — она сказать не умела; что приезд к ним был ежедневный, но не иначе, как по приглашению, так что между посетителями никогда не встречалось людей друг с другом незнакомых, а для некоторых, как, например, для ее мужа, назначалось всегда особое время, в которое, кроме одного приглашенного, никого не принимали. Мадам Пике играла роль хозяйки дома, но эта роль изменялась смотря по обществу, которое у них собиралось: то представлялась она, так же как и Шевато, очень серьезною, добродетельною и набожною женщиною, то, напротив, старалась казаться легкомысленною, без всяких правил и понятия о благонравии — словом, как низко она сама ни упала, но стыдится объяснить все то, на что эти женщины решались и на что способны решиться. Что касается до связей и знакомств Перрена с такими же, как и он, искателями приключений, то ей известно, что он имеет их много и находится с ними в беспрестанной переписке, но что к мадам Пике они не являются и если видятся с Перреном, то в его квартире или в каком-нибудь другом месте. В заключение своего объяснения Марья Петровна, поименовав все те лица, которые ездили к мадам Пике, призналась, что если она со времени замужества никого принимать не

хотела, так это из опасения встретить кого-нибудь из прежних своих знакомцев, бывших свидетелями ее непроизвольного кокетства.

Дальнейших подробностей рассказывать нечего: кончу тем, что Архаров допросом Марьи Петровны хотел только убедиться в ее чистосердечии и поверить все сведения, собранные Шварцем. В тот же вечер у Перрена и мадам Пике, в одно и то же время, произведен был обыск: у первого найдена была огромная корреспонденция, доказавшая, что он имел обширные виды на карманы многих русских бар и барынь, а в доме последней, в особом кабинете — небольшая лаборатория, собрание разных физических и оптических инструментов, порядочное количество книг и рукописей по части алхимии, астрологии и магии и, наконец, несколько тетрадей с разными рецептами и средствами к сохранению молодости, красоты, обновлению угасших сил, возбуждению сердечной склонности и проч. и проч. У Мезера найдены всевозможные аппараты для произведения фокусов и, сверх того, большое количество фальшивых и крапленых карт и подделанной зерни; у Кубе — целые связки разной величины и разных форм ключей, с несколькими слесарными инструментами; у Гофмана — пропасть склянок с разными настойками и другими неизвестными жидкостями, множество заготовленных на разных составах конфект; словом, мошенники захвачены со всеми орудиями их плутней, и все, начиная с Перрена до Шевато, обличены, уличены и высланы за границу.

А Марья Петровна? Более года жила она в дальней деревне, куда отправил ее муж, оплакивая свои несчастия и заблуждения. По прошествии же сего времени Глебов поехал к ней сам и, узнав о скромной ее жизни, искренно примирился с нею, взял обратно с собою в Москву и представил ее всем своим знакомым, которых любовь и уважение она впоследствии снискать умела любезностью, неукоризненным поведением и нелицемерной привязанностью к мужу. Глебов со слезами признавался после Архарову, что он совершенно счастлив. «Ну, конечно, чего на свете не бывает!» — отвечал хладнокровно наш де Сартин.

27 октября,
суббота.

К 10-му или 15-му числу будущего месяца, по первому санному пути, я ожидаю в Москву моих домашних, которые приедут проводить меня. Альбини должны приехать несколькими днями прежде. Я приготовил для них помещение.

Я кончил моего «Артабана» и показывал его Мерзлякову. «Галиматья, любезный! — сказал он мне без церемоний.— Да нужды нет: читай его петербургским словесникам сам, да погромче, оглуши их — и дело с концом. Есть славные стихи, только не у места». Вот одолжил! Я не сержусь за правду, потому что она оскорбляет только глупцов малодушных, а я ни тем, ни другим быть не хочу, но должен признаться, что сердце как-то невольно щемит. Попробую иное переменить, а другое сократить, так авось лучше будет.

С горя ездил вчера смотреть на Плавильщикова в роли Досажаева в «Школе злословия» и нынче только узнал, что эта комедия переведена Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, который был кавалером при государе во время его малолетства, а теперь находится посланником в Мадриде. Роль Досажаева, говорят, была лучшею ролью Дмитревского, но и Плавильщиков в ней отменно хорош.

Мне показалось, что в театре меньше слушали пьесу, чем говорили о политике. Я вслушался в разговоры сидевших возле меня в креслах Н. И. Баранова и А. М. Лунина, не дождавшихся конца пьесы и уехавших в Английский клуб; говорили, что все с нетерпением ожидают возвращения военного губернатора, который будто бы должен привезти с собою какие-то особые и очень важные повеления государя насчет приготовления к войне; думают, что скоро последует еще манифест, объясняющий наши отношения к прочим государствам и настоящее положение дел в Европе. Между прочим, какой-то господин рассказывал своему соседу, что Александр Андреевич вышел в отставку оттого, что он носил звание не главнокомандующего, а только военного губернатора. Не думаю: это сущий поклеп на почтенного вельможу-стоика; в настоящее время выйти в отставку по такой пустой причине, в звании Беклешова, все равно что бежать с поля

сражения, да если он и не носил звания главнокомандующего, так в сущности был им. Это сплетни, и верить им не должно.

1 ноября, четверг.

Покамест от скуки я опять начал таскаться по театрам. Князь М. А. Долгоруков, у которого я сегодня обедал, пригласил меня с собою в ложу. Давали «Эдипа» и комедию «Алхимист» в бенефис Мочалова. Плавильщиков играл еще лучше, нежели когда-нибудь, и Воробьева в роли Антигоны была очень недурна. В комедии Сандунов являлся в семи разных персонажах и очень смешил публику. Это настоящий Протей: удивительно, как ловко и скоро переменяет он костюмы и мастерски гримируется. Конечно, при пособии других переменить кафтан или парик можно и скоро, но каким образом из молодого, румяного парня превратиться вдруг в дряхлого старика с морщинистым лицом, а еще более из мужчины в женщину — я, право, не постигаю. Штейнсберг был также величайший мастер на эти штуки и, бывало, морил нас со смеху в подобных пьесах; но для Штейнсберга не нужно было выводить себе морщин закопченной пробкой: ему только стоило по-своему искривить лицо, приподнять нижнюю челюсть, прищурить глаза — и вы его примете за старика. Бедный Штейнсберг! Nun lebe, lebe wohl [1], как сказал пастор Гейдеке в конце надгробного ему слова, при его отпевании. А ведь это lebe wohl, обращенное к мертвецу, для мыслящего человека совсем не nonsens [2], и мне кажется, что в этих словах, долженствовавших вылиться из сердца, заключается многое, что может познакомить нас с духовным миром.

[1] Ну, прощай, прощай (*нем.* «Lebe wohl» — буквально: живи хорошо).
[2] Бессмыслица (*лат.*).

5 ноября,
понедельник.

Снег валит хлопьями. Я радуюсь, потому что чем скорее установится зимний путь, тем скорее прибудут наши и тем скорее последует отъезд мой в Петербург. Теперь я как будто сам не свой: телом здесь, мыслями там. Нет ничего скучнее, как быть в неопределенном положении, а между тем получаю беспрерывные понуждения о скорейшем прибытии к должности.

За обедом у Лобковых П. И. Аверин рассказывал, между прочим, что при начале французской революции императрица Екатерина, рассуждая с Сегюром о тогдашних обстоятельствах во Франции, изъявила опасение, чтоб все принятые королем меры к успокоению народа не были скорее гибельны, нежели спасительны для монархии. Сегюр умолял ее изложить по этому случаю свои мысли на бумаге и дозволить ему сообщить их, хотя неофициально, королю. Императрица отвечала, что она неохотно вмешивается в чужие дела, но если он считает, что мнение ее может иметь какой-нибудь вес и принести отечеству его пользу, то она с удовольствием напишет для него записку, содержание которой, в виде простого разговора, он может передать своему королю. Аверин присовокупил, что у него есть отрывок из этой записки с русским переводом, сделанным по приказанию графа Безбородко для кого-то из тогдашних вельмож, не знавших французского языка. После обеда я просил Аверина поделиться со мною этим сокровищем и, признаюсь, не надеялся на его снисхождение. «Изволь, мой милый,— отвечал он,— приезжай завтра ко мне утром, и я дам тебе списать, что захочешь».

Вот этот отрывок; кажется, он составляет заключение записки: перевод плоховат, но при оригинале в нем нужды нет, и я его не посылаю.

«Ainsi, Monsieur, le résumé de notre conversation est qu'un roi est perdu, lorsqu'il transige avec son inviolabilité. Il faut que l'autorité d'un souverain soit un principe vital pour ses sujets, autrement l'autorité n'existe plus; car ce qui constitue la monarchie, c'est la confiance réciproque du souverain et de la nation. C'est á tort que l'Assemblée Nationale pense, qu'elle peut relever cette monarchie avec toutes les restrictions qu'elle veut

imposer au pouvoir royal et c'est encore plus á tort qu'elle croit pouvoir faire parvenir plus facilement la vérité aux oreilles du roi par le mode qu'elle employe á présent. Il n'en sera rien, Monsieur. Pour que la vérité soit efficace il faut que le souverain la comprenne, ou paraisse la comprendre par lui-même et se l'attire, sans qu'on la lui impose; quant à la monarchie il n'y a qu'une seule chose qui puisse la sauver dans les circonstances actuelles: c'est la fermété du roi et sa résolution inébranlable de ne pas accéder aux propositions de tuteurs que dans un excès de bonté il s'est donnés lui-même. Mais avant tout le roi devrait faire ce que Jésus Christ a fait à Jérusalem: prendre un fouet et chasser les marchands du temple; et si par impossible le salut de la monarchie dépendait du concours de pareilles gens, la nécessité où serait le roi de le subir, serait le plus grand malheur qui puisse lui arriver, ainsi qu'à la nation»[1].

Если в окончании записки находится столько истин и премудрой прозорливости, то что же должна была заключать в себе целая записка? Как жаль, что такое сокровище может быть утрачено для нас и для истории великой монархии!

---

[1] Итак, милостивый государь, беседа наша сводится к тому, что монарх погиб, коль скоро входит в сделки относительно своей неприкосновенности. Надобно, чтобы власть монарха была жизненным началом для его подданных, иначе этой власти нет; ибо сущность монархии состоит во взаимном доверии между государем и народом. Напрасно Национальное собрание полагает возможным поднять монархию посредством всяческих ограничений, которые она хочет наложить на королевскую власть, и еще более напрасно думать, что благодаря тем средствам, которые оно теперь употребляет, истина скорее будет доходить до короля. Из этого, милостивый государь, ничего не выйдет. Истина только тогда действенна, когда сам государь ее постигает или делает вид, что постигает, когда он ее самопроизвольно ищет. Что касается монархии, она может быть спасена, при настоящих обстоятельствах, только твердостью короля и непоколебимою его решимостью не склоняться на предложения опекунов, которых, по излишней доброте, он сам себе назначил. Но прежде всего королю следует поступить, как поступил Иисус Христос в Иерусалиме: взять бич и выгнать из храма торговцев. И если бы (что немыслимо) спасение монархии зависело от помощи подобных людей, то необходимость подчиниться им была бы для короля, как и для народа, величайшим бедствием (*франц.*).

П. И. Аверин дозволил мне списать также составленную им историю Сената со времени его учреждения в 1711 году до 1801 года с комментариями и со включением замечательных мнений и голосов некоторых сенаторов, приобревших известность умом своим и знанием дел. Это сочинение составляет два огромных фолианта. Не знаю, успею ли я воспользоваться его дозволением вполне, но, во всяком случае, постараюсь сделать хотя некоторые выписки.

9 ноября,
пятница.

Наконец все мои собрались; гости и домашние прибыли почти в одно время. Они удивились, что в Москве так недавно выпал снег, когда у них санный путь установился еще до 1-го числа. Альбини ездил с визитами и привез нам кучу разных новостей, из которых, однако ж, как сам говорит, многие сомнительны, но что достоверно, так это — народное вооружение. Утверждают, что в продолжение текущего месяца последует манифест. Наши нувеллисты распустили слух, что государь сам изволит прибыть в Москву, но если б это была правда, военный губернатор верно бы знал о том, а он ничего не знает, хотя и недавно возвратился из Петербурга: следовательно, это пустая выдумка.

Я успел вчера свозить своих в немецкий театр. Давали «Die Schwester von Prag». Смеялись досыта, но портной К а к а д у уж не прежний, К о р о п плох, но после Штейнсберга играть его больше некому. Бывало, один выход незаменимого комика с этой глупой и пошлой ариею:

Ich bin der Schneider Kakadu,
Gereist durch aller Welt,
Und bin von Kopfe bis zum Schuh,
Ein Bügel — eisen Held;
Gerade komm ich von Paris etc. etc. [1] —

заставлял хохотать до слез. Что за фигура и костюм! что за мимика! какая веселость и увлечение! Это

[1] Я — портной Какаду, объездил я весь свет, и с головы до самых пят я — утюжной герой; я прибыл прямо из Парижа, и т. д. и т. д. (*Нем.*)

умора, «умориссима», как говорит капельмейстер Керцелли. Но Штейнсберг играл и пел не одно только то, что находилось в роли; он импровизировал сам, стихами или прозою — для него было все равно. Видя его вне сцены всегда серьезным и задумчивым, нельзя было подумать, чтоб он мог быть так уморителен на театре. Впрочем, это не первый пример: Мольер и Шекспир вне сцены были также важны, серьезны и задумчивы, а эти молодцы стоят многих Штейнсбергов, бывших, настоящих и будущих.

Петр Иванович, стакнувшись с моими, понуждает меня заранее хлопотать о рекомендательных письмах, которые мне обещали граф Остерман, Н. Н. Бантыш-Каменский и И. П. Архаров. Но я раздумал: не возьму ни от кого. М. И. Невзоров утверждает, что всякое рекомендательное письмо подвергает нас двойной обязанности: к тому, кто его дал, и к кому оно дано; лучше положиться на собственные свои силы, если ж их недостанет, так бог помощник; в противном случае ничто не удастся. Максим Иванович пустого слова не скажет. Соседка наша, старуха Силина, московка чистой породы, пресерьезно говорит: «Батюшка, есть о чем заботиться! были бы деньги, так протекция сама сыщется». Денег-то у меня много не будет, но я верую в труд.

12 ноября,
понедельник.

Сборы мои в дорогу уже начались. Меня обшивают и наделяют то тем, то другим для домашнего обихода. Матушка, рассуждая с Альбини о петербургском житье-бытье и не имея ни малейшего о нем понятия, изъявила желание, чтоб я нанял себе порядочный дом. Петербургские гости расхохотались. «А сколько же он (то есть я) будет получать от вас на прожиток?» — «Уж конечно не меньше тысячи рублей в год, а сверх того стану по зимам посылать к нему в Петербург муку, крупу, ветчину, разную живность, варенье и проч., точно так же как все посылала в Москву; к тому же прислуга своя. Кажется, можно прилично жить». Разумеется, можно жить, когда другие живут и ничего не имея. По одежке протягивай ножки и, сидя на рогоже, не говори о соболях.

Несмотря на скверную погоду, снег и ветер, дедушка, по обычаю своему, притащился объявить мне, что послезавтра будут давать «Дидону», в которой Плавильщиков играет роль Ярба. Если что не помешает, то не только поеду сам проститься с московским театром, но повезу и всех своих в этот прощальный спектакль, о котором извещу тебя прощальным же письмом из Москвы. Дедушка рассказывал, что у Сандуновых между собою начинает быть неладно под предлогом обоюдной неверности, но что настоящая причина ссоры заключается в том, что муж, выстроив на общий капитал бани, записал их на свое имя. По сему случаю жена прибегла к покровительству князя Юрия Владимировича Долгорукова и просила его посредства. Любопытно знать, чем все это кончится; а ведь они женились по страстной любви! Неужто же Карамзин сказал правду, что

Сердца любовников смыкает
Не цепь, но тонкий волосок:
Дохнет ли резвый ветерок,
Порхнет ли бабочка меж ними —
Всему конец и связи нет!

Впрочем, тут уж не бабочка и не ветерок, а преогромные бани. Te voilà, pauvre humanité! [1]

16 ноября,
пятница.

Мы предполагали выехать 19-го числа, но оказалось неодолимое препятствие: это число пришлось в понедельник, и потому выезжаем днем прежде, то есть послезавтра. Прощальные мои визиты почти кончены; рекомендательных писем я ни от кого не взял, потому что не просил, а обещавшие сами напомнить о них не догадались. Пишу к тебе последнее письмо из Москвы, а чтоб оно было не совсем без интереса, так вот отчет о «Дидоне». Плавильщиков (Ярб) поразил меня: это рыкающий лев; в некоторых местах роли, и особенно в конце второго действия, он так был страшен, что даже у меня, привыкшего к ощущениям театральным, невольно билось сердце и застывала кровь, а о сестрах

[1] Вот каково ты, бедное человечество! (*Франц.*)

я уже не говорю: бедняжки до смерти перепугались. По возвращении из театра я записал те места, в которых он показался мне превосходнее. Семейство князя Михайла Александровича, к которому я входил в ложу во время антракта, встретило меня радостным вопросом: «А каков наш Лекен?» — «Нечего и говорить,— отвечал я,— превосходен!» — «Вот то-то же! А у вас только и на языке, что Штейнсберг да мамзель Штейн!» Княжны не могут простить мне сравнения последней с Сандуновою. В понедельник открывается французский театр, причисленный уже к императорским театрам; в это время я буду далеко от Москвы, и з а д н я я з а б ы в а я, п р о с т и р а т ь с я в п р е д ь. Однако ж как ни доволен я отъездом, а грустно расстаться с своими, и невольно думается: когда-то, где и как бог приведет опять свидеться? До сих пор я был не один; тепло мне на свете, и вот через несколько дней я вдруг как будто осиротею и буду один... нет, виноват, я не буду один:

Erinnerung und Hoffnung blühn
Den Herzen, die von Freundschaft glühn [1].

Прости: из Петербурга я не могу писать к тебе так часто, как доселе писал, но можешь быть уверен, что будешь получать раза два или три в месяц ежедневный и подробный журнал моего житья-бытья и моих похождений на чужой стороне. Привычка — вторая натура: я не могу заснуть без того, чтоб не записать всего, что видел, слышал или чувствовал в продолжение прожитого дня.

Побереги Дураков моих, и если они произведут достойных себе потомков, то прикажи воспитать их несколько для меня на всякий случай.

С. Петербург. 24 ноября 1806,
суббота.

После пятисуточного путешествия мы, наконец, дотащились до Петербурга, и вот другой день, как я дышу воздухом петербургским и — дома сумасшедших, в котором мы остановились. Почтенный Эллизен, тесть Аль-

---

[1] Воспоминание и надежда цветут для сердец, которые пылают дружбой (*нем.*).

бини и главный доктор Обуховской больницы умалишенных, приютил нас до того времени, как успеем приискать себе квартиры. Это умный, искусный врач и добрый человек. Он никак не допустил меня переехать в гостиницу, уверяя, что он давно уже знаком со мною, а с старым знакомым не церемонятся, и потому он арестует меня до приискания помещения, которое у него есть уже в виду, в доме друга его, придворного доктора Торсберга, у Каменного моста. У Эллизена есть сын (такой же красавец в мужчинах, как и в женщинах дочь), который служит в Иностранной же коллегии коллежским асессором и весною должен ехать в Америку в звании секретаря посольства. Итак, волею-неволею, я должен прожить некоторое время в доме сумасшедших, и, признаюсь, несмотря на ласку и приветливость хозяина и на доказательства истинно братской дружбы Альбини, мужа и жены, я чувствую себя не очень покойным и мысленно тревожусь каким-то смутным предчувствием: не суждено ли мне кончить петербургское мое поприще в том же доме, в котором я его начал? Впрочем, воля божия!

Утром явился я к одолжителю моему, старику Лабату, который встретил меня с восхищением и тотчас же пригласил обедать. Я отговаривался под разными предлогами, но напрасно. Упрямый уроженец Гасконии не выпустил меня из своего кабинета до самого обеда и не приказал сказывать о приезде моем ни старухе, жене своей, ни дочерям, из которых младшая, Катерина, сегодня именинница, желая неожиданно представить им меня пред самым обедом. Но вот наступил час этого обеда, и дамы вошли в гостиную; старик, оставив меня за ширмами, завел обо мне речь и с негодованием жаловался на мое неприбытие; дамы стали что-то говорить в мою защиту, как вдруг он, толкнув меня из-за ширм, «le voici votre grand flandrin! — вскричал он,— étouffez-le de vos embrassements!» [1] Разумеется, дамы ахнули от удовольствия и буквально чуть не задушили меня своими объятиями. Странное дело: более года прошло с того времени, как мы расстались, и, следовательно, я должен был бы показаться им годом старее,— вышло напротив: я помолодел для них пятью

---

[1] «Вот он, ваш растяпа! задушите его в своих объятиях!» (*Франц.*)

годами; они обошлись со мною как с двенадцатилетним ребенком и решительно взяли под свою опеку. Тем лучше! Скоро наехали гости, большею частью старые французские эмигранты: маркиз де Лаферте, за отсутствием графа Блакаса, поверенный в делах Людовика XVIII; граф де Монфокон, маркиз де Мастен, шевалье де Ла-Мотт, генерал ле Брен, знаменитый корабельный строитель, состоящий в нашей службе; гвардии капитаны: Шап де Растиньяк, граф де Бальмен, Дамас, граф де Местр, сочинитель прекрасной книги «Voyage autour de ma chambre» [1], настоятель церкви Мальтийского ордена аббат Локман и другие; но из русских было только двое: я и прелюбезный молодой человек, Филипп Филиппович Вигель, с которым мы тотчас и познакомились. Лабат живет в правом флигеле Михайловского замка, которого он при покойном государе был кастеланом. Теперь эта должность упразднена, и он, для проформы, переименован в смотрители Зимнего дворца с оставлением при его всего жалованья и содержания.

Вскоре после обеда приехал Иван Петрович Эйнбродт, лейб-хирург императрицы Марии Федоровны, не поспевший к обеду по служебным своим занятиям при дворе; меня тотчас же ему представили, и я не знал, как выразить ему благодарность за его хлопоты и заботы о моем определении. Это прекраснейший человек. Он женат на старшей дочери Лабата, вдове генерала Лукашевича, от которого у ней осталось двое детей: сын, оставивший службу и находящийся в деревнях своих, и дочь, воспитывавшаяся в институте и живущая у деда: девушка преумная и предобрая, но дурная собою и, к несчастью, тоскующая о том беспрерывно. Едва познакомились мы с ней — и как будто целый век были знакомы: она тотчас успела поверить мне свое горе и свои жалобы на природу, отказавшую ей в красоте. «Aimez moi un peu, monsieur, et je serai une tendre soeur pour vous; je ne puis être rien autre chose pour personne, car vous voyez, je suis si laide» [2]. Бедная Марья Лукинична!

---

[1] «Путешествие вокруг моей комнаты» (*франц.*).

[2] Любите меня немного, и я буду вам нежной сестрой; никем иным ни для кого я не могу быть: вы же видите, как я безобразна (*франц.*).

Долго продержали меня добрые Лабаты, расспрашивая о том о сем и давая такие подробные наставления насчет моего поведения, что, слушая их, я едва удержался от смеха. Они отпустили меня под одним только условием, чтоб всякий день у них обедать. Поздно возвратился я в свой дом сумасшедших, где радушный мой хозяин и милая Дарья Егоровна начинали уже о мне беспокоиться. Я успокоил их, сказав, что нанял славного извозчика по тридцати рублей в месяц и продержу его до тех пор, пока не узнаю сам всего Петербурга.

25 ноября,
воскресенье.

Нынче слушал обедню у Спаса на Сенной. По окончании службы читан был манифест от 16-го числа о войне с французами. Удивительно, как пришелся кстати апостол: «Братие, облецытеся во вся оружия божия и шлем спасения восприимите и меч духовный, иже есть глагол божий» (ко Еффесеем зачало 233).

По рекомендации Эллизена, был у Торсберга и нанял квартиру в три комнаты с небольшою кухнею, по двадцати пяти рублей в месяц. Этот Торсберг человек замечательной наружности: лет пятидесяти, маленький, кругленький пузанчик, с такою открытою физиономиею, такой румяный и такого веселого нрава, что совсем не похож на доктора. Я начал с ним говорить по-немецки и очаровал его так, что он, кажется, готов был бы отдать мне квартиру даром, звал к себе по четвергам, объявив, что в этот день собираются у него приятели, бывает музыка, играют и поют, иногда танцуют, после ужинают и все проводят время чрезвычайно весело. Да, этот бесподобный Herr Doctor — сущая находка!

Альбини также наняли себе квартиру и почти насупротив дома Торсберга, так что из окошек моих видны окошки их квартиры. Послезавтра мы переедем каждый в свое гнездо, а завтра отправлюсь явиться к начальству.

2*

26 ноября,
понедельник.

Утром был у обер-секретаря Иностранной коллегии Ильи Карловича Вестмана; принял меня как нельзя благосклоннее, но пенял, отчего так долго не являлся я к должности, расспрашивал — чем занимался прежде и чем намерен заниматься теперь, хочу ли действительно служить или служить только для того, чтоб, как многие, за выслугу лет получать чины. Я отвечал, что занимаюсь литературою; я легко могу заниматься переводами, если нужно, и что желаю служить действительно, зачем и приехал в Петербург; иначе старался бы определиться в Московский архив. «Да,— сказал он мне с усмешкою,— для переводов комедий Коцебу под дирекциею Малиновского». Я возразил, что и в Архиве Николай Николаич Бантыш-Каменский нашел бы дело желающему. «Правда,— сказал он,— но дело-то Николая Николаича требует труда и усидчивости, а потому охотников на него не находится». Илья Карлович велел позвать экзекутора С. К. Константинова и поручил ему представить меня, когда явлюсь к должности, секретарю В. А. Поленову и познакомить с членами Казенного департамента, а между тем назначить и в дежурство. «Если же вы, по приезде, еще не устроились,— присовокупил Вестман,— так можете с неделю и не ходить в Коллегию». Я сказал, что с благодарностью воспользуюсь его предложением и употреблю несколько дней на обмеблирование квартиры и обзаведение себя всем нужным.

После обеда заезжал на короткое время к Лабатам. Нашел у них шталмейстера Ададурова с женою: сидели у камина, болтая всякий вздор. Звали с собою во французский театр, в котором имеют постоянную ложу, но я просил уволить меня до будущей недели от всякого развлечения. Анна Ивановна Ададурова, которой меня рекомендовали, молодая женщина, очень любезная и словоохотливая, приглашала к себе. Хорошо, но прежде надобно осмотреться.

Купил мебель и посуду, всего рублей на полтораста, и перевез на квартиру, в которой завтра же и ночевать буду.

27 ноября,
вторник.

Альбини непременно хотел меня представить знаменитому доктору лейб-медику Франку, который был его наставником в медицине и которого почитает он своим благодетелем. Я согласился ехать с ним единственно в угодность ему, потому что знакомство с Франком ни к чему мне служить не могло, но между тем после чрезвычайно доволен был, увидев это замечательнейшее лицо в летописях современной медицины. Франку на вид около семидесяти лет, но какое прекрасное старческое лицо, какой умный и живой разговор! Он спросил меня, какими предметами наук я занимался в университете и не имею ли намерения продолжать занятия по какой-нибудь специальной части для составления себе карьеры. Этот вопрос смутил меня: предметы наук, специальная часть! Этого никогда мне и в голову не приходило, и Франк, кажется, полагал, что говорит с немецким студентом. Однако ж, к счастью, мне пришло на мысль сказать, что я больше занимался словесностью, которую считал полезнейшею для избранного мною рода службы. Тут заговорил он о Гете, Шиллере, директоре нашего Кадетского корпуса Клингере, Гуфланде и проч., исчислял их творения и кончил тем, что вместе с словесностью не худо бы заниматься и какою-нибудь специальною наукою, потому что одна словесность не составляет знания и не может развить в человеке способность мышления в степени, сообразной с требованиями современного просвещения. Ах! правда, правда, Herr Franck, и слава богу, что вы не заметили, как я, слушая вас, краснел за свое невежество!

Все это пишу я в новой своей квартире, на новом столе, сидя на новом стуле и обмакивая новое перо в новую чернильницу. Словом, у меня все почти новое, даже и новые мысли; старого только и осталось, что полное чувства сердце да две физиономии моих челядинцев.

28 ноября,
среда.

Заезжал в Коллегию и неожиданно встретился с пансионскими соучениками моими А. Н. Хвостовым и П. А. Азанчевским, которые также служат в Коллегии. Степан Константинович, по поручению Вестмана, представил меня Василью Алексеевичу Поленову, который уже знал обо мне от самого Вестмана и обещал дать занятие. Умный, прекраснейший человек! Потом рекомендовал экспедитору М. В. Веньяминову, предоброму и очень живому старику, который более сорока лет занимается одним и тем же: изготовлением кувертов для отправляемых бумаг и запечатыванием их. Эти куверты делает он мастерски, без ножниц, по принятому в Коллегии обычаю и поставляет в том свою славу. «Вот, батюшка,— сказал он мне,— милости-ко просим к нам: выучим тебя делать кувертики, выучим на славу». Потом Степан Константинович повел меня в так называемый Департамент казенных дел и представил членам, действительным статским советникам Н. В. Яблонскому, приставу при грузинских царях и царицах; Маркову, занимающемуся составлением книги «Всеобщий стряпчий»; контролеру Ф. Д. Иванову, высокому, худощавому старику в рыжем парике, состоящему церковным старостою при одной из церквей, об украшении которой заботится он непрестанно, и, наконец, казначею статскому советнику Борису Ильичу Юкину, страстному любителю ружейной охоты. Все это узнал я почти тотчас от моего разговорчивого вожатого и частью от них самих, потому что все они, кажется, добрые, простосердечные люди и любят поговорить; очень обласкали меня.

У входа в Секретную экспедицию, в которой давно уже нет никаких секретов, заметил я сторожа, худощавого и невысокого роста старика, обвешенного медалями. Посмотрев на него, я удивился, что в его лета волосы у него черны как смоль. «А сколько, слышь ты, дашь ему лет?» — спросил меня экзекутор. «Я полагаю,— отвечал я наобум,— что ему должно быть лет под семьдесят».— «Эх-ма, слышь ты, далеко за девяносто! Государя Петра Первого помнит. Ты потолкуй с ним: учнет, слышь ты, рассказывать, что твоя книга».— «Уж, конечно, батюшка Степан Константинович, по-

толкую, да еще и как!» Это такая пожива, какие нашему брату встречаются не всякий день!

Я назначен в дежурство надворного советника И. А. Лазарева, вместе с переводчиком Н. И. Хмельницким и М. И. Кусочниковым. Скучно тем, что надобно ночевать в Коллегии.

29 ноября,
четверг.

Обедал у Лабата. Он, сверх страсти своей к гостеприимству, имеет еще и другое качество — быть отличным знатоком поваренного искусства. Все кушанья приготовляются у него по его приказаниям, от которых повар не смеет отступить ни на волос. Эти кушань так просты, но так вкусны, что нельзя не есть, хотя бы и не хотелось. Александр Львович Нарышкин, величайший гастроном своего времени, отзывался о его cuisine bourgeoise [1], что она несравненно вкуснее затейливой и прихотливой собственной его кухни. Граф Монфокон — ежедневный гость за столом Лабата. Он очень полюбил меня, особенно за то, что я не большой охотник до Вольтера, которого он ненавидит, приписывая его учению бедствия своего отечества. Старики любят поспорить, да и все семейство, кажется, от того не прочь, кроме внучки, которая мало мешается в горячие споры.

Вечером были во французском спектакле. Давали Мольерова «Дон-Жуана», переложенного в стихи Томасом Корнелем, и маленькую оперку «La Maison à vendre». Я удивился совершенству, с каким играли актеры: какие таланты и какой ансамбль! Дюран, Каллан, Деглиньи, Дюкроаси — это первоклассные артисты. Какая естественность и как говорят стихи — прелесть и только! В опере участвовали актеры Андрие, Сен-Леон, Клапаред, Флорио, Меес и актрисы Филлис-Андрие и сестра ее Филлис-Бертен. Вот это так спектакль! Бог даст, пообживусь, буду попристальнее следить за французскими спектаклями. У мадам Филлис-Андрие отличный голос, но, сверх того, какая очаровательная актриса!

---

[1] Домашнем столе (*франц.*).

30 ноября,
пятница.

Сегодня объявлен манифест о милиции. Благодарение богу! Все наконец объяснилось, и против общего врага приняты меры сильные и действительные. В Коллегии толкуют об огромных пожертвованиях, которые все состояния в Петербурге изъявляют готовность привести в дар отечеству. Я воображаю, что́ по получении сего манифеста произойдет в Москве и какие толки произведет он в Английском клубе! Кого-то выберут начальствующим московской милиции: это очень любопытно знать. Там столько старых, отличных екатерининских генералов: граф А. Г. Орлов, князь А. А. Прозоровский, князь Ю. В. Долгорукий, Марков и проч. А богачи московские? За ними-то уж, верно, дело не станет: если они так щедры и податливы там, где эти качества не могут иметь достойной оценки, то как, воображаю, распояшутся они теперь, когда этой щедрости потребует от них общественная нужда и сохранение славы отечества.

В ожидании служебного занятия я только и делаю, что знакомлюсь с своими сослуживцами, и нынче больше часа протолковал в Казенном департаменте о всячине, в которой, разумеется, важнейшим предметом были Бонапарте и его дерзостные покушения против России. Но бог весть каким образом от Бонапарте перешли мы вдруг к Троянской войне. Не знаю, почему-то сделалось известно, что я, studiosus [1], пишу стихи и, следственно, должен быть смыслящ в древней истории. «До сих пор понять не могу распределения чинов греческой армии,— говорил Федор Данилович Иванов,— замечаю в ней большую неурядицу и отсутствие всякой субординации; вижу, например, что Агамемнон был главнокомандующим, то есть вроде нашего фельдмаршала, следовательно, прочие, как то: Ахиллес, Аяксы, Диомед, Улисс, должны были как будто быть корпусными или дивизионными командирами, а между тем они своего фельдмаршала ни во что не ставят, особенно этот забияка Ахиллес, который называет его публично пьяницей; да я бы тотчас же велел его заметать дротиками, коли ружья не были еще выдуманы.

---

[1] Учащийся, ученый (*лат.*).

Растолкуйте, пожалуйста, отчего все это происходило?» На этот вопрос я решительно не нашелся, что отвечать, и, к предосуждению своей учености, предоставил другим собеседникам разрешить недоумение доброго контролера. Мне сказывали, что Троянская война в мирное время всегда была главным предметом рассуждений членов Казенного департамента, в который приходил ежедневно ораторствовать переводчик В. А. Викулин, сын богатого откупщика Викулина, прозванный гамбургскою газетою.

Возвращаясь из Коллегии, встретился с Кистером, который преблагополучно поживает здесь с мадам Штейнсберг и квартирует вместе с Гебгардом. Он хотел зайти ко мне рассказать многое о здешнем немецком театре и вместе узнать, что делается у немцев в Москве. Буду рад, потому что одному иногда бывает скучно, а надоедать Альбини и Лабату беспрерывными посещениями как-то совестно, хотя они не только желают, но даже требуют, чтоб я как можно чаще был у них.

На днях думаю представиться Державину с моим «Артабаном». Великий поэт в эпоху губернаторства своего в Тамбове был дружен с дедом моим, который после увольнения от должности вятского губернатора жил в тамбовской деревне и, любя чтение, был одним из усердных поклонников певца Фелицы.

1 декабря,
суббота.

Утро просидели у меня немцы. Кистер привел Гебгарда, который чрезвычайно был рад познакомиться со мною и принес поклон от жены своей, бывшей мамзель Штейн, доброй моей приятельницы. Они рассказали мне всю подноготную о здешнем немецком театре и зазвали в сегодняшний спектакль. Проводив их, я пошел обедать в гостиницу «Лондон», на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади, и познакомился там с князьями Вадбольскими, братьями В. П. Муромцевой, жены теперешнего содержателя московской немецкой трупы. Они отлично играют на бильярде. После сытного обеда, за который заплатили по 2 р. 50 к. с персоны, мы отправились вместе в немец-

кий театр. Давали «Kabale und Liebe». Гебгард играл Фердинанда, Кудич — президента, Борк — Вурма, Брюкль — музыканта, мадам Эвест — жену его, мамзель Лёве — леди Мильфорт, а мадам Гебгард-Штейн — Луизу. Последнюю в роли Луизы я видел уже в Москве; она по-прежнему превосходна, если еще не превосходнее. Вся пьеса была обставлена и разыграна мастерски. Не говорю о Гебгарде: роль Фердинанда лучшая из его ролей; но как хорошо, естественно играла мадам Эвест! какой талант у этого Борка для представления таких хладнокровных злодеев, каков Вурм! с какою величавостью и достоинством играла эта полногрудая красавица мамзель Лёве — право, загляденье! Я вышел из спектакля вполне очарованный и талантами актеров, и ансамблем всей пьесы и спешил передать сделанное на меня ими впечатление милой своей Schwester Dorchen, которая покамест сидит одна, занимаясь уборкою нового своего жилища: муж начал ездить по своим больным.

2 декабря,
воскресенье.

Сегодня наконец бог привел увидеть государя. Сколько дней ходил я всюду, чтоб где-нибудь встретить его, и никак не удавалось, но зато нынешний день насмотрелся на него вдоволь. Какая величавая наружность, какой красавец, и ко всему этому — какая душа! Я увидел его в то время, когда он с парада изволил идти гулять на Дворцовую набережную, и следовал за ним в некотором расстоянии; когда же, дойдя до Троицкого моста, он оборачивался назад, я отходил в сторону и не спускал с него глаз; он два раза останавливался и благосклонно изволил разговаривать с какими-то генералами... что за ангельское лицо и пленительная улыбка!

Когда за обедом я объявил семейству Лабата, что видел государя, оно было в восхищении. Эти добрые люди так ему преданы, так его любят, что не могут иначе говорить о нем, как с величайшим восторгом и почти со слезами. «Кроме того, что он примерный государь,— говорят они,— но вместе и благодетель наш, и если мы имеем средства жить, так этим всем ему

обязаны». Я недавно в Петербурге, а уж не от них одних слышу подобные отзывы о благости государя.

4 декабря,
вторник.

Нынешнюю ночь я ночевал на дежурстве в Коллегии, и оттого в дневнике моем будет пропуск. Я предполагал провести эту ночь скучно и неловко, но вышло напротив: товарищи мои, Кусовников и Хмельницкий, ребята славные и веселые; последний большой любитель литературы, много читает и занимается сам переводом трагедии «Зельмира», но жалуется, что плохо идет: не ладит с рифмами. Я узнал от него, что он сын того Хмельницкого, который сочинил книгу «Свет зримый в лицах», и что известный Эмин, автор комедии в стихах «Знатоки», женат на родной его сестре и находится теперь губернатором в Выборге. Рад сердечно; c'est une connaissance à cultiver [1].

Получил письмо от своих и от Петра Ивановича, который продолжает и без меня жить у нас и обещается не оставлять моих до тех пор, покамест его не прогонят; следовательно, он останется надолго. Пишет, что сестры очень тупы и ленивы и вместо того, чтоб слушать логику и риторику, забавляются, болтая с ним всякий вздор. Я узнаю милых сестриц моих, да что до того? Ведь не всем же быть барышнями Скульскими и Извековою.

5 декабря,
среда.

Был у Державина — и до сих пор не могу прийти в себя от сердечного восхищения. С именем Державина соединено было все в моем понятии, все, что составляет достоинство человека: вера в бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность к государю и отечеству, высокий талант и труд бескорыстный... и вот я увидел этого мужа,—

кто, строя лиру,
Языком сердца говорил!

---

[1] Это знакомство надо поддерживать (*франц.*).

Сильно билось у меня сердце, когда въехал я на двор невысокого дома на Фонтанке, находящегося невдалеке от прежней моей квартиры в доме умалишенных. Вхожу в сени с «Артабаном» под мышкою и спрашиваю дремавшего на стуле лакея: «Дома ли его высокопревосходительство и принимает ли сегодня?» — «Пожалуйте-с»,— отвечает мне лакей, указывая рукою на деревянную лестницу, ведущую в верхние комнаты. «Но, голубчик, нельзя ли доложить прежде, что вот приехал Степан Петрович Жихарев, а то, может быть, его высокопревосходительство занят».— «Ничего-с, пожалуйте; енерал в кабинете один».— «Так проводи же, голубчик».— «Ничего-с, извольте идти сами-с, прямо по лестнице, а там и дверь в кабинет, первая налево». Я пошел или, скорее, поплелся; ноги подгибались подо мною, руки тряслись, и я весь был сам не свой: меня била лихорадка. Взойдя наверх и остановившись пред стеклянною дверью, первою налево, завешенною зеленою тафтою, я не знал, что мне делать — отворять ли дверь или дожидаться, покамест кто-нибудь случайно отворит ее. Я так был смешан и так смешон! К счастью, явилась мне неожиданная помощь в образе прелестной девушки лет восемнадцати, которая, пробежав мимо меня и, вероятно, заметив мое смущение, тотчас остановилась и, добродушно спросив: «Вы, верно, к дядюшке?» — без церемонии отворила дверь, примолвив: «Войдите». Я вошел. Старец лет шестидесяти пяти, бледный и угрюмый, в белом колпаке, в беличьем тулупе, покрытом синею шелковою материею, сидел в креслах за письменным столом, стоявшим посредине кабинета, углубясь в чтение какой-то книги. Из-за пазухи у него торчала головка белой собачки, до такой степени погруженной в дремоту, что она и не заметила моего прихода. Я кашлянул. Державин — потому что это был он — взглянул на меня, поправил на голове колпак и, как будто спросонья зевнув, сказал мне: «Извините, я так зачитался, что и не заметил вас. Что вам угодно?» Я отвечал, что по приезде в Петербург я первою обязанностью поставил себе быть у него с данью того искреннего уважения к его имени, в котором был воспитан; что он, будучи так коротко знаком с дедом, конечно, не откажет и внуку в своей благосклонности. Тут я назвал себя. «Так вы внук Степана Данилыча? Как я рад! А зачем сюда приехали? Не

определяться ли в службу? — и, не дав мне времени отвечать, продолжал: — Если так, то я могу попросить князя Петра Васильича (Лопухина) и даже графа Николая Петровича (Румянцева)». Я объяснил ему, что я уже в службу определен и что ни в ком и ни в чем покамест надобности не имею, кроме его благосклонности. Он стал расспрашивать меня, где я учился, чем занимался, какое наше состояние и проч., и когда я удовлетворил всем его вопросам, он, как будто спохватившись, сказал: «Да что ж вы стоите? садитесь». Я взял стул и подсел к нему. «Ну а что это у вас за книга?» Я отвечал, что это трагедия моего сочинения «Артабан», которую я желал бы посвятить ему, если только она того стоит. «Вот как! так вы пишете стихи — хорошо! Прочитайте-ка что-нибудь». Я развернул моего «Артабана» и прочитал ему сцену из 3-го действия, в которой впавший в опалу и скитающийся в пустыне царедворец Артабан поверяет стихиям свою скорбь и негодование, пылая мщением. Державин слушал очень внимательно, и когда я перестал читать, он, ласково и с улыбкою посмотрев на меня, сказал: «Прекрасно. Оставьте, пожалуйста, трагедию вашу у меня: я с удовольствием ее прочитаю и скажу вам свое мнение». Я был в восторге, у меня развязался язык, и откуда взялось красноречие! Я стал говорить о его сочинениях, многие цитировал целиком; рассказал о знакомстве моем с И. И. Дмитриевым, о его к нему послании, начинающемся так: «Бард безымянный, тебя ль не узнаю», которое прочитал от начала до конца; распространился о некоторых московских литераторах, особенно о Мерзлякове и Жуковском, которые были ему вовсе неизвестны,— словом, сделался чрезвычайно смел. Державин все время слушал меня с видимым удовольствием и потом, несколько призадумавшись, сказал, что он желал бы, чтоб я остался у него обедать. Я объяснил ему, что с величайшим удовольствием исполнил бы его волю, если бы не дал уже слова обедать у прежнего своего хозяина, доктора Эллизена. «Ну, так милости просим послезавтра, потому что завтра хотя и праздник, но у нас день невеселый: память по Николае Александровиче Львове». Я поклонился в знак согласия. «Да прошу вперед без церемонии ко мне жаловать всякий день, если можно. Ведь у вас здесь знакомых, должно быть, немного».

И вот я послезавтра буду обедать у Державина! Напишу о том к своим. Боюсь, что не поверят моему благополучию. Воображаю, что скажет Петр Иванович и как выросту я в его мнении.

6 декабря,
четверг.

Слушал обедню в церкви Николы морского, в которой сегодня храмовый праздник. Литургию совершал митрополит Амвросий с синодальными членами: преосвященными псковским Иринием и тверским Мефодием. Какая величавая наружность у митрополита, какой рост и какая осанка! Служит просто, но с большою важностью. Меня поразил придворный протодьякон Алексей Григорьевич Воржский, приглашенный на сегодняшнее служение по случаю праздника. Что у него за голос — вообразить себе нельзя, и какое мастерское произношение! верное, чистое, ясное; всякое слово выкатывалось жемчугом, а еще более меня удивило то, что при чтении Евангелия он соблюдал надлежащую интонацию, делал ударения на тех словах, которые для большего уразумения того требовали, и возвышал или понижал голос сообразно смыслу возглашаемой речи. Он при дворцовой церкви считается по старшинству в пятых, но по достоинству — первый. У старшего протодьякона Ивана Александровича голос еще сильнее, но не обработан; он также велик ростом и еще дороднее Воржского, но не имеет ни этой благородной осанки, ни этого необыкновенного мастерства в чтении. Воржский, как рассказывал мне после обедни дьячок Иван Филиппович — очень не глупый человек,— привезен сюда ярославским архиереем Павлом, бывшим синодальным членом; преосвященный любил великолепие церковной службы и сам сформировал как Воржского, так и отличных певчих, из которых многие взяты в придворный певческий хор.

7 декабря,
пятница.

К Гаврилу Романовичу приехал я, по назначению, в 3 часа. Домашние его находились уж в большой

гостиной, находящейся в нижнем этаже, и сидели у камина, а сам он, в том же синем шелковом тулупе, но в парике, задумчиво расхаживал по комнатам и по временам гладил головку собачки, которая, так же как и вчера, высовывалась у него из-за пазухи. Лишь только я успел войти, как он тотчас же представил меня своей супруге Дарье Алексеевне: «Вот, матушка, Степан Петрович Жихарев, о котором я тебе говорил. Прошу полюбить его: он внук старинного тамбовского моего приятеля». Потом, обратившись к племянницам, продолжал: «Вам рекомендовать его нечего: сами познакомитесь». И тут же, совершенно переменив вчерашний учтивый со мною тон, с большею живостью начал говорить об «Артабане». «Читал я, братец, твою трагедию и, признаюсь, оторваться от нее не мог: ну, право, прекрасно! Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко; стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова». Я остолбенел: мне пришло на мысль, что он вздумал морочить меня. Однако ж думаю: нет, из-за чего бы ему, Державину, говорить мне комплименты, если б в самом деле в трагедии моей не было никаких достоинств? Я отвечал, что с малолетства напитан был чтением Священного писания, книг пророческих и его сочинений, что едва только выучился лепетать, как знал уже наизусть некоторые его оды, как то: «Бога», «Вельможу», «Мой истукан», «На смерть князя Мещерского» и «К Фелице», что эти стихотворения служили для меня лучшим руководством в нравственности, нежели все школьные наставления. Кажется, он остался очень доволен моим объяснением.

За обедом посадили меня возле хозяйки, которая была ко мне чрезвычайно ласкова и внимательна. «Пожалуйста, бывайте у нас чаще; мы всякий день обедаем дома и по вечерам никуда почти не выезжаем. Будьте у нас, как у родных». Державин за столом был неразговорчив; напротив, прелестные племянницы его говорили беспрестанно, мило и умно. Племянников не было, а мне очень хотелось познакомиться с ними. Старший, Леонид, служит в Иностранной коллегии и недавно приехал из Мадрида, где он был при посольстве. Но время не ушло.

После обеда Гаврила Романович сел в кресло за дверью гостиной и тотчас же задремал. Вера Нико-

лаевна сказала мне, что это всегдашняя его привычка. «А что это за собачка,— спросил я,— которая торчит у дядюшки из-за пазухи, только жмурит глаза да глотает хлебные катышки из руки дядюшкиной?» — «Это воспоминание доброго дела,— отвечала мне В. Н.— К дядюшке ходила по временам за пособием одна бедная старушка, с этой собачкой на руках. Однажды зимою бедняжка притащилась, окоченевшая от холода, и, получив обыкновенное пособие, ушла, но вскоре возвратилась и со слезами умоляла дядюшку взять себе эту собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала его благодеяние. Дядюшка согласился, но с тем, чтоб старушка получала у него по смерть свою пансион, который она и получает, только она́, по дряхлости своей, не ходит за ним, а дядюшка заносит его к ней сам во время своих прогулок. С тех пор собачка не оставляет дядюшку ни на минуту, и если она у него не за пазухой или не вместе с ним на диване, то лает, визжит и мечется по целому дому». При этом рассказе у меня навернулись на глазах слезы — и я не стыдился их, потому что, по словам его же, неистощимого и неисчерпаемого Державина.

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал!

Покамест наш бард дремал в своем кресле, я рассматривал известный портрет его, писанный Тончи. Какая идея, как написан и какое до сих пор еще сходство! Мне хотелось видеть его бюст, изваянный Рашеттом и так им прославленный в стихотворении «Мой истукан», но он, по желанию поэта, находится наверху, в диванной его супруги:

А ты, любезная супруга,
Меж тем возьми сей истукан,
Спрячь для себя, родни, для друга
Его в серпянный свой диван.

Проснувшись, Гаврила Романович опять, между прочим, повторил предложение дать мне на всякий случай рекомендательные письма к князю Лопухину и к графу Румянцеву и даже настоял на том, чтоб я к ним представился. «Князь Лопухин,— сказал мне Гаврила Романович,— человек старинного покроя и не тяготится принять и приласкать молодого человека, у кото-

рого нет связей; да и Румянцев человек обходительный и покровительствует людям талантливым и ученым. Правду молвить, и все-то о н и (разумея министров) большею частью люди добрые; вот хоть бы и граф Петр Васильевич, хотя и не может до сих пор забыть моего Беатуса. Да как быть!»

Я откланялся, обещая бывать у Гаврила Романовича так часто, как только могу, и конечно, сдержу свое слово, лишь бы не надоесть.

8 декабря,
суббота.

В. А. Поленов дал мне работу. Я думал и бог весть какая важность, ан гора родила мышь: перевести два листика с французского! Я тут же перевел в один присест, да и бумага-то не заключает в себе ничего интересного. После ушел в любезный Казенный департамент болтать о Троянской войне. Борис Ильич, однако, настоящий Немврод: узнав, что и я такой же охотник, как он сам, и что еще недавно охотился в Липецке, он с любопытством расспрашивал меня о всех подробностях, касающихся до охоты в нашем краю: какие в нем места для стрельбы — болотистые, гористые или кустарники, есть ли реки и озера, какого сорта больше дичь, какой породы у меня подружейные собаки и проч. И когда я обстоятельно рассказывал ему, что есть болота и кустарники, реки и озера, что всякой дичи бездна: куликов, дупельшнепов, вальдшнепов и гаршнепов, что диких гусей и уток миллионы и, сверх того, множество дичи степной: кроншнепов, драхв, стрепетов и журавлей, что у меня две собаки, которых хотя и кличут д у р а к а м и, но в сущности это первые собаки в свете для всякого дела,— Борис Ильич ахал от удивления и, наконец, всплеснув руками, с горестью вскричал: «Хоть бы один денек поохотился в таком раю, а то ведь, не поверите, возьмешь коллежский катер, поедешь на взморье, таскаешься, таскаешься, да и убьешь ч и р к а. Вот, сударь, наше положение!»

Познакомился с Васильем Михайловичем Федоровым, автором драмы «Лиза, или Следствие гордости и обольщения». Он служит в Коллегии надворным советником. У него свой домик в Мещанской, недалеко

от моей квартиры. Сказывал, что знаком со всеми почти русскими актерами и особенно с Яковлевым; звал к себе и обещал с ним познакомить.

Между разговорами Федоров сделал замечание, которое показалось мне новым и чрезвычайно основательным. «Литераторы и даже простые любители литературы,— сказал он,— как масоны, узнают друг друга по какой-то особенности, которая их характеризует. Ничто не сводит так скоро и так коротко людей, как поклонение музам. Вот, например, мы с вами только что познакомились, а как будто уже давно вместе жили. Я не могу разъяснить, отчего это происходит: от одних ли и тех же вкусов и наклонностей и одинакового воззрения на предметы, но есть что-то таинственное, что влечет одного литератора к другому; разумеется, бывают исключения, но они редки».

9 декабря, воскресенье.

Ездил сегодня с визитом к Анне Ивановне Ададуровой и попал очень кстати, потому что она именинница. К ней наехало множество знакомых с поздравлениями и, между прочим, прелестная Катерина Петровна Воеводская с мужем, толстая графиня Морелли, по первому браку Байкова, с дочерью, полковник Протасов, который считается у Ададуровых домашним другом, семейство Лазаревых и проч. Хозяйка приняла меня очень ласково и тотчас же рекомендовала Воеводской, единственной особе в этом обществе, которой я желал быть представленным. Алексей Петрович, муж хозяйки, человек очень добрый и тихий, приглашал меня на вечер, но я, не давая слова, только что откланивался: разумей как знаешь. Он большой охотник до нюхательного табаку, и я заметил, что знает в нем толк, потому что долго и с важностью толковал об искусстве стирать его. «Всякое дело мастера боится,— подумал я,— если шталмейстер такой же знаток в лошадях, как и в табаке, то конюшенная часть при дворе должна быть в порядке».

Обедал у Лабата с графом Монфоконом и Ф. Ф. Вигелем. Зашла речь о французских трагиках. Старый эмигрант утверждал, что после Корнеля и Расина пер-

вое место по справедливости принадлежит Кребильону и что его «Радамист» несравненно выше всех трагедий Вольтера; но Вигель, опровергая его мнение, доказывал, что все трагедии Вольтера, за исключением написанных им в глубокой старости, превосходят не только другие трагедии Кребильона, но и самого «Радамиста», в котором роль Фарасмана — слабая копия с Расинова «Митридата». Слово за слово, завязался такой горячий спор, что мы не знали куда деваться. По какому-то безотчетному чувству, я не очень люблю Вольтера, но в настоящем случае, по мнению моему, Вигель совершенно прав. Несмотря на молодость свою, он очень сведущ во французской литературе, знает французский язык в совершенстве и пишет на нем свободно.

10 декабря,
понедельник.

Наконец успел побывать и в русском театре. Давали «Эдипа», в котором роль Эдипа играл Шушерин, Тезея — Яковлев, Креона — Сахаров, Полиника — Щеников, Антигону — Семенова. Шушерин восхитил меня чувством и простотою игры своей. Как хорош он был во всех патетических местах своей роли и особенно в сцене проклятия сына! Он играет Эдипа совершенно другим образом, нежели Плавильщиков, и придает своей роли характер какого-то убожества, вынуждающего сострадание. Во всей первой сцене второго действия с дочерью он был, по мнению моему, гораздо выше Плавильщикова. Раздумье о настоящем бедственном положении, воспоминание о невольных преступлениях и обращение к Киферону — все эти места роли исполнены им были мастерски, с горестною мечтательностью, живо и естественно, но в сценах с Креоном Плавильщиков, как мне показалось, играл с бóльшим достоинством. О Яковлеве можно сказать то же, что Карамзин сказал о Лариве: э т о ц а р ь н а с ц е н е. Кажется, что природа наделила его всеми возможными дарами, чтоб занимать первое место на трагической сцене. Какая мужественная красота, какая величавость и какой орган! Но роль Тезея едва ли должна быть по сердцу знаменитому актеру: она слишком ничтожна для этой великолепной натуры. Семенова прелестна; в первой раз

в жизни удается мне видеть в актрисах русской сцены такое прекрасное явление: молода, красавица и играет с большим чувством. Щениковым я недоволен: выученная кукла, на фандарах, и не производит никакого впечатления, но Сахаров — актер опытный: дикция верная, голос ясный, на сцене как дома и стихи произносит мастерски.

Спектакль кончился прелестным дивертисментом. Прежде танцевали pas de trois танцовщик Дютак с танцовщицами Сен-Клер и Новицкою, в турецких костюмах, живо, быстро, восхитительно. За ними появились в pas de deux балетмейстер Дидло — Аполлоном и воспитанница Иконина — Дианою. Этот Дидло признается теперь лучшим современным хореографом в Европе, но по наружности своей он, верно, последний. Худой, как остов, с преогромным носом, в светло-рыжем парике, с лавровым на голове венком и с лирою в руках, он, несмотря на искусство, с каким танцевал свое pas, скорее был похож на карикатуру Аполлона, чем на самого светлого бога песнопений. Зато Диана — так уж настоящая Диана: какой чудесный стан, какая возвышенная грудь, какие приемы и какая грация! Но так как совершенства на свете нет, то и грация Дианы — Икониной показалась мне несколько холодновата: никакой игры и жизни в физиономии. Наконец, pour la bonne bouche [1], танцовщик Огюст с знаменитою Колосовою попотчевали публику русскою пляскою под музыку и напев хором песни: «Я по цветикам ходила...» Нечего сказать, очаровательно! Колосова исполнена грации одушевленной и безыскусственной:

Ступит ли ножкой,
Кивнет ли головкой,
Вздернет ли плечиком —
Словно рублем подарит!

Огюст — красавец: настоящий русский парень, с умной очаровательной физиономией. Я узнал от сидевшего возле меня в партере чиновника Панина, по-видимому страстного любителя театра и знакомого с артистами, что настоящая фамилия Огюста — Пуаро и что он родной брат знаменитой некогда актрисы мадам Шевалье, бывшей любовницы графа Кутайсова. Панин прибавил, что Огюст в эпоху славы сестры своей был

---

[1] На закуску (*франц.*).

таким же добрым малым, как и теперь, и чрез посредство сестры успел оказать бескорыстно многим действительные услуги. Он очень любим всеми.

11 декабря, вторник.

Обедал у Гаврила Романовича. Это не человек, а воплощенная доброта; ходит себе в своем тулупе с Бибишкой за пазухою, насупившись и отвесив губы, думая и мечтая и, по-видимому, не занимаясь ничем, что вокруг его происходит. Но чуть только коснется до его слуха какая несправедливость и оказанное кому притеснение или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело — тотчас колпак набекрень, оживится, глаза засверкают и поэт превращается в оратора, поборника правды, хотя, надо сказать, ораторство его не очень красноречиво, потому что он недостаточно владеет собою: слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый, но со всем тем в эти минуты он очень увлекателен и живописен. Кажется, что мое чтение ему понравилось, потому что он заставлял меня читать некоторые прежние свои стихотворения и слушал их с таким вниманием, как будто бы они были для него новостью и не его сочинения. Меня поразило в нем то, что он не чувствовал настоящих превосходных красот в своих стихотворениях и ему нравились в них именно те места, которые менее того заслуживали.

Гаврила Романович настоял, чтоб я непременно представился с рекомендательными его письмами князю Лопухину и графу Румянцеву; эти письма дал он мне за открытыми печатьми, которые очень ловко смастерил кривой его секретарь. Я вижу такие печати в первый раз в жизни и, право, не понимаю, для чего они делаются. Спрошу у М. В. Веньяминова, который должен обстоятельно знать все, что касается до пакетов и печатей, потому что все прочее для него трын-трава.

12 декабря,
среда.

Нынешний день, по случаю дня рождения государя, в Казанском соборе был большой съезд всех властей и чинов, к которым присовокупилось огромное стечение народа. Такая была давка и духота, что многим делалось дурно, и некоторых выводили и выносили. Митрополит читал молитву так внятно и явственно, что во всех концах церкви было слышно, может быть и оттого, что вместе с коленопреклонением вдруг водворилась глубокая, необыкновенно торжественная тишина: всякий ловил каждое слово молитвы, заключавшей в себе прошение о здравии государя и о даровании ему победы над проклятым зажигою — Бонапарте. В молебствии участвовал опять Воржский и при возглашении многолетия, возвышая постепенно голос, на последних словах «многая лета», кончил таким громовым восклицанием, что удивил всех.

После обедни ходил взглянуть на вновь строящийся архитектором Воронихиным огромный собор. Здание будет великолепное: подражание собору св. Петра в Риме. Воронихин был дворовый человек графа Строганова, за талант отпущен им на волю и записан в службу; он строил для государя Павла Петровича Михайловский замок, в два с небольшим года достиг до чина надворного советника, а теперь уже коллежский. Один из его помощников, которого я случайно встретил, сказывал, что новый собор должен достроиться года через четыре и что мог бы готов быть и прежде, если б не останавливал недостаток в деньгах по случаю военных обстоятельств.

13 декабря,
четверг.

Человек располагает — бог определяет! Хотел было сегодня утром ехать представиться князю Лопухину, а вечером быть на вечеринке у своего хозяина, но сильно простудился и не попал ни туда, ни сюда. У князя Лопухина побывать успею, но что подумает Торсберг, на ласковое приглашение которого я не явился? Впрочем, я написал ему записку по-немецки, и он может

сам меня освидетельствовать. Альбини уверяет, что если я не выеду и не объемся чего-нибудь, то дня через три болезнь пройдет сама собою. Дай бог! Одному сидеть скучно. Принялся читать «Ossian's und Sined's Lieder».

14 декабря,
пятница.

Граф Монфокон навестил меня: приходил узнать, что со мною делается и отчего не видать меня в павильоне, то есть у Лабатов. Спасибо ему за посещение, а пуще за разные рассказы о добром старом времени во Франции. Он был некогда неизменным посетителем французского театра, коротко знал Лекеня, Бризара, Превиля, Моле, Монвеля, актрис Дюмениль, Клерон и Дюкло, которой был, кажется, счастливым обожателем. Монфокон предобрый человек, но все принимает к сердцу, всему придает какую-то важность, говорит всегда так, как будто сердится, и оттого говорит дурно. Сколько я заметить мог, это недостаток всех знатных эмигрантов, которых упорные характеры раздражены несбывшимися надеждами и продолжительным несчастием: они не терпят противоречия. Впрочем, мой граф Монфокон как ни спутанно говорит, но умел объяснить мне все придворные и закулисные интриги своего времени. Я узнал от него весь тогдашний Париж с его временщиками и временщицами, с его любезностью и легкомыслием, с его талантами и отсутствием здравого смысла.

15 декабря,
суббота.

П. О. Вейтбрехт, оставивший на время службу в Коллегии и определившийся в канцелярию генерала Татищева, учрежденную по случаю формирования милиции, сказывал, что там с часу на час ожидают известия о сражении, которое граф Каменский предполагал иметь с французами. Говорят, что старый фельдмаршал поклялся не уступать Бонапарте ни шагу, хотя бы армия его была вдвое многочисленнее нашей.

Но больному не до политики, да и нечего загадывать преждевременно: что произойдет, узнаем в свое время из официальных объявлений.

Гебгард с Н. И. Хмельницким попотчевали меня анекдотами. Первый, между прочим, рассказывал о проделках актрисы мадам Дальберг с своими покровителями, как, например, умела она заставить покровителя своего № 1, С. С. П., платить за подарки, делаемые ей покровителем № 2, Б.; а сей давал жалованье и содержание ее покровителю № 3, Л. Это прекрасный сюжет для комедии. Хмельницкий же морил меня со смеху, рассказывая об одном сановнике, который некогда имел большую значительность и с необыкновенною добротою души и ничем не возмущаемым хладнокровием соединял страсть говорить афоризмами. Он принимал многочисленных просителей своих весьма приветливо, выслушивал их терпеливо, но никогда не мог объясниться с ними положительно и всегда оставлял их в недоумении. Например, одному заслуженному чиновнику, ходатайствовавшему о пенсии, он никак не мог сказать просто, что пенсия ему назначена, но на вопрос старика, не последовало ли милостивой резолюции на его просьбу и что он надеется на просимую милость, сановник отвечал: «Надежда доставляет человеку истинные радости, а иногда и большие огорчения».— «Но, ваше превосходительство, я служил верою и правдою, и мне кажется, что имею некоторое право утруждать вас; иначе у меня недостало бы на это духа».— «Когда недостает духу поддерживать право свое, оно навсегда потеряно».— «Так неужели, ваше превосходительство, я так несчастлив, что мне отказано, и как должен я судить об этом отказе?» — «Судить о том, чего мы не знаем, есть большое заблуждение».— «Следовательно, ваше превосходительство, можете обещать мне исполнить мою просьбу?» — «Люди обещают по своим намерениям и держат обещания по обстоятельствам...»

В другой раз, прочитав просьбу одной очень богатой провинциальной вдовы, которая добивалась какого-нибудь почетного звания, для того чтоб открыть роскошный дом и, как выражалась она, покормить Петербург, он спросил ее: какого же именно звания она желает? «Да мне хочется быть при дворе,— отвечала вдова,— например, хоть бы фрейлиною».—

«Фрейлиною?» — возразил озадаченный сановник, но потом, спохватившись, сказал: «Впрочем, на милость образца нет».

Вот настоящий дипломат!

16 декабря, воскресенье.

Послезавтра Альбини обещал выпустить меня из клетки, и я мысленно наслаждаюсь будущею моею свободою; теперь же покамест довольствуюсь и тем, что некоторые знакомые не оставляют посещать меня. Не знаю, как узнал старый соученик мой, Левандовский, что я в Петербурге и занемог, и тотчас же навестил меня. Он большой приятель с Анастасевичем, плохим переводчиком «Федры», который живет почти против меня, и предлагал познакомить с ним, но я не хочу заводить большого знакомства, пока не пообживусь в Петербурге.

Я посылал отыскать знакомца моего, живописца Т. Ф. Дурнова, который так заинтересовал меня в прошедшем году в Липецке хвастовством своим. Он явился сам, с возвратившимся человеком, и мы оба взаимно друг другу обрадовались — он, вероятно, потому, что нашел случай перед кем прихвастнуть, а я, с своей стороны, потому, что в теперешнем болезненном моем одиночестве такой человек, как он, сущий клад. Сказывал, что пишет картину, которой сюжетом «Убиение младенцев» [1]. «Это не картина, а чудо! — говорил он.— Наглядеться нельзя, не оторвешься от ней; три фигуры: мать, ребенок и воин, но как исполнены — уж не Пуссену чета!» Между прочим, рассказывал, что живописцы Егоров, Шебуев и Боровиковский занимаются изготовлением образов для Казанской церкви. «Да что,— примолвил он,— плохо дело подвигается. Вот кабы поручили нашему брату, так мы бы им показали, как должно писать иконы; а между тем дай-ка я спишу с вас портрет: такой сделаю, что и на Вандика после смотреть на захочешь». Любезный Рафаэль — Дурнов просидел до 9 часов вечера, выпил дюжины две чашек

[1] Эта картина находится в Академии художеств — и точно хороша. (*Позднейшее примеч.*)

чаю и оставил меня с сожалением, обещая возвратиться скоро и потолковать о портрете.

17 декабря, понедельник.

Приходил Александр Васильевич Приклонский с разными вестями. В канцелярии министра и в Коллегии толков и разговоров не оберешься по случаю полученного известия, что граф Каменский 13-го числа вдруг отказался от командования армиею и, сдав ее старшему по себе генералу Беннигсену, уехал самопроизвольно в какое-то местечко, а между тем неприятель в виду и сражение должно было произойти на другой день. Все недоумевают о причине такого непонятного и неслыханного поступка, который можно отнести только к внезапному помешательству; да иначе и толковать его нельзя, потому что невозможно подумать, чтоб граф Каменский, оставший меч Екатерины, булат обдержанный в боях, как назвал его Державин, бежал с места сражения. Если б даже и подлинно, как предполагают, граф Каменский имел несчастие узнать, по неосторожности одного из подчиненных ему генералов, о недоверчивости государя к его распоряжениям, по случаю преклонности его лет — недоверчивости, столь естественной в настоящих важных обстоятельствах,— то и тогда бы следовало ему не сетовать, а по-суворовски доказать противное, разбив наголову Бонапарте и аггелов его.

18 декабря, вторник.

Сегодня в первый раз вышел на воздух, прогулялся по тротуарам и затем отдохнул у своих соседей, которых не знаю как благодарить за нежные попечения о моем сиротстве. Хотел начать свои выезды, но Альбини уговорил отложить их до завтра, причем Schwester Dorchen премило напомнила мне о русской пословице: береженого бог бережет.

А между тем в городе носятся слухи, что сражение с французами происходит, если уже не произошло, и

с часу на час ожидают курьера с обстоятельным донесением государю. Помоги бог!

Что за прелестные вещи нашел я в «Sined's Lieder»! Маленькая поэма «Die October-Nacht», по мнению моему, ни в чем не уступает поэмам Оссиановым: то же воображение, та же неопределенность образов и, если дозволено так выразиться, та же привлекательная заоблачность. Прекрасно! Но я уверен, что не понравился бы положительному нашему Алексею Федоровичу. Впрочем, о вкусах спорить нельзя: он и «Артабана» моего назвал, как я предчувствовал, барабаном и ахинеею, а между тем Гаврила Романович его хвалит.

19 декабря,
среда.

Выезд мой как нельзя более удачен и счастлив: всюду радость, и на всех веселые лица. Курьер из армии прибыл и привез известие о победе, одержанной генералом Беннигсеном при Пултуске, на другой же день отъезда графа Каменского из армии. Сражение было кровопролитное. Французы дрались храбро, напирали отчаянно, но мы устояли и победили. Конечно, потеря в людях и с нашей стороны велика, но зато французов легло вдвое более. Илья Карлович говорит, что дело, однако же, не кончено и Беннигсен не остановится на этой победе, а пойдет вперед. Что будет, то будет; по крайней мере мы дали себя знать, и первый блин не комом!

За обедом у Лабата старый иезуит аббат Пенгелли, пользующийся общим уважением и домашний друг дюка де Серра Каприола, сказывал, что есть слухи, будто бы в Париже не очень спокойно и ежедневно открывают сношения роялистов с некоторыми тамошними капиталистами, но что министр полиции Фуше, который все знает, не обо всем и не о всех сообщает Бонапарте, во избежание огласки, а довольствуется только безгласным унижением замыслов королевской партии. Потому думают, что Фуше едва ли не бьет на всякий случай на обе руки.

20 декабря,
четверг.

Гаврила Романович спрашивал меня: был ли я у князя Лопухина и графа Румянцева, и на ответ мой, что, по болезни, быть еще не успел, сказал: «Экой ты, братец! Да поезжай к ним, и особенно к князю; только снорови к нему утром, часу в десятом; я предуведомил его, и он рад будет принять тебя». Завтра поеду.

За обедом А. В. Казадаев — кажется, директор или командир Горного корпуса,— очень умный, знающий и начитанный человек, сказывал, что есть положительные сведения из Сибири о нахождении там вновь золотой руды, почти на поверхности земли, в виде песка, и что места, где руда эта находится, давно уже известны местным жителям, но они содержат их в тайне не только от начальства, но и от самих купцов, производящих с ними меновую торговлю, единственных людей, имеющих сношения с отдаленными братскими народами.

Да, у хозяина моего вечера превеселые! Много хорошеньких, миловидных немочек и молодых людей, очень порядочных, из которых многие были расфранчены в пух. Что касается до собратий эскулаповых, то были некоторые из самых именитейших. Я повстречал лейбмедиков Фрейганга и Бека, докторов Симпсона, Рюля, Сутгофа, Штофрегена и др.; более всех мне пришлись по сердцу Штофреген и глухой Сутгоф: в этих людях много учености и еще более добродушия. Несмотря на свое значение, они совсем не на ходулях, как бóльшая часть таких людей, которым неожиданно улыбнулось счастье. Штофреген — уроженец рижский; он здесь один из первых последователей Месмера и хотя негласно, но пользует иных больных посредством магнетизма.

Пожилые люди занимались игрою в бостон, а молодые бренчали на фортепьяно и пели французские романсы и немецкие песни. Последние напомнили мне Москву и много потраченного даром времени. Я слушал их, не отходя от фортепьяно, пока не ударило 11 часов и все не пошли на ужин, от которого я отказался, под предлогом недавнего выздоровления, и вот в одинокой своей келье записываю на сон грядущий:

«Едва ли не даром еще прожитый день!»

21 декабря,
пятница.

В 10-м часу явился я к князю П. В. Лопухину. Меня впустили без доклада, потому что, кажется, и всех без доклада принимали. Какой-то молодой человек подошел ко мне с вопросом: «Что вам угодно?» — «Ничего,— отвечал я,— хочу только вручить его светлости вот это письмо от Г. Р. Державина». Юноша предложил мне отнести письмо к князю, но, увидев, что оно за открытою печатью, спохватился и сказал, что князь занимается с директором Салтыковым и экспедиторами Столыпиным и Ниловым, но чрез полчаса будет свободен и тогда он обо мне доложит. Я покамест сел на истертый, вероятно просителями, диван и прождал около часу. По выходе директора с экспедиторами, молодой человек побежал доложить обо мне и, тотчас же возвратившись назад, объявил мне с улыбкою и чрезвычайно ласково, что князь просит меня приехать к нему в час пополудни. Я отправился покамест в Коллегию и ровно в час был опять в той же приемной зале. Вскоре меня пригласили в кабинет министра. Князь сидел на диване, опершись обеими руками на стол и поддерживая ими голову — прекрасную голову мужчины лет пятидесяти пяти с чем-нибудь, и читал книгу, кажется французскую энциклопедию. Я подал ему письмо, которое прочитав и положив на стол, «садись, братец,— сказал он,— что делает Г. Р. и давно ли ты знаком с ним?». Я рассказал ему историю нашего знакомства и прибавил, что я никогда бы не осмелился беспокоить его светлость, если б Г. Р. настоятельно того не потребовал. «Почему ж и не так? — сказал он.— Да ты определился уж куда-нибудь?» Я отвечал, что определился в Иностранную коллегию. «Похлопочи, чтоб тебя перевели в канцелярию министра, а то в Коллегии столько вас, что ни до чего не добьешься».— «Но у меня нет никакого случая»,— сказал я. «Да, нечего таить греха,— молвил он со вздохом,— без случая всегда и везде плохо». Тут доложили ему о приходе какого-то толстенького г. Розенкампфа, который и вошел вслед за докладчиком, раскланиваясь и прижимая к груди шляпу. Князь, кажется, был рад его приходу, потому что, сколько я заметил, едва ли он не тяготился мной. Я встал и стал откланиваться. «Княгиня моя по утрам только вы-

езжает,— сказал он, отпуская меня,— а по вечерам всегда бывает дома. Приходи, я познакомлю тебя с ней».

Воспользуюсь милостивым приглашением при случае, но теперь что могу сказать о князе-министре, кроме того, что я никого не встречал в его лета с такими прекрасными, правильными чертами лица и что он снисходительно принимает даже и тех людей, которые, не имея к нему никаких определенных отношений, ни надобности, попали в кабинет его, может быть, не совсем вовремя?

Одна комиссия сошла с рук; остается представиться графу Румянцеву, но этот подвиг можно отложить и до праздников.

23 декабря,
воскресенье.

Третьего дня был у человека, который, по-видимому, равнодушен ко всему, ни в чем не принимает участия и у которого на прекрасном лице как будто напечатано немецкое «abgelebt»[1]. Смотря на него, я думал, как должно быть тяжело тому, кому все наскучило! И вот сегодня встретился с человеком таких же лет, но совершенным его антиподом: живой, пламенный ученый, но применивший ученость свою к практике, необыкновенно здравомыслящий и одаренный таким простым русским красноречием, что я невольно его заслушался. Этот человек — врач Осип Кириллович Каменецкий, похожий фигурою и даже образом изъяснения на нашего Невзорова. Гаврила Романович очень уважает его, и не мудрено: кажется, у них свойства одинаковые — любят истину и не боятся ее выражать всякий по-своему.

В числе утренних посетителей у Гаврила Романовича находился возвратившийся из чужих краев Дмитрий Иванович Павлов, человек очень достаточный и принадлежащий по службе к обер-егермейстерскому ведомству. Он принят прекрасно в доме Д. Л. Нарышкина, своего начальника, и особенно на половине Марьи Антоновны. Он заговорил о заграничной жизни и о ее удобствах, о дешевизне мануфактурных произведений

[1] Отжито (*нем.*).

и жизненных припасов, о ловкости служителей и, между прочим, довольно резким тоном стал утверждать, что для него всегда странно казалось смотреть на огромное количество дворовых слуг, которые составляют принадлежность домашнего быта не только наших бар, но и самых небогатых помещиков, что это совершенно бесполезная роскошь и что достаточно, как это бывает в чужих краях, двух или трех человек для услуг самого богатого дома. К этому присовокупил он, что давно бы пора приняться за ум: ввести у нас такой же порядок и уничтожить всю эту дворню, которая съедает половину доходов наших. «А позвольте вам сказать,— возразил Каменецкий,— не напрасно ли вы слишком вооружаетесь против этой многочисленной прислуги наших помещиков? Дворня ваша составлена не вами, а вашими предками, и вы наследовали ее от них вместе с их привычками и вкусами, с их образом жизни и даже, большею частью, образом их мыслей. Этот образ жизни как прежде был основан на местных условиях, так и остался и теперь. Иному кажется, что наступило другое время, что свет изменился, люди тоже, а ничего не бывало: и время и люди сходны меж собою. Настоящие русские помещики, не исключая и вас, такие же, какими они были за сто лет назад, за исключением, может быть, некоторых понятий, которые, с постепенным и неприметным развитием образованности, должны были необходимо измениться в них. Давно-давно придумывают средства, как бы уменьшить дворню и даже совсем освободиться от нее, но до сих пор еще ничего не придумали. Граф Ф. Г. Орлов, который был, что называется, русская здоровая голова, говорил: «Хотите, чтоб помещик не имел дворни, сделайте, чтоб он не был ни псовым, ни ко́нским охотником, уничтожьте в нем страсть к гостеприимству, обратите его в купца или мануфактуриста и заставьте его заниматься одним — ковать деньги». Скажут, что можно быть псовым и конским охотником и гостеприимным хозяином без того, чтоб не прислуживали вам двадцать человек,— справедливо, но тогда вы должны будете прибегнуть к найму специальных людей, которых количество хотя будет и втрое меньше, но содержание их будет стоить втрое дороже, а сверх того, что они не могут представить никакого обеспечения в своей исправности, куда девать своих? обратить в крестьян, завести фаб-

рику? С первым способом будет сопряжено насилие, и оно не удастся, потому что эти люди понатерлись около вас, более или менее образованы по вашей мерке, охотно за соху не примутся, и употребить их в такую работу, к которой они не чувствуют ни склонности, ни способности и которую почитают для себя унижением,— жестоко и несправедливо. Фабрики же не помещичье дело и редко могут быть выгодны для купца. Да и зачем вам жаловаться, что вас съела дворня? Пусть ест: чем у вас ее больше, тем больше к вам уважения: это вывеска, что живете не для одного себя, а кормите и поите других. Не походить же вам на англичан, у которых только и правил, что взаимные услуги: служишь — плачу тебе; отслужил — со двора долой. Эх-ма! За службу сына корми отца и за службу отца воспитывай сына, а то все фабрики да заведения, глядишь — и разорился: ни фабрик, ни заведений! За двумя зайцами не гонятся: либо дворянин, либо купец — что-нибудь одно».

Прав или не прав почтенный Осип Кириллович, я определять не берусь, но во всяком случае спасибо ему за урок молодцу, который сам обойтись не может без двух камердинеров, десятка официантов и лакеев и двух десятков конюхов, псарей, доезжачих и охотников, что и составляет его заслуги по егермейстерской части. Не спорю, что заводить многочисленную дворню тому, у кого ее нет, было бы безрассудно, но если она уже есть — как быть! Сноси терпеливо сопряженные с нею невыгоды за те выгоды, которые она тебе доставляет.

24 декабря,
понедельник.

Сегодня обрадован я был встречею с земляком моим П. Н. Кобяковым. Он служит здесь в Военной коллегии и несколько занимается театральною литературою. Добрый малый! Он сказывал, что очень знаком со всеми русскими актерами, особенно с Воробьевым и семейством Самойловых, для которых перевел французскую оперку «Les Amants Protées» под названием «Оборотни»; все арии в этой опере переводил для него, в кратковременную здесь бытность, А. Ф. Воейков. Кобяков признался, что стихов писать вовсе не умеет и

просит меня перевести для него несколько арий из какой-то новой оперы, которую он намерен отдать своим приятелям для их бенефиса, а за эту услугу обещал познакомить меня с ними. Это, что называется, загребать жар чужими руками, но делать нечего — земляку помочь надобно.

Чем более я вглядывался в Кобякова, тем более находил в нем сходства с отцом его, который находится в такой связи с рязанским нашим магогом Л. Д. Измайловым, что во время бывающих у него оргий имеет право садиться к нему на колени и говорить ему «ты»; такой же маленький и кругленький, такой же охотник переливать из пустого в порожнее и в разговорах обыкновенно так же растопыривать пальцы. Он очень любит рассуждать о театре, в который ходит ежедневно даром. Сказывал, что Воробьев отличный певец, музыкант и актер, особенно в операх, переведенных с итальянского, и что терпеть не может музыку таких опер, как «Новое семейство», «Федул с детьми», «Два охотника» и проч., называя ее английскою музыкою; по словам его, Воробьев человек очень невоздержный, но невоздержность не мешает ему исполнять свою обязанность рачительно и добросовестно, потому что в тот день, когда играет, он ничего не пьет, кроме воды, и никого к себе не пускает. Кобяков прибавил, что русская пословица: пьян да умен — два угодья в нем — как будто нарочно сложена для Воробьева.

25 декабря, вторник.

Вот мои сегодняшние утренние визиты: был у Державина, князя Лопухина, Ададурова, Вестмана, Эллизена, А. И. Корсакова и князя Дондукова-Корсакова; к Будбергу нечего было и ездить: он не принимает; старичка своего Лабата поздравил у него за обедом, у А. И. Корсакова пробыл более часу, потому что он преблагосклонно позволил мне полюбоваться бесподобною своею картинною галереею. Какие сокровища! Он совершенный знаток в картинах; между прочим, сказал, что большая их часть приобретена им за бесценок при разных случаях, как то: иногда у незнающих охотников, а иногда у менял и даже на рынках у продавцов всякой ветхой рухляди.

В кабинете у него я заметил пяльцы с вышитым по канве изображением богоматери. Мне показалось искусство необычайным; точно миниатюрная живопись. Я думал, что это работа какой-нибудь дамы, но А. И. объявил мне, что в свободное время он вышивает сам и очень любит это занятие. Я изумился и едва мог поверить, чтоб этот почтенный человек мог быть такой великий искусник на женские рукоделья; однако ж за обедом у Лабата Иван Петрович Эйнбродт подтвердил мне справедливость слов его и при этом рассказал, как это необыкновенное искусство его в вышиванье однажды было поводом к очень забавному недоразумению. Алексей Иванович поднес ее величеству императрице Марии Федоровне вышитую картину своей работы, которая могла назваться чудом искусства и терпения. Императрица, не думая, чтоб такое превосходное шитье могло быть делом мужчины и особенно таких лет, каких был Корсаков, приняла эту картину за приношение которой-нибудь из ближних его родственниц и, по доброте души своей, благоволила послать ему, в знак своего удовольствия, бриллиантовые серьги. Анекдот распространился с разными прибавлениями и комментариями, но дело было так, а не иначе.

26 декабря,
среда.

С удовольствием читал высочайший рескрипт Пашкову за уступку дома на Моховой для помещения театра. Старику это будет приятно, а с ним вместе порадуются и хлебосолы Ренкевичевы. Несмотря что я далеко от Москвы, сердце невольно прыгает от радости при всяком добром известии из Белокаменной, и вообще все, что до нее касается, возбуждает во мне какое-то неизъяснимое живое участие. Москва мне родина, но сделалась больше, чем родина, потому что в ней научился я мыслить и чувствовать. Люди родятся дважды: физически и нравственно; в последнем отношении я уроженец московский.

А какой мой Снегирь-Nemo? Получил от него предлинное и премилое письмо, которым, между прочим, извещает, что в прошедшую субботу, 22-го числа, он ездил во французский спектакль единственно в мое вос-

поминание и для того, чтоб сообщить мне что-нибудь о московском театре, и, к счастию, попал, как он выражается, на казус. Давали «La Petite Ville» Пикара и «Les Fausses confidences». Первая пьеса прошла благополучно, но в последней произошла сумятица за кулисами по случаю драки двух участвовавших в пьесе актеров. Престрашная оплеуха, полученная Девремоном, раздалась на весь театр, произвела смятение в актерах, и пьеса доиграна была кое-как от несвоевременного выхода задорных персонажей на сцену.

Земляк мой, Кобяков, принес мне либретто итальянской оперы «Impressario in Angustio» и просит перевести в ней все арии, а речитативы берется перевести сам прозою. Чудак! речитативов во всей опере, по обычаю итальянцев, не наберется и трех страниц, а все действие заключается в пении, то есть ариях, дуэтах, терцетах и огромном финале, составляющем почти половину всей пьесы. Это уж не игрушка, а работа. Постараюсь от ней избавиться, но едва ли успею. Малыш Кобяков говорит, что Воробьев и Самойлов будут сами о том просить меня.

27 декабря,
четверг.

Во французском спектакле видел «Лодоиску»: отлично обставлена и музыка прекрасная. Тирана играет Андрие, любовника — Сен-Леон, Лодоиску — мадам Бертен, а татарина Титзикана — Меес. Последний великолепен, всем взял: фигурой, игрою и голосом — таким огромным, но приятным басом, что заслушаешься. Гунниус, конечно, один из лучших театральных басов в Европе, но с Меесом не может идти в сравнение. Конечно, последний поет только французскую музыку, а каково бы он спел партии Ассура, Зороастра, Лепорелло или Хоразмина — еще неизвестно, но, как бы то ни было, Меес певец отличный, а как актер — нечего и говорить! Арию с хором:

Sachez que les Tartares
Ne sont barbares
Qu'avec leurs ennemis [1],—

---

[1] Знайте, что татары обращаются по-варварски только со своими врагами (*франц.*).

пропел он увлекательно, и публика была в восхищении. В игре этого человека пропасть энергии, да сверх того он и комик отличный. Сен-Леон, молодой певец и актер, очень приятной наружности и голос имеет симпатический. Он из хорошей дворянской фамилии и приехал сюда за мадам Бертен, в которую был влюблен страстно. Теперь, говорят, эта страсть угасла, и он возвращается к семейству, как только кончится срок контракта. Но мадам Бертен не останется вдовою, и место его при ней занимает, если уж не занял, капельмейстер Боельдье, сочинитель прелестной музыки «Багдадского калифа», а на сцене заместит его какой-то Жозеф. В начале спектакля давали Мольерову комедию «Les Précieuses ridicules», в которой Фрожер в роли слуги, переодетого барином, заставлял хохотать до слез. Это актер преуморительный. Правда, он играл несколько карикатурно, но что до того, если и самая роль не что иное, как карикатура? Театр был полон. В антрактах я глядел на ложи первого яруса и очень был рад увидеть красавицу Марью Антоновну: она несколько полна, но что за ангельская голова и какие роскошные плечи!..

28 декабря,
пятница.

Заходил к Петру Александровичу Рахманову, приехавшему сюда с намерением вновь вступить в военную службу. «Надоело,— говорит он,— таскаться по чужим краям; запасшись знаниями, надо приложить их к делу». Очень умный человек и гораздо умнее, чем показался он мне прежде, когда встретил я его в первый раз в Москве у К. А. Муромцевой. Тогда рассуждал он о всевозможных предметах, начиная с математики, специальной его части, до музыки и даже танцев, так определительно и свысока, что поневоле должно было принять его за педанта, желающего блеснуть своими сведениями; теперь нахожу, что если говорит он много, так это потому, что очень откровенен и сообщителен. Нашел у него еще одного нашего москвича, В. Ф. Вельяминова-Зернова, с которым Рахманов покамест от нечего делать переводит оперу «Орфей», музыка сочинения Глука, от которой он в восторге. Я выразил ему

свое удивление, что такой великий математик занимается операми и любит музыку. «Что вы говорите! — отвечал он.— Да я природный музыкант и сам сочиняю симфонии и квартеты, а вот сочинил и балет».— И с этим словом указал он мне на претолстую тетрадь с нотами. «Ну,— подумал я,— теперь после таких двух примеров, как Рахманов и наш Гаврило Иванович Мягков, математик-арфист, бесполезно утверждать, что математики не могут быть музыкантами и даже поэтами». Вельяминов-Зернов служит по Министерству юстиции, но жалуется, что почти не имеет занятий и не получает никакого жалованья. Он малый очень неглупый и со сведениями, но, кажется, стеснен обстоятельствами.

Математик-музыкант, в продолжение разговоров своих, попал на одну идею, которая поразила меня своею справедливостью. «При начале всякой карьеры,— сказал он,— молодому человеку надобно заботиться только о том: чтоб угадать свое призвание. Попал он в свою колею — дело сделано и, несмотря на все препятствия, он непременно достигнет своей цели; в противном случае, батюшка, ни ваши таланты, ни ваши протекции ничего не сделают: получишь чинок-другой, а все-таки кончится тем, что поедешь в Саратовскую губернию planter vos choux [1] или порскать под гончими и хлопать арапником».

29 декабря,
суббота.

Граф Румянцев настоящий министр: какая осанка и вежливая обходительность, как говорит красноречиво и умно! Он обворожил меня своим милостивым приемом, спрашивал о моем воспитании, о настоящих занятиях, о знакомстве с Гаврилом Романовичем и кончил тем, что дозволил мне, в случае перемены обстоятельств или намерений моих насчет службы, обратиться к нему и что он тогда не откажет мне в своем содействии. Я вышел из приемной залы совершенно им очарованный. Графу Румянцеву не более пятидесяти пяти лет, и если судить по бюсту отца его, который я видел у И. И. Дмит-

[1] Сажать капусту (*франц.*).

риева, то он должен быть очень похож лицом на героя кагульского.

Дожидаясь выхода министерского в аудиенц-залу, я с любопытством рассматривал толпу окружавших меня чиновников, между которыми заметил директора графской канцелярии Ф. П. Львова, родственника Гаврила Романовича, и экспедитора П. А. Словцова, известного необыкновенными своими способностями. В одном чиновнике узнал я Панина, который с такою благосклонностью рассказывал мне в театре об Огюсте и мадам Шевалье. Он подошел ко мне и очень снисходительно разговорился со мною. Сказывал, что служит в канцелярии графа столоначальником, и спрашивал, какую я имею до графа надобность. Я объяснил ему, что собственно не имею никакой, но что Г. Р. Державину угодно было, чтоб я представился графу. Он удивился. «Так почему ж,— сказал он,— Г. Р. не поручил Львову представить вас? Он пользуется благосклонностью графа и сам обязан местом своим рекомендации Гаврила Романовича». Между прочим, Панин рассказал мне, что он рекомендован графу П. С. Молчановым, и, узнав от меня, что я также был несколько знаком с ним в Москве, сообщил мне о скором его приезде сюда, по окончании возложенных на него исследований о злоупотреблениях в Псковской и Саратовской губерниях, и что, вероятно, он при первом удобном случае получит какое-нибудь важное назначение, потому что князь Куракин и граф Румянцев, имея большое доверие к его способностям и знанию дел, успели обратить на него внимание государя. Он присовокупил, что экспедитор Словцов старинный приятель как ему, так и М. М. Сперанскому, потому что они, как изъяснился Панин, все однокашники.

30 декабря,
воскресенье.

Кобяков, приходивший за своими ариями, сказывал, что на театре разучивают новую трагедию Озерова «Димитрий Донской». Говорит, что это произведение гениальное и является очень кстати в теперешних обстоятельствах, потому что наполнено множеством патриотических стихов, которые во время представле-

ния должны произвести необыкновенный эффект. Кобяков говорил, что в трагедии участвуют все лучшие актеры и что Яковлев в ней особенно превосходен. Я не очень доверяю знанию и вкусу моего земляка, но, может, он и прав. Посмотрим это чудо драматической поэзии.

Гаврила Романович хотел на этих днях представить меня А. Н. Оленину и О. П. Козодавлеву. «Тот и другой,— сказал он,— очень добрые люди. Первый имеет много должностей, очень занят и обязан беспрестанно выезжать, но зато жена домоседка и очень любезная женщина, радушно принимает своих знакомых ежедневно по вечерам. У них очень нескучно».

Гаврила Романович сказывал, что приятель и родственник его В. В. Капнист, написав комедию «Ябеда», неоднократно читал ее при многих посетителях у него, у Н. А. Львова и у А. Н. Оленина и когда в городе заговорили о неслыханной дерзости, с какою выведена в комедии безнравственность губернских чиновников и обнаружены их злоупотребления, Капнист, испугавшись, чтоб благонамеренность его не была перетолкована в худую сторону и он не был очернен во мнении императора, просил совета, что ему делать. «То же, что сделал Мольер со своим «Тартюфом»,— сказал ему Н. А. Львов,— испроси позволения посвятить твою комедию самому государю». Капнист последовал совету — и все толки умолкли. Те же самые люди, которые сначала так сильно вооружились против Капниста, вдруг переменили свое мнение и стали находить комедию превосходною. «Ябеда» была представлена на театре в бенефис актера Крутицкого, который отлично выполнил роль председателя. Г. Р. прибавил, что, конечно, комедия Капниста очень живо представляет взяточников, эту язву современного общества, но в последствиях совершенно бесполезна и, к сожалению, не обратит их на путь истинный.

Не постигаю пристрастия Державина к Боброву. Я читал и читаю его с величайшим вниманием, стараясь отыскать в нем что-нибудь, что бы затронуло душу,— ничего, решительно ничего! Воображение не только что мрачное, как у Юнга, но какое-то беспорядочное, и в картинах не нахожу никакой верности. При утомительном многословии мыслей мало, правда грому много, но этот гром театральный и не поражает. Вот уж можно сказать: много шуму из пустяков.

31 декабря,
понедельник.

Набожный контролер наш Ф. Д. Иванов заметил, что день пултускской победы, 14-го числа, пришелся в день памяти св. шести мучеников Фирса, Аполлония, Левкия и проч., в который, по уставу церковному, поется следующий кондак: «Благочестия веры поборницы, злочестивого мучителя оплеваше, обличисте зверообразное его кровопролитие и победисте того яростное противление, Христовою помощию укрепляемы». Странный случай! Этот кондак очень кстати обращен, быть может, к нашим воинам, участвовавшим в кровопролитной пултускской битве, как оставшимся в живых, так и павшим за отечество. Я сказал — случай, но, может быть, и не случай, а только нам так кажется.

Был в маскараде и в первый раз от роду видел такую многочисленную и блестящую публику. Кроме разнородных комически наряженных масок, танцевавших, прыгавших, дурачившихся и бесившихся напропалую, было много великолепно разодетых кадрилей, очень чинно расхаживавших и разговаривавших с некоторыми из сидевших в ложе дам. Мне очень понравилась одна женская маска, одетая разносчицею писем. Она интриговала очень многих и совала им в руки небольшие конвертцы, но, по замечанию моему, она обращалась только к известным значительным особам, как то: Н. Н. Новосильцеву, ходившему об руку с князем Чарторижским, к генерал-адъютанту Уварову, которого я видел в Москве на празднике, данном князю Багратиону, Л. Д. Нарышкину и князю Салтыкову, которые, распечатав эти конвертцы, очень смеялись. Я подошел к маске и спросил ее, нет ли ко мне письмеца? Но она, посмотрев на меня, с досадою отвечала: «Vous êtes encore trop imberbe pour recevoir des lettres de qui que ce soit; quand vous aurez un peu plus de barbe et un peu moins de présomption, je vous en apporterai» [1] — и с последним словом показала мне кукиш. Нечего сказать, воструха! вовсе не

---

[1] «Вы еще слишком безбородый, чтобы получать от кого-нибудь письма; когда у вас будет несколько больше бороды и несколько меньше претензий, я вам принесу письма» (*франц.*).

похожа на моих московских немок, с которыми встречал я в маскараде истекающий ныне год.

Я не дождался 12 часов, когда обыкновенно звуком труб и других духовых инструментов извещают о наступлении нового года, и поехал встретить его к Альбини, у которого застал семейную вечеринку и как раз попал к последнему двенадцатому удару державинского г л а г о л а в р е м е н. Поздравив Schwester Dorchen со всеми присутствующими бокалом шампанского и мысленно обняв всех своих вместе с тобою, мой возлюбленный, я предложил тост за здравие общего нашего благодетеля, и мы все хором возгласили:

Willkommen, neues Jahr!
Wir bringen fröhlich dar
Dir unsern Gruss.
Gewähr' uns Ruh und Glück!
Und Herz und Mund und Blick
Preis't jauchzend das Geschick
Und segnet dich.

Schütz Alexandern, Gott!
Wenn frech und wild ihn droht
Der Feinde Wuth:
Dann ziehe hoch und hehr
Vor Alexanders Heer
Dein guten Engel her
Und schlage sie! [1]

1807 год

1 января, вторник.

В наступившем году начинаю дневник мой календарным вступлением: «Благословиши венец лета благости твоея, господи!» — начинаю им потому, что хотя и не очень давно живу на свете, но успел уже убедиться, что без благословения свыше никакое начинание, как бы оно мелко ни было, не будет иметь успеха.

Отслушав обедню в Казанском соборе и побывав

---

[1] Добро пожаловать, новый год! Мы с радостью дарим тебе наш привет. Обещай нам покой и счастье! Пусть сердце, и уста, и взор восторженно славят судьбу и благословляют тебя. Храни, боже, Александра! Если ему дерзко и дико грозит ярость врагов, ниспошли Александрову войску своего доброго ангела и порази их! (*Нем.*)

с поздравлением у почтенного Ильи Карловича, я расположился провести целый день дома, но получил приглашение явиться в павильон к обеду и отказаться не смел. Эти добрые обитатели михайловского павильона лелеят меня, как родного сына, и я, право, совещусь, что до сих пор не могу ничем доказать им моей признательности. Обед, по обыкновению, был веселый, то есть шумный; разговоры и споры не прерывались ни на минуту, и случись тут посторонний, незнакомый человек, он подумал бы, что дело идет о каком-нибудь важном происшествии в семействе, а между тем ничуть не бывало: дочери утверждали, что надобно к предназначенному балу перекрыть мебель, а старик доказывал, что этого вовсе не нужно; дочерей поддерживал патер Локман, а старика — граф Монфокон, и вот пошел дым коромыслом! Наконец спор кончился тем, что бывший кастелан, всплеснув руками, как будто с горестью воскликнул: «O mes filles, mes filles, vous mourrez sur du fumier!»[1] — и тут же, сделав плутовскую гримасу, объявил, что обойщик три дня назад принес материю и если б не праздники, то мебель была бы уже обита заново. Вот это уж настоящая гасконада!

В пылу всех этих пустых разговоров и споров удалось мне поймать у патера Локмана преумное его истолкование одного изречения, часто употребляемого в разговорах о внезапно обогатившихся людях: «Il a vendu son âme au diable», или по-русски: «Он черту душу продал». «Эта поговорка,— сказал Локман,— имеет свое основание. Для приобретения богатства — говорю: богатства, а не обыкновенного достатка — необходимо иметь черствое сердце, широкую совесть и свойство не пренебрегать никакими средствами, противными правилам чести и доброй нравственности. Например, можно ли обогатиться собственным личным трудом? — никогда. Единственный результат, который человек может извлечь из личного труда, будет тот, что он не умрет с голоду, а если приобретет столько, чтоб иметь некоторые удобства в жизни, то это должно быть названо уже счастьем. Какие же средства к скорому приобретению богатства? Например, служить орудием развития порочных склонностей и возбудите-

[1] «О дочки мои, дочки, вы умрете под забором!» (Буквально: «на навозе»; *франц.*).

лем их не то же ли, что *продать душу черту*? Получить доходное место, брать взятки и употреблять во зло доверие правительства не значит ли также *продать душу черту*? Войти в подряды с казною, брать за поставляемые вещи или припасы низшего качества ту же цену, как бы они были высшего, подкупая приемщиков, разве не то же, что *продать душу черту*? Наконец, набогатиться отдачею денег в рост, или чрезмерною скупостью, или обращением труда других в свою пользу, или угождением и потворством слабостям и страстям человеческим — не то же ли в самом деле, что *продать душу черту*, то есть отступить от правил, предписываемых человеку учением христианским? Вот и настоящее значение этой поговорки, которая, как мне известно, существует у всех народов в одних и тех же выражениях».

Патер Локман, несмотря на то что великий спорщик, очень умный человек, и беседы с ним всегда более или менее поучительны.

2 января,
среда.

У Державина нашел я великого Дмитревского, которому и был представлен в качестве трагика. Певец Фелицы заставил краснеть меня похвалами моему «Артабану». «Прочитай, братец,— говорил он Ивану Афанасьевичу,— его трагедию — удивишься: я сам оторваться от нее не мог. Откуда только он выкопал такое происшествие, да и стихи такие гладкие, звучные и громкие, что, право, не подумаешь, чтоб это было сочинение 18-летнего мальчика. Дай-ка ему посозреть, так выйдет настоящий Бобров». Дмитревский тотчас же просил меня доставить ему удовольствие прослушать мою трагедию и назначил мне явиться к нему завтра утром. Не знаю, как благодарить Гаврила Романовича и чем могу заслужить его милости; я едва не плачу от восхищения...

Дедушка не прав, описав мне Дмитревского какимто притворщиком. Конечно, у него манеры старинного придворного: такая же вежливость и он так же изъясняется отборными выражениями, но разве это худо? Мне кажется, вся сила в том, что дедушка из суфлер-

ской дыры своей не мог изучить обычаев высшего общества и наблюдение светских приличий принял за притворство.

Наружность Дмитревского чрезвычайно живописна: сед как лунь, волосы зачесывает назад, черты лица имеет необыкновенно правильные, физиономию привлекательную и выразительную, глаза умные, с поволокою, движения тихие и размеренные и ходит, от старости, сгорбившись. Он был чрезвычайно опрятно одет: в суконном коричневом кафтане французского покроя с стальными пуговицами, шитом шелковом жилете, в брыжжах и манжетах,— словом, точно походил более на старого царедворца, чем на старого актера. Жаль, что голова у него беспрестанно трясется, но прожить 72 года в беспрерывных трудах и опасениях за себя и других — не безделка, поневоле затрясешь головою!

Ф. П. Львов, рассуждая с Дмитревским о его путешествии в Париж, спросил его, между прочим: справедливо ли, что он там играл на театре вместе с Гарриком и Лекеном? «Никогда,— отвечал он,— я не мог играть с Гарриком потому, что не знаю английского языка, а Гаррик необыкновенно дурно изъяснялся по-французски. С Лекеном же мне играть не было возможности по той причине, что наши амплуа были одинаковы, и если я знал некоторые роли из французских трагедий, так это те же самые, которые играл и Лекен. Впрочем, я не так был и самонадеян, чтоб состязаться с этими исполинами театрального искусства, и особенно с Лекеном, который был гений в своем роде. Конечно, и Гаррик был великий человек, но скорее к о м е д и а н т, чем актер, то есть подражатель природе в обыкновенной нашей жизни, между тем как Лекен создавал типы персонажей исторических. Надобно было видеть Лекена в ролях Магомета, Танкреда, Оросмана, Замора и Эдипа-царя, чтоб постигнуть, до какой степени совершенства может быть доведено сценическое искусство, потому что вообразить себе этого нельзя. Лекен и мадам Дюмениль — это настоящие трагические божества, и в последней если было менее искусства, то чуть ли еще не больше таланта».

3 января,
четверг.

Едва только рассвело, как я уже был на ногах, чтоб бежать к Дмитревскому с моим «Артабаном». Но зачем ходил я к нему, окаянный? Все мечты мои, как хрусталь Альнаскара, разлетелись вдребезги, и я разженился с любимою моею идеею — видеть когда-нибудь «Артабана» на сцене; эту идею, бог ему судья, вселил в бедную мою голову Гаврило Романович, ангел доброты, но в этом случае демон-соблазнитель. Не беда, что пятимесячный труд мой невозвратно пропал, но беда в том, что я потерял доверенность к самому себе и к своему таланту и превращаюсь опять в переводчика и сочинителя разных дюжинных опер и пошлых арий. O weh, o weh! [1]

В десять часов утра я был у нашего Росциуса, который принял меня необыкновенно ласково. Он был одет точно так же, как и вчера, и сидел в больших креслах. «Очень, очень рад, душа,— сказал он,— видеть вас и прослушать трагедию вашу. Садитесь сюда в кресла, а я посижу на диване, но прежде надобно запереться, чтоб нам не мешали». Он встал и запер дверь. «Ну, теперь начните, да читайте не торопясь: у нас времени много». Я начал читать, по наставлению Мерзлякова, громко, но Дмитревский остановил меня, примолвив: «Лучше потише, душа, а то устанешь». Я переменил тон и дошел до конца 1-го действия — и что ж? Дмитревский заснул! Я остановился, но он, вдруг очнувшись, вскрикнул: «Прекрасно! Да на каком мы действии остановились?» При этом вопросе у меня опустились руки, и я хотел сложить тетрадь свою, но Дмитревский настоял, чтоб я продолжал чтение. Кое-как добрался я до конца пьесы и спросил сонного моего слушателя, что он о ней думает и может ли она быть представлена на театре. Дмитревский отвечал, что трагедия точно отличная и прекрасно написана, но что есть некоторые длинноты и уж слишком страшна, так страшна, что, по мнению его, зрители не усидят на местах своих; что она сделала бы огромный эффект на сцене французского театра, потому что французская публика скорее поняла бы и оценила ее красоты

[1] Увы, увы! (*Нем.*)

и великолепие стихов; что, конечно, экспозиция немножко растянута, сюжет развивается медленно, что заметна некоторая путаница в расположении сцен, а в развязке какая-то внезапность и что самые стихи можно бы смягчить и ближе применить их к характерам персонажей, но что, впрочем, все прекрасно, бесподобно, восхитительно!

Я обомлел от удивления, слыша от Дмитревского такие неопределенные похвалы вместе с такими ясными намеками на негодность моей трагедии, и вспомнил слова дедушки. Господи боже мой! да из чего же было все это пустословие? — чтоб мне дать почувствовать, что мой «Артабан» никуда не годится. Эх-ма, старик! сказал бы напрямки — и дело с концом. А то: «все так прекрасно, что хоть плюнуть, и все так бесподобно, что хоть за окошко брось!». Но, видно, не я первый, не я и последний.

Чтоб не обнаружить пред стариком моего огорчения и не показать ему, что я понял его намеки, я не вдруг оставил его и завел речь о настоящем составе русской труппы. «Есть прекраснейшие сюжеты,— сказал он мне,— и с большими талантами. Советую посещать русский театр чаще: в трагедиях вы увидите Шушерина и Яковлева, которые могли бы назваться первоклассными актерами, если б не были избалованы нашею публикою и всегда старательно выполняли свои роли. Увидите молодую Семенову, которая подает большие надежды. Что касается до актеров комических, то мы имеем двух-трех человек таких, которые могли бы с честью стоять наряду с лучшими комиками прежней французской сцены; например, Рыкалов и Пономарев; первый в ролях à manteaux и в financiers [1] превосходит даже Крутицкого, а последний — грим необыкновенный, потому что не карикатура, но естествен и отлично понимает свои роли; жаль только, что память начинает изменять ему. В операх первое место принадлежит Воробьеву: несмотря на утрату голоса, он настоящий буфф, вроде итальянских буффов, только гораздо благороднее их и одарен удивительно сообщительною веселостью. Молодые Самойловы также очень хороши; очень жаль, что Самойлова не играет в комедиях: это была бы превосходная субретка, особенно в

---

[1] Плаща и денежного туза (*франц.*).

комедиях Мольера; живость в разговоре, свобода в телодвижениях, очень выразительная, простодушно-плутовская физиономия и необычайная естественность — все обличает в ней, что она могла бы быть великою комическою артисткою, а между тем она играет русалок и подобные роли, которые будут со временем гробом ее таланта. Да как быть? Всему свое время, и русалкам также!» Я спросил у Дмитревского, читал ли он новую трагедию Озерова. «Слышал ее два раза,— отвечал он,— и сверх того видел ее репетицию на сцене. Нечего сказать, трагедия прекрасная и так пришлась теперь кстати: много превосходных патриотических стихов, которые публика, конечно, не оставит применить к настоящим обстоятельствам. О трактации сюжета теперь рассуждать не время, поговорим после представления, когда поуменьшится общий интерес».

Дмитревский проводил меня до лестницы, взяв с меня слово не оставлять его моими посещениями. Но что в том прибыли? Эта учтивость не возвратит мне собственного моего уважения к моему таланту.

4 января, пятница.

Пожертвования на составление и в пользу милиции начались блистательным образом. Наши коренные вельможи и знатное духовенство показали достохвальный пример, и за ними последовали и продолжают следовать прочие состояния народа: все наперерыв спешат принести посильные дары свои отечеству, а иной возлагает на алтарь его и последнюю лепту, как, например, бедная актриса старуха Вагнерова, жертвующая десятью рублями, то есть месячным своим жалованьем.

Вот список известным лицам, которые первые ознаменовали усердие свое щедрыми приношениями: в главе их митрополиты Амвросий — от Лавры 25 000 руб. и от новгородского архиерейского дома 20 000, а всего 45 000, и Платон 20 000 руб.; Александр Львович Нарышкин единовременно 10 000, ежегодно по 6000 и за 16 000 душ крестьян своих, не входящих в состав милиции, 32 000, а сверх того 4000 четвертей хлеба; супруга его Марья Алексеевна — столовый серебряный свой сервиз и такой же туалет; Дмитрий Львович На-

рышкин — 10 000 руб. и 2000 кулей муки; граф А. А. Строганов — 40 000 руб.; граф Н. П. Шереметев — 20 медных пушек с лафетами и 2000 ружей; граф Безбородко — 10 000 руб.; граф Бобринский — 6000 руб.; А. Н. Оленин — 2000 руб. и две пушки со всеми снарядами; Н. П. Архаров — 10 000 руб.; действ. ст. сов. Ростовцев — 100 пудов свинцу; адмирал Балле — ежемесячно по 200 руб.; санкт-петербургское купечество — 135 000 руб.; московские актеры — 2400 руб.; балетмейстер Валберх — 500 руб.; здешние актеры и актрисы: Шушерин, Яковлев, Воробьев и Рахманов — по 200 руб.; Сахаров, Рыкалов, Щеников, Пономарев, Волков, Сахарова, Каратыгина и Семенова — по 100 руб.; фигурант Аблец — 100 руб.; Бобров, Прытков и Рожественский — по 75 руб.; Чулин, фигурант Иванов и Алексеева — по 50 руб.; Черникова — 30 и старушка Вагнерова — 10 руб.

5 января,
суббота.

Чему посмеешься, тому и поработаешь: вот и наш Алексей Федорович, наконец, облепился. Петр Иванович прислал мне оду его на новый год по случаю пултускской победы, к которой так и хочется применить стихи Ив. Ив. Дмитриева из пьесы его «Чужой толк»:

Так громко, высоко, а все не веселит
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!

Готов держать заклад, что эта ода написана им по заказу, потому что от первого стиха: «Исполнилось, о весть златая!» — и до последнего один только набор слов, хотя, впрочем, набор мастера своего дела. Но другая ода, на новый же год, Василья Колосова, начинающаяся так: «Хвала тебе, злодейств каратель!» — есть нечто диковинное в своем роде: в ней лирик воспевает подвиги графа Каменского в пултускском сражении, между тем как он в нем и не участвовал. Кажется, этот Колосов должен быть человек с воображением очень пылким: лет пять назад издал он лирическое стихотворение под названием «Плод энтузиаз-

ма» — горький плод заблуждения насчет своего призвания.

6 января,
воскресенье.

Несмотря на шестнадцатиградусный мороз, крещенский парад был великолепный. В первый раз в жизни вижу столько войска и в таком пышном виде! Торжественное молебствие совершено было придворным духовенством в присутствии государя в нарочно устроенной для того на Неве, противу дворца, иордани. Я изумился, увидев государя в одном мундире, и не постигаю, как мог он в такой легкой одежде выносить такую стужу,— вот прямо русский человек!

Вечером собрались у меня Хмельницкий, Вельяминов-Зернов и Кобяков. Последний спешит переводом своей оперы и, по случаю моего уклонения от перевода стихов, находится в престрашных хлопотах. Не понимаю, зачем браться не за свое дело? Добро бы эти оперы приносили ему какую выгоду, а то ровно никакой. Спасибо Вельяминову, который, узнав, в чем дело, добродушно обещал выручить моего земляка и от нечего делать начинить все его оперы, настоящие и будущие, стихами всевозможных размеров. В самом деле, Вельяминов удивительно легко пишет стихи: не более как в четверть часа он, для доказательства своей способности, перевел одну большую арию из оперы «Импресарио», над которою мой бедный Кобяков корпит столько времени. Этою ариею принадлежащий к труппе стихотворец дает следующий совет патрону своему, импрезарио, как избежать разорения:

Чтоб вам так не разоряться,
Должно правил придержаться:
Primo, Крезом притворяться
И secundo: обещать,
Только слова не держать;
Ни актрисам, ни актерам,
Певчим и декоратерам,
Фигурантам, машинистам
И портным и копиистам
Должно гроша не давать
И разделываться с ними
Лишь посулами одними.
Что вам стоит обещать?

Этим людям не платите:
Лишь ласкайте их да льстите
Все сулите да сулите —
Вот и будет благодать
Но уважьте дар поэта,
Заплатите вы ему;
Это нужно потому,
Что блестящая монета
Блеск придаст его уму.

Я списал эти вздорные стихи в память способности Вельяминова писать их, но Кобяков в восторге, а я и подавно, потому что навсегда избавился от его докуки.

7 января,
понедельник.

Целое утро проболтался в Коллегии по-пустому, спрашивая сам себя: да когда же дадут мне какое-нибудь занятие? До сих пор я ничего другого не делаю, как только дежурю в месяц раз да толкую о Троянской войне; между тем время идет да идет, а расход времени, как говорит мой Петр Иванович, самый невозвратный расход.

Гебгард принес мне книжку «Züge zu einem Gemählde von Moskwa», сочиненную Виссельгаузеном в 1775 году, и просил сказать ему, похожа ли нынешняя Москва на прежнюю. Я пробежал книжку мельком: кажется, родная наша мало изменилась, несмотря на то что постарела тридцатью годами. Только гостиницы и трактиры переменились. Гебгард звал завтра в «Разбойников», смотреть на него в Карле Море; Амалию играет милая жена его.

Завтра пойду с пузырем-Кобяковым знакомиться с Воробьевым, хотя, признаться, хотелось бы лучше познакомиться с Яковлевым; но Кобяков говорит, что теперь, по случаю беспрестанных репетиций трагедии «Димитрий Донской», все лучшие наши трагики заняты по горло и потому не время.

8 января,
вторник.

Были у Воробьева и застали его перед самым обедом. Он радушно пригласил нас разделить с ним тра-

пезу, и Кобяков без церемоний уселся за стол, выпив предварительно порядочный стаканчик травнику, но я отказался, потому что должен был обедать в павильоне. Воробьев мал ростом, довольно плотен, движения его живы и ловки, говорит скоро и с присмешкой, лицо имеет несколько багровое, как по большей части и все люди, придерживающиеся чарочки. Мне особенно понравились его глаза, черные и быстрые, из которых так и просвечиваются ум и какая-то добродушная, беспечная веселость. Семейство его состоит из жены, дородной женщины, на лице которой заметны еще остатки прежней красоты, и единственной дочери, премилой девочки лет восьми или девяти, беленькой, румяненькой и очень полненькой, имеющей в лице много сходства с матерью. Я завел было речь о здешних модных операх — куда тебе! Воробьев и говорить не хотел. «Надоели проклятые,— сказал он,— век бы не слыхал о них; то ломай Тарабара, то Личарду, то Торопку — черт знает что такое! Только на потеху райку». И тут же запел:

Коль назначено судьбою
Разлучиться нам с тобою,
Быть мне верной обещай,
Милая моя, прощай.

Я спросил его, справедливо ли, что князь Волконский при постановке «Русалки» на московском театре прислал из Москвы актера Волкова учиться у него роли Тарабара, или, как тогда говорили в Москве, тарабарской грамоте, и если справедливо, то как он нашел Волкова. «Он точно был здесь,— отвечал Воробьев,— и являлся ко мне будто бы по приказанию Александра Львовича; ну я и сказал ему: поди, братец, в театр, да смотри на меня и перенимай как знаешь, если тебе велено; с тем он и ушел, но перед отъездом опять приходил и просил, чтоб я прослушал, как он пропоет польской Тарабара:

На что так чудесить,
К чему куралесить,
Других обижать?

Я прослушал и сказал ему, что хотя он и в о л к, а все-таки лает п о - с о б а ч ь и; тем дело и кончилось. Мужика в сорок лет не научишь, если до тех пор сам не выучился».

Воробьев сказывал, что Самойлов с первых дебютов своих очень понравился публике и она снисходительно извиняла не только его неловкость и совершенное незнание приличий на сцене, но даже самые неосторожные его обмолвки, которые никому другому не прошли бы даром.

Гебгард в роли Карла Мора не совсем мне понравился. В игре его нет того глубокого чувства, которым должен быть проникнут Карл Мор, жертва неслыханного коварства и заблуждений своей молодости. Мой приятель не постиг этого характера, о котором можно было бы исписать целую книгу; зато Амалия была настоящею Амалиею — чувствительною: любящею, мечтательною немкою средних веков. Мадам Гебгард стала еще лучшею актрисою, чем была прежде... Франца Мора играл Розенштраух недурно. Он, говорят, очень добрый, религиозный человек и будто бы готовится в пасторы, но, в ожидании хорошего пастората, играет на театре. Для исполнения роли Франца следовало бы ему изучить рассуждение Иффланда об этой роли, в которой знаменитый актер и писатель был, говорят, превосходен. В Германии роль Франца Мора считается первою ролью, потому что требует большого изучения, между тем как для роли Карла достаточно, чтоб актер был одарен большою чувствительностью и был пригож собою. Линденштейн уморительно играл роль Спигельберга; он на сцене как дома.

9 января,
среда.

Гаврила Романович представил меня А. С. Шишкову, сочинителю «Рассуждения о старом и новом слоге», задушевному другу президента Российской академии Нартова. С большим любопытством рассматривал я почтенную фигуру этого человека, которого детские стихи получили такую народность, что, кажется, нет ни в одном русском грамотном семействе ребенка, которого не учили бы лепетать:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже, и проч.

Не могу поверить, чтоб этот человек был таким недоброжелателем нашего Карамзина, за какого хотят его выдать. Мне кажется, что находящиеся в «Рассуждении о старом и новом слоге» колкие замечания на некоторые фразы Карамзина доказывают не личное нерасположение к нему Александра Семеновича, а только одно несходство в мнениях и образе воззрения на свойства русского языка. Из всего, что ни говорил Шишков — а говорил он много,— я не имел случая заметить в нем ни малейшего недоброжелательства или зависти к кому-нибудь из наших писателей; напротив, во всех его суждениях, подкрепляемых всегда примерами, заключалось много добродушия и благонамеренности. Он очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглашались молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гаврилу Романовичу назначить вместе с ним попеременно, хотя по одному разу в неделю, литературные вечера, обещая склонить к тому же Александра Семеновича Хвостова и сенатора Ивана Семеновича Захарова, которых домы и образ жизни представляли наиболее к тому удобств. Бог весть как обрадовался этой идее добрый Гаврила Романович и просил Шишкова устроить как можно скорее это дело.

Между прочим, Шишков рассказывал, что одна из родственниц его супруги, молодая женщина лет двадцати пяти, в прошедшем году вылечилась радикально от чахотки, употребляя, по совету О. К. Каменецкого, по два раза в сутки угольный порошок, распущенный в рюмке воды, а по утрам принимая по полрюмки росы с цветов ромашки, которую собирали для ней ее люди. Федор Петрович Львов присовокупил, что хотя иностранные медики не любят Каменецкого за его беспощадную правдивость и величают его обскурантом и эмпириком, но что на это смотреть нечего и его простонародные средства бывают большею частью всегда спасительны.

Вера Николаевна спросила меня за столом, отчего я так угрюм, все молчу. Я отвечал: «Che quando parla il dottore, il panta lone tace» [1], все захохотали, а я тому и рад, что не даром выронил слово.

---

[1] «Когда говорит Доктор, Панталоне молчит» (*итал.*).

10 января,
четверг.

У Лабата встретил Александра Тургенева, который в прошедшем году на пансионском экзамене подшептывал мне немецкую речь. Он сказывал, что среднего брата отправляет доучиваться в Геттинген, а меньшой останется покамест в пансионе до получения золотой медали. Тургенев должен быть очень деятелен и проворен; он служит при статс-секретаре Новосильцеве и вместе в Комиссии составления законов помощником референдария. Говорил много о графе Строганове, о княгине Голицыной и многих других знатных особах, у которых принят за свой. Не успели отобедать, как он уже исчез, извинившись недосугом. Вигель читал очень смешное рондо, написанное на Тургенева по-французски общим их приятелем Блудовым; в этих стихах много веселости и безобидного остроумия.

Граф Местр точно должен быть великий мыслитель; о чем бы ни говорил он, все очень занимательно, и всякое замечание его так и врезывается в память, потому что заключает в себе идею, и сверх того, идею прекрасно выраженную; например, говоря о некоторых своих знакомых из высшего круга, он сказал, что очень любит и уважает их, а между тем видится с ними редко, потому что характеры их, как некоторые химические тела, очень хороши сами по себе, но никогда не соединяются с другими.

11 января,
пятница.

Вот что называется и с ы т и п ь я н. Обедал у комиссара придворной конторы А. И. Андреева, старинного знакомца нашей фамилии, которой он считает себя почему-то обязанным. Этот добрый человек, узнав обо мне, отыскал меня и затащил к себе на обед, который давал он своим сослуживцам по случаю совершившегося ему шестидесятилетия. Пир, как говорится, был на весь мир. Такую роскошь и излишество встречаю я только в другой раз в своей жизни: обед Андреева по количеству и качеству кушанья и напитков едва ли не превосходнее был обеда, данного московским Англий-

ским клубом в честь героя Багратиона. Гостей было человек до тридцати, и перед каждым гостем было поставлено по бутылке шампанского вместо квасу, а венгерским и какого-то особенного рода рейнвейном обносили по два раза. Подле хозяина сидел член гоф-интендантской конторы Алексей Григорьевич Ходнев, а подле меня брат нашего драматурга Н. И. Ильина, Алексей Иванович, который служит также в конторе и которому хозяин поручил меня потчевать. Он мастерски исполнил поручение и так меня употчевал, что по окончании обеда я насилу мог подняться со стула и не помню, как очутился дома. Люди мои говорят, что меня кто-то привез и я, не раздевшись, бросился в постель и проспал больше трех часов. Голова и теперь ходит кругом, и мучит сильная жажда: хочется опять венгерского — да где его взять? Удовольствуюсь квасом: Андреев должен быть очень богат, а не богат, так тороват. Квартиру он занимает весьма небольшую в казенном доме на Захарьевской улице, но если изба не богата углами, так зато богата пирогами.

Ах, господи! что ж это такое? Нет сна, и все хочется пить:

Bacchus siehe
Wie ich glühe!
Sieh den leeren Humpen an!
Evoe Bacche! Evoe Bacche!
Humanam sequimur sortem —
Voluptas nulla post mortem! [1]

Мне кажется, что я совсем одурел.

12 января,
суббота.

Кажется, я вчера порядочно отличился: не ведаю, что думает обо мне амфитрион-Андреев, но знаю, что я сам о себе очень невысокого мнения. До сих пор болит голова и сам весь не свой. Для облегчения совести я все рассказал Альбини, который, насмеявшись вдоволь моей проказе, велел мне пить зельцерскую воду: да будет она для меня водою забвения!

---

[1] Вакх, смотри, как я пылаю! На пустой взгляни бокал! Эвое, Вакх! Эвое, Вакх! Мы разделяем участь людей — посмертных не будет страстей! (*Нем.* и *лат.*).

Хотя бы к завтраму освежиться и не упустить репетиции «Димитрия Донского», на которую обещал меня взять Иван Афанасьевич, а там что бог даст!

13 января,
воскресенье.

Я в восторге! У нас не слыхано и не видано такой театральной пьесы, какою завтра Озеров будет потчевать публику. Роль Димитрия превосходна от первого до последнего стиха. Какое чувство и какие выражения! В ролях Ксении, князя Белозерского и Тверского есть места восхитительные, а поэтический рассказ боярина о битве с татарами Мамая и единоборстве Пересвета с Темиром и Димитрия с Челубеем превосходит все, что только есть замечательного в этом роде, и рассказ Терамена не может идти ни в какое с ним сравнение. Оттого ли, что стихи в трагедии мастерски приноровлены к настоящим политическим обстоятельствам, или мы все вообще теперь еще глубже проникнуты чувством любви к государю и отечеству, только действие, производимое трагедиею на душу, невообразимо. Стоя у кулисы, к которой прислонил меня, как чучелу, пузатик Кобяков, я плакал как ребенок, да и не я один: мне показалось, что и сам Яковлев в некоторых местах своей роли как будто захлебывался и глотал слезы. Это была последняя репетиция трагедии; завтра утром будет только одно небольшое повторение ролей, чтоб актеры имели время успокоиться и приготовиться к настоящему представлению.

Я был бы теперь в совершенном отчаянии, если б по милости пьянственного моего окаянства, чуть не уложившего меня в постель, не попал сегодня на эту репетицую и лишился такого благоприятного случая покороче познакомиться с новою трагедиею и сойтись с некоторыми актерами, и особенно с Яковлевым, который как-то пришелся мне по душе. Он, говорят, иногда куликает, да что до того за дело? можно умеренно и куликнуть с человеком, который умеет так сильно чувствовать красоты нашей поэзии и мастерски передавать их. Хотелось мне, чтоб Иван Афанасьевич представил меня князю Шаховскому и Озерову, но старик сказал: «Теперь, душа, не время: видишь, очень заняты,

а вот после». И в самом деле, князь Шаховской, очень толстый и неуклюжий человек, по-видимому лет тридцати пяти, плешивый, с огромным носом и писклявым голоском, бегал и суетился на сцене: то учил некоторых актеров, то кричал на статистов, то делал колкие замечания актрисам, то разговаривал с Дмитревским, то болтал по-французски с некоторыми актерами и, наконец, поймав в толпе актрису Самойлову, стал уверять ее, что как ни хороша она в русалках и в других глупых ролях подобного рода, но была бы гораздо лучше в ролях служанок,— словом, князь Шаховской, несмотря на свою дородность, показался мне каким-то неуловимым существом: der Alte überall und nirgends [1]. Зато Яковлев — совершенный его антипод: когда во время антракта Дмитревский представил меня ему, сказав, что мне хочется с ним познакомиться и что я сам написал трагедию, в которой есть очень хорошие стихи, Яковлев только что улыбнулся, как-то искривя рот, и спросил меня: «Вы откуда?» — «Из Москвы»,— отвечал я. «Бывали там часто в театре?» — «Бывал, хотя и не так часто, как бы хотелось».— «А с Иваном Афанасьевичем где познакомились?» — «У Г. Р. Державина».— «У Державина? вот что!» Потом, как бы подумав немного, спросил: «Да вы служите где-нибудь?» — «Служу в Иностранной коллегии с знакомцем вашим В. М. Федоровым, который обещал меня познакомить с вами».— «Гм... много у вас дела?» — «До сих пор никакого».— «Гм... так заходите ко мне по вечерам: когда не играю, я почти всегда сижу дома».— «Непременно приду».— «Гм... а с кем вы еще знакомы из наших?»— «Да недавно Кобяков познакомил меня с Я. С. Воробьевым».— «Кобяков? Гм... а вы охотники до русалок?» — «Люблю и русалок, если их хорошо играют».— «Гм... ну так до свидания». И вот мой Яковлев пошел, задумавшись, опять расхаживать по сцене. Ему не более тридцати пяти лет; он очень статен, лицо выразительное, физиономия задумчивая, голос очаровательный, говорит как бы нехотя и, кажется, вовсе не думает о том, о чем говорит; во всем существе его есть что-то особенное, но привлекательное, и я уверен, что, несмотря на угрюмость его, он должен быть одарен прекрасными качест-

[1] «Старик везде и нигде» ⟨*нем.*⟩ — название одной из тогдашних повестей (*Примеч. П. И. Бартенева*).

вами души и сердца. Да иначе и быть не может: без теплой души, без нежного сердца нельзя произнести так превосходно и с таким глубоким чувством:

Пусть цепи тот влачит, кто их сорвать не смеет,
В могиле нет оков, там звук цепей немеет;
Умрем, как храбрые, и в память наших дел,
Чтобы надгробный дерн над нами зеленел!

. . . .

Грядущи времена, сокрытые от нас,
Судьями наших дел я призываю вас!

или

И вы, жестокие, мне предлагать могли
Без дружбы и любви скитаться на земли? —

и заставить почти всех плакать чуть не навзрыд. Как ни патетичен Шушерин в некоторых сценах «Эдипа», но никогда не сравнится с Яковлевым в способности так увлекать зрителей, потому что не имеет физических средств последнего. Кажется, Яковлев вовсе не занимается своим туалетом. Волосы всклочены, галстук завязан кой-как, черный сюртук как будто шит не по его мерке: узок и рукава очень коротки — точно он из него вырос; из кармана торчит вместо носового платка какая-то ветошка... словом, в костюме его заметна чрезвычайная небрежность и даже отсутствие приличия. Семенова прелестна: совершенный тип древней греческой красоты; при дневном свете она еще лучше, чем при лампах, и, по-видимому, большая щеголиха. Она была окутана в белую турецкую шаль, на шее жемчуги, и на пальцах брильянтовых колец и перстней больше, чем на иной нашей московской купчихе в праздничный день. Думая, что с ней так же можно поболтать, как и с милыми моими немецкими чечетками, я было подбежал к ней с комплиментами насчет игры ее в роли Антигоны — куда тебе! она взглянула на меня так презрительно и свирепо и так свысока промолвила: «Чего-с?» — что у меня отнялся язык, и я бросился поскорее назад, как будто наткнулся на вилы. Шушерин, сверх того что талант превосходный, должен быть еще и очень умный человек, но едва ли имеет доброе сердце. При всякой ошибке кого из актеров он не упускал случая подмигивать кому-нибудь глазами, кивать головою и саркастически улыбаться. Роль свою читал он прекрасно, но тихо, жалуясь на слабость здоровья.

Когда приходила очередь Щеникову читать свою роль князя Тверского, автор, сидевший на сцене у директорской ложи, показывал явные знаки нетерпения и неудовольствия, а князь Шаховской морщил лицо и один раз, оборотясь к Озерову, довольно громко сказал: «Что ж делать! чем богаты, тем и рады».

Говорят, что Озеров чрезвычайно самолюбив; верю: в сознании своего превосходства пред другими он имеет все право быть самолюбивым; не идиот же он какой-нибудь, что не умел оценить своего дарования! Впрочем, кажется, надобно отличать самолюбие от хвастовства; напр., Трофим Федорович Дурнов, серьезно уверяющий, что его картины превосходнее Рубенсовых,— хвастун, а Корреджио, восхищающийся ⟨картиною Рафаэля⟩ и с восторгом восклицающий: «Anch'io son pittore!» [1] — только самолюбив. Признаюсь, я не очень постигаю и того, почему всякий ремесленник, от простого столяра до механика, может, не страшась порицания за свое тщеславие, безнаказанно выхвалять доброту и пользу своих изобретений и произведений, а литераторы, живописцы, ваятели, прославившиеся какими-нибудь произведениями словесности или художества, лишены этого права и если бы захотели похвалить свои творения, то подверглись бы осмеянию. Это вопрос, который бы следовало разрешить академии. В настоящем положении нашей литературы, когда никакие сочинения, как бы они превосходны ни были, не приносят авторам никакой вещественной пользы, можно и должно, мне кажется, извинять их бескорыстное самолюбие.

15 января,
вторник.

Вчера по возвращении из спектакля я так был взволнован, что не в силах был приняться за перо, да, признаться, и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра. Боже мой, боже мой! что это за трагедия «Димитрий Донской» и что за Димитрий — Яковлев! какое действие производил этот человек на публику — это непостижимо и невероятно! Я сидел в креслах и не могу отдать от-

---

[1] «Я тоже художник!» (*Итал.*)

чета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар, то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу — словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни; были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 р. и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также аплодировали и кричали «браво!» наравне с нами.

В половине шестого часа я пришел в театр и занял свое место в пятом ряду кресел. Только некоторые нумера в первых рядах и несколько лож в бельэтаже не были еще заняты, а впрочем, все места были уже наполнены. Нетерпение партера ознаменовывалось аплодисментами и стучаньем палками; оно возрастало с минуты на минуту — и не мудрено: три часа стоять на одном месте — не безделка; я испытал это истязание: всякое терпение лопнет; однако ж мало-помалу наполнились и все места, оркестр настроил инструменты, дирижер подошел к своему пюпитру, но шести часов еще не било, и главный директор не показывался еще в своей ложе. Но вот прибыл и он, нетерпеливо ожидаемый Александр Львович, в голубой ленте по камзолу, окинул взглядом театр, кивнул головою дирижеру, оркестр заиграл симфонию, и все приутихли, как бы в ожидании какого-нибудь необыкновенного, таинственного происшествия. Наконец с последним аккордом музыки занавес взвился, и представление началось.

Яковлев открыл сцену; с первого произнесенного им стиха: «Российские князья, бояре» и проч.— мы все обратились в слух, и общее внимание напряглось до такой степени, что никто не смел пошевелиться, чтоб не пропустить слова, но при стихе:

Беды платить врагам настало нынче время! —

вдруг раздались такие рукоплескания, топот, крики «браво!» и проч., что Яковлев принужден был остановиться. Этот шум продолжался минут пять и утих ненадолго. Едва Димитрий в ответ князю Белозерскому, склонявшему его на мир с Мамаем, произнес: «Ах! лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!» — шум возобновился с большею силою. Но надобно было слышать, как Яковлев произнес этот стих! Этим одним стихом он умел выразить весь характер представляемого им героя, всю его душу и, может быть, свою собственную. А какая мимика! Сознание собственного достоинства, благородное негодование, решимость — все эти чувства, как в зеркале, отразились на прекрасном лице его. Словом, если бы Яковлев не имел и никакой репутации, то, прослушав, как произнес он один этот стих, нельзя было бы не признать в нем великого мастера своего дела. Я не могу запомнить всех прекрасных стихов в сцене Димитрия с послом Мамаевым, однако ж благодаря таланту Яковлева некоторые как бы насильно врезались в память, как, например:

Иди к пославшему и возвести ему,
Что богу русский князь покорен одному;

или

Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой:
Кто чести, правде враг, тот враг, конечно, мой!

Все эти стихи, равно как и множество других в продолжение всей трагедии, выражаемы были превосходно и производили в публике восторг неописанный, но в последней сцене трагедии, когда после победы над татарами Димитрий, израненный и поддерживаемый собравшимися вокруг него князьями, становится на колени и произносит молитву:

Но первый сердца долг к тебе, царю царей!
Все царства держатся десницею твоей:
Прославь, и утверди, и возвеличь Россию,
Как прах земной сотри врагов кичливых выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
Языки! ведайте: велик российский бог! —

Яковлев превзошел сам себя. Какое чувство и какая истина в выражении! Конечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, стихи бесподобные,

но играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы никогда так сильно подействовать на публику; зато и она сочувствовала великому актеру и поняла его: я думал, что театр обрушится от ужасной суматохи, произведенной этими последними стихами. Тотчас начались вызовы автора, которого представил публике Александр Львович из своей ложи; потом вызван был и Яковлев — неоспоримо главный виновник успеха трагедии.

О Шушерине в роли князя Белозерского сказать нечего. Эта роль незначительна, и ему не было случаев развить своих дарований. Но Семенова была прелестна, особенно в последней сцене, когда Ксения узнает, что Димитрий жив; она с таким чувством и с такою естественностью проговорила:

> Оживаю...
> И слезы радости я первы проливаю,—

что расцеловал бы ее, голубушку. Я искренно простил ей это высокомерное и грубое «чего-с?», которым попотчевала она меня на репетиции. Может быть, и сам я не прав, забыв пословицу: не спросясь броду, не суйся в воду,— но все-таки можно было бы сказать мне несколько слов поучтивее.

Сожалею, что, не имея перед глазами трагедии, которая еще не напечатана и появится в печати только на сих днях, я не в состоянии обстоятельно обозначить те места, в которых главные действующие лица были особенно хороши; могу сказать только, что старик Сахаров превосходно прочитал поэтический рассказ боярина и мастерски передал описание единоборства Пересвета с Темиром:

> Широк, могущ плечьми, душою бодр и смел,
> Темира вызвал он, с Темиром он сразился
> И так, как глыба с гор, с ним вместе мертв свалился; —

а последние прекрасные стихи, изображающие бегство татар и победу над ними:

> Им степь широкая, как узкая дорога,—
> И русский в поле стал, хваля и славя бога! —

передал с таким воодушевлением и так живо и увлекательно, что возбудил всеобщий восторг. Сахаров, говорят, в свое время играл первые роли и почитался очень талантливым актером. Не знаю, до какой степени

это справедливо, но должен сказать, что и теперь он чтец превосходный.

Я слышал, что здесь не очень довольны московским директором театра П. Н. Приклонским и опять заговорили о назначении В. А. Всеволожского. В прошедшем году полагали, что он непременно определен будет; да и чего бы лучше? человек богатый, гостеприимный, живет барином, на открытую ногу, страстный охотник до музыки, имеет собственный оркестр, любитель театра и всяких общественных увеселений. Таких людей со свечой поискать; нет сомнения, что назначение Всеволожского оживило бы театр и ободрило бы актеров.

16 января,
среда.

«Димитрий Донской» наделал такого шума, что только о нем и говорят. При всякой встрече с кем-нибудь из знакомых можешь быть уверен, что встретишь и вопрос: «Что, видели ли Донского?» А каков Яковлев? Озеров Озеровым — но мне кажется, что Яковлев в событии представления играет первую роль. Пожалуй, скажут, что это несправедливо, а я так думаю напротив: автору воздаяние впереди — потомство; а после актера, будь он хоть семи пядей во лбу, что останется? предание лет на пятьдесят, да и то предание сбивчивое и неверное, потому что если он и живой подвергается оценке произвольной, то о мертвом как толковать ни станут, поверки не будет, а между тем охотников глодать кости мертвых — многое множество; следовательно, пусть актер и наслаждается при жизни преимущественно пред автором своими успехами.

Когда сегодня за обедом в павильоне я рассказывал о произведенном на меня впечатлении трагедиею и Яковлевым, хозяин и хозяйка захохотали: «Mais vous êtes un enfant: une tragédie russe et un Jacovleff!» [1] Признаюсь, это мне не понравилось. «Mais avez-vous jamais vu Jacovleff?» — «Oh! qui donc ira voir vos saltimbanques?» [2] Я смолчал, но у меня как будто обор-

---

[1] «Однако вы ребенок: какая-то русская трагедия и какой-то Яковлев!» (*Франц.*)

[2] «А вы когда-нибудь видели Яковлева?» — «О! кто же пойдет смотреть ваших скоморохов?» (*Франц.*)

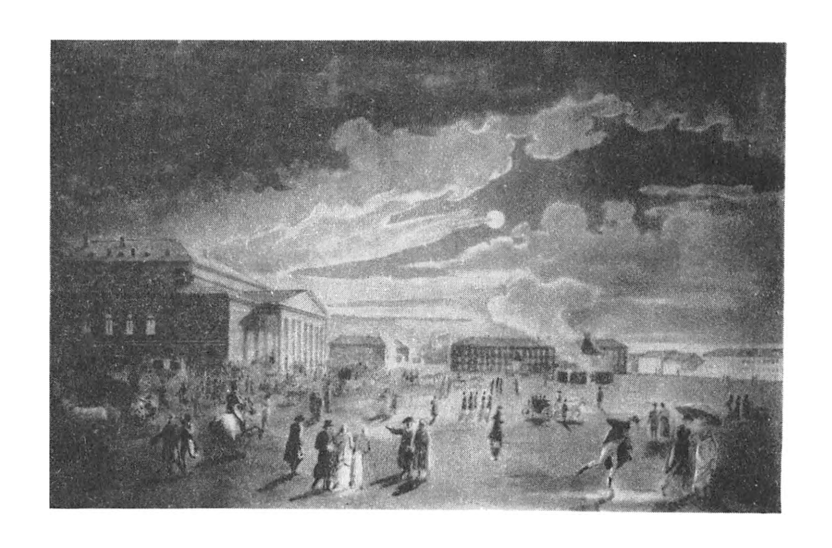
валось сердце. Граф Монфокон принял мою сторону, и так как, видно, судьбою предназначено, чтоб ни один обед не проходил без горячего спора, то он и начался, как говорится, á couteaux tirés [1]. Я был в отчаянии, что мнение мое сделалось яблоком раздора, но вместе был и доволен, что нашел за себя такого неустрашимого воителя, какой был старый граф, который перекричал всех и одержал полную победу. Патер Локман как-то однажды объявил мне, что все эти споры за обедом предпринимаются единственно для сварения желудка: я начинаю этому верить, потому что едва вышли из-за стола и поместились в гостиной у камина, междоусобие прекратилось и водворилось прежнее сердечное согласие. Между тем, кстати, о трагедии и трагических актерах: Монфокон, которого иногда величают monsieur de Lyon (потому что настоящий его титул Monfaucon, comte de Lyon), за чашкою кофе рассказал нам несколько анекдотов о Лариве, из которых один довольно занимателен.

Ларив, играя в Марселе какую-то роль, в которой находилось очень поэтическое описание Апеннинских гор, так мастерски умел изобразить все ужасы диких пустынь, страшных пещер, глубоких пропастей, непроходимость и мрак лесов с их свирепыми обитателями, медведями и волками, что поразил зрителей. После представления один богатый негоциант прислал ему дюжину старого апеннинского вина при записке, что в уважение столь превосходного произведения Апеннин он помирится со страною, столь ужасно им изображаемою. Ларив нашел вино по своему вкусу — и что же? с тех пор он никогда не мог повторить повествование об Апеннинах с прежним увлечением и произвести прежнее впечатление на публику. Он признавался, что воспоминание о проклятом вине с первого стиха знаменитого повествования невольно поражало его воображение и отнимало у него всю энергию до такой степени, что он вынужден был передать роль другому актеру.

Вот еще заметка для психологов.

---

[1] На ножах (*франц.*).



Большой театр в Санкт-Петербурге.
Неизвестный художник.
Акварель. 1800-е гг.

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.
Второй справа — дом, где помещался Немецкий театр.
Неизвестный художник.
Рисунок. 1800-е гг.

Вид на Английскую набережную с Васильевского острова.
Ж. Делабарт.
Холст, масло. Начало XIX в.

Военный парад на Марсовом поле.
Неизвестный художник.
Акварель. 1800-е гг.

Зимнее гулянье на Неве.
Неизвестный художник.
Рисунок. 1800-е гг.

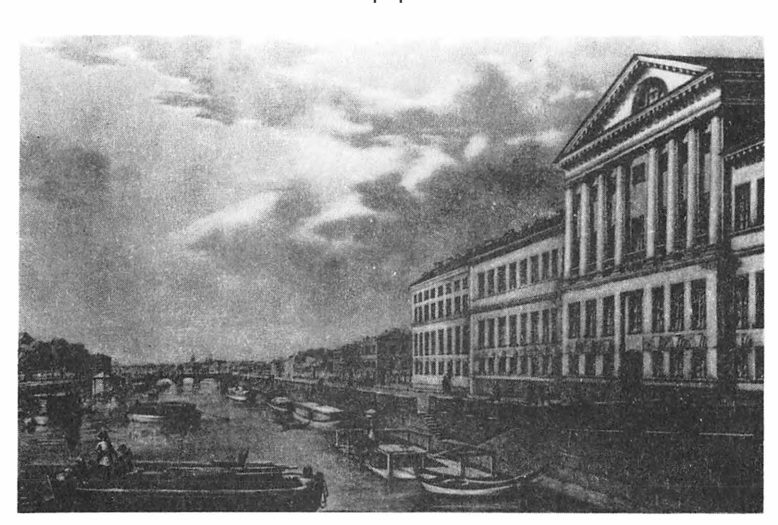
Летний сад.
Неизвестный художник.
Бумага, гуашь, пастель. 1800-е гг.





Г. Р. Державин.
И. Ческий с оригинала С. Тончи.
Гравюра. 1801

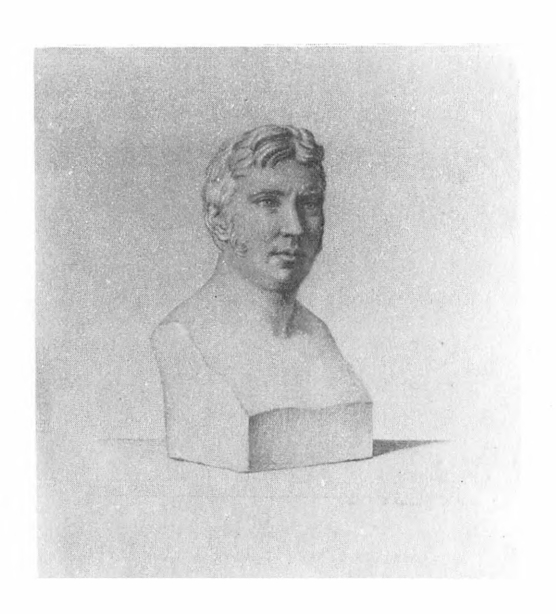
Вид Фонтанки от Измайловского моста.
К. Беггров с оригинала Е. Исакова.
Литография. 1823

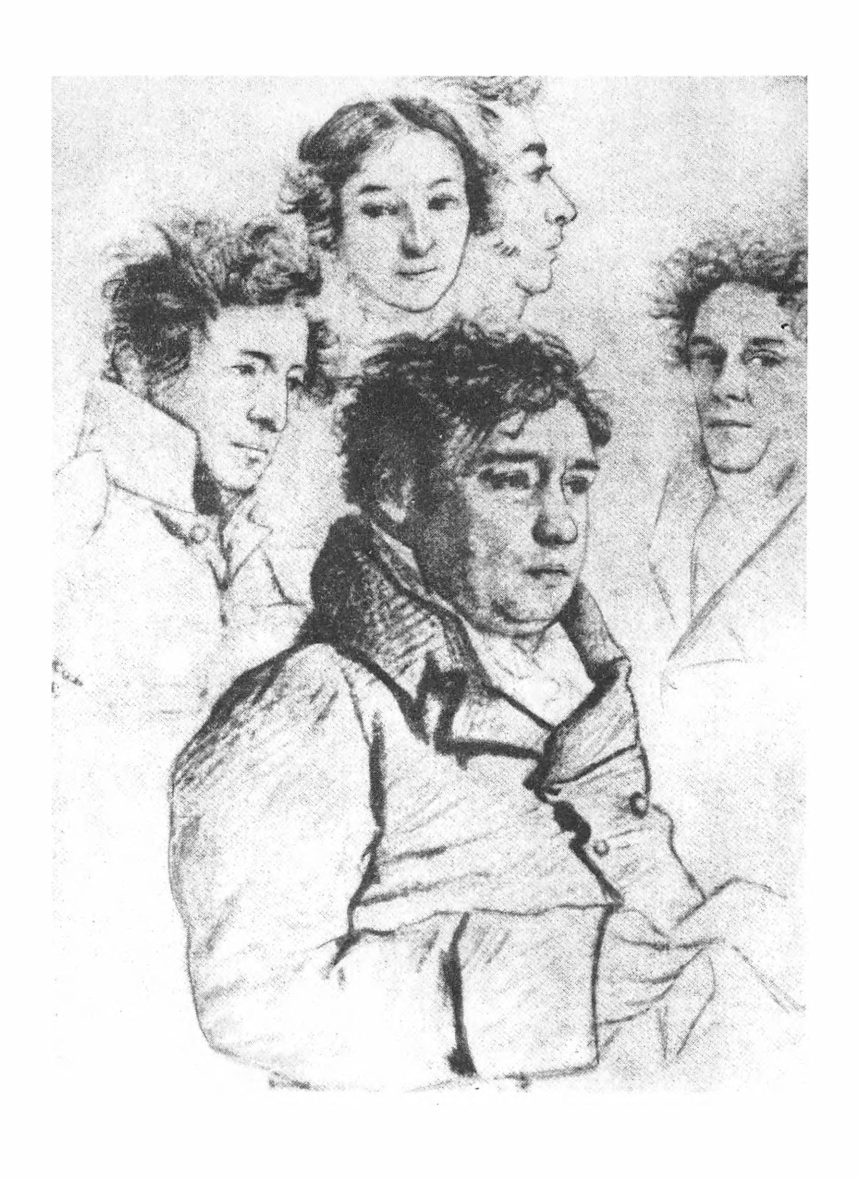




Н. И. Гнедич.
Мошарский с оригинала А. Калашникова.
Литография. 1800-е гг.

В. А. Озеров.
И. Иванов.
Гравюра. Начало XIX в.





И. А. Крылов.
О. Кипренский.
Итальянский карандаш. 1810-е гг.



И. А. Дмитревский.
О. Кипренский.
Гравюра. 1814



Е. С. Семенова в роли Сумбеки.
«Сумбека, или Падение Казанского царства» С. Глинки.
О. Кипренский.
Итальянский карандаш. 1823—1824

А. Н. Оленин.
О. Кипренский.
Рисунок. 1813



А. С. Яковлев.
К. Брюллов.
Карандаш. 1817

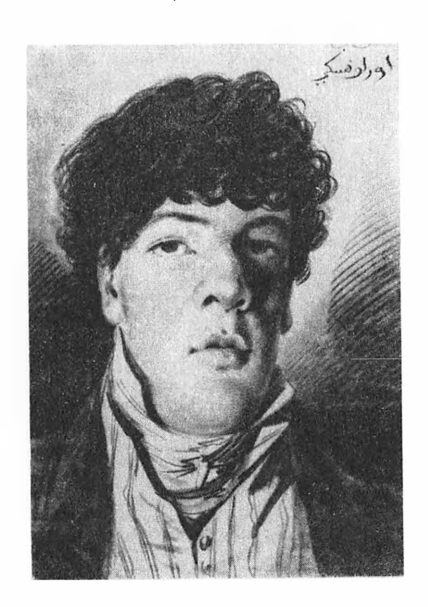
Милостивый мой государь
Степан Петрович!
Мне есть немного нужды с вами поговорить. Но видя, ожидая к себе лекаря, быть у вас не могу. — Пожалуйте извините меня, а потом тогда после обеда я могу побывать к Вам.
Ваш
Покорнейший доброхот
А: Яковлев
24 Июля
1814 г.

**Автограф письма А. С. Яковлева к С. П. Жихареву.
1814**



Жорж.
Неизвестный художник.
Гравюра. 1810-е гг.

Л. Дюпор.
А. Орловский.
Уголь, сангина. 1809

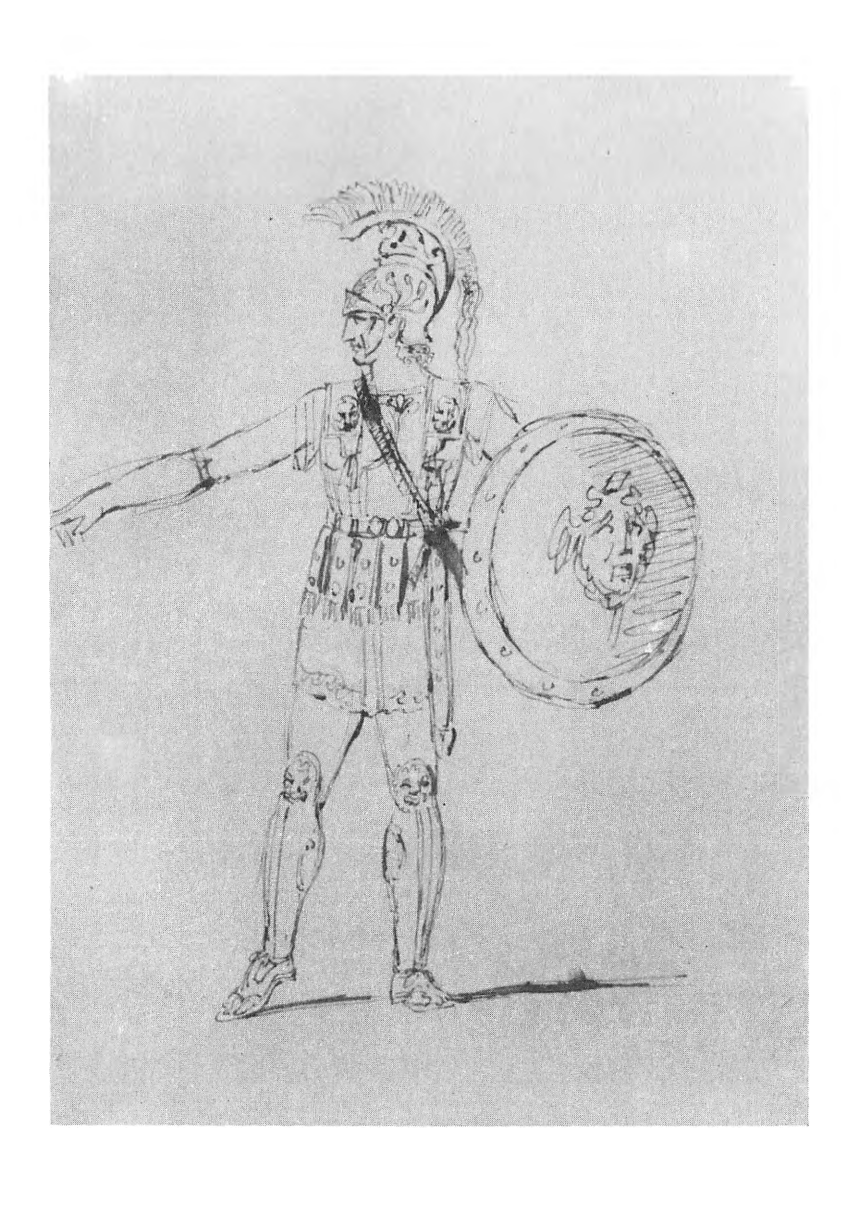




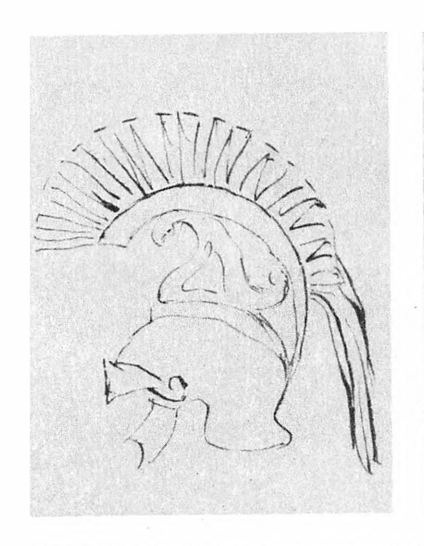
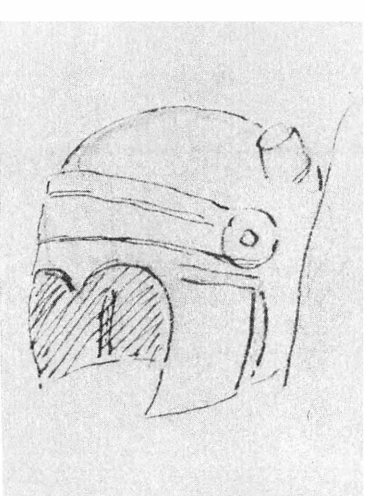
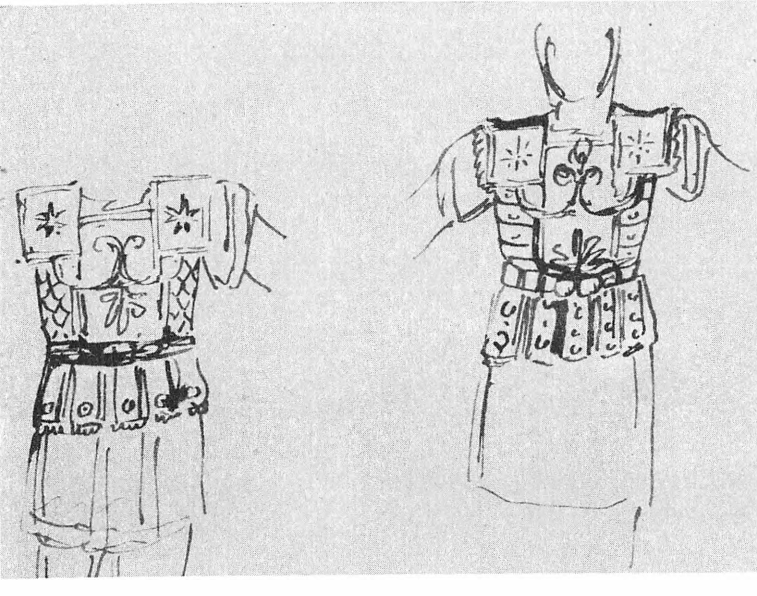
М. А. Нарышкина.
А. Ухтомский с оригинала О. Кипренского.
Гравюра. Первая четверть XIX в.

А. Л. Нарышкин.
А. Ухтомский с оригинала О. Кипренского.
Гравюра. Первая четверть XIX в.

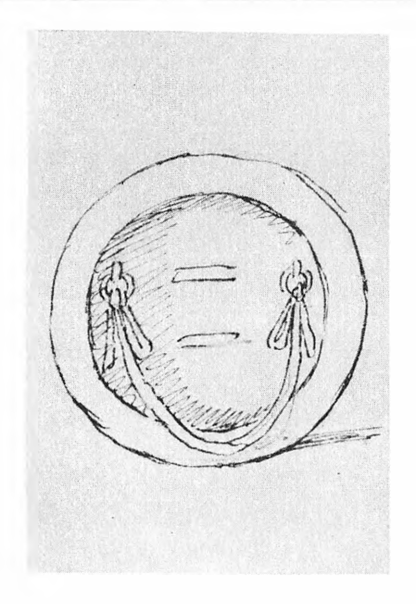




Рисунки к постановке трагедии В. А. Озерова «Поликсена».
А. Оленин.
Карандаш. 1809







17 января,
четверг.

В Коллегии толкуют, что у нас будет новый министр иностранных дел. Не знаю, каков он будет, если будет, но знаю, что об увольнении настоящего едва ли кто тужить станет. Кажется, между ним и его сослуживцами существует взаимное равнодушие: une parfaite indifférence [1].

Политики наши высчитывали, что учреждение милиции доставит государству с тридцати одной губернии 612 000 охранного войска, а о пожертвованиях, которые так охотно предлагаются всеми состояниями народа, нечего и говорить: уверяют, что денег достанет и передостанет на все потребности и издержки военные, тем более что есть еще губернии, не вошедшие в состав милиции и обязанные ставить только провиант, фураж и разные другие припасы.

Между тем на сих днях учрежден особый комитет для рассмотрения дел, касающихся до нарушения общественного спокойствия. Слава богу! пора обуздать болтовню людей неблагонамеренных; может быть, иные врут и по глупости, находясь под влиянием французов, но и глупца унять должно, когда он вреден, а сверх того, не надобно забывать, что нет глупца, который бы не имел своих подражателей:

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire [2]; —

следовательно, учреждение комитета как раз вовремя. Председателем назначен князь Петр Васильевич Лопухин, а постоянными членами — сенаторы Макаров и Новосильцев; в случае же нужды будут присутствовать в нем санкт-петербургский главнокомандующий С. К. Вязмитинов и министр внутренних дел граф Кочубей.

Сказывали, что все французские актеры и другие лица, подданные Франции и государств, от ней зависящих, принадлежащие к ведомству театральной дирекции, с величайшею готовностью присягнули в том, что они, на основании указа 28-го минувшего ноября, во все время

---

[1] Полное равнодушие (*франц.*).
[2] Глупец всегда находит еще большего глупца, который им восторгается (*франц.*).

настоящей войны никаких сношений ни с кем во Франции и подвластных ей областях ни под каким предлогом иметь не будут и что в противном случае предают себя безусловно всякому взысканию, какому наше правительство подвергнуть их заблагорассудит. Сверх того, они будто бы предлагали даже и принять подданство, но Александр Львович объявил им, что государь не требует от них этого пожертвования.

А каково содержание, определяемое французским пленным! Генералам назначается в сутки по 3 руб., полковникам по 1 р. 50 к., майорам по 1 руб., прочим офицерам по 50 коп., унтер-офицерам по 7 и рядовым по 5; сверх того, последние нижние чины будут получать пайки противу наших унтер-офицеров и рядовых. Да это такая милость, какой, верно, они не ожидали, и неудивительно будет, если наши неприятели охотно будут сдаваться в плен.

18 января,
пятница.

Возвращаясь из Коллегии, встретил государя, прогуливающегося пешком. При взгляде на его прекрасное, кроткое и спокойное лицо много дум возникает в голове, много чувствований возрождается в сердце! Если всякому из нас так сладостно быть любиму и одним человеком, то что должен ощущать он, которого обожают миллионы людей? Я думаю, что никому из венценосцев не могут быть так приличны стихи Расина, как ему, доброму и мудрому нашему государю:

Quel bonheur de penser et dire en soi-même:
Partout dans ce moment on me bénit, on m'aime!
On ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer,
Le Ciel dans tous les pleurs ne m'entend point nommer;
La sombre inimitié ne fuit point mon visage,
Je vois voler partout les coeurs à mon passage! [1]

---

[1] Какое счастье думать и говорить самому себе:
сейчас повсюду меня благословляют, меня любят!
Нет народа, которому было бы страшно мое имя,
и небо не слышит, чтобы проливая слезы, люди называли меня;
сумрачная ненависть не бежит от меня, я вижу, когда иду,
как сердца всех летят ко мне! (*Франц.*)

Ей-богу, кого только не встретишь из порядочных людей, будь он русский, француз, немец, чухонец какой-нибудь, наверно услышишь искренние ему благословения.

У Гаврила Романовича обедали О. П. Козодавлев и Дмитревский. Осип Петрович, кажется, добрый и приветливый человек, любит литературу и говорит обо всем очень рассудительно; он также старый знакомец И. И. Дмитриева, расспрашивал меня о его житье-бытье и, между прочим, чрезвычайно интересовался университетом; хвалил покойного Харитона Андреевича, называя его настоящим р у с с к и м у ч е н ы м, и радовался, что Страхов занял его место, присовокупив, что лучшего преемника Чеботареву найти невозможно и что Михайло Никитич весьма его уважает. Говорили о «Димитрии Донском», и на вопрос Гаврила Романовича Дмитревскому, как он находит эту трагедию в отношении к содержанию и верности исторической, Иван Афанасьевич отвечал, что, конечно, верности исторической нет, но что она написана прекрасно и произвела удивительный эффект. «Не о том спрашиваю,— сказал Державин,— мне хочется знать, на чем основался Озеров, выведя Димитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинехонька прибыла в стан и, вопреки всех обычаев тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Димитрию».— «Ну, конечно,— отвечал Дмитревский,— иное и неверно, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектны».

Державин замолчал, а Дмитревский, как бы опомнившись, что не прямо отвечал на вопрос, продолжал: «Вот изволите видеть, ваше высокопревосходительство, можно бы сказать и много кой-чего насчет содержания трагедии и характеров действующих лиц, да обстоятельства не те, чтоб критиковать такую патриотическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех. Впрочем, надобно благодарить бога, что есть у нас авторы, посвящающие свои дарования театру безвозмездно, и таких людей, особенно с талантом Владислава Александровича, приохочивать и превозносить надобно; а то, неравно, бог с ним, обидится и перестанет писать. Нет, уж лучше предоставим всякую критику времени: оно возьмет свое, а теперь

не станем огорчать такого достойного человека безвременными замечаниями».

Я уверен, что у старика много кой-чего есть на уме, да он боится промолвиться; а любопытно было бы знать настоящие его мысли о «Димитрии». Яковлева он очень хвалит, однако ж всегда не без прибавления обыкновенного своего: «Ну, конечно, можно бы и лучше, да как быть!» Между прочим рассказывал он, что в Париже случилось ему однажды быть свидетелем любопытного состязания в искусстве декламации между актрисою Клерон и Гарриком; это произошло на званом ужине у первой, которая жила как принцесса и принимала у себя великолепно все лучшее общество. Гости непременно желали, чтоб она заставила Гаррика что-нибудь продекламировать, но тот отказывался под разными предлогами; наконец Клерон, истощив все средства к понуждению Гаррика удовлетворить желание ее общества, вдруг встала с своего места и, пригласив любимца своего, молодого Ларива, отвечать ей, продекламировала вместе с ним несколько лучших сцен из «Медеи». Все гости пришли в восторг, а Гаррик, подумав немного, сказал, что он понимает, почему великая актриса нарушила обыкновенное свое правило не декламировать ни пред кем вне театральной сцены, и потому признает себя обязанным ответствовать ей такою же учтивостью. С этим словом он встал из-за стола и продекламировал сцену с привидением из «Гамлета». Несмотря на то, что многие из присутствовавших не знали по-английски, он навел на них ужас одною своею мимикою. Мамзель Клерон была в восхищении и в доказательство своей признательности к первому современному актеру, как она его называла, для того чтоб уколоть честного Лекена, с которым была не в больших ладах, бесподобно продекламировала монолог из «Альзиры»: «Mânes de mon amant, j'ai donc trahi ta foi» [1]. Гаррик с своей стороны не захотел остаться у ней в долгу и тотчас же начал декламировать известный монолог Гамлета: «To be or not to be» [2] — с такою силою и с таким чувством, что мы были поражены.

---

[1] «Тень моего возлюбленного,
я обманула твою любовь» (*франц.*).

[2] «Быть или не быть» (*англ.*).

Таким образом, оба великих артиста друг перед другом взапуски декламировали лучшие сцены из своих ролей: Клерон из Гермионы, Шимены и Аменаиды, а Гаррик из Лира и Макбета. «Я не могу забыть этого вечера,— продолжал Дмитревский,— и до сих пор не надивлюсь, как эти люди без всяких подобий к театральной иллюзии могли производить такое невероятное впечатление на своих слушателей. Правда, все общество составлено было из восторженных любителей театра, каких теперь мы более не встречаем, но между тем надобно отдать справедливость и увлекательности таланта прежних превосходных актеров. Под конец ужина мамзель Клерон пожелала, чтоб я продекламировал что-нибудь из русской трагедии, но я решительно отказался, потому что чувствовал свое бессилие, и только по неотступной ее просьбе дать ей некоторое понятие о звуках и гармонии русского языка прочитал куплеты Сумарокова: «Время проходит, время летит» и проч. Она слушала с большим вниманием и, когда я кончил, пресерьезно сказала: «Je n'y comprend rien, mais cela doit être charmant» [1]. Настоящая француженка!

19 января,
суббота.

Сегодняшний вечер я провел у Яковлева. Застал его одного. Он сидел задумчиво на диване и читал какую-то книгу; на столике лежало несколько других книг и стоял недопитый стакан пунша. При входе моем он несколько привстал и указал мне место возле себя, примолвил довольно сухо: «Милости просим». Я сел и ожидал от него какого-нибудь вопроса, чтоб начать разговор, но он молчал, вероятно ожидая от меня первого слова. Наконец, подумав, что я пришел к нему не в молчанку же играть, я решился прекратить это смешное безмолвие. «Не помешал ли я вам? — просил я его,— вы что-то читали?» — «Да,— отвечал он, перелистывая книгу,— а перед тем читал другую — Плутарха».— «In varietate voluptas»,— сказал я.— «А что это зна-

---

[1] «Я в этом ничего не понимаю, но это, вероятно, очаровательно» (*франц.*).

чит?» — «В разнообразии наслаждение». Яковлев посмотрел на меня и вдруг спросил: «А вы знаете по-латыни?» — «Немного знаю,— отвечал я,— но лучше знаю по-славянски».— «Не в семинарии ли учились?» — «Нет, дома и в Московском университете».— «Иван Афанасьич, помните, сказывал на репетиции, что вы написали трагедию».— «Написал, и кажется, очень плохую». Яковлев опять очень выразительно посмотрел на меня. «Как же плохую? Иван Афанасьич при вас же говорил, что в ней есть стихи очень хорошие».— «В том-то и беда, Алексей Семеныч, что одни стихи не составляют трагедии, и я, к сожалению, догадываюсь о том поздно».— «Странно!» — «Ничего не странно, Алексей Семеныч; согрешив, лучше поскорее покаяться, чем упорствовать в своем заблуждении».— «Да вы, я вижу, большой чудак! Не хотите ли пуншу?» — «Давайте пуншу; я мало пью, но с вами выпью стакан с удовольствием». Яковлев как будто оживился и громко закричал: «Семениус!» Вошел слуга, толстый и неуклюжий. «Принеси пуншу! Да вы какой любите: слабый или покрепче?» — «Все равно, какой подадут, такой пить и буду».— «Ну, так это значит: покрепче».— «Пожалуй, хоть покрепче».— «А были ли вы в „Донском“?» — «Был и от души любовался вами: плакал как дурак и неистовствовал вместе с другими от восторга. Не хочу говорить вам комплиментов: вы не нуждаетесь в них, но должен сказать, что вы превзошли мои ожидания. Я восхищался Шушериным и Плавильщиковым в роли Эдипа, но в роли Димитрия вы совершенно овладели всеми моими чувствами».— «Так вы видели Эдипа? Я не люблю роли Тезея и всегда играю ее с неудовольствием».— «Я это заметил».— «Как заметили?» — «Да так. Вы играли ее, что называется, куды зря, и я не мог предполагать, чтоб актер с вашими средствами и с вашей репутацией мог играть так небрежно без особенной причины».— «Да вы, я вижу, прозорливы. А который вам год?» — «Осьмнадцатый в исходе».— «А на вид старше».— «Много прочувствовал, Алексей Семеныч».— «Небойсь были влюблены?» — «Был и есть». Яковлев глубоко вздохнул и залпом осушил свой стакан пуншу. «Вы сказали, что знаете хорошо по-славянски, так, следовательно, хорошо знаете и Библию?» — «Знаю, Алексей Семеныч, от книги Бытия до Апокалипсиса, и чувствую все

высокие красоты Священного писания». Тут я очутился в своей сфере и, грешный человек, не упустил воспользоваться случаем пустить пыль в глаза удивленному Яковлеву, который, вероятно, думал, что он один только знает Библию. Я прочитал ему наизусть песнь Моисея, лучшие места из „Пророков“, из „Притчей“, из „Премудрости Соломона“ и „Сираха“, несколько глав из евангелия Иоанна Богослова, указал на все высокие места в посланиях апостольских, так что мой Яковлев слушал меня с величайшим изумлением. «Теперь простите (сказал я ему), иду домой записывать в свой журнал нашу с вами беседу».— «Для чего же это?» — «Для того, что имею привычку записывать все ежедневные случаи моей жизни».— «Так поэтому вы человек опасный?» — «Не для вас, Алексей Семеныч, а скорее для себя, потому что в записках своих не щажу одного только себя».— «Неужто же записываете и грешки свои?» — «Непременно, если эти грешки сопряжены с ощущениями души или с чувствованиями сердца».— «Ну, послушайте, выпьем еще по стакану пуншу».— «Согласен, только с условием, чтоб вы прочитали мне что-нибудь».— «Пожалуй, да что же и зачем я читать буду? Вы и так можете видеть и слышать меня за медный рубль».— «Прочитайте что хотите; я люблю ваш орган и вашу дикцию: они доходят до сердца».— «Разве что-нибудь из Державина, например: „На смерть князя Мещерского“?» — «Чего же лучше? Давайте я, пожалуй, буду суфлировать вам».— «Не нужно; я знаю прежнего Державина наизусть». И вот Яковлев, закричав опять: «Семениус — пуншу!» — приосанился и начал:

Глагол времен, металла звон и проч.

Он читал прекрасно, но когда дошел до стихов:

Где стол был яств, там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались клики,
Надгробные там воют лики
И бледна смерть на всех глядит.
Глядит на всех и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и в сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И — точит лезвие косы! —

то произнес их с такою невероятно страшною выразительностью, что меня затрепала лихорадка, и мне показалось, что смерть с угрожающим видом точно стоит передо мною. Я долго не мог прийти в себя и только опомнился, когда Яковлев кончил уже всю оду.

Мы расстались искренними друзьями, дав друг другу слово видеться сколь возможно чаще. На прощанье Яковлев сказал мне: «Ведь я и сам давнишний стихотворец; когда-нибудь прочитаю вам и свое маранье; только прошу не взыскать — самоучка!»

Слушать стихи его буду, но пуншу пить не стану: это какой-то омег.

20 января,
воскресенье.

Бал у Воеводских был пренарядный; между танцующими я видел много пригожих женщин и ловких кавалеров, но пригожее хозяйки и ловчее бывшего соученика моего в пансионе Ронки Петра Валуева никого не заметил. В числе гостей находилось много очень известных людей, и между прочим, граф П. В. Завадовский, общий опекун, как его называли, Ф. А. Голубцов; сенаторы: И. А. Алексеев, толстый и угрюмый; Н. А. Беклешов, брат бывшего московского градоначальника, небольшого роста старичок с круглым добродушным лицом и веселою физиономиею; граф Ильинский, которого мнение, данное в Сенате, так сделалось народным; А. А. Саблуков, оракул Воспитательного дома, и А. С. Макаров, член нового комитета для рассмотрения дел о нарушении общественного спокойствия. Эти матадоры играли в карты. Милая хозяйка приглашала меня танцевать и даже указывала мне дам, которых бы я ангажировать мог, но я решительно отказался, не желая срамить себя и несчастную даму, которая бы имела неосторожность взять меня в свои кавалеры. На отказ мой бесподобная Катерина Петровна шутя спросила меня: «Mais à quoi donc êtes vous bon? Vous ne dansez pas et ne jouez pas».— «A vous admirer, madame» [1],— отвечал я и так вдруг сконфу-

---

[1] «Так на что же вы годитесь? Вы не танцуете и не играете». — «На то, чтобы любоваться вами» (*франц.*).

зился от пошлого своего комплимента семидесятых годов, что хоть бы провалиться сквозь землю. С отчаяния подсел я к А. И. Ададуровой и проболтал с нею до самого ужина. Она пеняла мне, что вовсе почти у них не бываю, да что же делать? Всюду поспеть невозможно, а если иногда и поспеешь, то зачем? От лишнего рассеяния черствеет и ржавеет душа.

21 января,
понедельник.

В обращении И. К. Вестмана с нами есть много сходства с обращением Антонского с своими пансионерами. По-видимому, он также не обращает большого внимания на поведение своих подчиненных, так же ласков и снисходителен, никогда никому не делает выговоров, а умеет держать себя так, что все его уважают и даже боятся. Он, решительно можно сказать, умный и добрый человек старого покроя. Сегодня, проходя из Секретной экспедиции, он встретил меня в беседе с 95-летним сторожем Ворониным и удивился, о чем я могу разговаривать с сторожем. Я сказал ему, что Воронин преинтересное существо и был очевидцем таких происшествий, которые мы знаем только по преданиям, и то не всегда верным. Он улыбнулся и спросил меня, отчего я не хожу в наш архив к П. Г. Дивову, у которого бы я нашел много любопытной старины и, между прочим, имел бы случай изучить наши трактаты с иностранными державами, что необходимо нужно для человека, посвящающего себя дипломатике. У меня давно вертелось в голове ходить от нечего делать в архив к Дивову, но боялся потревожить его, потому что нет ничего несноснее для человека, занятого делами, как посещения людей праздных, но И. К. развязал мне руки, и я отправился к Дивову.

П. Г. Дивов умный, образованный и обходительный человек, и я, право, не знаю, почему я так его пугался, разве оттого, что он такой же начальник архива, как и Н. Н. Бантыш-Каменский, который, бог весть почему, прослыл медведем, между тем как, несмотря на его угрюмость — последствие невероятного трудолюбия и сидячей уединенной жизни, он один из добрейших людей в свете. Но Дивов даже и не угрюм, а имеет

все приемы настоящего дипломата и большой охотник поговорить. Он рад был моему приходу и предложил мне сообщить все, что в его распоряжении находится, кроме некоторых заповедных бумаг, которые без особого предписания никому не сообщаются. Зачем он мне сказал о том? От этих слов я вдруг потерял всю охоту рыться в других бумагах. Со мною случилось то же, что с одним искателем кладов, который, найдя корчагу серебряных монет, пренебрег ею для того, что возле находилась другая, с золотыми, ему недоступная. Такова натура человеческая. Впрочем, я считаю и то уже настоящим кладом, что мои утра проходить будут не в одних толках о Троянской войне, недостатке дичи по берегам Финского залива и завидном искусстве делать конверты без пособия ножниц. Дивов, как сказал я, любит поговорить, но он не без сведений, и разговор его всегда à la hauteur des évènements du jour [1], да сверх того иногда в нем проскакивают довольно счастливые мысли; например, разговаривая с статским советником Званцовым, который жаловался на молчание одного из лучших друзей своих, находящегося при посольстве в Неаполе, Дивов сказал, что на таких людей, каков приятель Званцова, сетовать не должно, потому что свойство их — привязываться только к тем предметам, которые у них перед глазами. «Они похожи на железные опилки,— прибавил Дивов,— которые притягиваются магнитом только в близком расстоянии». Говоря о некоторых молодых людях богатых фамилий, состоящих на службе в Коллегии, не занимающихся делом и ничего не знающих, а между тем почитающих себя великими мудрецами, он сказал, что недостатки их происходят оттого, что им все льстили с детства: от математического учителя до танцевального, и было бы гораздо полезнее посылать их учиться в манеж, потому что лошадь не льстит: неумелого тотчас сшибет, будь он богат, как Крёз.

22 января,
вторник.

Помнится, в одном московском журнале напечатана была года три назад, в пример высокопарной галиматьи,

---

[1] На уровне последних событий (*франц.*).

шуточная ода Пегасу, начинавшаяся так:

Сафиро-храбро-мудро-ногий
Лазурно-бурый конь Пегас,—

и оканчивающаяся преуморительным набором слов. На днях появилась другая ода, уже не шуточная, а серьезная и пресерьезная, и не Пегасу, а смелому его наезднику, В. А. Озерову; эту оду, состряпанную каким-то рифмоплетом и напечатанную в театральной типографии, можно смело поставить в ряд с вышеописанной ахинеею. Вот ее начало:

О муз прелестно-вечно-юных
Наперсник и усердный жрец!
Твои громозвучащи струны
Суть упоенье для сердец;
Когда рука твоя прияла
Свой остро-пламенный резец,
Она Эдипа начертала,
Ты ныне Дмитрия творец.

Окончание вполне соответствует началу. Вот покамест единственный поэтический венок нашему Еврипиду.

Я слышал от французского актера Флорио, что французский театр в Москве не новость и что лет пятнадцать назад приезжала в Москву из Швеции французская труппа под дирекциею родственника его, Воланжа, отличного актера. К сожалению, эта труппа пробыла недолго, потому что выручка за представления не покрывала расходов. Флорио сказывал, что, кроме Воланжа, некоторые сюжеты, как то: Карон и мадам Дюплесси — были артисты весьма талантливые. Видно, на все мода!

23 января,
среда.

Говорят, что генерал Беннигсен после победы над французами при Пултуске теперь покамест играет с ними в шахматы, то есть они только маневрируют, в ожидании благоприятного случая напасть друг на друга. В некоторых стычках Беннигсен имел преимущество и однажды разбил Бернадотта. Утверждают, однако ж, что скоро должно ждать решительных вестей из армии. Между тем вся Русь подымается или, вернее сказать,

поднялась: милиция сформирована и всех от мала до велика обуял какой-то воинственный дух.

Дирижер оркестра в немецком театре, Калливода, хороший и сообщительный человек, дал прочитать мне прекрасный эстетический разбор всех творений Моцарта, изданный под заглавием «Mozart's Geist». Она так понравилась мне, что я тотчас же отнес ее к математику-музыканту П. А. Рахманову, который не имел о ней никакого понятия. Он был в восторге и немедленно поскакал в книжные лавки отыскивать для себя эту книгу, которая, по его уверению, будет у него настольною.

Давеча наша гамбургская газета, Викулин, восхищающийся всем, что только пахнет Англиею и англичанами, рассказывал, что он читал какую-то статистическую книгу, в которой подробно описаны все пути сообщения в Англии, и, в пример необыкновенного ума и предприимчивости англичан, приводил устройство двух каналов в Сутамптоне, большого и маленького, называемого Ребрич, одного возле другого, так что по одному плавают большие суда, а по другому маленькие. «Умно придумано,— сказал Приклонский,— и похоже на то, что сделал один хозяин, построив анбар: он прорубил в нем две лазеи, одну побольше, а другую поменьше: одну для кошек, а другую для котят». Мы померли со смеху.

24 января,
четверг.

Эйнбродт сказывал, что старейший из лейб-медиков, доктор Рожерсон, бывший любимый лейб-медик великой Екатерины, находит, что кислая капуста, соленые огурцы и квас в гигиеническом отношении чрезвычайно полезны для нашего петербургского простонародья и предохраняют его от разных болезней, которые бы в нем развиться могли от влияния климата и неумеренного во всех случаях образа жизни. Рожерсон употребляет сам охотно кислую капусту в сыром виде и предписывает ее своим пациентам от припадков желчи; но зато кислую капусту вареную или поджаренную в масле он находит чрезвычайно обременительною для желудка и так приготовленную не советует употреблять в пищу.

Доктор Рожерсон, высокий, худощавый, серьезный старик, имеет много опытности и, сверх медицинских познаний, пользуется славою ученого человека. Говорят, что он не очень любит Франка, которого считает за представителя ненавистных ему немецких теорий в медицине.

Вечера моего хозяина по четвергам, право, очень веселы, и доктор Торсберг мастер угощать своих знакомых и сам себя угощает без церемоний. Прелюбезный карапузик! Удивляется, что я плачу ему за квартиру вперед, и сегодня превозносил меня Эллизену и Альбини за то, что я живу тихо и не играю в карты. Вот нашел добродетель! это все равно, что уважать человека за то, что он не ворует из кармана платков.

Впрочем, пусть его прославляет меня: это все-таки лучше, чем если бы он относился обо мне худо. Сколько я в короткое время пребывания моего в Петербурге заметить мог, репутацию молодых людей делают, во-первых, хозяева домов, а после них дворники и сидельцы в мелочных лавочках. Стоит только обратиться к ним, чтоб узнать в подробности историю житья-бытья всякого жильца, например какого он поведения, есть ли у него деньги и откуда их получает, ходят ли к нему кредиторы, или сам он ходит по должникам своим,— словом, они расскажут вам все от аза до ижицы. Меня уверяли, что не одна свадьба устроилась и не одна расстроилась по милости этих фабрикантов репутаций.

Литературные вечера назначены по субботам поочередно у Гаврила Романовича, А. С. Шишкова, И. С. Захарова и А. С. Хвостова; они начнутся в субботу 2 февраля у Шишкова, которому принадлежит честь первой о них мысли; вероятно, после кто-нибудь из известных особ захочет также войти в очередь с нашими меценатами, но покамест их только четверо. Все литераторы без изъятия, представленные хозяину дома кем-либо из его знакомых, имеют право на них присутствовать и читать свои сочинения, но молодые люди, более или менее оказавшие успехи в словесности или подающие о себе надежды, будут даже приглашаемы, потому что учреждение этих вечеров имеет главным предметом приведение в известность их произведений.

25 января,
пятница.

Слышно, что скоро на русской сцене появится новая актриса, которая никогда себя не готовила для сцены. Это дочь балетмейстера Валберха, прекрасная собою и очень образованная девушка. Говорят также, что какой-то молодой человек, служащий в банке, по фамилии Крюковский, входит в состязание с Озеровым и пишет или уже написал новую патриотическую трагедию, взяв сюжет из эпохи междуцарствования и назвав ее «Пожарский». Павел Михайлович Арсеньев, ежедневный гость у А. Л. Нарышкина, уверял, что он слышал некоторые сцены и стихи, которые могут назваться превосходными,— дай бог! Кажется, деятельность театральных сочинителей увеличивается; обещают еще три новые комедии известных писателей кн. Шаховского, Крылова и П. Сумарокова.

27 января,
воскресенье.

Кто-то сказал: «On souffre moins de la part des grands que de la part de leurs singes» [1], и я начинаю тому верить. Мне очень хотелось представиться Александру Львовичу Нарышкину, и Лабат, старинный его знакомец и кредитор, дал мне рекомендательное к нему письмо. Я был у него сегодня утром, но добрался до него не без труда: какой-то господин, которого называли Александром Ильичом, толстый, хриповатый и с опухшим лицом, встретил меня и весьма гордо и даже несколько неучтиво стал расспрашивать, что я за человек, зачем пришел, от кого письмо и какого оно содержания; говорил, что Александра Львовича едва ли можно сегодня видеть, потому что он очень занят, что я лучше бы сделал, если б пришел в другое время, и прочее, тому подобное. Я отвечал, что письмо от Якова Петровича Лабата, который поручил мне отдать его Александру Львовичу непременно сегодня, и что если ему теперь нет времени, так я подожду вместе с

---

[1] «Сильные мира причиняют меньше страданий, чем их обезьяны» (*франц.*).

другими. Александр Ильич отвернулся от меня и насмешливо улыбнулся, как бы давая мне чувствовать: «ну, брат, долго же тебе дожидаться». Между тем в небольшой приемной комнате было довольно холодновато и сесть было не на чем: немногие стулья были все заняты какими-то просительницами в шляпках. Я продрог и устал. Положение мое становилось неприятным, но делать было нечего; сам кругом виноват; однако ж скоро вышедший камердинер объявил, что Александр Львович приказал принимать всех и что он сел чесаться. Меня, как подателя письма, впустили первого. Нарышкин сидел закутанный в пудро-мантель; его завивали и пудрили. Я подал ему письмо, которое он тотчас же распечатал и мигом пробежал глазами. «Очень рад познакомиться»,— сказал он, протягивая мне руку, и так бесцеремонно, так откровенно и добродушно, что у меня расцвела душа. «А что делает старый гасконец?» — просил он, разумея Лабата. Я отвечал, что он довольно здоров, хотя по-прежнему прихрамывает... «И по-прежнему объедается,— продолжал Александр Львович,— надобно осторожнее поступать со своим желудком». С последним словом он захохотал. «Vous voyez le diable qui prêche la morale [1]; но между нами большая разница: я делаю очень много движения, а он сидит сиднем». Я поздравил его с получением высочайшего рескрипта от 19-го числа. «А читал ли ты его, мой милый? Если читал, то, верно, заметил, что государь, по милости своей, открыл во мне качества, которых я сам не подозревал за собою».— «C'est l'économie et l'ordre dans les affaires, dont veut parler votre excellence» [2],— с улыбкою подхватил высокий худощавый старик, живописец Мес, как кажется, домашний у Нарышкиных человек. Засим Александр Львович приглашал меня обедать у него когда только мне вздумается и поручил тому самому толстому господину, который так невежливо прежде говорил со мною, представить меня от его имени супруге его, Марье Алексеевне, если я приеду в те часы, когда она принимает, и не застану его самого дома. Я откланялся; толстый хрипун проводил меня гораздо вежливее, чем встретил и, на рас-

---

[1] Перед вами дьявол, проповедующий нравственность (*франц.*).

[2] «Ваше превосходительство имеет в виду бережливость и порядок в делах» (*франц.*).

ставанье, объявил мне, что его зовут А. И. Сен-Никлас, что он считается секретарем при его высокопревосходительстве, но заведывает домашними его делами. «Ну, так позвольте мне,— сказал я ему,— явиться к вам в такое время, как вы сами назначите, и быть вам обязанным моим представлением Марье Алексеевне».— «Да какую имеете вы надобность до Марьи Алексеевны? — возразил Сен-Никлас.— Она не большая охотница до новых знакомств и всегда сетует на Александра Львовича, что он рекомендует ей молодых людей, когда они не нужны для балов, а балов теперь не предвидится». Я отвечал, что бывать у Александра Львовича и не быть представленным его супруге было бы очень странно и неучтиво. «Помилуйте,— подхватил Сен-Никлас,— Марья Алексеевна не знает и половины гостей, которые ездят к Александру Львовичу, да и сам-то он едва ли помнит имена их: войдут, поклонятся — а там и делай что хочешь. Впрочем, как вам угодно, я всегда к вашим услугам».

Не знаю, как примет меня Марья Алексеевна, но что касается до Александра Львовича, то я вышел от него вполне довольный и счастливый. Это настоящий русский барин. Он не думает унизить своего достоинства, протягивая дружелюбно руку незначительному чиновнику и предлагая ему прибор за столом своим. Говорят, что он легкомыслен; а какое кому до того дело? Он не путается в дела государственные, не берет на себя тяжелой обязанности быть решителем судьбы людей и довольствуется своим жребием быть счастливым и по возможности счастливить других.

Я видел Александра Львовича в прошлом году в Москве, на клубном обеде, данном князю Багратиону, и мне в мысль не приходило, чтобы он был так доступен и приветлив. Напишу или переведу какую-нибудь пьеску и посвящу ему, может быть добьюсь и я бесплатного входа в театр.

28 января, понедельник.

Видел здешнего обер-полицемейстера Эртеля. Прежде он был обер-полицемейстером в Москве и нагнал такой страх на москвичей, что все его боялись пуще

Архарова. Теперь он тих и скромен; генерал стареет, а стареющий человек, естественно, должен чувствовать более нужды в людях и потому быть с ними обходительнее. Я слышал, что его не очень уважают в обществе, хотя и отдают справедливость его расторопности.

Граф Монфокон сказывал, что он в детстве своем видел несколько раз известную в истории прелестницу Марион де Лорм, которой тогда было уже около ста тридцати лет; давно пережила она всех своих современников и даже биографов и находилась в бедности. Родители Монфокона и другие известные люди ей помогали. Сколько Монфокон мог себе припомнить, Марион была преотвратительная старуха и совсем почти выжила из ума и памяти. Единственным предметом ее разговоров был кардинал де Ришелье: им только она и бредила. Sic transit gloria mundi! [1]

29 января,
вторник.

Н. Челищев доставил мне письма от моих домашних и малую толику деньжонок, в которых я начинал чувствовать нужду. Как быть! В два с половиною месяца я издержал около 500 руб. Деньгам рад, но, право, столько же рад и посланию Петра Ивановича: он пишет, что Москва гуляет во всю ивановскую, ополчаясь на силу вражию, на могучего забияку Бонапарте — могучего, как он выражается, и существенными силами своих полчищ, и тем нравственным очарованием, какое придают ему военные его удачи. Мой добрый Петр Иванович всегда свысока и не может написать страницы без затейливых фраз.

Челищев рассказывал, что с пробуждением воинственного духа показался в Москве такой необыкновенный прилив денег, какого старики не запомнят; но зато вместе с ним появились и азартные игры в таких огромных размерах, каких также не запомнят старики. Все прежние любимые увеселения, как то: собрания, балы, спектакли и разного рода охоты — предоставлены теперь мелкой сошке, а богачи пустились искать ощуще-

---

[1] Так преходяща мирская слава! (*Лат.*)

ний сильнейших за карточными столами. Банк во всем разгаре: проигрывают и выигрывают неимоверные суммы. Нечто подобное начиналось уже в запрошлом году, и мне очень памятны эти физиономии банкометов, тощие и страдальческие, физиономии, которые я не желал бы встречать часто в жизни; эти дрожащие руки, закрывающие карты принадлежащей им стороны и после медленно их вскрывающие с таким трепетом, как будто бы вскрывали они роковой жребий свой на жизнь или смерть... страшно смотреть!

31 января,
четверг.

Вопрос: можно ли проспать сутки, не просыпаясь?

Ответ: можно. Я проспал двадцать пять часов; и если бы меня из сожаления не разбудили, то, может быть, проспал бы и долее. Альбини ужаснулся, а хозяин мой, добрый Торсберг, рассказывая сегодня гостям своим о таком необыкновенном случае, непременно настаивал на консультации. Однако ж я ничего не чувствую, и милые немочки, кроме опухших глаз и оплывшего лица, никакой другой перемены во мне не заметили. Мы пели до самого ужина, и я так славно вторил Schwester Dorchen в дуэте из «Волшебной флейты», что заслужил общее одобрение: так и заливался:

Mann und Weib, und Weib und Mann
Reichen an die Gottheit an! [1]

В конце ужина приехавший из дворца дежурный лейб-медик Бек объявил, что в 9-м часу прибыл из армии курьер с какими-то важными известиями, о которых объявлено будет только при прибытии другого курьера, ожидаемого завтрашний день.

1 февраля,
пятница.

Славный мне выдался день! Только что успел я продрать глаза, как явились Альбини с Торсбергом и каким-

[1] Мужи и жены, жены и мужи становятся подобны богам! (*Нем.*)

то придворным цирюльником; оба медика стали уговаривать меня пустить себе кровь, для того чтоб предупредить последствия вчерашней спячки. По несогласию моему, они готовы были прибегнуть к насилию, и Торсберг серьезно доказывал, что Альбини обязан заставить меня решиться на кровопускание, во избежание ответственности перед моими домашними, которые поверили меня ему на руки. Сначала я отшучивался просто, но вдруг пронял меня такой истерический смех, что мои эскулапы и стоявший в молчании цирюльник не знали, что подумать, и стали переглядываться между собой. Мне вообразилось, что мы разыгрываем сцену из Мольерова «Пурсоньяка», а Торсбергу — что предусмотрительность его оправдалась и я вдруг спятил с ума. Насилу мог я избавиться от неугомонных моих попечителей, дав им честное слово принять такие лекарства, какие прописать для меня им вздумается, с тем только, чтоб освободили меня от кровопускания.

Вечером был во французском спектакле. Давали комедию «Le Bourru bienfaisant» — торжество Лароша и оперку «Le dejeuner des garçons», в которой так хороши мадам Филис и Сен-Леон, отъезжающий скоро в Париж. Но актеры играли и пели для слепых и глухих: никто не обращал на них никакого внимания, никто не слушал ни комедии, ни оперы, потому что все смотрели на Ставицкого, присланного генералом Беннигсеном с известием об одержанной победе под Прейсиш-Эйлау. Подполковник Ставицкий, флигель-адъютант, сидел в ложе графини Строгановой и что-то с жаром рассказывал входившим беспрестанно в ложу разным особам. В креслах и партере между зрителями слышался какой-то невнятный говор: одни шептались, другие переговаривались громче, а некоторые вставали с мест своих и, подходя к ложам, делали вопросы знакомым дамам, но вместо ответов были в свою очередь осыпаемы только вопросами. Несмотря на все напряженное внимание, я не мог уловить ни одной определенной фразы и только мог различить слова: «Une victoire complète, une bataille sanglante, beaucoup de blessés, le comte Osterman, Toutschkoff, Koutaïsoff» [1] и тому подобное; в таком волнении публики прошел

---

[1] «Полная победа, кровопролитное сражение, много раненых, граф Остерман, Тучков, Кутайсов» (*франц.*).

весь спектакль, под конец которого в ложе Александра Львовича столько набралось его знакомых, что он, кажется, не знал, куда от них деваться. Впрочем, и во всех ложах, особенно у Катерины Ильиничны Кутузовой, Марьи Антоновны Нарышкиной и такой же красавицы княгини Суворовой, столпилось много посетителей и посетительниц и было так шумно, как бы в домашних гостиных.

Возвращаясь из театра, я заметил, что большею частию все домы, мимо которых я проезжал, были освещены необычайно светло, а у иных подъездов стояло много экипажей и простых саней. Это недаром: общих праздников нет, о балах не слыхать, следовательно, городские обыватели собираются для передачи друг другу полученных вестей. Завтра в Коллегии узнаю и я о всех подробностях бывшего сражения, но дорого бы дал, чтоб узнать о них теперь, на сон грядущий, потому что неудовлетворенное любопытство не в ладах с Морфеем.

2 февраля,
суббота.

Кажется, над нами сбылась народная поговорка: наша взяла, а рыло в крови. Илья Карлович, бывший утром у министра, слышал от него, что одних только наших русских осталось на месте сражения около 30 000 человек, а о пруссаках ничего еще не известно. Бой продолжался двои сутки с попеременным успехом, но мы наконец одолели. В самом городе Эйлау, который князь Багратион взял приступом, была ужасная резня: мы били французов по улицам, как поросят; к сожалению, не могли его оставить за собою, потому что какой-то генерал, желая собрать рассеянных солдат, приказал несвоевременно бить сбор и они поспешили на призыв, не успев совершенно вытеснить неприятеля. Родофиникин и Дивов уверяют, что, по соображениям знающих людей, это сражение вовсе не оканчивает дела и есть только начало других битв, хотя, может быть, и не столь кровопролитных, и что оно важно только в отношении к нравственному влиянию, какое может иметь на дух наших войск, считавших доселе Бонапарта непобедимым. Теперь мы доказали, что он не совсем так непобедим,

как утверждали, и что можно бороться с ним не без успеха.

Что-то будут говорить сегодня за обедом у Гаврила Романовича и на литературном вечере у Шишкова? Очень желаю слышать толки и суждения людей благомыслящих о теперешних наших военных обстоятельствах, и, признаюсь, столько же хочется знать, что происходить будет на первом литературном вечере, на который многие собираются по приглашению почтенного хозяина.

3 февраля,
воскресенье.

Поздно вчера возвратился я от А. С. Шишкова, веселый и довольный. Общество собралось не так многочисленное, как я предполагал: человек около двадцати — не больше. Гаврила Романович, И. С. Захаров, А. С. Хвостов, П. М. Карабанов, князь Шихматов, И. А. Крылов, князь Д. П. Горчаков, флигель-адъютант Кикин, которого я видел в Москве у К. А. Муромцевой, полковник Писарев, А. Ф. Лабзин, В. Ф. Тимковский, П. Ю. Львов, М. С. Шулепников, молодой Корсаков, Н. И. Язвицкий, сочинитель букваря, Я. И. Галинковский, автор какой-то книги для прекрасного пола под заглавием «Утренник», в которой, по отзыву Шулепникова, лучшими статьями можно почесть: «Любопытные познания для счисления времен» и «Белые листы для записок на 12 месяцев», и, наконец, я, не сочинивший ни букваря, ни белых листков для записок на 12 месяцев, но приехавший в одной карете с Державиным, что стоит букваря и белых листов для записок. Долго рассуждали старики о кровопролитии при Эйлау и о последствиях, какие от нашей победы произойти могут. Одни говорили, что Бонапарте нужно некоторое время, чтоб оправиться от полученного им первого в его жизни толчка; другие утверждали, что если расстройство во французской армии велико, то и мы потерпели немало, что наша победа стоит поражения и обошлась нам дорого, потому что из 65 000 человек, бывших под ружьем, выбыла из строя почти половина. Слово за слово, завязался спор: Кикин и Писарев, как военные люди, с жаром до-

казывали, что надобно продолжать войну и что мы кончим непременно совершенным истреблением французской армии и самого Бонапарте; а Лабзин с Хвостовым возражали, что теперь-то именно и должно хлопотать о заключении мира, потому что, имея в двух сражениях поверхность над французами, мы должны воспользоваться благоприятным случаем выйти с честью из опасной борьбы с сильным неприятелем. Хозяин решил спор тем, что как продолжение войны, так и трактация о мире зависят от благоприятного оборота обстоятельств, а своим произволом ничего не сделаешь, и что бывают случаи, по-видимому очень маловажные, которые имеют необыкновенно важное влияние на происшествия, уничтожая наилучше составленные планы или способствуя им. «Возьмем, например,— сказал серьезный старик,— хотя бы и последнее сражение: отчего погиб корпус Ожеро? Оттого, что внезапно поднялась страшная метель и снежная вьюга прямо французам в глаза: они сбились с настоящей дороги и неожиданно наткнулись на главные наши батареи. Конечно, расчет расчетом и храбрость храбростью, но положение дел таково, что надобно действовать осторожно и не спеша решаться как на продолжение войны, так и на заключение мира; а впрочем, государь знает, что должно делать».

Время проходило, а о чтении не было покамест и речи. Наконец, по словам Гаврила Романовича, ходившего задумчиво взад и вперед по гостиной, что пора бы приступить к делу, все уселись по местам. «Начнем с молодежи,— сказал А. С. Хвостов,— у кого что есть, господа?» Мы, сидевшие позади, около стен, переглянулись друг с другом и почти все в один голос объявили, что ничего не взяли с собой. «Так не знаете ли чего наизусть? — смеясь, продолжал Хвостов,— как же это вы идете на сражение без всякого оружия?» Шулепников отвечал, что может прочитать стихи свои к «Трубочке». «Ну хоть к „Трубочке“! — подхватил И. С. Захаров, меценат Шулепникова.— Стишки очень хорошие». Шулепников подвинулся к столу и прочитал десятка три куплетов к своей «Трубочке», но не произвел никакого впечатления на слушателей. «Пахнет табачным дымком»,— шепнул толстый Карабанов Язвицкому. «Как быть! — отвечал последний.— Первую песенку зардевшись спеть». Гаврила Романович, видя,

что на молодежь покамест надеяться нечего, вынул из кармана свои стихи «Гимн кротости» и заставил читать меня. Я прочитал этот гимн, к полному удовольствию автора, и, кажется, заслужил репутацию хорошего чтеца. Разумеется, все присутствующие были или казались в восторге, и похвалам Державину не было конца. За этим все пристали к Крылову, чтоб он прочитал что-нибудь. Долго отнекивался остроумный комик, но наконец разрешился баснею из Лафонтена «Смерть и дровосек», в которой, сколько припомнить могу, есть прекрасные стихи:

...Притом жена и дети,
А там боярщина, подушные, оброк,
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек? —

а заключительный смысл рассказа выражен с такою простотою и верностью:

Что как на свете жить ни тошно,
Но умирать еще тошней.

Это стоит Лафонтенова стиха:

Plutôt souffrir, que mourir [1].

Казалось, что после Крылова никому не следовало бы отваживаться на чтение стихов своих, каковы бы они ни были, однако ж князь Горчаков, по приглашении приятелей своих Кикина и Карабанова, решился на этот подвиг и, вынув из-за пазухи довольно толстую тетрадь, обратился ко мне с просьбою прочитать его послание к какому-то Честану о клевете. Как ни лестно было для меня это приглашение, однако ж я долго отговаривался, извиняясь тем, что, не зная стихов, невозможно хорошо читать их, потому что легко дать им противосмысленную интонацию, но Гаврила Романович с нетерпением сказал: «Э, да ну, братец, читай! что ты за педант такой?» И вот я, покраснев от стыда и досады, взял у Горчакова тетрадь и давай отбояривать:

Свершилось наконец, и ты, Честан, и ты
Предмет злословья стал и жертвой клеветы;
Чудовища сии кого не поражали?
Когда и на кого свой яд не извергали?

---

[1] Лучше страдать, чем умереть (*франц.*).

Ты молод и пригож, ты честен и богат,
Ты добродетелен — так ты и виноват.
Пред светом винен тот, кто зависти достоин:
В нем трусом прослывет победоносный воин,
Безмездного судью мздоимцем нарекут,
Невинную красу к распутницам причтут!
Что хочешь ты, скажи, лишь злое кстати слово —
И общество его превозносить готово.
Зови того глупцом, кто кроток или благ;
Кто ж строг и справедлив — людей и бога враг,
Свет будет повторять: он щедр на порицанья.

Далее не припомню, но все послание в том же тоне; немножко длинновато, и стихи идут попарно вереницею, бьют в такт, как два молота об наковальню, но в них местами довольно силы и есть мысли — читать можно. Все слушали с большим вниманием, и по окончании чтения А. С. Хвостов сказал, кивая на князя Горчакова, с которым, как видно, он исстари дружен: «Это наш Ювенал».

Очередь дошла до Карабанова. Он также член Российской академии и, по-видимому, очень уважается, потому что писал и переводил много всякой всячины, от театральных пьес до книг духовного содержания. Шулепников говорил, что из всех его сочинений лучшими почитаются шуточные стихотворения, которых, к сожалению, напечатать нельзя. Мне показалось очень странным, что такой толстый, пухлый и серьезный человек занимается бездельем, и я думал, что сочинитель куплетов к «Трубочке» подшучивает надо мною, однако ж многие подтвердили слова Шулепникова, прибавив, что эти стихотворения, как то: «Пахарь», «Казак» и проч.— написаны легко, остроумно и прекрасным языком. Карабанов прочитал лирическую песнь на манифест о милиции, которою всех больше восхищался полковник Писарев, повторявший при окончании каждой строфы, состоящей из двенадцати шестистопных стихов: «Прекрасно, прекрасно!» Карабанов читает внятно, но так протяжно, монотонно и вяло, что невольно одолевает дремота: так читал я псалтырь по дедушке. Я мог запомнить только несколько стихов из последней строфы, в которой автор обращается к государю:

...Тебе защитой будь
Неколебимая россиян верных грудь;
И верует вся Русь, что днесь в охрану трона
Восстанет сам господь от горняго Сиона.

А. С. Шишков приглашал князя Шихматова прочитать сочиненную им недавно поэму в трех песнях «Пожарский, Минин и Гермоген»; но он не имел ее с собою, а наизусть не помнил, и потому положили читать ее в будущую субботу у Гаврилы Романовича. Моряк Шихматов необыкновенно благообразный молодой человек, ростом мал и вовсе не красавец, но имеет такую кроткую и светлую физиономию, что, кажется, ни одно нечистое помышление никогда не забиралось к нему в голову. Признаюсь в грехе, я ему позавидовал: в эти годы снискать такое уважение и быть на пороге в академию... За ужином, обильным и вкусным, А. С. Хвостов с Кикиным начали шутя нападать на Шихматова за отвращение его от мифологии, доказывая, что это непобедимое в нем отвращение происходит от одного только упрямства, а что, верно, он сам чувствует и понимает, каким огромным пособием могла бы служить ему мифология в его сочинениях. «Избави меня боже,— с жаром возразил Шихматов,— почитать пособием вашу мифологию и пачкать вдохновение этой бесовщиной, в которой, кроме постыдного заблуждения ума человеческого, я ничего не вижу. Пошлые и бесстыдные бабьи сказки — вот и вся мифология. Да и самая-то древняя история, до времен христианских — египетская, греческая и римская — сущие бредни, и я почитаю, что поэту-христианину неприлично заимствовать из нее уподобления не только лиц, но и самых происшествий, когда у нас есть история библейская, неоспоримо верная и сообразная с здравым рассудком. Славные понятия имели эти греки и римляне о божестве и человечестве, чтоб перенимать нелепые их карикатуры на то и другое и усваивать их нашей словесности!»

Образ мыслей молодого поэта, может быть, и слишком односторонен, однако ж в словах его есть много и правды.

После ужина Гаврила Романович пожелал, чтоб я продекламировал что-нибудь из «Артабана», которого он, как я подозреваю, успел, по расположению ко мне, расхвалить Шишкову и Захарову, потому что они настоятельнее всех стали о том просить меня. Я отказался решительно от декламации, извинившись тем, что ничего припомнить не могу, но предложил, если будет им угодно, прочитать свое послание к «Счастливцу»,

написанное гекзаметрами; тотчас же около меня составился кружок, и я, не робея, пропел им:

Юноша! тщетно себе ты присвоил названье счастливца:
Ты, не окончивший поприща, смеешь хвалиться победой! [1]

Старики слушали меня со вниманием и благосклонностью, особенно Гаврила Романович, которого всегда поражает какая-нибудь новизна, очень хвалил и мысли, и выражения, но позади меня кто-то очень внятно прошептал: «В тредьяковщину заехал!» И этот кто-то чуть ли не был Писарев. Бог с ним! Гаврила Романович сетовал, зачем я не прочитал ему прежде этих стихов, и прибавил, что если у меня в чемодане есть еще что-нибудь, то принес бы к нему на показ. Дорогой отозвался он о князе Шихматове, что «он точно имеет большое дарование, да уж не по летам больно умничает».

5 февраля,
вторник.

Люблю видеть немцев в трагедиях Шиллера, Гете, Клингера и Цшокке; люблю их в драмах Лессинга, Иффланда и Коцебу: в «Эйлалии Мейнау», в «Охотниках» и «Гуситах»; восхищаюсь ими в фарсах: в «Die Schwester von Prag», в «Das neue Sonntagskind» и проч., но боже избави видеть, как разыгрывают они пьесы героические, например хоть бы «Октавию», в которую сегодня нелегкая занесла меня! Что это такое? Куда девались таланты актеров? Что сталось с актрисами? Что за обстановка? Ах ты господи! что за Марк Антоний, которого играл даровитый Кудич? Что за Октавиан — полнощекий мой Гебгард? Что за Клеопатра — полногрудая красавица Лёве? И наконец, что за Октавия, приятельница моя, мадам Гебгард, хотя и сноснейшая из всех нестерпимо несносных персонажей уродливой драмы Коцебу? Да это не спектакль, а подкачельное игрище. И охота же им, добрым моим немцам, выходить из своей колеи и взбираться на ходули,

---

[1] Эти стихи, написанные в 1805 г. (в то время, когда никто еще не писал гекзаметрами, кроме Тредьяковскго), напечатаны впоследствии в «Учебной книге российской словесности», изданной г. Гречем. (*Позднейшее примеч.*)

когда они так хорошо ходят на своих ногах! Я сидел в продолжение всего спектакля как на иголках, краснея и бледнея за своих знакомцев, но когда досидел до сцены, в которой Марк Антоний (Кудич), сидя с Клеопатрою (Лёве) на каком-то пуховике, покрытом конюшенным ковром, изволит растарабаривать о сладости взаимной любви, а Октавиан — Гебгард приходит не в пору пенять ему за то, что он изменяет жене своей, а его сестре, то со мною чуть не сделалась истерика. Ведь надобно же было выдумать такую гиль и разыгрывать ее с такими египетско-чухонскими ужимками и ухватками, что не будь я приятель Октавии и Октавиана, то лопнул бы со смеху! В первый раз от рода пожалел я об истраченном рубле, который мог бы употребить с большею пользою; зрелище не стоило гроша. Поневоле вспомнишь Штейнсберга: со всем своим талантом он никогда не отваживался на представление пьес героических, взятых из древней истории, ни высоких комедий. «Это не по нашему масштабу,— говорил он,— наше дело рыскать по земле, а не летать по воздуху». Вот это значит ум.

6 февраля,
среда.

Сегодня удалось мне видеть богатую брильянтовую «челенгу», подаренную некогда султаном адмиралу Ушакову. Старый моряк пожертвовал было ее в пользу милиции, но государь пожелал, чтоб она осталась навсегда в семействе Ушакова памятником его подвигов, а за усердие приказал удостоверить его в постоянном своем благоволении. Кстати об адмиралах. Толкуют, что адмирал Сенявин, высадив внезапно команду человек в триста на один из далматских островов, Курцоли, занятый французами, перебил и взял в плен у них много людей и совершенно вытеснил их оттуда. О великих способностях и неустрашимости Сенявина говорят очень много; подчиненные его обожают, и кажется, он пользуется общим уважением и большой народностью.

Наш Федор Данилович всегда в восторге, когда дело идет о какой-нибудь филантропической мере; прежде он очень превозносил румфордов суп, а теперь превозносит какое-то растение «рогатку», или «чилим», которое на-

ходится по берегам рек, прудов и озер и может быть употребляемо в пищу. Министр коммерции граф Румянцев предложил Экономическому обществу сделать испытание, в какой степени это растение, похожее на каштан или картофель, может быть полезно и как успешнее разводить его в большом количестве. Федор Данилович уверяет, что прибрежные жители реки Суры иногда едят его и находят вкусным и питательным и что оно может заменить хлеб. Все это прекрасно, но зачем же заботиться об успешном разведении «чилима», а не обратить лучше внимания на средства к успешному урожаю самой ржи или пшеницы там, где они плохо родятся? а где родятся хорошо, так на что ж там «чилим»? Что-то непонятно...

7 февраля,
четверг.

Вестей, вестей из Москвы, матушки Москвы белокаменной! Вот что пишут о делах театральных. На французском театре дебютировала актриса Ксавье в роли Вольтеровой Меропы. Мадам Ксавье женщина очень высокого роста, довольно нескладная; орган имеет грубый, чувствительности ни на грош и так же похожа на Меропу, как гренадер на танцмейстера. Она не произвела никакого эффекта, да и публики было немного. Другой дебют ее был в роли малабарской вдовы, но еще неудачнее: она решительно не понравилась, и москвичи не знают, зачем она прислана на московскую сцену, на которой французских трагических актеров нет, а смотреть на одну мадам Ксавье и слушать ее бесчувственную декламацию никому нет охоты. «Не понимаю,— сказал в Английском клубе директор Приклонский, приятель Мордвинова, покровителя мадам Ксавье,— отчего было так мало публики в оба дебюта такой известной актрисы?» — «Оттого,— подхватил шалун Протасьев,— что в первый дебют ее была оттепель и шел мокрый снег, а во второй прилучился мороз и была ясная погода». На русском театре давали «Магомета», которого играл Плавильщиков с большим успехом. У немцев пошло дело на бенефисы: Литхенс давал какую-то драму «Агнесса Бернауер», Эме — оперу «Оберон» с музыкою Враницкого, а Гал-

тенгоф объявил, что дает керубиниевского «Водовоза». Француз Тексье в доме Н. С. Салтыкова, на Мясницкой, читает лекции о драматическом искусстве (lectures dramatiques); он повторяет Лагарпа и воображает, что читает свое. Балетмейстер Мунарети поставил новый балет под названием «Охотники», который смотреть охотников немного. Цыгане по-прежнему поют и пляшут; ни одна пирушка без них состояться не может, и Стешка, так же как и прежде, соловьиным своим голосом действует на сердца и карманы своих слушателей и поклонников. На днях появилась в продаже книжка под заглавием «Плуг и соха», с эпиграфом: «Отцы наши не глупее нас были»; ее приписывают графу Растопчину. Говорят, что эта книжка сочинена им на Дмитрия Марковича Полторацкого, который вводит у нас обработывание земли на манер английский. Странно, что это сочинение не продается в книжных лавках, а найти его можно только в доме знакомки твоей, А. С. Небольсиной, на Поварской улице.

9 февраля,
суббота.

Сегодняшний литературный вечер у Гаврила Романовича начался чтением стихов его на выступление в поход гвардии. На этот раз я охотно отказался бы от чтения их пред публикою — так мне они не по сердцу, но побоялся, чтоб он опять не огрел меня названием педанта, и волею-неволею провозгласил:

Ступай и победи
Никем не победимых;
Обратно не ходи
Без звезд на персях зримых!

В детстве моем я слыхал от родных, что дядя мой Иван Герасимович Рахманинов, которого я зазнал уже стариком и помещиком деревенским в полном значении слова, занимался некогда литературою и был в связи с Крыловым и Клушиным. Мне захотелось поверить это семейное сказание, и я, подсев к Крылову, спросил его, в какой мере оно справедливо. «А так справедливо, как нельзя более,— отвечал мне Крылов,— и вот спросите у Гаврила Романовича, который лучше других

знает все, что касается до Рахманинова. Он был очень начитан, сам много переводил и мог назваться по своему времени очень хорошим литератором. Рахманинов был гораздо старее нас, и однако ж мы были с ним друзьями; он даже содействовал нам к заведению типографии и дал нам слово участвовать в издании нашего журнала «Санкт-петербургский Меркурий», но по обстоятельствам своим должен был вскоре уехать в тамбовскую деревню. Мы очень любили его, хотя, правду сказать, он и не имел большой привлекательности в обращении: был угрюм, упрям и настойчив в своих мнениях. Вольтер и современные ему философы были его божествами. Петр Лукич Вельяминов, друг Гаврила Романовича, был также его другом и, кажется, свойственником». Вслушавшись в фамилию Рахманинова, Гаврила Романович вдруг спросил нас: «А о чем толкуете?» Я отвечал, что говорим о дяде Иване Герасимовиче Рахманинове и что я хотел узнать от Ивана Андреевича о литературных трудах его. «Да,— сказал Гаврила Романович,— он переводил много, между прочим философические сочинения Вольтера, политическое его завещание и другие его сочинения в трех частях; известие о болезни, исповеди и смерти его, Любуа; «Спальный колпак» Мерсье; издал Миллерово «Известие о российских дворянах» и, наконец, издавал еженедельник под заглавием «Утренние часы». Человек был умный и трудолюбивый, но большой вольтерианец. Иван Андреевич и Клушин были с ним коротко знакомы. Да, кстати о Клушине: скажите, Иван Андреевич, точно ли Клушин был так остер и умен, как многие утверждают, судя по вашей дружеской с ним связи?» — «Он точно был умен,— сказал с усмешкою Крылов,— и мы с ним были искренними друзьями до тех пор, покамест не пришло ему в голову сочинить оду на пожалование андреевской ленты графу Кутайсову...» — «А там поссорились?» — «Нет, не поссорились, но я сделал ему некоторые замечания насчет цели, с какою эта ода была сочинена, и советовал ее не печатать из уважения к самому себе. Он обиделся и не мог простить мне моих замечаний до самой своей смерти, случившейся года три назад».

Между тем Иван Семенович Захаров, вынув из портфеля претолстую тетрадь, приглашал всех послушать новый перевод нравоучительных правил Рошфуко

(Maximes), сделанный каким-то Пименовым (вероятно, одним из его многочисленных protégés), и как ни хвалил он этот перевод, но, кажется, ни у кого не было охоты слушать его, а А. С. Шишков без церемоний объявил, что он большой нелюбитель этих нарумяненных французских моралистов, которых все достоинство заключается в одном щегольстве выражений, и что как бы ни был хорош перевод, он не может принести ни большой пользы, ни удовольствия, потому что знающие французский язык предпочтут чтение сочинения в оригинале, а для незнающих оно в переводе покажется сухим и недостаточным для полного понятия об авторе. Князь Шихматов присовокупил, что уж если дело пошло на перевод моралистов, то надлежало бы приняться не за Рошфуко и Лабрюера, а скорее за Иисуса Сираха... «Вот так правила! — сказал он с необыкновенным одушевлением.— Вот где настоящая, полная наука общежития! И почему бы трудолюбивому и грамотному человеку не взять на себя труда перевести Сираха, выпустив из него некоторые длинноты и повторения, и не издать его особою нравоучительною книжкою? Почему бы не приспособить афоризмов этого писателя, столь простых, понятных и так глубоко врезывающихся в память, к первоначальному чтению для юношества, и почему бы не наполнить ими всех азбук и даже прописей? Чего хочешь, того и просишь у этого дивного Сираха, и всякий найдет себе в нем то, что может быть ему на потребу и утешение в жизни,— от самых первых оснований премудрости, заключающейся в страхе божием, почтении к властям и любви к ближнему, до самых тонких общественных приличий: все есть, и это все как превосходно выражено!..» Остальное до завтра.

10 февраля,
воскресенье.

«Все это так, однако ж пора вам, князь, познакомить нас с вашими «Пожарским, Мининым и Гермогеном»,— сказал А. С. Хвостов.— Моралисты моралистами, а поэзия поэзией, и нам забывать ее не должно. Мы отложили чтение вашей поэмы до нынешней субботы: ну так давайте ее сюда без отговорок».— «Я и

не думал отговариваться,— возразил князь Шихматов очень простодушно,— я сочинил мою поэму не для того, чтоб оставлять ее в портфеле, и рад таким слушателям». Развернув тетрадь, князь приготовился было читать ее, но А. С. Шишков не дал ему разинуть рта, схватил тетрадь и сам начал чтение. Стихи хороши, звучны, сильны и богатство в рифмах изумительное: автор вовсе не употребляет в них глаголов, и оттого стихи его сжаты, может быть даже и слишком сжаты, но это их не портит. Не постигаю, как мог он победить это затруднение, составляющее камень претыкания для большей части стихотворцев. О достоинстве содержания поэмы и расположении ее судить нельзя, не прочитав ее всей от начала до конца, à tête reposée [1]; но видно по всему, что молодой поэт успел набить руку. Шишков читал творение своего любимца внятно, правильно и с необыкновенным одушевлением. Я от души любовался седовласым старцем, который так живо сочувствовал красоте стихов и передавал их с такою увлекательностью: судя по бледному лицу и серьезной его физиономии, нельзя было предполагать в нем такого теплого сочувствия к поэзии. Я запомнил множество прекрасных стихов и мог бы вчера безошибочно записать их, но сегодня почти все перезабыл и могу припомнить только некоторые из посвящения государю:

И род Романовых возвысив на престол,
Исторгли навсегда глубокий корень зол;
Два века протекли, как род сей достохвальный
Дарует счастие России беспечальной:
Распространил ее на север и на юг,
Величием ее исполнил земной круг,
Облек ее красой и силою державной
И в зависть мир привел ее судьбою славной.

И далее из воззвания Гермогена к народу:

Отдайте жизнь, сыны России,
Полмертвой матери своей;
Обрушьте на враждебный выи
Ярем, носящийся над ней.

Крылов не читал ничего, сколько его о том ни просили,— извинялся, что нового не написал, а старого читать не стоит, да и не помнит. Ф. П. Львов прочитал стишки свои к «Пеночке», написанные хореем довольно

[1] На свежую голову (*франц.*).

легко и с чувством:

Пеночка моя драгая,
Что сюда тебя влекло?
Легкое твое крыло,
Чистый воздух рассекая, и проч.

Но эти стишки возбудили спор: П. А. Кикин ни за что не хотел допустить, чтоб в легком стихотворении к птичке можно было употребить выражение драгая вместо дорогая и сказать крыло, когда надобно было сказать крылья. За Львова вступились Карабанов и другие, но Захаров порешил дело тем, что слово драгая вместо дорогая и в легком слоге может быть допущено, так же как и слово возлюбленный и драгоценный вместо любезный или любезнейший, как, например:

Ты зачем меня оставил,
Мой возлюбленный супруг,
И в чужбину путь направил, и проч.

Но что касается до выражения крыло вместо крылья, то, по совести, надлежало бы изменить его, потому что птица может рассекать воздух только двумя крыльями, а на одном в воздухе даже и держаться не может. Этот спор, видимо, неприятен был Федору Петровичу, и он часто посматривал на Крылова, который как-то насмешливо улыбался.

«А знаете ли вы,— спросил у меня Шулепников,— стихи графа Д. И. Хвостова, которые он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?» — «Нет, не слыхал»,— отвечал я. «Ну, так я вам прочитаю их, не потому, что они заслуживали какое-нибудь внимание, а только для того, чтоб вы имели понятие о сатирическом таланте графа. Всего забавнее было,что он выдавал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления, что есть же люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя, впрочем, и очень остроумными эпиграммами. Вот эти стишонки:

Небритый и нечесаный,
Взвалившись на диван,
Как будто неотесанный
Какой-нибудь чурбан,
Лежит, совсем разбросанный,
Зоил Крылов Иван:
Объелся он иль пьян?

Крылов тотчас же угадал стихокропателя: «В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь»,— сказал он и отмстил ему так, как только в состоянии мстить умный и добрый Крылов: под предлогом желания прослушать какие-то новые стихи графа Хвостова напросился к нему на обед, ел за троих и после обеда, когда Амфитрион, пригласив гостя в кабинет, начал читать стихи свои, он без церемонии повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера».

За ужином говорили об умершем 6 января московском губернском предводителе князе П. М. Дашкове, сыне княгини Екатерины Романовны; его хвалили как человека очень доброго и много благодетельствовавшего под рукою бедным дворянам. Он был очень образован, веселого нрава, и хотя был чрезвычайно толст, но любил танцевать и танцевал легко. Впрочем, он также имел своих недоброжелателей: его укоряли в легкомыслии и заносчивости. В последнее время неожиданная милость государя, который, в изъявление благоволения своего к Москве, наградил его александровским орденом, вскружила ему голову.

Во время ужина приехал флигель-адъютант Марин и сказывал, что, кажется, путешествие государя решено и едва ли он скоро не отправится в армию. Об этом слышал он от обер-гофмаршала графа Толстого утром, при смене своей с дежурства. Кикин шутя спросил его: «Et comment vont vos bonnes fortunes?»[1] Буду отвечать тебе, сказал Марин, как один путешественник, возвратившийся из Рима, отвечал своему знакомому на подобный вопрос: «Il y a tant des bonnes fortunes à Rome, qu'il n'y a plus de bonne fortune»[2]. Остряк за словом, как говорится, в карман не полезет. Он также сочинил стихи на современные происшествия и читал их после ужина стоя, не придавая им большой важности; в них есть обращение к Бонапарте, выраженное очень энергически. Мне понравился один стих, который можно обратить в афоризм.

Высокомерие предтеча есть паденья.

---

[1] «А как ваши любовные удачи?» (*Франц.*).

[2] «В Риме этих удач так много,
что уже не в удачах дело» (*франц.*).

11 февраля,
понедельник.

Чем больше вижу Яковлева на сцене, тем больше удивляюсь этому человеку. Сегодня он поразил меня в роли Мейнау в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Какой талант! Вообще, я не большой охотник до коцебятины, как называет князь Горчаков драмы Коцебу, однако ж Яковлев умел до такой степени растрогать меня, что я благодаря ему вышел из театра почти с полным уважением к автору. Как мастерски играл он некоторые сцены, и особенно ту, в которой Мейнау обращается к слезам, невольно выкатившимся из глаз его при воспоминании об измене жены и об утрате вместе с нею блаженства всей своей жизни! с каким неизъяснимым и неподдельным чувством произнес он эти немногие слова: «Милости просим, давно небывалые гости!» — слова, которые заставили плакать навзрыд всю публику; а немая сцена внезапного свидания с женою, когда, только что перешагнув порог хозяйского кабинета, он неожиданно встречает жену и, вдруг затрепетав, бросается стремглав назад,— эта сцена верх совершенства!

В роли Мейнау я видел Плавильщикова, Штейнсберга и Кудича. Первый играл умно и с чувством, но не заставлял плакать, подобно Яковлеву. Штейнсберг и Кудич также были хороши, всякий в своем роде; но боже мой! какая разница между ними и как все они далеко отстали от этого чародея Яковлева! Я никогда не воображал, чтоб актер, без всякой театральной иллюзии, без нарядного костюма, одною силою таланта, мог так сильно действовать на зрителей. Дело другое в «Димитрии Донском» или какой-нибудь другой трагедии, в которой могли бы способствовать ему и превосходные стихи самой пьесы, и великолепная ее обстановка, а то ничего, ровно ничего, кроме пошлой прозы и полуистертых и обветшалых декораций. А костюм Яковлева? — черный, поношенный, дурно сшитый сюртук, старая измятая шляпа, всклоченные волосы, и со всем тем как увлекал он публику!

Многие говорили мне, что Яковлев и в самых драмах является трагическим героем. Ничего не бывало: вероятно, эти многие не видали Яковлева в роли Мейнау. Одно, в чем упрекнуть его можно,— это в совершен-

ном пренебрежении своего туалета. Городской костюм ему не дался, и всякий немецкий сапожник одет лучше и приличнее, чем был на сцене он, знаменитый любимец Мельпомены.

Роль мадам Миллер, то есть Эйлалии, играла Каратыгина прекрасно. В игре этой актрисы много драматического чувства, много безыскусственной простоты, которая действует на душу и нечувствительно увлекает ее. Эта женщина вполне обладает, как говорят французы, даром слез (don des larmes). Эта лучшая Эйлалия из всех доселе виденных мною [1]. Как мамзель Штейн (нынешняя Гебгард) ни была хороша, но сравниться с нею не может, а о московских русских актрисах нечего и говорить.

Отчего во французских спектаклях, когда действие происходит в комнате, расстилают на сцене сукно, а в русских этого не делают? Неужто же ноги французских актрис и актеров нежнее и чувствительнее ног актеров и актрис русских? или французская публика взыскательнее русской? Это что-то неладно и, конечно, долго продолжаться не может. Опрятность сцены гораздо важнее, нежели думают, для произведения сценических эффектов, а о приличии костюмов и говорить нечего! Не будь Яковлев одет так мизерабельно, по выражению приятеля моего Кобякова, он показался бы вдвое превосходнее, да и драма-то выиграла бы вдвое, если б декорации были поновее, как, например, во французских спектаклях или в балете.

12 февраля,
вторник.

Я полагал, что наш П. А. Рахманов считает себя математиком только про свой обиход, а на поверку выходит, что он признается и многими известными учеными за одну из лучших голов математических. Заехав сегодня к нему из Коллегии, я застал у него несколько ученых, и между прочим, знаменитого

---

[1] Два года после автору «Дневника» удалось видеть в Риге знаменитую мадам Оман (Ohman), и она только одна могла в роли Эйлалии сравниться с Каратыгиной. (*Позднейшее примеч.)*

математика Гурьева (помнится, Семена Емельяновича), и присутствовал при их диспуте. Рахманов защищал свои опыты «О поверхностях вращения и о цилиндрических и конических поверхностях», недавно вышедшие из печати, и заставил замолчать всех. Вот он каков, математик-музыкант! Несмотря на то что математика для меня настоящая тарабарская грамота, я, однако ж, мог заметить, что доводы и доказательства Рахманова были сильнее возражений его диспутантов и что они уступали не из одного только уважения к хозяину дома. Отстояв свои опыты, Рахманов принялся хвалить сочинение Гурьева, также недавно изданное под заглавием «Основания трансцендентной (или трансцендентальной, бог его знает!) геометрии кривых поверхностей» (изволь понять!), и все присутствующие хором пристали к Рахманову. Эти взаимные похвалы друг другу ученых математиков привели мне на память сцену Триссотина и Вадиуса из Мольеровой комедии «Ученые женщины», так прекрасно переведенной И. И. Дмитриевым:

Триссотин

Вы истинный поэт, скажу я беспристрастно.

Вадиус

Вы сами рифмы плесть умеете прекрасно!

Как бы то ни было, но я, однако ж, понять не могу, как может согласить Рахманов любовь свою к математике с любовью к музыке и в одно и то же время заниматься теориею каких-то наибольших и наименьших величин функций многих переменных количеств (и выговорить-то не под силу) и «Дон-Жуаном» Моцарта или «Аксуром» Сальери? — непостижимо!

13 февраля, среда.

Альбини приглашали завтра на вечер к Эллизену. У него праздник по случаю пожалования его в статские советники. Он семь лет был в чине.

В Коллегии сказывали, что указ об учреждении ордена св. Георгия для солдат уже подписан и на сих днях будет обнародован. Прекрасно! Не одно «ура!»

прогремит доброму, попечительному нашему государю в его храбром войске.

Обществу московских граждан изъявлена чрез Тимофея Ивановича Тутолмина высочайшая благодарность за устройство дома призрения для 150 человек по случаю рождения великой княжны Елизаветы Александровны, и в особенности купцу Павлову, простившему 36 000 р. несостоятельным должникам своим [1].

Князь Александр Борисович Куракин получил очень лестный рескрипт от вдовствующей императрицы за пожертвованный им в пользу воспитательных заведений значительный капитал, назначенный было им своему воспитаннику, барону Сердобину, но, за смертию его, оставшийся в распоряжении князя.

Старик Иван Петрович Тургенев приехал в Петербург. Он ежедневный гость у М. Н. Муравьева и Н. Н. Новосильцева.

14 февраля, четверг.

Вот и еще письмо от доброго моего Петра Ивановича: хочет приехать сюда, но не пишет зачем. Петербург не его сфера. Впрочем, для меня все равно; я обниму его с величайшею радостью и буду его вожатым: в два с половиною месяца я успел изучить Петербург, конечно, лучше таблицы умножения. Петр Иванович восхищается моими знакомствами, в восторге от благосклонности ко мне Гаврила Романовича и чуть не поссорился за меня с Мерзляковым, который, несмотря на удостоверения его, что Державин похвалил моего «Артабана», продолжает утверждать, что эта трагедия — один пустой набор слов и сущая галиматья. Грустно слышать подобные отзывы о милом детище, но, кажется, они справедливы, и я начинаю с ними соглашаться.

---

[1] Автор «Дневника» коротко знаком был с внуком и наследником сего Павлова, Антипом Ивановичем Павловым, человеком очень известным в Москве и одаренным прекрасными свойствами души и сердца. В 1812 г., во время нашествия неприятеля, он лишился почти всего своего состояния, но перенес несчастие свое без ропота и сохранил веселое расположение духа до самой своей кончины. (*Позднейшее примеч.*)

Приходил Гебгард с Кистером, который хочет дебютировать на здешней немецкой сцене. «А на какое амплуа хотите вы поступить?» — спросил я его. «На амплуа трагических злодеев (Bösewichte)». — «Вот как! из первых любовников попасть в злодеи! Чем же начнете вы?» Я смекнул, что денежки бедного Штейнсберга пошли гулять по белому свету. «А мадам Штейнсберг?» — «Мадам Штейнсберг отправляется в Ригу или за границу: ей нужно поправить здоровье в другом климате». Понимаю!

Я откровенно признался Гебгарду, что был очень недоволен представлением «Октавии» и не люблю его в роли кесаря Октавиана, что эта роль нейдет к нему так же, как и роль Марка Антония к Кудичу. «Вы правы,— сказал он мне,— но что ж делать? нельзя же вечно играть Фердинанда и Карла Моора, потому что публика желает видеть иногда и другие пьесы».— «Так играйте «Дона Карлоса», «Орлеанскую деву», «Мессинскую невесту», «Валленштейна», «Эгмонта», «Клавиго», «Фьеско», «Вражду братьев» — словом, играйте что хотите, только не трагедии, взятые из римской и греческой истории, и особенно трагедии такие, как «Октавия», в которых вы, господа немцы, смешны». Мой Гебгард понадулся, но против правды нет слов.

15 февраля,
пятница.

Вчерашний вечер у Эллизена был на славу: кроме знаменитых медиков, которые почти все собрались поздравить достойного своего собрата с получением монаршей милости, приехали многие и не принадлежащие к сословию медиков, как то: наш д. ст. сов. Родофиникин, служащие при статс-секретарях Новосильцове — ст. сов. Дружинин и Витовтове — Аделунг; референдарий Комиссии составления законов Розенкампф, которого видел я у князя П. В. Лопухина, и еще двое не известных мне высших чиновников: Ризенкампф и Ренненкампф; это созвучие фамилий очень забавляло хозяина, который, обращаясь к ним, не иначе говорил: «Maine liebe Herren Rosen-, Riesen- und Rennen-kämpfe». Играли в бостон и пили пунш-ройяль — смесь коньяку с шампанским, подслащенную ананасным ва-

реньем: очень вкусно. Дам не было, потому что хозяин вдовец, а Schwester Dorchen принимать гостей женского пола почему-то отказалась, хотя отец и предлагал ей вместо простого вечера дать бал. Хозяин мой Торсберг пенял мне, что я редко бываю у него по четвергам, и сказал, что вчера, за отсутствием моим, барышни были невеселы и отказались даже петь любимое их трио «Nach Regen folget Sonnenschein»[1], потому что некому было подтянуть им. Я обещался быть у него в следующий четверг, и точно буду, потому что у радушного и краснощекого моего брюханчика бесцеремонно, весело и всегда много премилых немочек.

За ужином, пока гости еще не совсем удовлетворили аппетит, толковали о предметах серьезных; так, например, лейб-хирург Кельхен говорил, что без сильной страсти к науке превосходным медиком быть нельзя и что человек, посвящающий себя медицине и имеющий в виду приобретение одних только средств к своему существованию, никогда не достигнет до настоящей степени искусства, какое требуется от хорошего медика. «Правда,— отвечал веселый Торсберг,— однако ж все мы, сколько нас ни есть, принимаясь в первый раз за анатомический нож, побеждали свое отвращение к рассекаемому трупу одною надеждою на будущую практику, а к зловонию мертвеца привыкали только в том убеждении, что оно со временем превратится для нас в упоющие ароматы». Это откровенное замечание простодушного доктора возбудило общий хохот.

Между прочим, Дружинин (которого зовут, кажется, Яковом Александровичем) сказывал, что министр коммерции граф Румянцев очень хлопочет об усовершенствовании переплетного мастерства в России и исходатайствовал разные преимущества переплетчикам.

Ужин кончился далеко за полночь в шумном веселье; тосты за здоровье государя, министров и хозяина почти не прекращались. Собеседники наперерыв обращались к Эллизену с разными пустыми вопросами, мне кажется, только для того, чтоб иметь случай назвать его: «Herr Staatsrath»[2]. Пресмешные немцы!

---

[1] «За дождем выходит солнце» (*нем.*).
[2] «Господин статский советник» (*нем.*).

Утром сегодня заходил ко мне Вельяминов с жалобою на земляка моего Кобякова, что не дает ему покою: то просит перевести ему арию, то присочинить две, а наконец, пристал к нему, чтоб он перевел целый финал из оперы «Каирский караван». «Конечно, все эти пустяки не стоят мне большого труда,— говорил Вельяминов,— но я дорожу временем и могу употребить его на что-нибудь лучшее, чем на сочинение или перевод вздорных куплетов, которые друг наш, Петр Николаевич, выдает за свои». Я советовал Вельяминову отучить Кобякова от этих проделок, сочинив для него какую-нибудь нелепицу вроде тех, которые он так мастерски импровизирует; пока наш приятель будет доискиваться в ней смыслу, сказал я, ты успеешь отдохнуть.

Завтра очередной литературный вечер у И. С. Захарова. Гаврила Романович требует, чтоб я прочитал какие-нибудь из своих стихов. «Иначе,— прибавил он,— если никто из молодых людей читать не станет, то опять, того смотри, нас попотчуют переводом Рошфуко, да и цель собраний будет не достигнута». Бог весть, соберусь ли я с духом читать стихи свои пред публикою. И хочется и колется... Впрочем, смелость берет города!

16 февраля,
суббота.

Отец писал, чтоб я похлопотал по березняговскому делу и попросил кого-нибудь в Межевом департаменте Сената о скорейшем окончании этого несчастного процесса, продолжающегося более семнадцати лет. Рано утром отправился я в Сенат и провозился там до двух часов, отыскивая секретаря Булкина, к которому прежде для справок и наставлений отец адресоваться мне приказал. Булкин с великим огорчением объявил, что он не заведывает больше нашим делом и что оно по приказанию обер-прокурора Клима Гавриловича Голикова передано другому секретарю, Степану Степановичу Ватиевскому. «А где ж Ватиевский?» — спросил я у Булкина. «А вон сидит там»,— отвечал Булкин. Я обратился к Ватиевскому. Презрительно посмотрев на меня, он спросил довольно грубо: «Что вам угодно?» Я объяснил, в чем дело. «Сегодня день

неприсутственный,— сказал он,— извольте прийти в другой раз».— «Да потому-то, что день неприсутственный и господа секретари свободны от докладов, я и решился беспокоить вас, тем более что желание мое так маловажно и заключается только в том, чтоб узнать, в каком положении находится наше дело».— «Не от нас зависит-с, а от обер-секретаря: адресуйтесь к нему».— «Где ж обер-секретарь?» — «В зале присутствия».— «Можно его видеть?» — «Спросите у курьера».— «А как зовут его?..» — «Кого, курьера или обер-секретаря?» — «Разумеется, последнего».— «Богдан Иванович Крейтер». И вот я, с каким-то стеснением в душе, обратился к курьеру и просил его доложить обо мне обер-секретарю. Едва курьер успел войти в залу, как тотчас же и вышел обер-секретарь, человек лет под шестьдесят, довольно почтенной наружности, и прямо ко мне с вопросом: «А что, батюшка, вам угодно?» Я сказал ему, что желал бы узнать о положении нашего дела. «Да вы приезжий, что ли?» — «Нет, я здесь служу, но в делах неопытен и в Сенате знакомств не имею».— «А у кого из секретарей ваше дело?» — «У г. Ватиевского».— «Это по Найденской даче, что ли?» — спросил он у секретаря. «Точно так».— «Что ж вы ему ничего не сказали? — продолжал Крейтер с видом укора.— Подайте дело!» Секретарь с какою-то гримасою встал со стула, отпер шкаф, вытащил оттуда огромную связку бумаг и, развязав ее, подал Крейтеру, который пробежав несколько листов с конца, тотчас же объявил мне, что дело наше остановилось за неполучением каких-то новых справок из Вотчинного департамента и Межевой канцелярии, что оно не может быть так скоро решено, но чтоб я не унывал, потому что в справедливости доказательств со стороны нашей нет ни малейшего сомнения; а затем чтоб я не тратился по-пустому и в случае надобности без церемоний обращался прямо к нему и что он даст мне в свое время совет, к кому из сенаторов должно будет разнести обыкновенные записки. «У нас, батюшка,— примолвил он,— заседают люди добрые. Вот хоть бы Петр Амплеевич (Шепелев), князь Павел Петрович (Щербатов) или Неплюев — сенаторы радушные и правдивые, а к Климу Гаврилычу, может, сыщете какую-нибудь п р о т е к ц и ю». Я отвечал, что имел честь лично представляться князю Петру Васильевичу и что

он принял меня милостиво, а сверх того, знаком с сенатором И. С. Захаровым, у которого буду сегодня и на литературном вечере. «Ну, так и слава богу! Чего ж, батюшка, лучше? Христос с вами! Успокойте родителей ваших!»

Я живо тронут был радушием этого благородного человека и, конечно, никогда его не забуду [1].

Теперь отправимся к Захарову на чтение.

17 февраля,
воскресенье.

Вчерашний вечер у И. С. Захарова не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязмитинов. Когда я вошел в гостиную, меня как будто обдало кипятком и чуть не помутились глаза; я боялся, чтоб не пришлось мне читать стихи свои перед этим ареопагом; дело, однако ж, обошлось благополучно: я читал их после ужина, подкрепив себя тремя или четырьмя рюмками доброго вина и в то время, когда уже большая половина гостей разъехалась.

Из лиц, которые были на вечере, всех более произвел на меня впечатление Вязмитинов, и совсем не по званию своему главнокомандующего и благосклонному, предупредительному обращению [2]. Вязмитинов при-

---

[1] Б. И. Крейтер был не только добрый и честный человек в полном значении слова, но, сверх того, знающий и опытный делец. Автору «Дневника» удалось узнать многие подробности его жизни, делающие честь уму его и сердцу. Вот один пример его бескорыстия. И. Ф. С-й (честнейший человек) нанимал у него в доме на Сергиевской улице квартиру и, будучи перемещен на службу в Саратов, должен был ехать, не имея чем расплатиться с хозяином. «Как же быть, Богдан Иваныч? — говорил И. Ф.,— у меня не только на расплату с вами, но едва ли достанет денег и на прогоны».— «Э, ну! — отвечал старик.— Заплатите когда-нибудь; а недостанет на прогоны, так, пожалуй, я дополню».— «А если умру?» — возразил С-й. «Ну так сочтемся на том свете»,— решил добрый Крейтер.

[2] О С. К. Вязмитинове будет пространнее говорено впоследствии. Автор «Дневника» имел случай видеть его ежедневно с 1812 по 1816 г., быть свидетелем неутомимых его трудов по должности главнокомандующего и управляющего Министерством полиции и оценить высокие качества души его

глашен был на вечер в качестве автора: он некогда (1778 год) сочинил оперку, известную под заглавием «Новое семейство», и сам, как меня удостоверяли, положил ее на музыку. Хотя оперка в двух действиях, имевшая в свое время только случайный успех, и не может давать ему права на звание литератора, чего, конечно, он и не добивается, но любовь его к словесности, желание следить за ее успехами и уважение к трудам литературным заслуживают того, чтоб пред ним растворились двери и самой академии. Он не похож на того вельможу, который, как я слышал, публично утверждал, что литераторы решительно ни к чему не способные люди и что всех бы их следовало засадить в дом сумасшедших. Вот меценат!

Гаврила Романович долго и с жаром разговаривал о чем-то с сенаторами, князем Салаговым и Резановым, заседающими в одном департаменте с хозяином дома, и потом, живо обратясь к сидевшему возле Вязмитинова обер-прокурору П **, вдруг спросил его: «Да за что ж, Гаврила Герасимович, вы мучите человека? Вот я сейчас просил Дмитрия Ивановича и князя о скорейшем окончании дела этого несчастного Ананьевского: они ссылаются на вас, что вы предложили потребовать еще какие-то новые от палаты справки; но ведь справки были давно собраны все; если же нет, то зачем не потребовали их прежде и в свое время?» П ** извинялся, уверяя, что дело Ананьевского скоро кончено будет. «Кончено будет! — возразил Гаврила Романович.— Но покамест он и с детьми может умереть с голоду».

Мне стало понятно, отчего многие не любят Державина.

Началось чтение. Читали стихи какого-то Кукина на случай избрания адмирала Мордвинова, друга А. С. Шишкова, в губернские начальники московской милиции. Стихи очень плохи: видно, что они произведение какого-нибудь домашнего стихотворца, более усердного, нежели талантливого. Хозяин прочитал перевод свой нескольких писем Фенелона о благочестии; нет сомнения, что эти письма камбрейского архиепископа

и сердца. Это был муж совета и разума и, несмотря на высокое свое звание, необыкновенно скромен, кроток, доступен и приветлив. (*Позднейшее примеч.*)

в высокой степени поучительны и полезны, но надобно читать их дома, с некоторым размышлением, а не в таком обществе, которое собирается следить за успехами русской литературы не по переводам известных иностранных писателей, а по новым оригинальным сочинениям, да и перевод Захарова напыщен и вовсе не имеет характер Фенелонова слога, столь простого и благородного. Слушая эти письма, гости почти дремали, но, кажется, хозяин не замечал этого и безжалостно продолжал чтение до самого ужина, а между тем Вязмитинов уехал, воспользовавшись минутою отдохновения чтеца; за ним вскоре удалились князь Салагов, Резанов и еще многие, одни за другими, вставая потихоньку с мест своих, прокрадывались из гостиной на цыпочках; нечувствительно кружок разредел, и остались только мы, большею частью слушатели по призванию, то есть те, которым хотелось или ужинать, или читать стихи свои. Мне хотелось и того и другого, но мало ли чего хочется! и дородная барышня Скульская, двадцатипятилетняя невинность, любимая ученица моего Петра Ивановича, в одной из своих чересчур наивных басенок сказала сущую правду:

Мы сами иногда не знаем,
Чего так пламенно желаем!

Конечно, мне удалось и поужинать, и прочитать стихи свои «К деревне»:

Деревня милая, отчизна дорогая,
Когда я возвращусь под кров счастливый твой? —

но зато и выслушать получасовое замечание некоторых, по-видимому, записных аристархов о том, что эпитет *милая* не у места и может прилагаться только к одушевленным предметам, как, например, к другу, к женщине, к ребенку и проч., что нельзя также сказать, обращаясь к деревне: «Когда я возвращусь под кров твой», потому что деревня слово *собирательное* и хотя состоит из *многих кровов*, но собственно сама по себе *кровом* назваться не может, но что, впрочем, очень легко исправить эти стихи следующим образом:

Деревня *тихая*, о хижина *драгая*, и проч.

Все замечания были в том же роде, но никто не заметил мне того, что я заметил сам себе, то есть что стихи мои

не заключают в себе ничего, кроме одного набора слов, и что в них нет ни одной мысли, на которой бы остановиться можно было; они похожи на какую-то жижу, смесь воды с каплею меда: пить не противно, но и вкуса никакого нет.

В заключение добродушный хозяин сказал мне с видом прозорливца, что он тотчас же угадал, что я принадлежу к новой московской школе. «У вас есть способности,— примолвил он,— но вам надобно еще поучиться. Поживете с нами, мы вас выполируем»... Покорнейше благодарю!

А между тем я подслушал, как Гаврила Романович, который, видно, небольшой охотник до грамматики и просто поэт, кому-то прошептал: «Так себе, переливают из пустого в порожнее!»

Ужин был славный. Бесспорно, стихи мои могут подлежать критике, но об ужине и самый злейший зоил не может сказать ничего, кроме хорошего; иначе, по деликатному выражению Бородулина:

Он будет наглый лжец!

Сегодня первый день масленицы: охота забирает гулять, а между тем завтра стукнет мне девятнадцать лет. Чувствую, что я и так много потерял времени и что пора бы точно последовать совету прозорливого И. С. Захарова и приняться пристальнее за настоящее дело, да не слажу с собою. Сам не знаю, что происходит у меня в голове, а о сердце и подумать страшно: легионы чертей беспощадно терзают его, а между тем я должен казаться спокойным, бодрым и даже веселым. Чем все это кончится — известно одному богу, но я не предвижу ничего путного и почти уверен, что дорого расплачусь за неуменье владеть собою. Счастлив буду, если беда обрушится только на мне; в противном случае куда деваться от людей, а пуще от самого себя?

18 февраля,
понедельник.

Минувшие два года сряду праздновал я день своего рождения у себя дома — праздновал небогато, но весело, в небольшом кружку знакомых и милых мне лю-

дей. Памятны мне наши беседы за простою студенческою трапезою: умные, красноречивые рассуждения Алексея Федоровича, и острые шутки Буринского, и прибаутки Снегиря-Nemo, и застольные песни Злова; а вот нынешний год бог привел праздновать этот день у чужих людей... Хотел было идти т у д а, но пошел в павильон слушать гасконады добродушного Лабата и споры его с дочерьми и графом Монфоконом.

И хорошо сделал: непритворные ласки болтливого семейства благотворно подействовали на больную душу. Расспросам конца не было: зачем пропадал так долго? у кого бывал? чем занимался? и проч. и проч. Дочери уверяли, что я похудел, а внучка Марья Лукинична с участием утверждала, что я непременно должен быть влюблен, потому что, по ее мнению, молодым людям нельзя не быть влюбленным. «Следовательно, и вы влюблены?» — спросил я ее. «Hélas, je suis si laide, et pourtant je voudrais bien me marier» [1],— отвечала она. Расцеловал бы ее, голубушку, за такое откровенное признание!

За обедом маркиз Лаферте [2] сказывал, что последние победы наши над французами при Пултуске и Прейсиш-Эйлау возродили большие надежды в короле и его приверженцах на возможность скорого возвращения во Францию. «Возвращения — может быть, но уж, конечно, не так скорого,— заметил граф Монфокон,— потому что L'Ogre Corse [3] покамест очень могуществен и владеет огромными средствами, чтоб с успехом противостоять державам целой Европы в совокупности. Без особого чуда,— прибавил он,— бедный наш король долго должен еще скитаться по чужим областям, и я боюсь, что все мы, сколько нас ни есть, не доживем до счастия увидеть возвращение ему похищенного трона» [4].— «К несчастью, Монфокон прав,— сказал с ви-

---

[1] «Увы, я так дурна собой; а между тем я очень хотела бы выйти замуж» (*франц.*).

[2] Знатный эмигрант, за отъездом графа Блакаса оставшийся поверенным в делах короля Людовика XVIII.

[3] Корсиканский людоед (Наполеон) (*франц.*).

[4] Однако ж старый граф Монфокон дожил до этого счастия и мог бы участвовать в щедротах короля эмигрантам (в министерство Виллеля), но смерть постигает нас большею частью в то время, когда мы достигаем совершенного исполнения надежд и желаний наших: Монфокон умер, сбираясь в Париж. (*Позднейшее примеч.*)

дом величайшего сожаления и всплеснув руками Лабат.— Бонапарте силен; борьба с ним скоро окончиться не может, и одна надежда на помощь божию и содействие России».— «А я так думаю напротив,— возразил Лаферте,— еще несколько усилий со стороны Германии, Англии и России — и Бонапарте удержаться не может, потому что если он испытает несколько таких же неудач, как при Эйлау, то и Франция не останется спокойною».

Из этих предположений и возражений родились споры; горячились, шумели, кричали, как водится обыкновенно за обедами у Лабата, и кончили тем, что замолчали от устали и отправились в гостиную к камину пить кофе и в блаженной полудремоте ожидать сварения желудка; а я между тем подсел к Марье Лукиничне, которая, в благодарность за то, что предпочел лучше беседовать с нею, чем болтать с ее тетушками, старалась всячески занимать меня и рассказала мне пропасть анекдотов о старых французах, которых, кажется, она не очень любит. «Tous ces messieurs sont si irascibles et parfois si bêtes,— говорила она,— que je m'ennuye à les voir seulement [1]. Хорошо, что еще провалился этот несносный граф де Блакас. C'était mon cauchemar [2], и когда приезжал он к нам, я всегда была очень в дурном нраве».

Бедная дурнушка очень неглупа, прекрасно образованна в институте, cause parfaitement bien [3], и, право, можно было бы подчас забыть ее непригожество, если б она сама не напоминала о нем беспрестанными своими восклицаниями: «Ah, je suis si laide!» [4].

Я спросил у нее: отчего бы мог ей так опротиветь граф де Блакас. «Как отчего? — отвечала она,— он такой самонадеянный, такой решительный и самолюбивый, что мочи нет. Il tranchait sur tout [5]. Пусть как бы он был какой красавец, а то вовсе нет: такой же рыжий, как я, только с тою разницею, что он пудрится, а я м а ж у свои волосы; все лицо в веснушках,

---

[1] Все эти господа так раздражительны, а иногда и так глупы, что мне скучно от одного их вида (*франц.*).

[2] Это был мой кошмар (*франц.*).

[3] Превосходно болтает (*франц.*).

[4] «Ах, я так дурна собой!» (*франц.*).

[5] Он судил резко обо всем (*франц.*).

рот большой и зубы черные: désagréable et déplaisant [1]. Он при каждом случае подсмеивался надо мною и вместо любезностей говорил мне колкости, да за то однажды и отплатил ему граф де Бальмен».— «Чем же? вызвал его на дуэль?» — «Нет, до дуэли не дошло, а было близко. Вот как это случилось: у нас был званый вечер, и мы, все дамы и кавалеры, играли в petits jeux [2]. Всякая дама поочередно объявляла на ухо своей соседке, чем бы она быть желала, а очередный кавалер, подходя к ней, старался отгадать ее желание; если отгадывал, то должен был обходить весь кружок и, в случае совершенной неудачи, подвергаться тому наказанию, какое придумают дамы. Когда очередь дошла до меня, я шепнула соседке своей, мамзель Лазаревой, что хотела бы быть монашенкою, и это желание, так натуральное в моем положении, никак не пришло в голову моему кавалеру, который стоял против меня в совершенном недоумении, придумывая бог весть какие несообразности: то приписывал мне желание быть розою, то королевою, то ангелом, ainsi de suite [3]. Блакас, которому, видно, наскучили все эти отгадки невпопад, вдруг вскочил со стула и объявил, что он тотчас же отгадает мое желание. «Ну так отгадывайте скорее!» — в один голос подхватили все. «Mademoiselle de Loukachevitsch желала бы быть красавицею!» Я вспыхнула и чуть не заплакала от стыда и досады. «Не отгадали,— сказала добрая Катерина Лазарева,— мамзель Лукашевич желает быть монашенкою».— «Alors pardon, mesdames! [4] Но я назвал то, чего желали бы все девицы». По окончании этой игры граф де Бальмен, capitaine aux gardes, véritable chevalier par sa bravoure et la noblesse de son coeur [5], подошел ко мне и сказал, чтоб я не огорчалась выходкою Блакаса и что он будет за то наказан. В самом деле, когда гости собрались опять в кружок для новой игры и рассаживались по местам как ни попало, граф де Бальмен воспользовался замешательством

---

[1] Неприятный и несимпатичный (*франц.*).

[2] Салонные игры (*франц.*).

[3] И так далее (*франц.*).

[4] В таком случае извините! (*Франц.*).

[5] Капитан гвардии, настоящий рыцарь по своей храбрости и по благородству своего сердца (*франц.*).

этого размещения и в ту минуту, когда Блакас садился на стул, так ловко вытолкнул его из-под насмешника, что тот опрокинулся назад и растянулся на полу. Я не знаю, как он не расшиб себе затылка. Все захохотали. Блакас встал в величайшем раздражении, окинул глазами хохотавших и сказал: «Si c'est un homme, j'espère qu'il se nommera!» [1] Я догадалась, на что намекал он, и потому, решившись предупредить историю, сказала ему очень хладнокровно: «Pardon, monsieur, c'est moi» [2]. Я слышала, что Блакас после узнал виноватого, но дело как-то уладилось: что же касается до меня, то этот орангутанг не только перестал потчевать меня колкими своими любезностями, но даже и говорить со мною».

Тут бедная дурнушка задумалась и, помолчав с минуту, с глубоким вздохом сказала: «Вы не можете представить себе, сколько я перенесла унижений от своего безобразия!»

«Однако ж вы совсем не так безобразны, Марья Лукинична, как себе воображаете,— сказал я.— Правда, у вас волосы рыжие, но рыжие волосы почитаются в Италии за величайшую красоту; у вас сплющенный нос и толстые губы, но зато выразительные глаза и белые ровные зубы; вы хорошего роста, а руки ваши могут служить образцом для художников. Поверьте, что, может быть, найдется человек, который в вас влюбится [3], для него вы будете красавицей, а до других вам нужды нет; только, пожалуйста, не повторяйте так часто ваших восклицаний: «Ah, je suis si laide! ah, je suis si laide!» Когда я слышу их, мне становится стыдно за вас! Si vous n'êtes pas belle, vous avez d'autres qualités, qui peuvent vous rendre chère à un homme raisonnable et sensé!» [4]

Марья Лукинична несколько утешилась и очень благодарила меня за ласковое и отрадное ей слово.

---

[1] «Если это мужчина, он, надеюсь, назовет себя!» (*Франц.*)

[2] Извините, мосье, это я» (*франц.*).

[3] Предсказание мое сбылось: этот человек нашелся в молодом дипломате З-е. Но — увы! роман кончился несчастливо: Марья Лукинична умерла в одном из н...их женских монастырей, затворницею. (*Позднейшее примеч.*)

[4] Если вы не хороши собою, то у вас есть другие качества, которые могут сделать вас милой для человека благоразумного и здравомыслящего! (*Франц.*)

19 февраля,
вторник.

Масленица в полном разгаре. Я таскался по балаганам глазеть на народ, продрог и промочил ноги, а зачем ходил — бог весть. Лучше было бы заняться чем-нибудь путным, вместо того чтоб рисковать здоровьем. Пожалуй, чего доброго, Альбини с Торсбергом опять захотят пустить мне кровь! Может статься, оно было бы и нужно, только не из рук и не ланцетом...

По набережной гулявших было много; было также довольно нарядных экипажей, но в этом отношении Петербург не может равняться с Москвою: у нас вообще упряжь гораздо великолепнее. Московские щеголи ничего не делают вполовину; отличаться так отличаться; подавай золоченые колеса, красную сафьянную сбрую с вызолоченным набором, который горел бы как жар; подавай лошадей — львов и тигров с гривами ниже колена, таких лошадей, которые бы, как выражаются охотники, просили к о ф е; а как одеть кучеров иначе, как не в бархатные кафтаны, голубые, зеленые, малиновые с бобровыми опушками, с какою-то блестящею оторочкою! Словом, загляденье! Здесь все гораздо проще и, может быть, во всем больше вкуса, но для человека, привыкшего к раззолоченным каретам, к красной сбруе, к бархатным кафтанам ярких цветов и гремящим цепям, которыми перевожжены коренные лошади и подручная, здешние экипажи могут показаться несколько бедными.

Мне понравился, впрочем, экипаж офицера конной гвардии Жандра: четверня огромных рыжих лошадей с проточинами, все одна в одну; идут на курбетах; карета почти черного цвета с красными обводами, очень легкая и красивая, а упряжь из тоненьких веревочек, обтянутых глянцевою кожею, с самым легким серебряным наборцем — очень мило и красиво.

Приходил сослуживец мой Алексей Юшневский, бывший наш студент, приятель Гнедича, малый умный и чудак преестественный; он застал меня за письменною конторкою с пером в руке. «Что делаешь?» — «Пишу».— «Сочиняешь?» — «Описываю».— «Какого черта ты описываешь?» — «Не черта, а свой день».— «Славное занятие! и не скучно?» — «Привык».— «Правда, ко всему привыкнуть можно...» — «Кроме голода...» —

«И жажды,— подхватил он,— прикажи-ка подать чаю».— «Прикажи сам».

Юшневский велел принести самовар и чайный прибор, поставил столик и, накрыв его салфеткой, расположился пить чай en amateur [1]. «Вы все профаны, сказал он,— пьете чай кой-как; надобно пить его со вкусом, как пьют московские купчихи».— «Кушай во здравие; у меня чай московский, его станет на год на всю артель сослуживцев».— «Знаю; Хмельницкий не нахвалится твоим чаем; оттого-то, признаться, я и зашел к тебе».— «Спасибо за откровенность».— «Впрочем, это шутка, а зашел я к тебе вот зачем: не хочешь ли познакомиться с Гнедичем?» — «Как не хотеть!» — «Так отправимся к нему завтра».— «Нет, не могу».— «Почему же?» — «Надобно подождать, пока поумнею: все это время я очень глуп».— «Так нам долго придется ждать».— «Бог не без милости! я был свидетелем и не таких чудес».— «Каких же?» — «Я видел слабоумного Грамматина на степени первого ученика в пансионе и умного золотомедального ученика Граве на публичном немецком театре в роли странствующего башмачника».— «Что ж это доказывает?» — «Это доказывает, что первые бывают последними и последние первыми».— «Теперь подлинно я вижу, что мы долго не пойдем к Гнедичу: ты к тому же залез в метафизику».— «Поживи с мое, залезешь в нее и ты».

Юшневский захохотал; он был старее меня четырьмя годами. «Да признайся, что ты там вараксал в то время, как я пришел?» — «Право, записывал день свой».— «Неужто же в самом деле ежедневно записываешь всякий вздор?» — «Непременно».— «Какая цель тратить по-пустому время? Лучше бы читал или сочинял что-нибудь дельное».— «Со временем, может быть, и этот вздор на что-нибудь пригодится».— «Поэтому запишешь и наш разговор с тобою?» — «Слово в слово».— «И покажешь мне?» — «Завтра же в Коллегии».— «Чудак!» — «Родом так».— «Предвижу, что вы будете большими друзьями с Гнедичем: он в своем роде также чудак».— «Может быть, но покамест я не пойду к нему».— «А сказать ему о тебе?» — «Кто ж мешает? Скажи, что я рад с ним познакомиться, но не теперь, у меня точно голова не в порядке».— «Да что ж

---

[1] Как любитель (*франц.*).

такое? Денег нет или семейные огорчения?» — «Небольшие деньги на нужду есть, а в семействе до сих пор все обстоит благополучно».— «Ну так воля твоя, не понимаю».— «И понимать нечего; бывает у молодых лошадей мыт, а у людей корь и оспа и разные волдыри на теле; у меня волдыри на душе и на сердце: нравственный мыт — вот и все; будет с тебя?»

Мой Юшневский отправился домой, приговаривая: «Жаль, очень жаль! Но, видно, мы долго не пойдем к Гнедичу».

20 февраля, среда.

Утром заходил в Коллегию и, к крайней досаде моей, узнал, что дежурство мое приходится в воскресенье. Нечего сказать — весело! Последний день масленицы я буду затворником. Одна надежда на Хмельницкого, что не даст умереть со скуки.

Я показал Юшневскому вчерашний дневник мой. Он удивился, прочитав его, и не утерпел, чтоб не подписать под ним: с подлинным верно [1], примолвив: «Долго не идти нам к Гнедичу!»

Вечером с час просидел у Гаврила Романовича. Он был неразговорчив и что-то невесел, однако ж не жалуется на нездоровье. Просил меня прийти завтра утром взглянуть на четверку лошадей, которых прислал ему граф Кутайсов с тамбовского своего завода. Говорит, что обошлись недорого, только боится, чтоб не были очень бойки.

21 февраля, четверг.

Лошади, присланные графом Кутайсовым Державину, точно хороши: большого роста, одна в одну, рыжегалой, так называемой розовой масти и вдобавок выезжены. Старик любовался ими из окна своего кабинета, а завтра намерен выехать на них в первый раз.

---

[1] Эта подпись на дневнике сохранилась и до сих пор. (*Позднейшее примеч.*)

Они обошлись ему 1200 руб. с приводом — недорого: за такую цену нельзя было бы купить их и на лебедянской ярмарке. Кутайсов прислал также и князю Лопухину шесть лошадей, только другой масти.

Теперь я догадываюсь, отчего Гаврила Романович вчера был так невесел и задумчив. У него в голове письмо к государю о дозволении передать свою фамилию старшему из своих племянников, Леониду Львову. Он намерен был просить об этом на первой неделе великого поста, но его известили, что государь скоро отъезжает в армию и что теперь не время беспокоить его величество. «Боюсь, чтоб не ушло время,— сказал Гаврила Романович,— и чтоб не сбылось мое предсказание:

Забудется во мне последний род Багрима».

«Отсутствие государя, вероятно, продолжится недолго»,— заметил я. «Бог весть, братец, а смерть не за горами»[1].

Эти слова, сказанные голосом слабым и печальным, навеяли на меня какое-то неизъяснимое уныние.

Я оставил Державина в грустном расположении духа и для рассеяния отправился к Яковлеву, у которого нашел любезного отца Григория. Они собрались платить дань масленице — есть блины. «Милости просим на новую беседу! — сказал весело Яковлев.— Старая вся исчерпана, и мы наговорились вдоволь, так что не о чем больше и говорить. Ваша очередь быть запевалою».— «То есть з а п и в а л о ю, хотели вы сказать, Алексей Семеныч,— отвечал я,— в таком случае, если беседа исчерпана, то, кажется, не совсем еще исчерпан вон этот графин с травником, и я готов выпить рюмку». Яковлев захохотал. Мы закусили в ожидании

---

[1] В том же году Гаврила Романович поручил автору «Дневника» отнести всеподданнейшее письмо его об усыновлении Л. Н. Львова к П. С. Молчанову, назначенному тогда статс-секретарем у принятия прошений (вместо умершего М. Н. Муравьева). Молчанов тотчас же доложил о нем государю, но высочайшего соизволения на усыновление Львова не последовало. Это письмо, написанное собственною рукою Державина, передано автором «Дневника» в подлиннике, с разными другими бумагами, М. П. Погодину; оно весьма любопытно в том отношении, что поэт право свое на испрашиваемую милость основывает на сочинении им «Соляного устава». Державин и — солякой устав! (*Позднейшее примеч.*)

блинов. «В соседней харчевне пекут отличные, и дома таких не дождешься».— «Вы правы: московские охотники до блинов не иначе едят их, как из харчевен».— «Отчего же это бывает?» — «Видно, оттого что лучше».— «А где вы были теперь?» — «У Гаврила Романовича».— «Зачем же так рано? еще не пробило и двенадцать».— «Смотрел с ним присланных ему лошадей».— «А вы знаете в них толк?» — «Не могу хвалиться, но думаю, что знаю не меньше других... Между тем, по словам Фонвизина: «Не о птицах предлежит дело, а о разумной твари». Когда вы играете?» — «Завтра играю Вольфа в «Гуситах».— «Пойду смотреть».— «А вы любите драмы?» — «Люблю, когда вы играете в них. Намедни с удовольствием видел вас в роли Менау».— «Каратыгина была лучше меня».— «Ну, не скажу: Каратыгина — лучшая Эйлалия, какую я в жизни моей видел; но вы — совершенство! Вам недоставало одного: уменья одеться. Вы слишком пренебрегаете своим костюмом: вышли на сцену даже небритые».— «А вы и это заметили? Но завтра костюм мой будет старогерманский: вы будете довольны мною, хотя Каратыгина в роли Берты убьет меня и заставит вас плакать».— «Поможете ей и вы, Алексей Семеныч, только смотрите берегитесь: в партере будет находиться человек, который заметит всякое ваше слово и всякое телодвижение ваше».— «Заметит да и запишет,— сказал иронически Яковлев,— вишь вы какой соглядатай; мы к этому не привыкли».

Наконец принесли блины в горшке, окутанном салфеткой. Яковлев ел мало, как бы нехотя, но мы с отцом Григорием не положили охулки на руку. «Блины блинами,— сказал отец Григорий,— а речь речью. Давеча, когда мы взошли, я толковал Алексей Семенычу о том, что, мне кажется, трудно удержаться актеру в своем естественном характере человека и, волею-неволею, не принять более или менее свойств тех лиц, которых он представляет, а чрез то не потерять своих собственных».— «Пустяки,— отвечал Яковлев,— можно приучиться к ненатуральному разговору и к высокопарности — и больше ничего. Сахаров целый век свой представляет злодеев, а в сущности добрейший человек. Шушерин играет нежных отцов, а уж такой крючок, что боже упаси! Вон и Каратыгин: кроме ветрогонов да моторыг ничего другого не играет, а по-

смотри его дома: порядочен и бережлив; а Пономарев? то записной подьячий, то скряга, то плут-слуга, а нечего сказать: смирнее и скромнее его человека не сыщешь. Да я и сам: лет около пятнадцати вожусь на сцене с Ярбами и Магометами, а все остался тем же Яковлевым. Пустяки, совершенные пустяки! Однако ж после блинов не выпить ли пуншу?»

Отец Григорий отказался от пунша, и я также, памятуя тот омег, которым угостил меня Яковлев в первое мое посещение, и попросил воды. «Что ж вам за охота пить воду?» — спросил хозяин. «А разве вы не читали Пиндара?» — «Читал две оды его в переводе Державина, и помню».— «Следовательно, должны знать, что всех элементов вода превосходней; а если хотите, так П. И. Кутузов перевел еще вразумительнее: всех лучше жидкостей вода!» Собеседники засмеялись. «Этак переводить не мудрено»,— заметил отец Григорий. «Напротив, гораздо труднее, чем вы полагаете,— сказал Яковлев,— надобно иметь особое дарование, чтоб поэтические стихи обращать в медицинские афоризмы».

Я отправился домой, к возлюбленной моей конторке, единственной поверенной всех моих дум, мыслей и чувствований. Эх-ма!

22 февраля,
пятница.

Надобно отдать справедливость старику Василью Александровичу Самсонову, что он человек необыкновенно умный и опытный в жизни. Я просидел с ним целое утро и не заметил, как прошло время. Он не истощался в рассказах: память имеет чрезвычайную и, сверх того, мастер говорить; а как он предупредителен, нежен и забавен в обращении с женою своею, крошечною и добродушною старушенциею — право, мило смотреть. Вот настоящие русские Филемон и Бавкида! Они живут скромно, однако ж гостеприимны и рады угостить всякого чем бог послал. Самсонов охотник покушать и большой приятель с известным петербургским гастрономом, камер-юнкером Ласунским, который никогда не обедает дома, без того чтоб для аппетита не пригласить и Василья Александровича.

Старик много рассказывал о некоторых известных персонажах царствования императрицы Екатерины II. «Многие из них,— говорил он,— точно были гениальные люди, но другие пользовались репутациею умных и деловых сановников только потому, что императрица руководила ими, а в сущности были очень ограниченных способностей и ума; но зато эти господа мастера были окружать себя какою-то великолепною важностью и составлять себе клиентов, которые проповедовали о их великих достоинствах. Они выдавали себя и за меценатов, имея под рукою несколько голодных поэтов для домашнего обихода и прославления их добродетелей, потому что меценатство было тогда в моде. А знаешь ли, отчего оно попало тогда в моду? Императрица, которая покровительствовала словесности, наукам и художествам, заметив в одном вельможе закоренелое презрение к произведениям ума и художеств, изволила спросить обер-шталмейстера Нарышкина: «Отчего такой-то не любит живописи и ненавидит стихотворство до такой степени, что, по словам княгини Дашковой, он всех ни к чему годных людей своих называет живописцами и стихотворцами?» — «Оттого, матушка,— отвечал Нарышкин,— что он голова глубокомысленная и мелочами не занимается».— «Правда твоя, Лев Александрыч,— вздохнув, сказала императрица,— только и то правда, что головы, слывущие за глубокомысленных, часто бывают пустые головы». Замечание императрицы огласилось, и с тех пор придворные друг перед другом стали покровительствовать стихотворцам и живописцам, заводить домашние театры и составлять картинные галереи».

«Так иногда,— продолжал Самсонов,— премудрая монархиня одним кстати сказанным словом изменяла нравы, вводила новые обычаи и даже нечувствительно смягчала природные свойства людей, ее окружавших. Например, узнав, что один из ближайших к ней сановников, обязанный по занимаемому им посту выслушивать просителей, обходился с ними надменно, не принимал труда обстоятельно объясняться с ними и вообще был недоступен, она в одном из своих вечерних собраний завела речь о том, как должна быть противна надменность в вельможах, обязанных быть посредниками между государями и народом. «Эта надменность происходит,— заметила императрица,— от ограничен-

ности их ума и способностей: они боятся всякого столкновения с людьми, чтоб те не разгадали их, и для произведения эффекта нуждаются в оптическом обмане расстояния и театральном костюме». И с последним словом обратившись к гордецу, она вдруг спросила его: «А что, у тебя много бывает просителей?» — «Немало, государыня»,— отвечал сановник. «Я уверена, что они выходят от тебя гораздо довольнее, чем при входе в твою приемную: несчастье и нужда требуют снисходительности и утешения, и твое дело позаботиться, чтоб эти бедные люди не роптали на нас обоих». Вельможа понял намек и с тех пор из надменного и неприступного сановника сделался самым доступным, вежливым, снисходительным и даже предупредительным государственным человеком».

Вечером любовался Яковлевым и Каратыгиною в «Гуситах»: они были превосходны; особенно в сцене выбора детей, которых решено послать в неприятельский стан, они заставили всех плакать навзрыд, и я заметил, что Яковлев едва ли не плакал сам — с таким необыкновенным чувством играл он эту сцену! Зато Бобров, игравший военноначальника гуситов, был очень смешон.' Я видел его в роли Мамаева посла в «Димитрии Донском»: там был он сноснее и даже недурен, вероятно оттого, что грубые приемы и необработанный голос согласовались больше с характером роли татарина. Говорят, что Бобров превосходно играет Тараса Скотинина в «Недоросле»; верю, потому что он в роли военноначальника был настоящим Скотининым.

Я не в состоянии объяснить, какое неприятное действие производят это беспрерывное чиханье и сморканье и этот беспрестанный кашель райской и даже партерной публики русского театра во время патетических сцен драмы или трагедии. Мне кажется, можно бы, из уважения к другим посетителям, как-нибудь скрыть свою чувствительность, проявляющуюся в таких непристойных симптомах.

23 февраля,
суббота.

Сегодня нечаянно столкнулся я с Харламовыми Александром и Николаем Гавриловичами. Они тоже

данковцы и коротко знают биографию всего нашего семейства. Старший из братьев, статский советник, служит советником губернского правления — большой делец, в короткое время нажил прекрасное состояние и делит его с братом, отставным моряком, хилым и больным. У них огромный дом в Большой Садовой улице, против Третьей Съезжей, и много незанятых квартир. Они чрезвычайно уговаривали меня переехать к ним и предлагали свои услуги. «Мы петербургские старожилы,— говорили они,— люди холостые и независимые, и нам было бы приятно позаботиться о приезжем земляке». Я благодарил услужливых братьев и обещал бывать у них часто, если позволит время. За обедом у Альбини я рассказывал им об этой встрече и об одолжительном предложении земляков моих. «От добра добра не ищут,— сказали в один голос муж и жена,— квартира Торсберга хорошая, а сверх того, переехав к Харламовым, вы отдалитесь от нас и других ваших знакомых». Разумеется, так.

С нами обедали генерал-суперинтендант пастор Рейнбот и ловелас Иван Кузьмич, который не отвык от обыкновенных комплиментов. Но — увы! с комплиментами своими принужден он в Петербурге обращаться к одним разве горничным или тому подобным дамам, потому что не бывает ни в одном порядочном обществе; в Липецке для него было золотое время: там он, по званию секретаря директора Липецких вод, безнаказанно мог надоедать всем дамам, пьющим и не пьющим воды, лишь бы только случилось им попасть в галерею.

Рейнбот очень умный и, кажется, дельный человек. Он очень знаком с пастором Гейдеке и стариком Бруннером и чрезвычайно уважает их. С Гейдеке он даже в переписке и снабжает его некоторыми книгами по части теологии и педагогики, которых в Москве добыть нельзя. Он расспрашивал меня о московском его житье-бытье и, между прочим, сказывал, что Гейдеке имеет много врагов, которые стараются клеветать на него и вредить ему. Я отвечал, что, сколько мне известно, Гейдеке жизнь ведет непозорную, уважается многими известными в Москве людьми, известными литераторами и университетскими профессорами и почитается человеком вовсе не обыкновенным. «В том-то и беда,— сказал Рейнбот,— что обыкновенные люди успевают

вообще скорее необыкновенных, потому что последние хотят, чтоб дорожили ими самими, между тем как первые дорожат только своими покровителями. Чуть ли у нашего друга не слишком остро перо, а еще острее язык».

Возвратившись от Альбини, я нашел у себя Кобякова и очень обрадовался, что не один проведу вечер дома. Кобяков пришел с жалобою на Вельяминова, что переводы его чересчур становятся плохи; например, в финале «Импрезарио» он заставляет любовницу петь:

Пусть отсохнет рука,
Коль пойду за старика:
Старики ревнивы, злы —
Настоящие козлы!

Я чуть не умер со смеху и догадался, в чем дело. «Ты, любезный друг, — сказал я Кобякову, — напрасно сетуешь на Вельяминова: ведь «Импрезарио» — опера-буффа, а в оперу-буффа эти стихи допустить можно. Посмотрел бы ты, как мы в Москве переводили оперы: и не то сходило с рук; да и самые дифирамбы Сумарокова чем лучше вельяминовского перевода — сам посуди:

Бахуса я вижу зла;
Разъяренну, пьяну, мертву,
Принесу ему на жертву
Я козла!»

«А что ты думаешь, — сказал Кобяков, — ведь и подлинно можно их вставить в финал. Музыка шумная: пожалуй, слов и не расслышат; только козлы-то мне не нравятся». — «Ну, так поставь ослы — и дело с концом». Земляк мой успокоился.

Немногое нужно, чтоб огорчить человека, но, кажется, нужно еще менее, чтоб его утешить.

24 февраля,
воскресенье.

Мы избавились от дежурства и последний день масленицы провели не в заключении. Кусовников и Хмельницкий уладили дело славно: силою красноречия и красной бумажки они уговорили протоколиста Котова, канцеляриста Сычова и Матвея Дмитриевича Дубинина

заменить нас: для них это ничего не значит, потому что живут в доме самой Коллегии и могут, не отлучаясь, пить, сколько душе угодно. На мой пай достался Дубинин.

М. Д. Дубинин человек исторический, муж старинного покроя и тип канцелярских чиновников прежнего времени; это последний в своем роде, и природа, создав его, наконец разбила форму. Ему за шестьдесят лет, из которых пятьдесят он провел на службе в Коллегии, достигнув до почетного звания живого архива; у него красный фигурчатый с наростами нос, всегда заспанные глаза, пегие нечесаные волоса, небритая борода, очки на лбу, перо за ухом и пальцы в чернилах. Он пишет уставцом, четко, красиво, безошибочно, и уписывает на одной странице то, чего другой, лучший писец нового поколения, не упишет на целом листе. Его славное дело держать реестр печатаемым патентам, и он заведывает приложением к ним печатей, чего лучше и аккуратнее его никто исполнить не в состоянии, но ему поручают переписку и других бумаг по Коллегии, и особенно по Казенному департаменту. Утром и натощак Матвей Дмитриевич всегда на ногах, но по окончании присутствия он тотчас приступает к трапезе, и тогда уже видеть его иначе нельзя, как лежащего и утоляющего жажду. Матвей Дмитриевич с оригинальным своим почерком, с необыкновенною своею памятью и нанковым сюртуком был известен всем прежним начальникам Коллегии: князю Безбородко, графу Растопчину и князю Чарторижскому, да и нынешний министр Будберг знает его; что касается до обер-секретарей, то он их не ставит ни во что, но зато весьма уважает казначея Бориса Ильича, который никогда не отказывает ему в выдаче пяти рублей вперед жалованья и перед большими праздниками рискует иногда даже и десятью рублями. Как бы то ни было, но Матвей Дмитриевич считается почему-то человеком почти необходимым в своей сфере, и все служащие, начиная от обер-секретаря до нашего брата, не иначе называют его, как по имени: Матвей Дмитрич, а при случае спешной работы прибавляют слово «любезный». Коллежское предание и экзекутор Степан Константинович гласят, что будто бы некогда Матвей Дмитриевич и по утрам придерживался чарочки и что во времена оны некоторые жестокосердые обер-секретари, по тогдашнему обычаю в предупрежде-

ние несвоевременных его отлучек, приказывали разувать его, но я на этот раз делаюсь пирронистом и не хочу верить преданию.

Итак, по неожиданной благосклонности Матвея Дмитриевича, я был на свободе и воспользовался ею, чтоб сделать визит землякам моим Харламовым, которые, не ожидая такого скорого посещения, очень обрадовались и приняли меня чрезвычайно ласково. Вопросам и расспросам о Данкове и данковских помещиках конца не было. Я передал им, как умел, все, что только мог знать, и наконец спросил их: отчего же они, по-видимому так любя родину, не съездят взглянуть на нее и повидаться с родными? «Оттого,— отвечал старший брат,— что там у нас не осталось ни одной души и ни клока земли, да и ближних родных нет, а есть однофамильцы: куда и к кому мы приедем? Здесь бог благословил нас довольством и спокойствием, здесь, видно, и умереть придется; а признаюсь, когда случится увидеть данковца и слышать что-нибудь доброе о ком-нибудь из земляков своих, право, сердце не нарадуется. Пожалуйста, переезжайте к нам в дом и располагайте нами, как вашими родными, без всяких церемоний и жеманства». Я уверил их, что жеманство не в моем характере и я его не люблю, потому что оно — вывеска глупости, а я не желаю, чтоб меня считали за дурака, и потому воспользуюсь их обязательностью при первом удобном случае.

Советник отзывался о губернаторе Петре Степанове Пасевьеве чрезвычайно хорошо. «Это клад, а не человек,— говорил он,— умен и добр и бьется из всех сил, чтоб облагородить канцелярию правления. К несчастью, едва ли мы скоро с ним не расстанемся, потому что его славят сенатором».

Обедал в павильоне: попал на маркиза де ла Мотта, которого видел я на другой день моего приезда в Петербург у Лабатов в екатеринин день, но тогда оставил без замечания; сегодня разглядел его поближе: что за отвратительная фигурка! Ему лет под шестьдесят, маленький, пузатенький, косой, плешивый и при всем том пренадменный, tranchant [1] и едва ли не воображающий себя каким-нибудь Шуазелем или Морепа. Он не умолкал о политике, межевал государства, отнимал области

---

[1] Резкий (*франц.*).

у одного и отдавал их другому, заточал Бонапарте с братьями в восстановленную им Бастилию и проч., а между тем сам продает Дмитрию Львовичу Нарышкину страсбургские пироги и прованское масло, véritable huile d'Aix [1], и дает чувствовать, что он чуть-чуть не из первых людей у него в гостиной. Каковы же должны быть последние? хотелось бы мне спросить его; но, кажется, ему скоро несдобровать, потому что недавно он женился на такой бабище, что страшно взглянуть: огромная, толстая, рябая, голосистая, с такими резкими ухватками, что так и кажется, что она при одном прикосновении к ла Мотту расшибет его в прах. Молодые супруги, которых медовый месяц еще не истек, развозят покамест друг друга по своим знакомым напоказ, а там что будут делать — знает разве один добродушный и вспыльчивый граф Монфокон. Он все время, покамест ла Мотт решал судьбы царств и народов, сидел как на иголках: кашлял и вертелся на стуле, однако ж молчал, но лишь только молодые старые уехали, он вдруг вскочил и, сложив ладони, прежалобно вскрикнул: «Oh, mon Dieu, mon Dieu! Il faut être bien sot pour se croire un sage» [2].

Вспомнив, что сегодня прощальный день, я по русскому обычаю попросил прощения у дам, но они вдруг привязались ко мне, чтоб я покаялся им во всех своих прегрешениях, которые будто бы они уже знают. Я бежал от них без оглядки: они решительно принимают меня за ребенка.

25 февраля,
понедельник.

Я начал говеть. В Казанском соборе служат чинно и благолепно, и хотя народу много, но покамест тесноты большой нет. На евфимоны ездил в Невский монастырь, в котором до сих пор еще не был. Служба простая, но величественная. Покаянный канон читал наместник Израиль внятно и вразумительно. Мне понравился иеродьякон Филадельф, чрезвычайно благооб-

---

[1] Настоящее прованское масло из Экса (*франц.*).
[2] «Боже мой, боже мой! Надо быть очень глупым, чтобы считать себя мудрецом» (*франц.*)

разный, ловкий и развязный в служении; голос его не исполинский, как у Воржского, но звучен и приятен. Ирмосы пели монахи прекрасно; клир состоял из одних басов, кроме какого-то послушника, высокого тенора. Это басовое пение шестигласных ирмосов невыразимо действует на душу. В Троицкой лавре поют также отлично, но там голоса перемешаны, здесь же, напротив, одни басы. Сказывали, что митрополит Амвросий очень любит столбовое пение и в бытность свою казанским архиепископом кроме обыкновенных певчих архиерейского дома имел еще хор, составленный из одних басов, который предпочтительно любил слушать.

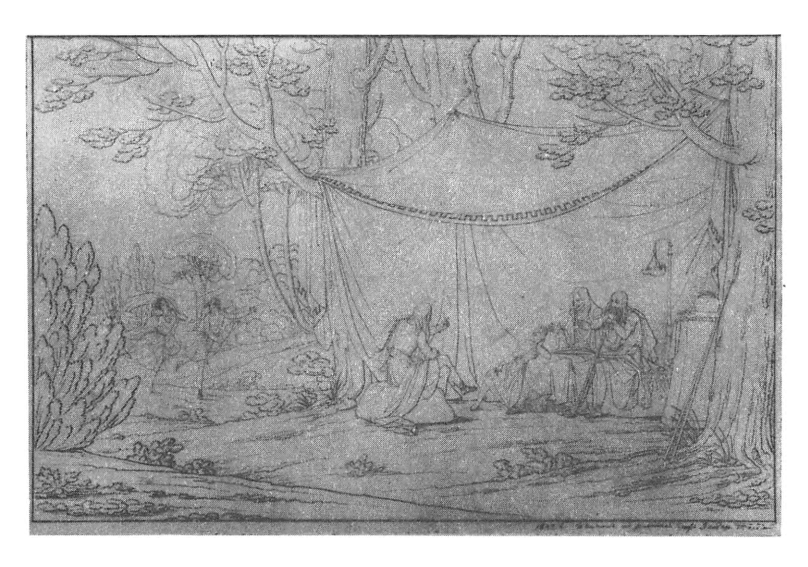
26 февраля,
вторник.

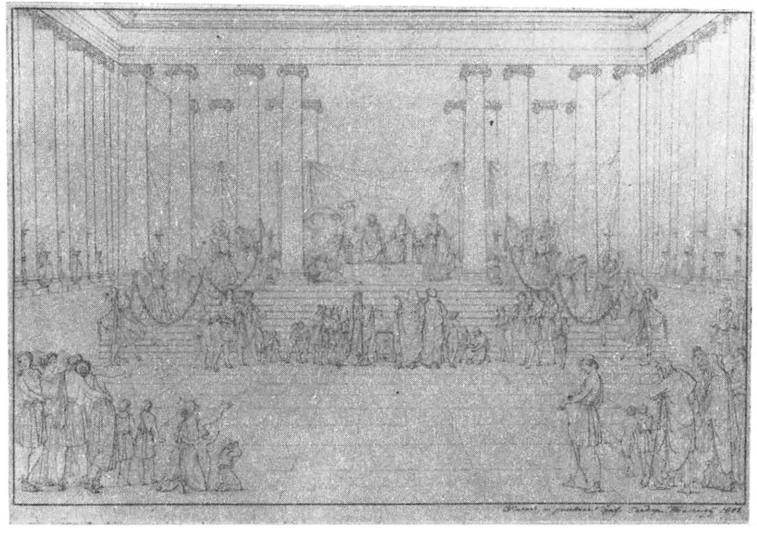
В беседе с умным человеком многому научиться можно, но если этот умный человек смотрит на жизнь и свет с своей, особой точки зрения, то он может сбить с толку. Умные красноречивые люди увлекательнее всякой книги: читая книгу, ты имеешь время поразмыслить и остеречься, а живое слово действует так внезапно, что не успеешь и опомниться, как ты уже в его власти.

Вот хотя бы, например, и старший граф де Местр, сардинский посланник: я не хотел бы остаться с ним неделю один с глазу на глаз, потому что он тотчас бы из меня сделал прозелита. Ума палата, учености бездна, говорит, как Цицерон, так убедительно, что нельзя не увлекаться его доказательствами; а если поразмыслить, то, несмотря на всю христианскую оболочку, которою он прикрывает все свои рассуждения (он иначе не говорит, как рассуждая), многое, многое кажется мне не согласным ни с тем учением, ни с теми правилами, которые поселяли в нас с детства. Давеча из церкви я зашел навестить старика Лабата, чего-то объевшегося по случаю католической масленицы, и нашел у него де Местра, стоявшего пред камином и с жаром рассуждавшего. Из разнообразного, живого и увлекательного его разговора я успел схватить на лету несколько идей, поразивших меня своею новизною. Он утверждал, что «почти во всех случаях жизни надобно опасаться более друзей, чем врагов своих, по-



Эскиз занавеса Большого театра в Санкт-Петербурге.
Э. Скотти.
Перо, белила. Первая половина XIX в.

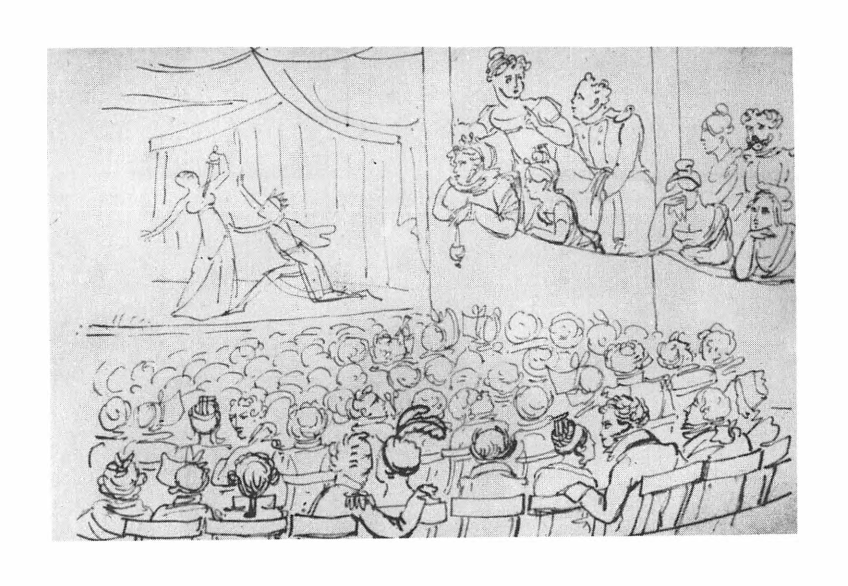




Зарисовки к постановке балета «Эрос».
Ф. Толстой.
Карандаш. 1842



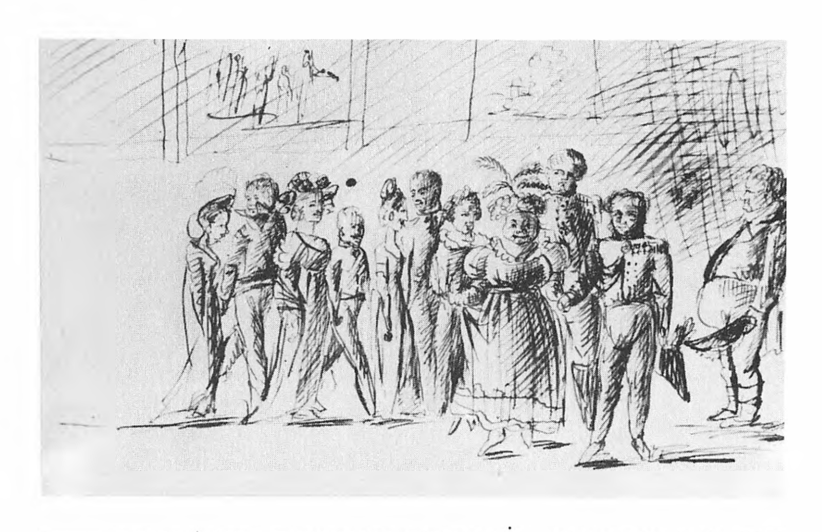
На сцене и в оркестре.
Ф. Толстой.
Перо, тушь. Первая половина XIX в.



В зрительном зале.
Неизвестный художник.
Карандаш. Начало XIX в.

Расписка в получении денег за театральные билеты.
1819

Его Сіятельству Князю
В: В: Долгорукому
1819 года Ноября 4го дня
на пятдесять
Русских и Французских
спектаклей, за которые при-
нято денегъ Двести пятдо-
сять рублей. Казначей
Константин Маврин





Бал.
Рисунки из альбома В. И. Апраксина.
Неизвестный художник.
Карандаш. 1810-е гг.

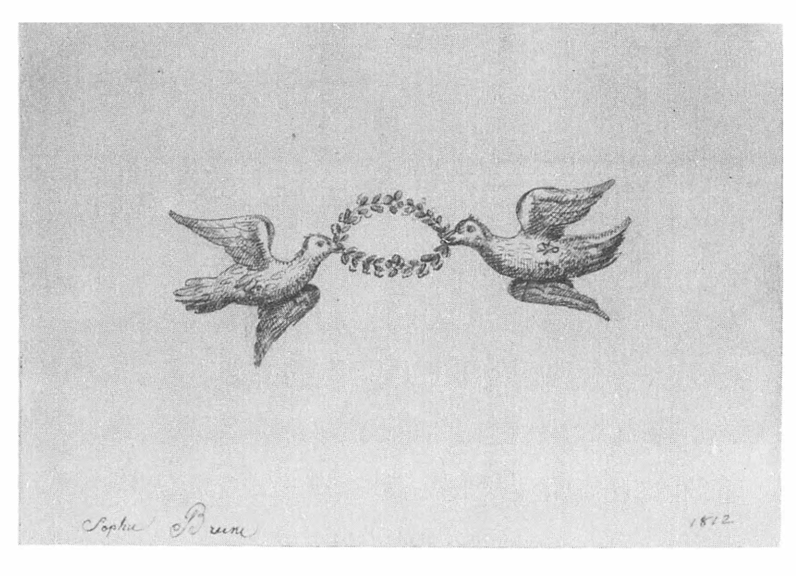


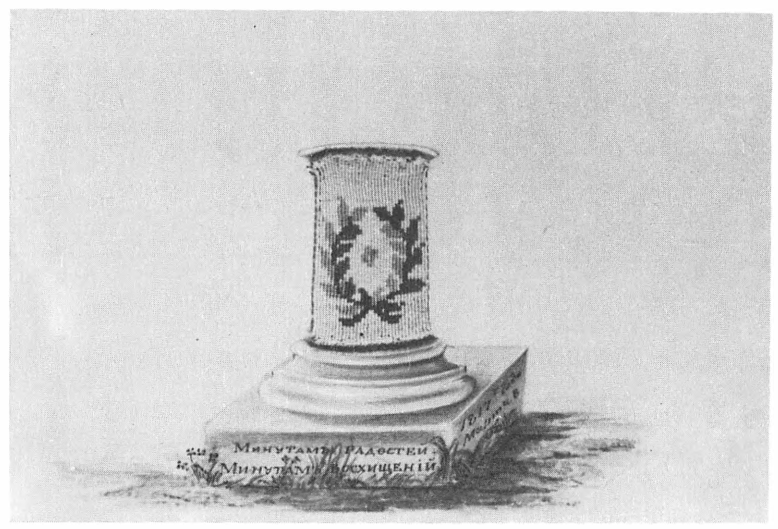
Танцующие.
Рисунок из семейного альбома.
Карандаш. 1810-е гг.

Франт и черт.
Неизвестный художник.
Карандаш. 1810-е гг.



Французский эмигрант Дю Селон на фоне Невы.
А. Орловский.
Акварель, итальянский карандаш, белила. 1806





**Рисунки из семейных альбомов.
Неизвестные художники.
Карандаш. 1810-е гг.**

тому что последние, по крайней мере, не введут вас в заблуждение своими советами, и что сознание нашего ничтожества должно поверять одному только богу, но перед людьми скрывать его во избежание их презрения». Это, может быть, и правда, однако ж что-то отзывается иезуитизмом. Но вот идеи, которые кажутся мне безукоризненно верными: рассуждая об одном государственном человеке, которого все вообще почитали за гениального, граф де Местр сказал, что он, с своей стороны, не очень верит в его гениальность, потому что этот вельможа всегда окружал себя людьми вовсе посредственными, и если он делал это для того, чтоб лучше скрывать свои намерения и предположения, то и в этом случае действовал невпопад, потому что нашим тайнам изменяют большею частью не те люди, которым мы поверяем их сами, но почти всегда те, которые о них догадываются.

Но пора мне, по словам философа Сковороды,—

Тщету отложити
Мудрости земныя
И в мире почити
От злобы дневныя,—

сиречь: идти на боковую, чтоб завтра не опоздать на молитву.

27 февраля,
среда.

Идучи из церкви, встретил Александру Васильевну П., которую так часто случалось мне видеть в Москве у тетки В. и в некоторых других домах. Тогда она была резвою, веселою и милою девушкою, но вскоре выдали ее замуж за какого-то старого и даже небогатого полковника, и я потерял ее из виду. Теперь она овдовела и живет одна. Мы обрадовались друг другу, потому что Петербург кажется и для нее чужою стороной. Лицо такое же ангельское, такая же свежесть, но что за толщина — боже мой! Ходит переваливаясь и насилу двигает ноги. Не понимаю, как женщина в двадцать два года так отолстеть может. Звала к себе, уверяя, что всегда почти дома и особенно по вечерам, но предупредила, что живет покамест небогато, в небольшой квартире на Сенной, и что лестница высока и не-

опрятна. «Как быть,— сказала она,— после московского простора и довольства пришлось здесь жить в тесноте и нужде». Все равно: пойду к ней непременно вспомнить старину. Правду сказать: и миловидна, удивительно как миловидна!

Дмитрий Моисеевич Паглиновский присылал за мною. Он что-то имеет передать мне от дяди А. Г. Рахманинова, отправившегося в деревню. Вот и еще человек, пропавший для службы: в двадцать семь лет, будучи штабс-ротмистром Конной гвардии и красавцем в полном значении слова, вдруг женился, вышел в отставку и уехал в степь на покой! Впрочем, со стороны судить об этом мудрено: все делается не без причины.

28 февраля,
четверг.

Был у Паглиновского. Важное дело сообщил он мне от дяди: «Александр Герасимыч поручил мне просить вас навещать нас как можно чаще».— «Только-то?» — «Больше ничего». Вот прямо добрый человек! Хотя шутка не совсем забавна, но доказывает приветливость почтенного Дмитрия Моисеевича [1]. Разумеется, что я не останусь у него в долгу.

---

[1] Д. М. Паглиновский, правитель военной канцелярии, генерал-адъютанта графа Ливена, заведовавшего военными делами при особе государя, был человек отличных качеств ума и сердца. При той значительности, которою он пользовался по чрезвычайно важному своему месту, при тех близких сношениях с первыми людьми государственными тогдашнего времени, которые давали ему право на некоторое предпочтение перед другими, он был не только не спесив и не заносчив, но, напротив, скромен, снисходителен, вежлив и бескорыстно услужлив до невероятной степени. По назначении графа Аракчеева министром военных сил канцелярия графа Ливена была упразднена, и Паглиновский поступил правителем же канцелярии к новому министру, которого благосклонностью и уважением он пользовался несколько лет. Но всемогущая сила обстоятельств изменила служебное поприще этого достойного человека: он был долго в отставке, потом опять вступил в службу и умер советником Ассигнационного банка. Паглиновский и дядя мой Рахманинов были женаты на двух родных сестрах Бахметевых, и я познакомился с первым в доме последнего. Иногда с ним бывали очень забавные

При мне приезжал к нему В. П. Кокушкин по какому-то делу. Этот Кокушкин был в свое время довольно значительным персонажем, потому что пользовался благосклонностью канцлера князя Безбородко, при котором считался на службе. Я говорю: считался, потому что, как мне сказывали, он по натуре своей служить не мог, как служат другие, ибо едва-едва знал грамоте и делать ничего не умел; но зато при добром сердце, веселом нраве, испытанной честности и прекрасном наследственном состоянии он обладал драгоценным для того времени даром учреждения пиров и, кроме того что любил сам попить и погулять, считался мастером потчевать других. Эти достоинства доставили ему почетное звание распорядителя афинских вечеров князя Безбородко. Не должно, однако ж, думать, чтоб добрый и благородный Василий Петрович был большой знаток в напитках,— отнюдь нет, и предание гласит, что, несмотря на все его притязания на звание знатока в винах, гениальный канцлер доказал ему, как дважды два четыре, что он о вкусах в вине не имеет никакого понятия, и вот каким образом: приказав своему метрдотелю во время одного званого обеда обнести гостей простым бордоским вином, придав ему название старого аквамарина, в виноделии не существующего, князь Безбородко, обратясь к Кокушкину, спросил его: «А каково винцо, Василий Петрович?» — «Подлинно отличное,— отвечал он,— от рода такого аква-марина не пивал: хорошо бы еще рюмочку!» Разумеется, взрыв общей веселости обнаружил мистификацию. По смерти князя Кокушкин остался верен своей привязанности к фамилии Безбородко и считается домашним человеком у брата канцлера, графа Ильи Андреевича Безбородко, который в настоящее время служит обществу в почетном звании здешнего совестного судьи и столько же известен добротою души своей, сколько и неимоверным своим богатством.

случаи; так, например, один служивый, будучи огорчен отказом, сделанным ему вследствие резолюции графа Ливена, и вообразив, что резолюция эта последовала потому только, что Паглиновский не захотел принять участия в его просьбе, попотчевал его на прощанье следующим двустишием:

Не Дмитрий ты Донской, не Дмитрий ты Ростовский,
А Дмитрий ты простой, лишь Дмитрий Паглиновский!

(*Позднейшее примеч.*)

8*

Вот что за человек Василий Петрович. Теперь он лишился большей части своего состояния, стал старее и хотя не с такою уже победною бодростью может выходить из турнира с современными героями попоек, но по-прежнему любит пиры и браги. Знакомство его чрезвычайно обширно, и он в кругу здешних знатных и богатых негоциантов катается как сыр в масле, и едва ли кто из них решится снарядить обед или дать веселую вечеринку, не пригласив разделить их Василья Петровича; словом, он любезный всем гость и приятный для всех собеседник.

1 марта,
пятница.

Надобно исповедоваться, а я еще не приискал себе духовника; надлежало бы подумать о том заранее. Теперь нечего делать: пойду к отцу Григорию Вознесенскому, благо с ним знаком. Благослови господь!

2 марта,
суббота.

Наконец бог привел причаститься святых тайн, и на душе как-то легче стало. Причастников у ранней обедни было множество, и в том числе несколько знакомых. Ямпольский сказывал, что мне хотят дать какую-то немаловажную работу или к кому-то прикомандировать по одному делу для переводов. Дай-то бог, потому что вот три месяца, как решительно ничего не делаю и только толкую о Троянской войне. Пожалуй, домашние скажут, что за этим не стоило ездить в Петербург.

Александр Львович Нарышкин сегодня отправляется в Москву. Говорят, что там открылись беспорядки по театру и чуть ли не будет назначен новый директор.

Государь причащаться изволил со всею императорскою фамилиею, и по сему случаю из экономии государя доставлено обер-гофмаршалом графом Толстым к губернатору 2000 рублей на выкуп нескольких самобеднейших отцов семейств, содержащихся за долги. Харламов, которому Пасевьев поручил исполнить без всякой

огласки это доброе дело, сказывал, что так делается всякий год.

3 марта,
воскресенье.

Гаврила Романович говорил, что литературные вечера были отложены 26-го числа по случаю масленицы, а вчера — по причине общего говенья, но что в будущую субботу приглашает к себе Александр Семенович Хвостов, за которым считается очередь.

Есть на свете люди, которым никогда ни в чем нет удачи: что бы они ни затевали, как бы обстоятельно ни обдумывали свои предприятия, всегда подвернется какое-нибудь препятствие, всегда сыщется какой-нибудь неожиданный случай, который расстроит их намерения, уничтожит начинания, собьет их с толку и, лиша всякой энергии, заставит их опустить руки и жить как придется, au jour le jour [1]. Таких людей умники называют беспечными и даже — бог им судья! — ни к чему годными, а ханжи величают юродивыми и большею частью чуждаются их как отверженных богом. Таков, например, был умный и добрый Иван Захарович Кондырев, которого примерные неудачи так верно очертил Александр Ханенко [2] в небольшом шуточном, но глубокомысленном к нему послании:

И если б сделался ты шляпным фабрикантом,
То люди стали бы родиться без голов.

Такой был и Сергей Афанасьевич Волчков, о котором сегодня столько толковали и которого странная

---

[1] Со дня на день (*франц.*).

[2] Ханенко и Михайло Магницкий были лучшими воспитанниками Университетского благородного пансиона. Семен Родзянко увековечил их в преданиях пародиею одной известной оды, в которой находится следующее обращение к директору пансиона А. А. Антонскому:

В Ханенках ты, в Магницких славен;
Но где ж ты сам себе не равен?
Ты и в Колпинских тож Антон!

Братья Колпинские были воспитанники самых ограниченных способностей. Недостатком памяти и отсутствием всякого соображения они часто возбуждали насмешки других воспитанников, но Антонский отличал их за кроткое поведение и за благонравие. (*Позднейшее примеч.*)

и непостижимая судьба была предметом толков и разговоров петербургского общества и самого двора в первые годы царствования императрицы Екатерины II. Кондырев в сравнении с Волчковым мог назваться счастливцем, потому что после разных утрат в семействе и состоянии от случаев совершенно непредвиденных он, по крайней мере, мог умереть в своем, хотя и тесном, углу и на своей постели, в присутствии двух-трех человек, искренно его любивших; но Волчков не имел и этого утешения. Отлично образованный по тогдашнему времени, прекрасный собою, имея хорошее состояние и не зависимый ни от кого, Волчков вступил в военную службу и, как отличный молодой человек, был назначен состоять при графе Салтыкове, командовавшем тогда армиею в Пруссии. В сражении при деревне Пильциге или Пальциге, в котором русские остались победителями, Волчков ранен был в ногу и лишился глаза и должен был, после весьма трудной и неудачной операции, возвратиться в Петербург. Здесь он женился, но выбор супруги был несчастлив: казавшаяся до свадьбы такою доброю и простосердечною, она вскоре по совершении брака обратилась в сущего демона и без стыда говорила, что если она вышла за калеку, так потому только, что хотела иметь положение в свете, и что считает такого мужа, как Волчков, кривого и хромого, не больше как своим приказчиком. От такого образа мыслей недалеко до разврата, и этот разврат обнаружился во всей его гнусности; дом Волчкова превратился в ад. Делать было нечего, и после многих совещаний с знакомыми, совещаний, из которых ничего другого не вышло, кроме огласки и соблазна, супруги согласились разлучиться; но эту разлуку Волчков обязан был купить почти половиною своего состояния. Разделив имение, он полагал себя еще достаточно обеспеченным и надеялся прожить век свой в довольстве и спокойствии, в упражнениях умственных, занятиях литературных и художественных; но, как говорится, il a compté sans son hôte[1]; начались внезапные неудачи: то выгорит деревня, то случится неурожай, то выпадет скот, то возникнет процесс, то обкрадет приказчик, так что бедный Волчков, маявшись года с четыре, принужден был к разным тяжелым

[1] Он рассчитал, не считаясь с хозяином (*франц.*).

уступкам неблагоприятной фортуне: прежде продал дом, там заложил большую часть имения, а наконец, и сам отправился экономничать в симбирскую деревню, в которой ожидали его еще пущие несчастия. Явился на сцену самозванец Пугачев, губитель верных своему долгу дворян и помещиков. Клевреты злодея успели схватить Волчкова, мучили и терзали его, разграбили дом, сожгли деревни, перевешали в глазах его некоторых дворовых людей, ему преданных, и священника с причетом и хотели уже приняться за него самого, как вдруг остановлены были, будто чудом, каким-то внезапным известием о приближении отряда войск и скрылись, оставив бедного калеку чуть живого от нанесенных ему побой, обливанья кипятком и проч. и проч. Долго лечился Волчков в Симбирске; телесные раны его заживали медленно, но раны душевные — еще медленнее. Уныние овладело им. Вместо того чтоб приняться за выстройку вновь деревни и приведение в какой-нибудь порядок расстроенных дел своих, он предоставил все на произвол судьбы и как человек, дознавший горькими опытами, что все начинания его, как бы ни были хорошо обдуманы, не могут иметь благоприятных последствий, впал в совершенное бездействие. Состояние помещика, проживающего в деревне бездейственно и беззаботно, лишает уважения, а лишение уважения подрывает кредит, и вот Волчков имел несчастье видеть, как наследственные его поместья стали постепенно поступать во владение несговорчивых его кредиторов. Час от часу становится он беднее и наконец, дойдя почти до совершенного убожества, должен был возвратиться в опостылевший ему Петербург, в котором ожидали его жена и новые бедствия.

Историю Волчкова окончу после. Теперь в голове поручение, которое мне дать хотят; но дадут ли? Что-то не верится, и едва ли Ямпольский не сказал это как-нибудь, наобум.

4 марта,
понедельник.

Илья Карлович говорил, что он точно заботится о доставлении мне постоянной и занимательной работы, но так как это дело не совсем зависит от него, то и

надобно подождать до времени. Я это предчувствовал.

«Лучше остаться без куска хлеба, лучше лишиться головы, чем быть обязанным своей фортуной бесчестному человеку»,— говорил во время оно молодой капитан Арсеньев. Такой образ мыслей, пожалуй, многие назовут донкихотством, но между тем есть в самом деле что-то унизительно тягостное в одолжениях бесчестных людей, что-то такое, в чем благородный человек не хотел бы сознаться перед другими и что бы желал он позабыть сам, как неприятный, тяжелый сон.

Что же должен был чувствовать физически расстроенный, но не совсем еще потерявший сознание собственного достоинства бедный Волчков, когда сила жестоких обстоятельств подвергла его унижению не отказаться от пособий бесчестной жены своей, пособий, которые предложила она ему вследствие общего о нем сожаления. Участие этой женщины в несчастной судьбе мужа основано было на светских приличиях, тайном желании прослыть великодушною и надежде, что он отринет ее предложения. Но Волчков, по неблагоразумному совету одного довольно значительного при дворе лица, не только их не отринул, но даже объявил, что желает переехать к жене в дом, потому что он формально с нею не разведен и наделил ее состоянием, следовательно, и в праве был желать совместной с нею жизни. Эта решимость мужа огорчила жену, но ей поздно было отказываться от своих предложений; во многих знатных домах начали уже говорить, что Волчкова сошлась с мужем, и хвалили ее, что она не захотела оставить его в несчастном его положении.

И вот Волчков переехал к жене, которая отвела ему особое помещение. Сначала он не имел причины жаловаться на свою решимость: калеку кормили, поили и укладывали спать вовремя с подобающим уважением; и даже старик, камердинер его, уцелевший от пугачевского побоища, пользовался некоторым вниманием в доме; но это продолжалось недолго. Однажды верная супруга ввела к нему мальчика лет восьми и представила его как сына. «Это наш наследник,— сказала она довольно ласково,— полюбите и благословите его». Волчков вытаращил глаза, и это движение его физиономии равносильно было вопросу: откуда мог взяться у

нас наследник? «Нечего таращить глаза! — продолжала Волчкова.— Это мой сын, следовательно и ваш».— «Может быть, ваш,— возразил Волчков тихо и кротко,— но уж верно не мой».— «Так вы отрекаетесь от него и хотите выставить меня как распутную женщину?» — «Напротив, я совсем этого не желаю, и лучшим тому доказательством служит отказ мой в признании мальчика сыном. Пока не огласился проступок ваш, никто не может укорить вас в распутстве; но если б я сегодня признал этого ребенка своим сыном, то завтра бы заговорили о вашем поведении, и конечно, мнение света было бы не в вашу пользу». Волчкова с бешенством оставила мужа, и с этой минуты начались его истязания, каким умеют подвергать только женщины, когда они решились быть не женщинами,— то есть со всею настойчивостью, свойственною их полу, и со всею злостью адского демона. Правда, эти истязанья были мелочны, но едки и жгучи, как капли кипящего металла. Женщина не способна владеть кинжалом, но что значит кинжал в сравнении с миллионами булавок и иголок, которыми она поражает вас ежечасно, ежеминутно, каждую секунду? Долго и терпеливо сносил Волчков непостижимые поступки жены своей и всех ее приближенных, но терпение его, наконец, истощилось, и он, полуразрушенный, бежал из своего ада к князю Мещерскому [1], который снисходительно приютил страдальца, хотя и ненадолго, потому что Волчков вскоре затем умер.

5 марта,
вторник.

Пишут из Москвы, что наш родной медик Ефрем Осипович Мухин издает наблюдения свои над коровьею оспою, признанные превосходными. Он делает опыты над смешением обеих материй оспы, человеческой и коровьей, и достиг чрезвычайно важных результатов, которые могут служить основанием оспопрививанию. Хотя это и не по моей части, но нельзя не сообщить о том знакомым моим эскулапам, потому что —

Мила нам добра весть о нашей стороне.

[1] Князь Александр Иванович, тот самый, которого кончину так красноречиво воспел Державин. (*Позднейшее примеч.*)

Я искал типографию, в которой мог бы напечатать своих «Бардов» [1]. Кобяков рекомендовал мне типографию театральную, куда мы вместе с ним и отправились. Содержатель ее — не кто другой как Василий Федотович Рыкалов, и я чрезвычайно обрадовался случаю с ним познакомиться. Знаменитый актер довольно большого роста, тучен, лицо круглое, глаза большие, навыкате, физиономия подвижная и умная. Договорившись в цене за набор, печать и бумагу, я отдал ему свой манускрипт и просил поручить корректуру хорошему корректору. «Вот этим я уже не могу служить вам,— сказал мне Василий Федотович,— корректор у меня для первых оттисков есть, но хорошим его назвать не могу: последнюю корректуру потрудитесь держать сами; хорошие корректоры у нас в Петербурге — редкость». Это меня удивило; я объяснил Рыкалову, что у нас в Москве во всех типографиях есть корректоры отличные, особенно у Селивановского и Попова с товарищи. «Дело другое,— продолжал Рыкалов,— в Москве университет и множество студентов и грамотных людей, не имеющих занятий: они рады работать почти за ничто. Селивановский человек приветливый и живет открыто: он приглашает студентов к себе, ласкает их, оставляет обедать и они проводят у него целые дни; а здесь, батюшка, грамотными людьми без денег не очень разживешься, и кто будет считать на дешевизну труда другого, тот очень ошибется в своих расчетах». Рыкалов сказывал, что на сцене репетируют несколько новых комедий, в которых для него есть очень хорошие роли; между прочим «Полубарские затеи» князя Шаховского и еще комедию Павла Сумарокова «Деревенский в столице». Мы уговорились с Кобяковым ехать завтра к Самойловым. Пора познакомиться с ними: эта чета талантливая и, говорят, живут между собой душа в душу.

---

[1] Небольшая поэма, заимствованная из Синеда (die Octobernacht). Автор «Дневника» написал ее в намерении посвятить Державину и доказать ему, что поэмы в роде Боброва сочинять нетрудно. Это была великолепная ахинея, но тогда имела некоторый успех, как большею частью все громкое, мрачное и напыщенное. (*Позднейшее примеч.*)

6 марта,
среда.

В павильоне удивляются, что давно меня не видали. Старик обещается рассердиться не в шутку, то есть не по-гасконски, а добрые трещотки уверяют, что я бегу от них: vous nous fuyez [1]; и точно, бегу, только не от них, а от самого себя. Говорят, что вообще лучше идти навстречу беде, чем дожидать ее сложа руки. Правда ли? Мне хочется испытать это над собою.

Самойловы — славная парочка. Муж очень неглуп и хотя мало образован, но любит свое искусство и судит о нем основательно; а жена мила до чрезвычайности, простодушна, веселого характера и не имеет того нестерпимого самолюбия, которым так заражены почти все актрисы. Они живут за Торговым мостом, в доме Латышева, который нанимается для помещения артистов дирекциею театра. В квартире их все так порядочно, чисто и опрятно, что любо смотреть: они должны быть очень попечительны в маленьком своем хозяйстве. Я встретил у них капельмейстера Антонолини, которого советами они также пользуются, хотя настоящий руководитель их капельмейстер Кавос. Антонолини известен талантом своим в музыкальных композициях и, сверх того, очень радушен, весел и словоохотлив — настоящий итальянский маэстро. Он успел рассказать мне многое о свойстве талантов Самойловых и говорил, что при средствах, которыми наделила их природа, они могли бы сделаться первоклассными артистами даже в самой Италии, если б, к сожалению, музыкальное их образование не было так ограничено; особенно Самойлов с своим неслыханным тенором — огромным, звучным, приятным, доходящим до сердца, с своими сценическими способностями мог бы быть одним из величайших драматических певцов в свете.

Все это при первом случае поверю я собственными глазами и ушами, но теперь покамест желал бы знать, отчего на здешнем театре не дают таких опер, как «Волшебная флейта», «Похищение из сераля», «Дон-Жуан», «Аксур» и проч., и довольствуются «Русалками», «Князем-Невидимкою» и некоторыми переводными из французского оперного репертуара. При

[1] Вы избегаете нас (*франц.*).

таких талантах, каковы Самойловы, кажется, можно бы надеяться на успех и более музыкальных опер, чем те, в которых они единственно участвуют. Мой математик-музыкант Рахманов едва только заслышит о «Русалке», то бежит прочь и негодование свое изъявляет самыми энергическими выражениями, да и сам Воробьев не любит подобных опер и называет их «английскими». Рахманов говорит, что все эти русалки и прочая такая же дребедень только портят вкус публики, и дирекции следовало бы дать ему другое направление. На немецком театре «Русалка» и «Чертова мельница» даются большею частью по воскресеньям и другим праздничным дням для публики особого рода, но в обыкновенные дни можно слышать оперы Моцарта, Сальери, Вейгля и других знаменитых композиторов, хотя эти оперы исполняются и не очень удовлетворительно. Рахманову очень хочется слышать на русской сцене Глукова «Орфея», и он уверяет, что партия Орфея как раз придется по голосу и средствам Самойлова. Вельяминов, по совету и настоянию Рахманова, занимается переводом этой оперы, и, конечно, переведет ее хорошо, но едва ли они оба в состоянии будут убедить дирекцию принять ее на театр: не то время.

7 марта,
четверг.

Давно добивался я верных сведений о числе здешних театральных артистов, о занимаемых ими амплуа и об окладах их жалованья. Мне хотелось сравнить состояние здешнего театра с состоянием московского. К сожалению, Кобяков доставил мне список артистов только с отметками их амплуа, но без обозначения их содержания; а о некоторых и совсем не упомянул, потому что будто бы упоминать о них не стоит. Не кстати сострил! Во всяком случае, из этого списка видно, что число русских актеров и актрис здешнего театра не так велико, как сначала я думал, и мало превышает число актеров московских. Вот они все: трагические, драматические, комические и оперные: 1) Яковлев, 2) Шушерин, 3) Сахаров, 4) Щеников, 5) Бобров, 6) Шарапов, 7) Рыкалов, 8) Пономарев, 9) Рожественский, 10) Каратыгин, 11) Прытков,

12) Орлов, 13) Жебелев, 14) Белобров, 15) Волков, 16) Глухарев, 17) Гомбуров, 18) Воробьев, 19) Самойлов, 20) Чудин, 21) Биркин, 22) Каратыгина, 23) Семенова, 24) Сахарова, 25) Рахманова, 26) Ежова, 27) Петрова, 28) Самойлова, 29) Черникова, 30) Карайкина, 31) Сыромятникова, 32) Белье и несколько других. Кто эти «другие» и «другия» — мой Кобяков сообщить поленился, однако ж дополнив свой список тем, что в числе действующих на сцене персонажей есть многие воспитанницы Театрального училища, из которых замечательнее всех, по красоте и таланту, Болина и меньшая Семенова.

А вот сюжеты и французской труппы: 1) Ларош, 2) Дюран, 3) Деглиньи, 4) Дюкроаси, 5) Каллан, 6) Фрожер, 7) Дамас, 8) Мезьер, 9) Флорио, 10) Монготье, 11) Андрие, 12) Сен-Леон, 13) Клапаред, 14) Жозеф, поступающий на место уезжающего Сен-Леона, 15) Меес, 16) Дюмушель, 17) Андре; актрисы: 18) Вальвиль, 19) Лашассен, 20) Филис-Андриё, 21) Филис-Бертен, 22) Меес, 23) Бонне, 24) Монготье, 25) Миллен, 26) Туссен-Мезьер и некоторые другие. Опять «другие»! Бога вы не боитесь, любезный Кобяков, неужели в списке и немецких актеров такое заключение?

1) Кудич, 2) Гебгард, 3) Вильде, 4) Брюкль, 5) Эвест, 6) Шульц, 7) Борк, 8) Миллер, 9) Рекке, 10) Линденштейн, 11) Цейбиг, 12) Эльменрейх, 13) Дробиш; актрисы: 14) Лёве, 15) Гебгард-Штейн, 16) Дальберг, 17) Брюкль, 18) Эвес, 19) Штейн, 20) Шульц и проч. Так и есть: вот и «прочие». О Кобяков! вы искушаете мое терпение.

Взглянем теперь на список артистов балетной труппы. Балетмейстеры: 1) Дидло и 2) Вальберх; танцовщики: 3) Огюст, 4) Дютак, 5) Эбегард, 6) Гольц; танцовщицы: 7) Колосова, 8) Сен-Клер, 9) Иконина, 10) Новицкая, 11) Махаева, 12) воспитанница Данилова и много других воспитанников и воспитанниц Театральной школы. Нет, уж воля ваша, Петр Николаич, а ваше «много других» нестерпимо: за эту неаккуратность и попрошу Вельяминова отмстить вам ариями известного его рукоделья.

Я не видал еще и половины всех этих персонажей на сцене: все было некогда, а кажется, ничего не делал и не делаю.

8 марта,
пятница.

Вот как описывает очевидец молодецкий проигрыш и еще более молодецкий отыгрыш нашего Л. Д. Измайлова. Он понтировал у князя У **, державшего огромный банк вместе с князем Ш** и многими другими дольщиками. Лев Дмитриевич приехал с какого-то обеда с огромною свитою своих рязанских приверженцев, в числе которых, разумеется, был и Кобяков, родитель моего приятеля, поставщика переводных опер. Войдя в залу, Лев Дмитриевич сел в некотором отдалении от стола, на котором метали банк, и задремал. Банкомет спросил его, не вздумает ли он поставить карты. Измайлов не отвечал и продолжал дремать. Банкомет возвысил голос и спросил громче прежнего: «Не поставите ли и вы карточку?» Измайлов очнулся и, подойдя к столу, схватил первую попавшуюся ему карту, поставил ее темною и сказал: «Бейте пятьдесят тысяч рублей». Банкомет положил карты на стол и стал советоваться с товарищами. «Почему ж не бить?» — сказал князь Ш **.— Карта глупа, а не бивши не убьешь». Князь У** взял карты, и соника убил даму. Измайлов не переменился в лице, отошел от стола и сказал только: «Тасуйте карты; я сниму сам». Банкомет стасовал карты и посоветовался еще раз с товарищами. Измайлов подошел опять к столу и велел прокинуть. Князь У** прокинул. «Фоска идет 50 000», и по втором абцуге Измайлов добавил 50 000 мазу. У банкомета затряслись руки, и он взглянул на товарища так жалостно, что князь Ш**, не выдержав, усмехнулся и сказал ему: «Ну что ж? знай свое, мечи да и только». Банкомет повиновался, и чрез несколько абпугов трефовая десятка проиграла Измайлову. Окружающие его, Кобяков, Шаховский и другие, стали шептать ему на ухо, что не перестать ли, потому что, кажется, не везет; но этого довольно было, чтоб совершенно взволновать Измайлова, который все любит делать наперекор другим; он схватил новые карты, выдернул из средины червонную двойку и сказал: «Полтораста». Банкомет помертвел и остолбенел; минуты две продолжалась его нерешимость, бить или не бить страшную карту, но князь Ш**, искусный пользоваться благосклонностью фортуны,

опять ободрил своего собрата: «Чего испугался? не свои бьешь». Князь У** заметал: долго не выходила поставленная карта, и все присутствующие оставались в каком-то необыкновенно томительном ожидании, устремя неподвижные взгляды на роковую карту, одиноко белевшуюся на огромном зеленом столе, потому что другие понтеры играть перестали. Наконец князь У**, против обыкновения своего, стал метать, не закрывая карт своей стороны, и — червонная двойка упала направо. «Ух!» — вскрикнул банкомет. «Ух!» — повторили его товарищи. «Ух!» — возгласила свита Измайлова, но сам он, не изменившись в лице и не смутившись нимало, отошел от стола, взял шляпу, поклонился хозяевам и примолвил: «До завтра, господа: утро вечера мудренее», вышел вон из залы гораздо бодрее, нежели вошел в нее. Тут начались совещания: надобно ли будет на другой день продолжать метать ему банк или удовольствоваться одним настоящим выигрышем. Большинством голосов присудили метать до миллиона, но проигрывать не более настоящего выигрыша.

На другой день был знаменитый бег, и стечение народа было чрезвычайное. Московские охотники собрались любоваться на Красика, принадлежащего родственнику графа Орлова, Лопухину, лошадь отличную во всех отношениях, как по быстроте и правильности бега, так и по красоте. Эту лошадь, настоящий охотничий алмаз, как ее называют, покамест держали под спудом, показывали не всякому, а некоторым только охотникам по выбору и проезжали не иначе как по утрам. Она поручена в наездку толстяку купцу Буренину, известнейшему в Москве ездоку и страстному охотнику. Красику назначали цену баснословную: говорили, что и шесть тысяч рублей ему не цена и что, кроме Измайлова, купить его некому [1].

Эти слухи дошли до Льва Дмитриевича, который тотчас смекнул, что покупка этой лошади в такое время, когда он проигрался и когда о подвиге его затрезвонила вся Москва, может быть для него очень кстати,

[1] Автору «Дневника» удалось видеть Красика у Измайлова в селе его Хитровщине в 1814 г. Он точно был необыкновенно красив и, несмотря на свои 15 лет, бегал еще резво и сильно. (*Позднейшее примеч.*)

потому что заставит переменить направление общей болтовни и забыть о его проигрыше, преувеличенном вдесятеро и занимавшем публику гораздо более, нежели его самого. Он купил Красика тут же на бегу за семь тысяч рублей, а вечером отправился опять на игру к князю У **.

Долго продолжалась игра, но Измайлов как будто не решался принять в ней участие. Только после ужина придвинулся он к столу и поставил на две карты 75 тыс. руб. Банкомет был бодрее и уже без робости метал карты. Обе карты выиграли Измайлову; он загнул их и сказал: «На следующую талию». Князь У** стасовал карты и приготовился метать. Измайлов поставил две новые карты и, не взглянув на них, загнул каждую пирандолем. По второму абцугу он вскрыл одну карту, которая оказалась десяткою и уж выигравшею соника; он перегнул ее и, сказав: «По прокидке», вскрыл между тем другую карту, которая тоже оказалась десяткою и, следовательно, также выигравшею, он перегнул ее и положил на первую очень покойно, как будто дело шло о десятке рублей, а не о Деднове [1], с которым он, в случае дальнейшего проигрыша, решился расстаться. У князя У ** заходили руки, но делать было нечего: карты поставлены мирандолем и отступиться не было возможности. После нескольких абцугов десятка опять выиграла: банкомет бросил карты и встал из-за стола, а Измайлов прехладнокровно предложил загнуть еще мирандоль, но банкометы не согласились. «Ну, так мы квиты»,— сказал Измайлов и тотчас же уехал домой, где, по случаю покупки Красика, дожидались его многие охотники с поздравлениями и цыгане с своими молодецкими песнями и плясками.

Наша Белокаменная держится старинного своего правила: делу время и потехе час. И милиция, и карточная игра идут своим чередом. Только не чересчур ли, родная, распотешилась? В прошедшем месяце писали и нынче приезжие рассказывают, что в Москве от множества съехавшихся со всех концов России помещиков появился такой прилив денег, что не знают, куда их

[1] Знаменитое село по рязанской дороге, на Оке, принадлежавшее Измайлову. (*Позднейшее примеч.*)

девать, а с тем вместе и воинственность престрашная: все так и рвутся на службу.

10 марта,
воскресенье.

Вчера у Хвостова познакомился с Гнедичем. Он, кажется, человек очень добрый, и не даром любил его Харитон Андреевич, но уж вовсе невзрачен собою: крив и так изуродован оспою, что грустно смотреть. Он убедительно приглашал меня к себе и жалел, что далеко живем друг от друга: квартира его у Знаменья, на самом конце Невского проспекта. «Мы с вами не чужие,— сказал он,— оба университетские, и вот вам рука на всегдашнее братство». Я извинился, что не успел быть у него с Алексеем Петровичем. «Да, Юшневский мне сказывал,— продолжал он с усмешкою,— что вы не хотели знакомиться со мною по случаю какого-то беспорядка ваших мыслей, но я надеюсь, что теперь вы, по собственному выражению вашему, совсем перемытились». Я покраснел и внутренно разбранил Юшневского за его нескромность. Гнедич читал свой перевод седьмой песни «Илиады», перевод мастерской [1], с греческого подлинника, и, по общему мнению, ничем не хуже перевода первых шести песен Кострова, которого Гнедич может назваться достойным продолжателем. Слушатели были в восхищении. Гнедич читает хорошо и внятно, только чуть ли не слишком театрально и громогласно; на такое чтение у меня недостало бы груди.

Кроме обыкновенных посетителей литературных вечеров я встретил приехавшего из Москвы Павла Юрьевича Львова, который в последние два года издавал еженедельник под заглавием «Московский курьер». Я не читал этого «Курьера», равно как и других его сочинений и переводов, но по разговорам его с А. С. Шишковым и другими членами Российской академии и низким его поклонам заметил, что едва ли не хочется ему попасть в академию. Если попадет, то любопытно будет знать, за какие подвиги

---

[1] Автор «Дневника» так думал в то время и сознается в своем заблуждении. (*Позднейшее примеч.*)

удостоится он этой чести, когда ни Карамзин, ни Мерзляков не попали еще в академию.

Гаврила Романович представил меня А. Н. Оленину. Это маленький и очень проворный человечек, в военном милиционном мундире с зеленым пером. Он очень благосклонно приглашал к себе, но только по вечерам: иначе он редко бывает дома. Оленин рассказывал, между прочим, о каких-то вновь вышедших двух книжках под самыми нелепыми заглавиями, как то: «Ах! как вы глупы, господа французы!» и еще «Путешествие дьявола и глупости, или Причины возмущения Франции и Брабанта» и проч.; к последнему заглавию прибавлено: «печатано в луне, в 4 лето царствования каннибалов». Удивлялись, как находятся люди, которые в такую важную эпоху занимаются такими вздорными сочинениями!

Утверждают, что государь непременно желает употребить в настоящее военное время старых, опытных генералов царствования императрицы Екатерины и что, несмотря на непостижимый поступок графа Каменского, внезапно удалившегося из армии, государь твердо стоит в своем намерении и потому третьего дня изволил определить в службу генерала князя Прозоровского, который некогда был главнокомандующим в Москве, а недавно избран командующим 6-ю областью милиции; он старший из всех георгиевских кавалеров и в этом качестве в прошлом году подносил государю орден св. Георгия. Уверяют, что он вскоре пожалован будет фельдмаршалом.

Едва ли у А. С. Шишкова еще не больше страсти к морскому делу и к своим морякам, чем к самой литературе. Он с таким горячим участием и так восторженно рассказывал о подвиге какого-то лейтенанта Скаловского, о котором писал ему вице-адмирал Синявин, что я на него залюбовался. Этот Скаловский, командир небольшого брига, застигнут был затишьем в недальном расстоянии от Спалатро. Находившиеся там французы, видя его в этом положении, немедленно выслали против него несколько больших канонерских лодок, на которых число пушек и людей вчетверо было больше, чем у Скаловского. Все считали погибель его неизбежною; ничего не бывало! Скаловский, не теряя присутствия духа и бодрости, отпаливался от них с таким успехом, что одну лодку потопил, а другую из-

решетил так, что они должны были возвратиться в Спалатро. Правда, и он потерпел немало: корпус брига и такелаж до такой степени были избиты, что Скаловский насилу и кой-как мог доплыть до Курцоли.

Гаврила Романович очень доволен, что взысканный им некогда И. П. Лавров, служивший в последнее время экспедитором Министерства юстиции, назначен на сих днях правителем Канцелярии комитета 13 января. Это пост важный и требует от человека, его занимающего, особой сметливости, доброты душевной и бескорыстного трудолюбия. Лавров — человек строгих правил, хотя формы его вовсе не изящны и часто бывают предметом насмешек.

Государь отправляется в армию на этой неделе, не позже 16-го числа. Свита его будет по-прежнему немногочисленна.

11 марта,
понедельник.

Иван Афанасьевич сказывал, что завтра утром Крюковский будет читать у него свою трагедию «Пожарский» и что по этому случаю он пригласил к себе Яковлева и Шушерина, которым назначаются главные роли. Как ни совестно было мне напрашиваться к старику, но любопытство превозмогло, и я попросил его дозволить мне прийти к нему во время чтения. «Милости просим, душа,— сказал он,— если занятия по должности вам не помешают». Занятия по должности! да это злой сарказм!

Я заметил, что в Коллегии мелкие чиновники разделяются на два разряда, то есть на таких, которые, подобно мне, ежедневно ходят к должности и также, подобно мне, решительно ничего не делают, и других, которые почти никогда в Коллегии не бывают, а между тем имеют постоянные занятия. Желал бы и я знать: какая причина такому неравенству в распределении работы? Ну пусть бы не занимали тех, которые не хотят или не умеют ничего делать; но за что должны бить баклуши мы, грешные, когда у нас есть и добрая воля, и кой-какие способности? Уж не от недостатка ли доверия пренебрегают нами, или оттого, что начальники, привыкнув к одним и тем же лицам, чуждаются

новых физиономий и тяготятся ими? Право, становится скучно и даже досадно: нет в виду никакой выслуги и, пожалуй, придется опять приняться за поэзию или таскаться по театрам; да на беду и театры закрыты до пасхи — куда ни кинь, так клин. Князь Петр Васильевич прав. «В Коллегии столько вас, что ни до чего не доберешься»,— сказал умный министр, и слова его подтверждаются на опыте.

Из всех способов возбуждения к успешному составлению милиции самым действительнейшим в Москве оказался самый простейший, приведенный в исполнение на основании высочайшего рескрипта Тутолмину от 1 января. Этим рескриптом повелено: имена всех избранных дворянством начальников земского войска, областных, губернских и уездных, равно и сделавших приношения и пожертвования в пользу милиции, внести в особую часть дворянской родословной книги. Приезжие из Москвы рассказывают, что хотя Белокаменная и без этого побуждения действовала бы с одинаковым усердием и самоотвержением, но едва ли бы с такою необыкновенною поспешностью проявила она эту воинственность, которой так удивляются. Не только дворянство Московской губернии, но и все прочие сословия Москвы находятся в каком-то чаду, и вот уж третий месяц как они не слышат земли под собою и так беззаботно живут, как будто бы завтра ожидало их представление света: дым коромыслом и последняя копейка ребром!

12 марта,
вторник.

Трагедия Крюковского должна иметь огромный успех на сцене, потому что все почти стихи в роли князя Пожарского имеют отношение к настоящим политическим обстоятельствам и патриотическим чувствованиям народа. Такие возгласы, как, например:

Москва не мать ли мне? —

произнесенные Яковлевым, хоть у кого расшевелят сердце. Дмитревский казался в восхищении и почти при всяком стихе приговаривал: «Браво! прекрасно! бесподобно!» и проч., называл автора вторым Озе-

ровым, поздравлял Яковлева с великолепною ролью и благодарил бога, что мог дожить до такой блистательной эпохи нашей сценической литературы. Автор верил ему на слово и был вне себя от удовольствия. «А вот князь Шаховской заметил мне многое,— сказал он,— и я, по совету его, переменил некоторые ситуации и даже сократил кой-какие тирады».— «И хорошо сделали,— подхватил Дмитревский,— князь Александр Александрович знает дело, и советами его пользоваться не мешает: оно, знаете, со стороны виднее; и хотя ваша трагедия теперь не имеет никаких погрешностей, но, вероятно, прежде можно было кое-что заметить». При этой фразе Яковлев повернулся на стуле, а Шушерин слегка усмехнулся.

Крюковской, белокурый молодой человек приятной наружности, одет щеголевато, говорит недурно, но читает плохо, а между тем, кажется, думает, что читает хорошо. По окончании чтения он вскоре распростился с Дмитревским и отправился к князю Шаховскому условиться с ним о постановке своей трагедии на сцену и о времени ее представления. «После благоприятного вашего отзыва, Иван Афанасьич,— сказал он, откланиваясь,— я не имею больше причины сомневаться в успехе моей пьесы».

Едва только счастливый автор вышел из комнаты, Дмитревский спросил Яковлева и Шушерина, нравятся ли им назначенные для них роли. Яковлев очень дельно отвечал, что роль Пожарского, как и всякая другая роль, которую не надобно изучать, а только выучить наизусть, чтоб потом, не заботясь об игре, хватать аплодисменты на лету, не может не нравиться актеру и что он, с своей стороны, очень ею доволен. «А вот каково-то будет иным прочим,— прибавил он, посмотрев на Шушерина,— и что сделает Яков Емельяныч из роли Заруцкого — так мы увидим».— «Якову Емельянычу поздно делать что-нибудь из какой бы то ни было роли, а тем более из такой ничтожной и бесцветной, какова роль Заруцкого,— отвечал Шушерин,— он будет играть и ее так же, как играл роль князя Белозерского, то есть как-нибудь, чтоб только публике было не противно. Сами видите, Алексей Семеныч, что я старею и хилею; грудь и орган слабеют. Теперь вам подобает расти, мне же малитися».— «Ну, вот вы сейчас состарились и занемогли! — перехватил

Яковлев.— А того и смотри, что как получите пенсион, так переживете и меня».— «Мудрено, Алексей Семеныч: я двадцатью годами постарее вас...» — «И тридцатью похитрее»,— промолвил, смеясь, Яковлев, находившийся в веселом расположении духа. «А сколько лет быть должно нашему Петру Алексеичу?» — спросил Шушерина Дмитревский. «То есть Плавильщикову? Да он семью годами моложе меня,— отвечал Шушерин,— я родился в тысяча семьсот пятьдесят третьем году, а он в тысяча семьсот шестидесятом».— «Ну, так вы с Плавильщиковым могли бы быть моими сыновьями, а Алексей внуком,— сказал Дмитревский,— я родился в тысяча семьсот тридцать третьем году, то есть ровно за сорок лет до рождения Алексея и двадцать лет до вашего появления на свет божий. Много с вами пережили мы доброго и худого, Яков Емельяныч, только на мою долю досталось более, чем на вашу, и того и другого. Как быть! У всякого из нас была своя светлая полоса в жизни, моя прошла, а ваша проходит — что ж? По крайней мере мы не лишены утешительных воспоминаний, которых многие не имеют».

Мы вышли от Дмитревского вместе с Яковлевым, который вдруг сделался печален и задумчив. «Вы куда отправляетесь?» — спросил он меня угрюмо. «Домой»,— отвечал я. «Пойдемте ко мне обедать».— «Какой же теперь обед? еще рано».— «Я обедаю всегда почти в первом часу. Право, пойдемте. Отобедаем вместе чем бог послал: вы мне сделаете удовольствие».— «Если так, то извольте, я ваш гость, и тем охотнее, что мне хочется знать мнение ваше о трагедии Крюковского».

И вот мы пришли и уселись за небольшой столик, поставленный у стены и накрытый вместо скатерти цветною салфеткой. Выпив, по приглашению хозяина, рюмку травнику и закусив ломтиком паюсной икры, я хотел было завести с ним речь о трагедии, но толстобрюхий Семениус принес миску щей с двумя кусками холодной кулебяки и заставил меня отложить диссертацию до окончания обеда, который, впрочем, продолжался недолго и кончен был на втором блюде, состоявшем из жареных окуней. Яковлев неприхотлив и умерен в пище.

«Ну теперь, Алексей Семеныч, что скажете вы о

Пожарском?» — спросил я моего амфитриона. «А что я сказать могу,— отвечал он,— кроме того, что сказал уже Дмитревскому: роль Пожарского славная для меня роль, потому что мне аплодировать станут так, что затрещит театр. Что же касается до других ролей, то я думаю, они так вялы и бесхарактерны, что никакой талант не в состоянии создать из них что-нибудь дельное. Впрочем, это и натурально, потому что в трагедии нет никакой интриги, на основании которой можно было бы развить характеры и страсти участвующих в ней лиц; но дело не в том: как ни плоха пьеса Крюковского в художественном отношении, однако ж слава богу, что начинают появляться и такие пьесы, потому что они хорошо написаны и содержат в себе много прекрасных стихов. Разумеется, „Пожарский" — одна попытка молодого писателя, и, будучи на месте Дмитревского, я не стал бы так превозносить автора, а дал бы ему добрый совет и указал бы на слабые места его трагедии; а то старый хитрец тотчас произвел его и в Озерова [1]. Поди добивайся от него правды!»

Я заметил Яковлеву, что Дмитревский, вероятно, потому не говорит этой правды, что ее не слушают, а без настоящей пользы делу кому охота обижать чужое самолюбие? «Бог его знает,— возразил он,— может быть, и так; но я его не понимаю, хотя и люблю, как родного отца. Добро бы он хитрил с другими, а то и со мною поступает точно так же. Иногда чувствуешь сам, что играл не так, как бы следовало, а он тут-то и начнет хвалить тебя на чем свет стоит; в другой же раз играешь от всей души, разовьешь все свои средства, сам бываешь доволен собою и публика в восхищении, а он, вместо справедливого одобре-

---

[1] Не один Дмитревский так думал в то время.
Нашлись люди, которые отдавали даже преимущество Крюковскому перед Озеровым, вследствие чего автор «Пожарского», вскоре по представлении своей трагедии, отправлен был на казенный счет в Париж для усовершенствования трагического таланта. Там жил он около двух лет, если не больше, написал преплохую трагедию «Елисавета», которую даже и на театр поставить было невозможно, и, расстроенный здоровьем, возвратился в Петербург, где вскоре и умер.

«Свежо предание — а верится с трудом!»

(*Позднейшее примеч.*)

ния, и порадует тебя обыкновенным проклятым своим комплиментом: „Ну, конечно, можно бы, душа, и лучше, да как быть!“»

Я смекнул, в чем дело, и решился откровенно сообщить Яковлеву свои мысли. «Знаете ли, Алексей Семеныч,— сказал я,— вы едва ли не заблуждаетесь насчет Дмитревского в отношении к вам: я думаю, что он вовсе не хитрит с вами. Если вы не рассердитесь, то я вам это поясню».— «Прошу покорнейше. Только вряд ли вам удастся разуверить меня в том, в чем я убежден пятнадцатилетним опытом, то есть с тех пор, как знаю Дмитревского».— «Я и не намерен разуверять вас, а только хочу сказать, что думаю».— «Ну, так говорите».— «Вот видите ли: между вами должно быть недоразумение, которое происходит оттого, что вы смотрите на искусство с разных точек зрения, а затем и дарования ваши неодинаковы: вы — дитя природы, а он — чадо искусства; средства ваши огромны, а он имел их мало и заменял их чем мог: умом и эффектами, которых насмотрелся вдоволь на иностранных театрах. Из этого следует, что все то, что кажется хорошо вам, не может нравиться Дмитревскому, который желал бы видеть в вас другого себя. Вы сказали, что он хвалит вас именно тогда, когда, по мнению вашему, вы играете слабо, и бывает недоволен вами в то время, когда вы бываете довольны собою и развиваете все огромные средства вашего таланта; что ж это доказывает? — то, что Дмитревский желал бы, чтоб эти средства не увлекали вас за те пределы, которые искусство поставило таланту. Он последователь французской театральной школы, а всякий последователь этой школы почитает не только излишнее увлечение, но даже излишнее одушевление актера на сцене некоторым неуважением к публике. Я, с своей стороны, совершенно противного мнения и люблю видеть вас на сцене во всей безыскусственной простоте вашего таланта, но должен сказать, что Дмитревский так же верен своим понятиям и правилам; и если он, по робкой природе своей, опасаясь обидеть наше самолюбие, не говорит правды нам или высказывает ее обиняками, то с вами он, конечно, не хитрит, а говорит что думает, только по-своему. Я почти уверен, что в ролях драматических он всегда бывает довольнее вами, чем в других ролях, требующих сильнейшего

увлечения, потому что условия драмы не дозволяют вам предаваться вполне вашей энергии».— «То есть вы хотите сказать, что я кричу,— подхватил Яковлев с некоторым огорчением.— Это я слышал от многих так называемых знатоков нашего театра».— «Вы не поняли меня, Алексей Семеныч,— отвечал я,— напротив, вы слышали уже, что я люблю видеть вас на сцене во всей безыскусственной простоте вашего таланта; но я, публика, и Дмитревский, профессор декламации, мы совершенно противоположного образа мыслей. Я, публика требуем сильных ощущений, и для нас все равно, каким образом вы ни произвели в нас эти ощущения; но Дмитревский смотрит на игру вашу как художник и не довольствуется тем, что вы заставляете его плакать или поражаете ужасом; ему надобно, чтоб вы заставили его плакать или поразили ужасом, оставаясь в пределах тех понятий, которые он составил себе об искусстве и вне которых для него нет превосходного актера».— «Мне кажется, вы зарапортовались,— сказал, улыбаясь, Яковлев,— не лучше ли выпить пуншу?» Я хотел отвечать, что и за пуншем толковать можно, как неожиданно вошел Сергей Иванович Кусов в сопровождении шута Тычкина [1], имеющего особый дар развеселить Яковлева; разумеется, о театре не было больше и помину, и диссертация о Дмитревском сменилась необходимыми возлияниями Вакху.

---

[1] Тычкин, разорившийся купец, призрен был добрым и всеми уважаемым Иваном Васильевичем Кусовым, который поместил его у себя в доме (на Васильевском острову, возле Тучкова моста) и давал бедняку содержание. Этот Тычкин говорил на виршах и очень был смешон в своих рассуждениях насчет житейского быта. Яковлев называл его новым Диогеном и написал к нему стихотворное послание, в котором отдает ему преимущество пред древним философом. Вот последняя строфа этого послания, которое в то время ходило по рукам:

О циник нынешнего века,
Всея премудрости экстракт!
Искал тот тщетно человека —
Счастливей ты его стократ:
Живешь не в бочке ты, в квартире,
И, к удивлению, в сем мире
Ты человека отыскал;
Нашел его — не за горами,
Но между невскими брегами —
Гаси фонарь — ты счастлив стал!

(*Позднейшее примеч.*)

13 марта,
среда.

Сегодня на вопрос мой В. А. Поленову, в каком разряде чиновников считаюсь я по Коллегии, он объявил мне, что я должен считаться наравне с другими при разных должностях. «Как при разных должностях,— возразил я,— когда я ничего не делаю?» — «Да и другие тоже ничего не делают,— отвечал он,— и есть между вами тайные и действительные статские советники, а камер-юнкеров и много». И он показал мне список нашей братьи-тунеядцев, в заглавии которого именно стоит: «Состоящие при разных должностях». Я очень был рад узнать о том и теперь не облыжно могу уверить своих, что я, за неимением никакой должности, состою «при разных должностях».

Вчера, в день восшествия на престол государя, Екатерина Романовна Дашкова получила высочайший благодарственный рескрипт за поднесенные ею государю два какие-то редкие стола, которые и повелено хранить в Московской оружейной палате, и вчера же слава нашего Университетского пансиона, Михайла Леонтьевич Магницкий, произведен в статские советники.

За обедом в павильоне генерал Лебрен, разговаривая о знатных французских эмигрантах, находящихся у нас в службе, назвал в числе их барона де Ланглада. Эта фамилия меня поразила: неужто же, думал я, упоминаемый барон де Ланглад и наш бестолковый данковский городничий барон де Лангладе, которого старик Кудрявцев называет «ворона на разладе»,— одно и то же лицо? Où, diable, les grandeurs vont elles se nicher? [1] Я спросил генерала, не знает ли, где служит этот знатный барон. «Я слышал, что он имеет очень хорошее место,— отвечал Лебрен,— и служит полицеймейстером (maître de police) в каком-то городе недалеко от Москвы. Он человек очень добрый, но, говорят, до крайности бестолков, иначе он мог бы давно составить себе блистательную карьеру». Тут я не выдержал и рассказал все, что знал о нашем городничем, и даже не скрыл прозвища, которым заклеймил его Кудрявцев. «Да,— сказал Лебрен,—

[1] Вот где, черт возьми, нашла себе убежище знать? (*Франц.*)

ваш полицеймейстер, кажется, не похож на своих предков и своего отца, которые в целой Вандее были известны не только твердостью характера и неустрашимостью, свойственными вообще всем вандейцам, но и своею сметливостью. Бароны де Ланглад с баронами де Лагранж считались молодцами на всякое дело, как в домашней, так и общественной жизни; попечительные отцы семейств своих, удалые охотники, бесстрашные воины, умные совещатели о пользах своей провинции, бароны де Ланглад и де Лагранж уважаемы были двором, любимы дворянством и почитаемы народом».

Так вот из какого соколиного гнезда вылетела данковская наша ворона! Поди рассказывай: никто не поверит!

14 марта,
четверг.

Если наш Матвей Дмитриевич Дубинин может назваться типом старинных канцелярских чиновников, то Семен Тихонович Овчинников, действительный статский советник, служащий советником в экспедиции для ревизии счетов,— настоящий прототип прежних чиновников высшего разряда, которые, при неуклонном исполнении служебных своих обязанностей и безусловном уважении к своей должности, любили иногда повеселиться и погулять с приятелями и всему находили свое время. Семен Семенович Филатьев, тоже действительный статский советник и переводчик Лукановой «Фарсалии», над которою трудится третий год, непременно настоял, чтоб я шел вместе с ним обедать к приятелю его Семену Тихоновичу. «Да помилуйте, я с ним вовсе не знаком: как же я пойду к нему обедать?» — «Нужды нет, любезнейший друг,— отвечал Филатьев,— уж если пойдете к нему со мною, так это все равно что ко мне, и он будет так рад, как вы себе не воображаете». Делать было нечего, я согласился, и вот мы отправились пешком от Торгового моста, где живет Филатьев, в Грязную улицу, в которой, на собственном пепелище, живет Семен Тихонович. Входим: в передней встретили нас два плохо одетые мальчика лет по двенадцати, с румяными личиками и веселыми физионо-

миями; в столовой ожидал сам хозяин, занимаясь установкою графинчиков с разными водками и нескольких тарелок с различною закускою. В углу, на креслах, сидел уже один гость, довольно тучный барин с отвислым подбородком и с крестиком в петлице, и гладил жирного кота, мурлыкавшего на окошке. Поставленный в средине комнаты стол накрыт был на пять приборов. Завидя Филатьева, Семен Тихонович бросился обнимать его с изъявлением живейшей радости: «Вот одолжил, старый приятель! вот подлинно одолжил, пожаловал в самую пору: щи не простынут. Все ли благополучно в Пекине?» [1] При этом вопросе он захохотал. Филатьев рекомендовал меня как своего приятеля и назвал по имени. «Ба, ба, ба! — вскричал Семен Тихонович и залился опять таким смехом, что мне и самому смешно стало.— Да я чуть ли не был и с батюшкою-то вашим знаком в то время, как он служил здесь, в Петербурге».— «Это был мой дядя»,— отвечал я. «Дядюшка ваш? Ха-ха-ха! Все-таки родственник же. Давно живем, сударик; знакомых было много: больше половины отправились в Елисейские. Ха-ха-ха!» Филатьев спросил его, не ожидает ли он еще кого-нибудь, что стол накрыт на пять приборов. «Никого, сердечный,— подхватил Овчинников.— Вишь, так накрыть догадалась Марфа; говорит: может быть, кто-нибудь завернет и еще, так не стать же перекрывать стол. Умница, спасибо ей, право умница! Ха-ха-ха!.. Гей! Марфа! готовы ли щи? упрела ли каша?» — «Готово, родимый, готово; извольте закусывать да и садиться за стол,— раздался из кухни громкий голос Марфы,— сейчас принесу». И вот Семен Тихонович предложил приступить к закуске. «Милости просим, водочки, какой кому угодно: все самодельщина, ха-ха-ха; ведь мы люди холостые, только о себе думаем, ха-ха-ха! Что ж будешь делать: жениться опоздал, мать Экспедиция не приказала, ха-ха-ха! Семен Семеныч, Иван Васильич [2], вот зорная, эта калганная, желудочная; а вот и родной травничок, такой, бестия,

---

[1] Старик С. С. Филатьев, отлично добрый, честный и нравственный человек, говорил о Китае с знаками величайшего уважения и все китайское находил безусловно превосходным. (*Позднейшее примеч.*)

[2] Статский советник Миронович, товарищ по службе Овчинникова. (*Позднейшее примеч.*)

забористый, что выпьешь рюмку, другой захочется. Ха-ха-ха! А юношу-то чем просить? Чай, он крепости не любит? Ха-ха-ха...» — «Да и до слабостей не охотник, Семен Тихоныч,— сказал я,— выпью, что хозяин укажет, и от крепкого изыдет сладкое».— «Ах, ты, разумник мой! вот одолжил, право одолжил! Ха-ха-ха! Милости просим: икорка знатная, да и семушка-то — деликатес!»

Семену Тихоновичу лет за шестьдесят. Он сед как лунь, велик ростом, несколько сутуловат, говорит голосом не по росту — тонким и пронзительным; лицо его добродушно, физиономия светла и обращение бесцеремонно. Можно поручиться, что он целый век свой живет в мире с своей совестью, в ладах с людьми и ни разу не ссорился с жизнью.

Но вот толстая Марфа с веселым видом поставила на стол миску щей и принесла горшок с кашею. Мы сели за стол и не положили охулки на руку: все было изготовлено вкусно: щи с завитками, каша с рублеными яйцами и мозгами — словом, объеденье. За этими блюдами последовали: огромный разварной лещ с приправою из разных кореньев и хреном, сосиски с крупным зеленым горохом, часть необыкновенно нежной и сочной жареной телятины с огурцами и, наконец, круглый решетчатый с вареньем пирог вместо десерта. После каждого блюда Семен Тихонович подливал нам то мадеры, то пива, а после жаркого раскупорил сам бутылку прекрасной шипучей смородиновки собственного изделия. Служившие за столом общипанные мальчики не были им забыты: от всякого кушанья откладывал он бесенятам своим, как называл он их, обильные подачки, и даже кот на свой пай получил порядочную порцию телятины; все это делал он, пересыпая разными прибаутками и продолжая хохотать от души.

Не успели отобедать, как толстая Марфа явилась с несколькими бутылками разных наливок и поставила их перед хозяином. «Мы ведь не французы,— сказал Семен Тихонович, осматривая бутылки,— чертова напитка — кофию не пьем, а вот милости просим отведать наших домашних наливочек, кому какая по вкусу придется; хороши, право хороши, язык проглотишь; есть и кудрявая, сиречь рябиновка, есть и малиновка, да такая, что от рюмки сам сделаешься малиновым. Ха-ха-ха! А вот вишневочка: уж такая вышла, из собствен-

ных своих вишенек, что любо-дорого; была и клубничная, да, признаться, всю выпили; у нас не застоится. Ха-ха-ха!» Тут он подозвал стоявших у дверей мальчишек, которые от избытка употребленного продовольствия пыхтели, как тюлени, вытащенные из воды на берег, и приказал им, «на потеху гостей», петь песни. Мальчики повиновались и запищали:

Нас рано мати будила
И говорила:
Ну теперь, дети,
Пора вставати.

«А каковы мои певчие?» — говорил Семен Тихонович, помирая со смеху. Веселость его так была увлекательна, что мы, несмотря на пошлость возбудившей ее причины, сами хохотали до слез.

На обратном пути Филатьев рассказывал, что Семен Тихонович с самой ранней молодости своей отличался трудолюбием, точностью в исполнении делаемых ему поручений и примерною честностью, что он достиг настоящего чина и получил Владимирский крест за 35-летнюю службу, служа в одном и том же ведомстве и по одной части, и теперь находится на вершине своих желаний, получив полный пенсион и занимая хотя незначительное, но покойное место с порядочным жалованьем. Он совершенно счастлив, имея досуг заниматься маленьким своим хозяйством и ежедневно, по выходе из экспедиции, пировать у себя или у своих приятелей, не заботясь об изготовлении бумаг к следующему утру. «Так окончили службу большею частью все мои современники-сослуживцы, любезнейший друг,— сказал мне Филатьев,— так, благодаря бога, кончил ее и я. Кто был смолоду ограничен в своих желаниях, по службе не залезал вперед и, не считая себя непризнанным гением, прилежно и честно трудился в своей сфере, тот может быть уверен, что проведет остаток дней своих весело и покойно, и даже, подобно Семену Тихоновичу, в некотором довольстве».

Все это нравоучение как будто целиком взято Филатьевым из какой-нибудь прописи, а между тем он прав.

15 марта,
пятница.

Пишут из Москвы, что, несмотря на военное хлопотное время, наконец решено строить театр, к чему и приступят тотчас же после пасхи. Место для постройки выбрано у Арбатских ворот. Эта мысль хороша, потому что большая часть дворянских фамилий живет на Арбате или около Арбата. Болтливый корреспондент мой прибавляет, что вскоре по открытии спектаклей дадут в первый раз «Модную лавку» Крылова, которую публика желает видеть так нетерпеливо, что заранее теперь хлопочет о местах. Злов готовит бенефис свой к маю и намерен дать драму «Сын любви», в которой Фрица хочет играть сам, а роль барона Нейгофа уговорил играть старика Померанцева, уволенного на пенсион в прошедшем году. Дылда мадам Ксавье, за неимением возможности, по случаю поста, показывать на сцене себя, развозит напоказ дочь свою, un petit prodige [1], которая, говорят, чрезвычайно мила и декламирует стихи не хуже своей матери.

Вечером был у Гнедича; застал его дома и за работою. Он очень обрадовался мне и сказал, что со времени свидания нашего в прошедшую субботу у А. С. Хвостова он ждал меня всякий день и не надеялся уже скоро меня видеть. «Но завтра непременно увидели бы у Шишкова»,— отвечал я. «Да, правда; а вы не слыхали, что у него читать будут?» — «Да, кажется, считают на вашу восьмую песнь Илиады».— «Может быть, я прочитаю ее, но желал бы послушать и других. Нет ли в запасе чего-нибудь у вас?» Я сказал, что ничего приготовить не мог, потому что мало имею времени, находясь при разных должностях. «О-го? так молоды и при разных должностях! следовательно, вы — другой Тургенев и жалованья получаете много».— «Да побольше тысячи рублей, а сверх того снабжают меня бельем разного рода и разбора, отпускают фунтов по десять чаю, банок по двадцать варенья и еще кой-какую провизию, в числе которых есть и вяленые поросята». Гнедич устремил на меня единственный свой глаз и, конечно, подумал: «Точно Юшневский прав: голова у него не в порядке». Но я скоро разрешил не-

[1] Чудо-ребенок (*франц.*).

доумение и растолковал ему, что значат мои должности и откуда проистекают мои расходы. Все это очень забавляло Гнедича, особенно толки о Троянской войне, и он с участием спросил меня, отчего ж, не будучи занят службою, я так мало или, скорее, ничего не пишу и не примусь за какой-нибудь дельный и продолжительный труд, чтоб со временем составить себе почетное имя в литературе. Я отвечал, что приехав так недавно в Петербург, я не успел еще осмотреться и хочу, прежде чем решительно посвятить себя литературе, заняться службою; и если в Коллегии не добьюсь какого-нибудь назначения, то постараюсь перейти в другое ведомство; что, впрочем, я весьма начинаю сомневаться в призвании моем к литературе и похвалы Гаврила Романовича моему дарованию, которые сгоряча я принял за чистые деньги, теперь, по зрелом размышлении, кажутся мне не совсем основательными: он в восторге от Боброва, а кто же не знает, что такое Бобров! «Однако ж в ожидании назначения должности надобно делать что-нибудь,— сказал мне Гнедич.— Вы любите поэзию, страстны к театру и, учась в хорошей школе, приобрели достаточно вкуса, чтоб не писать дурных стихов и беспристрастно ценить литературные труды свои: а потому я советовал бы вам заняться пока переводом какой-нибудь хорошей театральной пьесы; вот, например, начните-ка переводить „Гамлета“».

Тут Гнедич с жаром распространился о достоинстве этой трагедии и начал превозносить Шекспира, который, по мнению его, один только мог создать подобный характер. Выхватив из шкапа Шекспировы сочинения во французском прозаическом переводе, он начал декламировать сцену Гамлета с привидением, представляя попеременно то одного, то другого с такими странными телодвижениями и таким диким напряжением голоса, что ласкавшаяся ко мне собачка его Мальвина бросилась под диван и начала прежалобно выть. Гнедич хорошо разумеет французский язык, но говорит на нем из рук вон плохо и в чтении коверкает его без милосердия; такого уморительного произношения никогда не случалось мне слышать. Кажется, сцена появления привидения — одна из фаворитных сцен Гнедича: он от ней в восторге и удивляется искусству, с каким она подготовлена, ибо, по словам его, иначе привидение не могло бы производить такое поразительное впечатление

на зрителей. По всему заметно, что переводчик «Илиады» изучает и Шекспира: он говорит о нем дельно и убедительно и, несмотря на свои странности, внушает доверие к своим суждениям.

Гнедича в университете прозвали ходульником (l'homme aux échasses), потому что он всегда говорил свысока и всякому незначительному обстоятельству придавал какую-то особенную важность. Я думаю, что в этом отношении он мало переменился; но со всем тем нельзя не признать его человеком умным и, что еще лучше, добрым и благонамеренным: à tout prendre, c'est une bonne connaissance à cultiver [1]. С ним не скучно, и если он любит проповедовать сам, то слушает охотно и других с живым, неподдельным участием и возражает без обиды чужому самолюбию. Я заметил, что у него есть страстишка говорить афоризмами, как почти у всех грекофилов, и другая — прихвастнуть своими bonnes fortunes [2], но у всякого есть свой конек: от исполина Державина до лилипута Кобякова. Я сердечно рад, что мы дружески сошлись с Гнедичем, и даст бог, не разойдемся врагами, потому что поняли друг друга. Кажется, одно обстоятельство послужило еще к большему нашему сближению. Говоря о многих близких моих знакомых, которых я потерял из виду и которых надеялся здесь найти, я случайно назвал семейство Д. И. К., заслуженного генерала, поселившегося года четыре назад в Петербурге по обязанностям службы; вдруг Гнедич вскочил, будто змеею укушенный, и прямо ко мне с вопросом: «Так неужели вы их знаете? да это быть не может!» — «Точно так,— отвечал я,— и в подтверждение слов моих вот вам и доказательства». Тут я рассказал ему все подробности, касающиеся до семейства К., и в особенности распространился о милой, косой генеральше Софье Александровне, вышедшей за пожилого своего мужа четырнадцати лет от роду, любезной, веселой кокетке, подчас танцующей мазурку с молодыми офицерами, а иногда презадумчиво читающей какую-нибудь серьезную книгу; рассказал и о том, как эта косая красавица умеет быть всегда на высоте своего

---

[1] В конце концов это знакомство, которое стоит поддерживать (*франц.*).
[2] Любовными удачами (*франц.*).

общества и как радушно слушает она объяснения своих воздыхателей, молодых и стариков, красавцев и безобразных, городских щеголей и неучей деревенских, и, по обычаю полек, мастерски ободряет их искательства. «Так, так! теперь вижу, что вы их знаете,— подхватил Гнедич,— они уехали отсюда минувшей осенью и, к вечному сожалению моему, кажется, навсегда. Старик вышел в отставку и решился жить в деревне. Я не могу забыть о Софье Александровне, с которой знаком был около четырех лет, и время, проведенное в ее обществе, почитаю счастливейшим в моей жизни».

Ну, разумеется, так! все это в порядке вещей и быть иначе не может: я знаю Софью Александровну почти с малолетства.

16 марта,
суббота.

Сегодня с раннего утра Казанская площадь была усеяна народом, а в соборе такая толпа и давка, что я мог продраться в него с величайшим трудом. Государь, в дорожном экипаже, прибыл в 12-м часу; после краткого молебна, приложившись к образам, изволил он отправиться в дорогу, напутствуемый общими благословениями. Он сел в коляску вместе с обер-гофмаршалом графом Толстым, а граф Ливен и Новосильцев поехали каждый в особых экипажах.

Говорят, что пред самым отъездом государь изволил пожаловать Александра Алексеевича Чесменского, бывшего бригадиром в отставке, генерал-майором, с тем чтоб он по-прежнему оставался при главнокомандующем милициею пятой области графе Алексее Григорьевиче Орлове, по его поручениям; разумеется, эта милость оказана Чесменскому единственно по уважению заслуг старого графа.

Но вот милости, оказанные достойным людям за собственные их заслуги: вчера М. М. Сперанский получил анненскую ленту, а находящийся при С. К. Вязмитинове коллежский советник Марченко — Анненский крест на шею. Сперанский быстро подвигается вперед; да и нельзя иначе: умен, деловой, сметлив и мастер писать. Марченко также обещает много: ему не более

двадцати шести лет, а считается оракулом своего министерства и, несмотря на свои способности и необыкновенно приятную наружность, скромен, как красная девушка, почтителен к старшим и приветлив со всеми, кто имеет до него дело. Сожалеют, что он не слишком светского образования и не знает иностранных языков. Семен Семенович Жегулин был его руководителем с малолетства, а это хорошая школа.

Но, кажется, время отправляться к А. С. Шишкову. Благодаря музам, я попал в общество почтенных людей; надобно поддержать себя, и если я не могу сделаться литератором по призванию, так по крайней мере пусть узнают, что я не безграмотен и не хуже других гожусь на всякое дело по службе.

17 марта,
воскресенье.

Вчера слушали мы 8-ю песнь «Илиады», которую Гнедич читал с необыкновенным одушевлением и напряжением голоса. Я, право, боюсь за него; еще несколько таких вечеров — и он того и гляди начитает себе чахотку. В переводе его есть прекрасные стихи, и особенно в изображении раздраженного Зевса:

Златую цепь спущу с небесной я твердыни,
Низвестеся по ней все боги и богини!

Вообще Гнедич владеет языком отлично, и хотя в стихах его есть некоторая напыщенность, но зато они гладки, ударения в них верны, выражения точны, рифмы созвучны,— словом, перевод хоть куда.

Кроме Гнедича, других чтецов не было. Много разговаривали прежде о политике, об отъезде государя, о Сперанском, которому предсказывают блестящую будущность, о генерале Тормасове, которого вчера пред самым отъездом государь назначил рижским военным губернатором, о дюке де Серра Каприола, известном ненавистью своею к Бонапарте, но после перешли опять к литературе и театру. Любопытствовали знать о новой трагедии «Пожарский» и сожалели, что не пригласили автора на вечер. «Да, странно, что о нем ничего не было слышно! — сказал Шишков.— И откуда он мог

взяться?» Я объяснил, что Крюковский служит в банке[1], что я видел его и слышал его трагедию. «Ну, что ж, какова?» — спросил Державин. Я отвечал, что стихи есть превосходные, но что касается до трактации сюжета, расположения сцен и характеров действующих лиц, то в этом отношении, по мнению моему, она очень посредственна, что подтвердил и сам Яковлев, которому назначается роль героя пьесы. «Да отчего же о ней баговорят так много? — заметил Карабанов.— Тут, батенька, должно быть, какое-нибудь недоразумение».— «Яковлев плохой судья»,— сказал Гнедич, который, не знаю почему, не очень любит Яковлева. «Может быть, Яковлев и ошибается,— отвечал я,— но трагедией публика интересуется потому, что, несмотря на свои недостатки, она все-таки есть произведение замечательное и, так же как «Димитрий Донской», теперь является очень кстати». Александр Семенович Хвостов начал утверждать, что в последнее время заметно большое движение в театральной литературе и что этому, без сомнения, способствовало соединение таких отличных талантов, какие теперь украшают нашу сцену, как, например, Шушерин, Яковлев, Семенова, Рыкалов, Пономарев, Рахманова и др. «Мне кажется, что это совершенно наоборот,— сказал Гнедич,— не актеры образуют писателей, но писатели актеров. Без Сумарокова и Княжнина мы не имели бы Дмитревского и его последователей: Шушерина, Плавильщикова и Яковлева; без Озерова талант Семеновой не получил бы такого развития и, может быть, зачах бы преждевременно, истомленный ролями старинных трагедий, в которых слог не только устарел, но и вовсе неудобен для правильного произношения. Да и сами Шушерин и Яковлев разве были теми, чем стали они со времени трагедий Озерова, и роли Эдипа, Фингала и, наконец, Димитрия Донского разве не дали им случая выказать свои дарования в новом блеске? И. С. Захаров вступился за старые трагедии и доказывал, что слог их вовсе не так устарел, потому что, несмотря на появление новых трагедий, публика продолжает смотреть с удо-

---

[1] Матвей Васильевич Крюковский в это время не служил еще в банке, а только искал случая определиться туда. Он был поручиком в отставке и членом Общества любителей словесности, наук и художеств. (*Позднейшее примеч.*)

вольствием на представления и старых. Из этого готов был возникнуть спор, но Гнедич замолчал из учтивости. К счастью, что не было Кикина и Писарева, а то бы пошел дым коромыслом.

«Может быть, хорошие писатели и подлинно содействуют образованию актеров,— сказал Карабанов,— но, кажется, и то не менее справедливо, что хорошие актеры возбуждают охоту в писателях трудиться для театра. Вот, например, вы сами, Николай Иваныч, теперь переводите «Леара» и, помнится, сами же говорили, что, не будь Шушерина для роли Леара и Семеновой для роли Корделии, вам бы и в голову не вошло переводить эту трагедию».— «Это правда,— отвечал Гнедич,— но я перевожу или, лучше, переделываю «Леара» собственно для бенефиса Шушерина, по его просьбе [1], и если бы не был уверен, что он хорошо его сыграет, то, конечно, не стал бы тратить время попустому; но автор, который предпринимает труд не случайный и заботится о художественной его отделке собственно для своей славы, не имеет в предмете ни Шушерина, ни Семеновой, а только характеры выводимых им на сцену персонажей и не станет соображаться с средствами тех сюжетов, которые их играть должны, а предоставит соображаться им самим с его творением. Автор трагедии или комедии не капельмейстер какой-нибудь, который обязан сочинять музыку заказанной ему оперы, соображаясь с голосами, находящимися в распоряжении его импресарио».

За ужином разговорились о Российской академии. «А сколько считается теперь всех членов?» — спросил Державин Петра Ивановича Соколова. «Да около шестидесяти»,— отвечал секретарь академии. «Да неужто же нас такое количество? — сказал удивленный Шишков,— я думал, что гораздо менее».— «Точно так; но из них, как вашему превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые...»— «Не любят грамоты»,— подхватил А. С. Хвостов. Все засмеялись. «Правда, что иные точно бесполезны,— заметил Шишков,— втерлись в литераторы бог весть каким образом, не имея на то никакого права, между тем как

---

[1] «Леар» был представлен в первый раз на театре 18 ноября 1807 г., в бенефис Шушерина.

много писателей достойных не заседают еще в академии. Впрочем,— прибавил он,— надобно надеяться, что все изменится к лучшему. Государь намерен сделать большие преобразования: одни из средств к распространению просвещения уже угаданы, другие обновлены и усилены, третьи очищены и облагорожены; остается направить их к надлежащей цели; это не замедлится, и тогда Российская академия будет иметь настоящее свое значение, а труды достойных наших писателей получат надлежащее ободрение».

Мне так хотелось знать, из каких лиц составлена академия, что я решился попросить у сидевшего возле меня Соколова именного списка ее членам. Он с величайшею готовностью обещал мне дать его, пригласив прийти за ним в академию, где он бывает каждое утро.

Мы вышли от Шишкова вместе с Гнедичем и рассуждали дорогою, отчего, несмотря на радушие хозяев, так мало собирается у них молодых писателей, да и те, которые приходят, ничего почти не приносят с собою для чтения. «Должно думать,— сказал переводчик «Илиады»,— что наши юноши мало трудятся собственно для литературы и только стараются попасть в общество литераторов для каких-нибудь особенных целей, а может быть, и от нечего делать. Да правду сказать, в числе этих господ академиков низшей степени есть такие, которые не очень могут ободрить молодого поэта. Вы не слыхали, как ваш сосед за столом, Петр Иванович, подтрунивал над сочинителями пьес театральных: вся эта поэзия, говорил он Тимковскому, все эти трагедии и поэмы одна только роскошь в литературе; а нам не до роскоши, когда мы нуждаемся в насущном хлебе. Нам нужны не поэты, а люди, которые бы умели писать в прозе правильно и ясно; у нас нет ни эпистолярного, ни делового слога, о котором похлопотать непременно бы следовало; а заботиться о прочем — одна суетность и, право, не стоит труда. Вот извольте видеть, как рассуждает Петр Иванович, а еще секретарь академии!»

18 марта,
понедельник.

Давеча из Коллегии нарочно ездил к Соколову за списком членов академии и так рад, что получил обе-

щанное сокровище! Что ж это значит? В числе пятидесяти восьми человек только пять известных поэтов с истинным талантом: Державин, Херасков, Капнист, Дмитриев и Нелединский — и только два настоящих литератора с именем: М. Н. Муравьев и А. С. Шишков, к которым, правда, можно присоединить и нескольких даровитых особ из высшего духовенства, как то: преосвященных Иринея псковского, Анастасия белорусского, Мефодия тверского, Феоктиста курского и Михаила черниговского, а там хоть шаром покати! Вижу людей знатных: графа Строганова, графа Мусина-Пушкина, Татищева, князя Куракина, князя Белосельского, графа Васильева, Трощинского и князя Голицына — и нахожу натуральным, что академия ищет себе достойных покровителей; но понять не могу, как попали в нее люди, вовсе не известные в литературе или, что еще хуже, известные своей бездарностью? Отчего в списке красуются имена графа Хвостова, Кутузова, Стахия Колосова, Николева, Мальгина, Озерецковского, Никитина, Дружинина, Севастьянова, Никольского и самого секретаря академии Соколова, а нет в нем имен Карамзина, Крылова, Озерова, князя Шаховского, Чеботарева, Мерзлякова и других? Невольно удивляешься, видя ряд имен, может быть, и почтенных людей, но уж вовсе не поэтов и не литераторов. Скажут, что они люди ученые, хоть и это еще не доказано, но в таком случае место их скорее в Академии наук. Академия Российская основана в видах пользы русской литературы, по примеру академии Французской, следовательно, и должна быть составлена из одних знаменитых литераторов, за исключением некоторых вельмож, ее покровителей и предстателей у престола. Иначе всякий, переведя какую-нибудь книжку, может тотчас и попасть в академию, как, например, попал в нее Я. А. Дружинин за перевод «Пифагоровых учениц» Виланда... Ума не приложу; потолкую об этом с Гаврилом Романовичем.

19 марта,
вторник.

Гаврила Романович написал на отъезд государя молитву, которую московский мой знакомец Нейком, приехавший сюда на прошедшей неделе, намерен поло-

жить на музыку и исполнить ее или в своем концерте, или в концерте Филармонического общества. Боюсь вымолвить, но эти стихи нашего барда слабы и не похожи на прежние его сочинения, а кажется, был прекрасный случай к вдохновению.

Толковали о князе Платоне Александровиче Зубове, который, несмотря на свое пятилетнее отсутствие, до сих пор еще считается шефом Кадетского корпуса. В это звание возвел его император Павел Петрович, а членом Государственного совета пожалован он уже государем Александром Павловичем. Гаврила Романович уверяет, что Зубов имеет много природных способностей. «Во время моего статс-секретарства,— говорил старик,— часто случалось мне перед докладом императрице заходить к Зубову и объясняться с ним по разным делам, о которых я докладывать был должен императрице, и выслушивать его заключения: они были очень правильны».

К слову о статс-секретарстве Гаврила Романовича. Любопытно происшествие, случившееся с ним во время исправления этой должности. Державин докладывал однажды императрице по какому-то очень важному делу и, по случаю сделанного ею возражения, до того забылся в горячности своего объяснения, что осмелился схватить ее за конец мантильи, как бы в споре с какою-нибудь обыкновенною знакомою дамою. Государыня тотчас позвонила. «Кто еще там есть? — спросила она очень хладнокровно вошедшего на звук колокольчика камердинера своего Зотова. «Статс-секретарь Попов»,— отвечал Зотов. «Позови его сюда». Попов вошел. «Побудь здесь, Василий Степаныч,— сказала императрица ему с улыбкою,— а то вот этот господин много дает воли рукам своим». Державин опомнился и в отчаянии бросился государыне в ноги. «Ничего,— промолвила императрица,— продолжайте докладывать; я слушаю». Это происшествие, которое рассказывал Попов и в котором сознавался сам Державин, было, кажется, настоящею причиною перемещения его из статс-секретарей в сенаторы.

Уверяют, что звонок был прежде принадлежностью одних присутственных мест и в домашнее употребление введен только в начале царствования императрицы Екатерины Великой. До того же все знатные особы держали при себе или пажиков или, большею частью,

карликов и карлиц для призыва нужных служителей и других небольших комнатных услуг. Эти гномы находились при своих патронах безотлучно, знали все их привычки, умели угождать им и до такой степени успевали снискивать их доверие, что в стенах кабинета, который мог назваться миром этим маленьких существ, не было для них ничего сокрытого: все говорилось и делалось при них без малейшего опасения их нескромности, как будто их и не существовало.

20 марта,
среда.

Французский актер, старик Дюкроаси, который так превосходен в ролях à manteaux[1], составляющих его амплуа, кажется, настоящий француз de la vieille roche:[2] умен, простодушен, словоохотлив и, кажется, очень набожен. Мы застали его сидящего в креслах пред камином с молитвенником в руках. Эта книжка, судя по истертым ее листам, должна быть в беспрестанном употреблении; возле кресел, на столике, лежали «Phédon» Платона и еще несколько религиозных книг. Странное сочетание духовного направления с обязанностями актера!

Дюкроаси сказывал, что он в самой ранней молодости и по одному только легкомыслию вступил на сцену и до сих пор в том раскаивается. Этот поступок чрезвычайно огорчил родителей его, но в особенности дядю, богатого негоцианта, который, в порыве негодования, лишил его наследства. «Никакие успехи на сцене,— говорил он,— не могли заставить меня позабыть этот случай, так бедственно отразившийся на все происшествия моей жизни. Слава богу, что еще удалось мне приютиться в России, где, благодаря милостям государя, надеюсь умереть покойно не за кулисами и не на театральных подмостках; иначе пришлось бы, может статься, до гробовой доски не оставлять скучного моего поприща».

Дюкроаси очень догадливо объясняет причину, отчего иные актеры, несмотря на превосходство своих

---

[1] Плаща (*франц.*).
[2] Старого покроя (*франц.*).

дарований, не достигают иногда такой славы, какою пользуются другие, не столь талантливые. Он утверждает, что актер всегда кажется превосходнейшим, если он на сцене бывает окружен талантами посредственными, и, напротив, самый отличный актер теряет много в глазах обыкновенной публики (не говоря о небольшом числе знатоков), если он играет с актерами, равными ему превосходством своих дарований. Вот причина, почему девица Клерон пользовалась некоторое время репутациею превосходнейшей актрисы против девицы Дюмениль, хотя и не имела высокого вдохновенного таланта последней. Она, пользуясь покровительством дюка де Ришелье, имевшего сильное влияние на французский театр, умела так обстанавливать пьесы, в которых играла, что прочие в них роли занимаемы были большею частью актерами второстепенными (doublures), между которыми, естественно, она первенствовала. Клерон не любила быть на сцене ни с Лекеном, ни с Бризаром; а когда необходимость заставляла ее играть вместе с мамзель Дюмениль, то дело не обходилось без историй, и часто соблазнительных. Чтоб удовлетворить прихоти девицы Клерон, многие известные люди сочиняли пьесы, которых интерес сосредоточен был на одной роли, для нее предназначенной, как, например, в трагедиях «Дидона», «Ифигения в Тавриде» и, наконец, «Медея», которую называют триумфом ее таланта, хотя, по мнению его, Дюмениль могла бы сыграть эту роль несравненно лучше Клерон.

«Если бы удалось вам,— продолжал Дюкроаси,— видеть представления некоторых пьес на французском театре в Париже, вы удивились бы совершенству, с каким они разыгрываются на сцене; но более удивились бы тому, что действующие в них великие актеры сами по себе не возбуждают никакого удивления: так совершенство игры каждого из них сливается в совершенстве ансамбля, и это совершенство еще более проявляется в комедии, нежели в трагедии. Флери, Сен-Фаль, Дазенкур, Дюгазон, Мишо, Батист, Арман, Конта, Жоли, молодая Марс и другие могут назваться истинными представителями французской Талии, а о предшественниках их, Моле и Превиле, кончивших свою карьеру в начале французской революции, нечего и упоминать: это были гении в своем роде».

21 марта,
четверг.

Гебгард приходил звать меня на пикник, который немецкие актеры делают по подписке в честь берлинского своего собрата драматурга Ифланда, отличившегося недавно своим патриотизмом. Арресто [1] пишет, что Ифланд, несмотря на строгое запрещение французского правительства в Берлине праздновать дни рождения и именин короля и королевы, 10-го числа сего месяца вышел на сцену в своей пьесе «Die Jäger» с букетом цветов в руках, и так как публика, догадавшись о значении этого букета, приветствовала актера единодушно несколькими залпами громких аплодисментов, то Ифланд и был посажен на двои сутки под арест. С величайшим удовольствием отдал я четвертую часть своего капитала, то есть десять рублей, любезному Гебгарду и дал слово ехать с ним в Красный кабачок, где учреждается пикник. Будут читать письмо Арресто и говорить речи; но главное дело не в речах, а во вкусных вафлях, которыми исстари славится Красный кабачок, и в катанье бок о бок с мамзель Лёве и ее товарками.

22 марта,
пятница.

Вот и еще письмо от отца по березняговскому делу. «Хлопочи, проси, кланяйся, настаивай и проч. и проч.»; все это легко вымолвить, но исполнить трудно, да и как еще трудно! Надобно уменье, а у меня, к несчастью, недостает ни уменья, ни охоты. Я до сих пор не могу еще опомниться от приема Ватиевского, и добрый Крейтер не совсем мог залечить раны, нанесенные моему самолюбию.

Пикник был превеселый: все именитости здешнего немецкого театра принимали в нем участие. Кудич читал письмо Арресто, Гебгард говорил речь, мамзель Лёве продекламировала стихи, в которых восхвалялось граж-

---

[1] Известный драматический актер, бывший на петербургской сцене, превосходный в ролях Карла Моора, маркиза Позы и Валленштейна. (*Позднейшее примеч.*)

данское мужество Ифланда; затем полдничали: дамы пили чай и кушали вафли в разных видах, кто со сливками, кто с вареньем, а мужчины удовлетворяли аппетит свой более солидными блюдами: солониною и телятиною и пили пунш. Немецким винам не было конца; в заключение всего вальсировали напропалую под музыку двух каких-то инструментов, в роде гудков (скрипками назвать их совестно) и дребезжащего виолончеля, которым аккомпанировал хор самих танцующих: Zigeuner sind lustig und tanzen so gern [1]. Словом, все веселились от души, без претензий, а некоторые и нагрузились порядком. На обратный путь великана Эвеста уложили в сани, закрыв его ковром, а чопорную жену его посадили возле него нянькою, чтоб не дурил, потому что он непременно хотел сам править лошадьми, уверяя, что настоящее призвание его быть кучером и что он мастер этого дела.

23 марта,
суббота.

А. Г. Харламов присоветовал мне повидаться насчет березняговского нашего дела с одним из искуснейших здешних поверенных И. Я видел этого дельца, говорил с ним, но не добился от него никакого толку. Он начал с предлинного рассуждения о том, что всякое дело имеет две стороны и почему справедливое дело может иногда показаться несправедливым и обратно; что всякий судья смотрит на обстоятельства дела с своей особой точки зрения, в чем упрекать его не должно, потому что не все люди одарены одинаковою прозорливостью и проч., и, наконец, повершил известною поговоркою Д. П. Трощинского: дело не в докладе, а в докладчике. Я не мог догадаться, к чему клонится все это многоречивое предисловие, тем более что просил его об одном только указании: каким образом я мог бы иметь ближайшее наблюдение за ходом нашего дела и успокоить отца, встревоженного передачею этого дела в заведование другого, нового секретаря; но И. недолго оставлял меня в недоумении и довольно резко объявил, что он легко может в этом пособить мне и даже руко-

---

[1] Цыгане веселы и пляшут так охотно (*нем.*).

водствовать меня в нужных случаях, если я дам ему пятьсот рублей тотчас и столько же по окончании процесса. Я молча выпучил на него глаза, и мое удивление послужило ему поводом к новой диссертации о возмездии, которым все мы один другому обязаны за труды, хлопоты и потерю драгоценного времени. «Вы знаете,— вдруг спросил он меня,— что такое время?» У меня так и завертелось на языке отвечать ему стихами Хемницера:

А время вещь такая,
Которую с тобой не стану я терять,—

но, к счастью, воздержался от грубого слова и, учтиво раскланявшись, оставил знаменитого дельца, который, кажется, задумал подражать английским адвокатам и брать деньги даже и за советы. Пятьсот рублей тотчас и столько же по окончании процесса! Нечего сказать, молодец! Впрочем, Паглиновский научит меня, что я предпринять должен.

Но лучше, по выражению князя Шаликова, «поспешим в объятия муз» и поедем на очередный литературный вечер к Державину. Там, по словам другого поэта, более талантливого:

Забудем житейское горе
И сбросим с усталых рамен
Тяжелую, скучную ношу
Вседневных забот безотвязных,
Мы силы души обновим
Целебной струей Иппокрены!

24 марта,
воскресенье.

Княгиня Дашкова, по смерти сына, необыкновенно стала щедра на пожертвования. Недавно поднесла она государю какие-то редкие столы, а теперь подарила университету весь свой музеум натуральной истории, замечательный по редким экземплярам животных четвероногих, птиц, пресмыкающихся, минералов и разных раковин. Это драгоценное приобретение для университета. Теперь наш профессор натуральной истории А. А. Антонский не будет более на лекциях своих показывать одни камешки: «Вот видите ли, дети, камешек-та, о котором толковал я вам на прошедшей-

та лекции. Как же он называется?» — «Лабардан»,— отвечал, бывало, всегда повеса Мневский. «Ну вот и видно, что охотник-та жрать: все съестное-та на уме; лабардан-та рыба, а камешек называется лабрадор-та». Так проходили почти все его лекции.

Видно, нашей братье, мелкотравчатым стиходеям, совестно стало приходить на литературные вечера с пустыми руками; немного их было вчера у Гаврила Романовича, да и те, которые были, как то: П. А. Корсаков и Шулепников — опять ничего не принесли с собою; но в замену плохих стихов наслушался я умных речей и вдоволь насмотрелся на многих почтенных людей, в числе которых министр просвещения граф Завадовский занимает первое место. Это муж века Екатерины Великой. Он очень величав наружностью; в движениях его много истинного достоинства; говорит протяжно и как будто бы взвешивая каждое слово, но зато выражается правильно и разговор его исполнен здравомыслия. Сказывали, что смолоду он был красавец: может быть; но теперь, кроме живых, умных глаз, других остатков прежней красоты незаметно; лицо угревато и багрово, а от белонапудренных волос кажется еще багровее. Разговаривали о войне и о намерениях государя достигнуть общего мира в Европе. «Цель великая,— сказал граф Петр Васильевич,— но едва ли достижимая; помирившись с французами, мы будем воевать с англичанами. Государь желает мира для того, чтоб приняться за необходимые преобразования для блага России, а может быть, и всего человечества; но именно по этой-то причине и не оставят нас в покое. Не говорю о Бонапарте, который заклятый враг спокойствия России, потому что она одна в состоянии полагать преграды ненасытному его властолюбию; но и державы нам дружественные или, вернее сказать, те, которые мы почитаем дружественными, не будут спокойно смотреть на наше могущество, возрастающее по мере успехов просвещения, образованности и усовершенствования внутреннего управления в государстве, о чем так печется государь с самого восшествия своего на престол. Да впрочем, говоря откровенно, я считаю и войну не совсем для нас бесполезною: доказано, что продолжительный мир иногда ослабляет государства; к тому ж надобно принять и то в соображение, что без войны нельзя ни образовать военных людей, ни

узнать их способностей, а искусные и опытные военачальники для России необходимы. В каком бы мы видимом согласии ни находились с нашими соседями, спокойствие и безопасность государства требуют, чтоб оружие было всегда наготове».

А. С. Шишков прочитал стихи Анны Петровны Буниной на смерть одной из ее приятельниц, молодой девушки шестнадцати лет. В них есть мысли и довольно силы в выражениях, но странное дело, они как будто писаны по заказу и не производят никакого действия на душу; эти стихи не женщины, оплакивающей свою подругу, а скорее студента, рассуждающего о жизни и смерти, отсутствие чувства — главный их недостаток. Бунина не хотела назвать стихов своих элегиею потому, что они писаны четырехстопным ямбом в десятистишных строфах, и дала им пышное название оды, как будто бы нельзя написать элегии четырехстопными ямбами. Но если стихи мне вовсе не по душе, то эпиграф к ним пришелся по сердцу; это двухстишие, взятое из сочинений какого-то испанского поэта, а может быть, и просто какая-нибудь эпитафия:

Dionosla Dios, no pòrque la diese
Mas para montrar en tierra su obra,—

то есть: «Бог дал нам ее не для того, чтоб оставить ее здесь, но чтоб показать на земле свое творение». Эту мысль могла бы развить Бунина в своих стихах, не гоняясь за глубокомыслием, которое не всегда бывает у места, и особенно там, где должно преобладать одно чувство.

Гаврила Романович толковал о каком-то Селакадзеве, у которого будто бы находится большое собрание русских древностей, и между прочим, новгородские руны и костыль Иоанна Грозного. Он очень любопытствовал видеть этот русский музеум и приглашал А. С. Шишкова и А. Н. Оленина вместе осмотреть его. «Мне давно говорили о Селакадзеве,— сказал Оленин,— как о великом антикварии, и я, признаюсь, по страсти к археологии, не утерпел, чтоб не побывать у него. Что ж, вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах Серая; обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Димитрий

Донской после Куликовской битвы; престрашную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами; но главное сокровище Селакадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков; эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: «Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать». В числе этих древностей я заметил две алебастровые статуйки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил Селакадзева: «А это что у вас за антики?» — «Это не антики,— отвечал он,— но точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина». После такой выходки моего антиквария мне осталось только пожелать ему дальнейших успехов в приращении подобных сокровищ и уйти, уйти, что я и сделал» [1].

Решительно не понимаю, отчего во всех здешних литераторах заметно какое-то обидное равнодушие к московским поэтам, хотя бы, например, к Мерзлякову,

---

[1] Г. Р. Державин не удовольствовался предостережением А. Н. Оленина и четыре года спустя (1811 г.), пред самым составлением «Беседы любителей русского слова», ездил, после бывшего у него обеда, в обществе Н. С. Мордвинова, А. С. Шишкова, И. И. Дмитриева и того же А. Н. Оленина к Селакадзеву, жившему в одном из переулков Семеновского полка, в не совсем опрятной квартире. По просьбе Гаврилы Романовича автор «Дневника» с П. А. Корсаковым отправился вперед, чтоб предуведомить антиквария о посетителях. Он был в восхищении, сам принялся мести комнаты и сметать пыль с своих редкостей, поставил несколько восковых свечей в подсвечники, надел новый сюртук и с преважным видом расположился на софе ожидать гостей, спрашивая попеременно то у автора «Дневника», то у Корсакова: «Так этот Дмитриев министр юстиции? Так этот Мордвинов член Государственного совета?» — и когда они удовлетворили его вопросам, он с какою-то гордостью беспрестанно повторял: «Ну что ж? пусть посмотрят, пусть посмотрят». По приезде Державин, не обращая внимания на другие предметы, бросился рассматривать новгородские руны и, к общему удивлению, отыскал несколько отрывков, которые его заинтересовали до такой степени, что он тотчас же списал их и впоследствии поместил в рассуждение свое о лирической поэзии, читанное в «Беседе». Вот один из этих отрывков с переводом Гаврилы Романовича:

Жуковскому, Пушкину и другим. И. С. Захаров, толкующий беспрестанно о грамматике, говорит о них как об учениках и никак не хочет согласиться, чтоб они имели дарование, а между тем покровительствует таким писателям, которых Мерзляков не допустил бы даже на свои лекции, а отправил бы их к Афанасию Михайловичу Смирнову. Какое же может быть сравнение не только между Мерзляковым или Пушкиным, но даже между Измайловым, Колычевым, князем Шаликовым и прочими второклассными московскими писателями — и каким-нибудь сочинителем стишков «К Трубочке» и ему подобными рифмоплетами, которых встречаю я на литературных вечерах? Из москвичей один И. И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер, а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою; прочие же про него или молчат, или говорят, что пишет изряднехонько прозою, между тем как наш Карамзин заслуживает уважения и за свои стихотворения, в которых язык превосходный и много чувства. Но что больше удивляет меня, что почти все эти господа здешние литераторы ничего не читали из сочинений Мерзлякова и Жуковского, и вот тому доказательство: за ужином А. С. Шишков сказывал, что Логин Иванович Кутузов читал ему Грееву элегию «Сельское кладбище», переведенную братом его Павлом Ивановичем, и Шишков находит перевод очень хорошим и близким к подлиннику. Я заметил, что Павел Иванович перевел эту элегию после Жуковского, которого перевод несравнительно превосходнее. «Не может быть!» — возразил Александр Семенович. «Говорю сущую правду,— отвечал я,— и если угодно, прочитаю ее вам когда-нибудь, чтоб вы могли посудить сами: я знаю ее наизусть».—

Угли жрцу говор Еролку	*Перевод*
Пакоща свада	*По злобе свара*
Дюжу убой	*Сильному смерть*
Тяжа начата	*Тяжба с богатством*
Тощ перелой.	*Худ передел.*

А. Н. Оленин заметил, что с тех пор как он в первый раз видел музеум Селакадзева, в нем ничего не прибавилось и ничего не изменилось, кроме того, что под одною статуйкою вместо прежней подписи «М. В. Ломоносов» явилась другая с именем «И. И. Дмитриев». (*Позднейшее примеч.*)

«Так, пожалуйста, нельзя ли теперь?» — подхватил нетерпеливый Гаврила Романович. И вот я прочитал во всеуслышание всю элегию от первого до последнего стиха, стараясь, сколько возможно, сохранить всю прелесть мелодических стихов нашего московского поэта. Когда я кончил, все смотрели на меня как на человека, отыскавшего какую-нибудь редкую вещь или нашедшего клад; элегию хвалили, но вместе удивлялись и моей памяти; я сказал, что стихи Жуковского сами невольно врезываются в память, между тем как стихи П. И. Кутузова запомнить очень трудно.

Эта выходка стоила мне, однако ж, дорого: меня обнесли винегретом, любимым моим кушаньем.

25 марта,
понедельник.

Паглиновский снабдил меня запискою к знаменитому юрисконсульту Министерства юстиции Ивану Алексеевичу Соколову, которою просил его сказать мне свое мнение о березняговском деле и наставить меня, как действовать в нужном случае. «Советую вам,— сказал мне добрый Дмитрий Моисеевич,— побывать у Соколова вечером часов в шесть: в это время он всегда бывает дома и охотно принимает посетителей. Предупреждаю вас, что если вы играете в шахматы, то будете для него драгоценным гостем: старик страстно любит эту игру и бывает очень доволен, когда удастся ему найти партнера. Это единственное развлечение, которое он себе дозволяет».

Я рассказал Дмитрию Моисеевичу о разговоре моем с стряпчим И*, и он, несмотря на свое хладнокровие, очень смеялся предложению его руководствовать меня в деле за 500 рублей, но удивлялся, почему не запросил он гораздо более, потому что вообще стряпчие, для придания большей себе важности, имеют правилом ценить свое ходатайство сначала втридорога и после мало-помалу соглашаться на безделку, как будто из особенного участия к лицу, которое поручает им свое дело. «Как быть,— прибавил Паглиновский,— эти люди не могли бы существовать, если б время от времени не попадались им простаки, на счет которых они не только живут, но и роскошничают».

26 марта,
вторник.

Роман, настоящий роман! Я опять встретился с Александрой Васильевною, которая со времени последнего нашего свидания, мне кажется, еще более потолстела. Так, бедняга, и переваливается, как откормленная утка. Она пригласила меня проводить ее до дому и зайти к ней, чтоб кой о чем поговорить со мною. Я с удовольствием согласился, но после был совсем тому не рад, потому что едва не попал в историю. Попадавшиеся нам навстречу смотрели на нас с каким-то обидным любопытством и ухмыляясь, а один франт, остановив меня, пренагло спросил: «Позвольте, милостивый государь, узнать, где и чем откармливают таких госпож?» Я хотел было плюнуть ему в глаза, но не успел опомниться, как он уж был далеко.

По приходе на квартиру Александра Васильевна, заметив, что я нахожусь в дурном расположении духа, и, вероятно, догадавшись, что остановивший меня франт спрашивал о ней, сама завела речь о своей толщине и очень остроумно подтрунивала над собою. «Все это прекрасно,— сказал я ей,— но как вы решаетесь ходить одна, даже без лакея? Не мудрено напасть на какого-нибудь сорванца, который одними вопросами может навлечь вам неудовольствие».— «Ну что ж? Я отшучусь. Но дело не в том: я хотела спросить вас: хороша ли я?» С этим словом она подошла к зеркалу и стала охорашиваться, любуясь лицом своим, бесспорно прелестным, миловидным и привлекательным. Я отвечал, что не знаю, к чему может клониться такой вопрос, но должен признаться, что она хороша, как гурия, и если б не безобразила ее толщина, то она была бы первою красавицею в свете. «А каковы у меня руки?» — спросила она опять, показывая мне свои руки. «Нечего сказать, и руки прелесть, загляденье».— «Теперь посмотрите на мои волосы». Тут распустила она косу, и длинные пряди густых каштановых и лоснящихся волос упали чуть не до самого полу. «Волосы бесподобные, удивительные,— сказал я,— такие волосы, каких я от роду не видывал».— «Ну так напьемся чаю, а после я сделаю вам еще несколько вопросов, на которые вы должны отвечать мне откровенно, и тогда объясню вам, в чем дело».— «Извольте». Чай принесли, и Александра

Васильевна разливала его очень грациозно. Я постигнуть не мог, что значили все эти приготовления, и сидел как на иголках в нетерпеливом ожидании развязки. Но вот наконец чайный прибор унесли, и Александра Васильевна приступила к объяснению. «Скажите — который вам год?» — «Девятнадцать лет минуло в феврале...» — «А мне будет двадцать два года в сентябре. Вы здесь одни и родных никого нет?» — «Ни одного человека».— «Так же, как и у меня. Следовательно, совершенно свободны и независимы?» — «Свободен как птичка в отношении к мелочным обстоятельствам петербургской жизни, но во всех других случаях завишу от воли отца и матери».— «А сколько они дают вам на прожиток?» — «Я получаю от них покамест тысячу двести рублей и, сверх того, много койкаких вещей из домашнего хозяйства: есть всего вдоволь».— «У меня две тысячи рублей своего дохода, и кроме того, мне следует после мужа пенсия, которую скоро получить надеюсь. Послушайте: вы привыкли жить в семействе, и вам одним должно быть очень скучно; я также изнываю от скуки одна: дорога в Москву мне запала надолго, если не навсегда, а здешнее общество для меня не существует; отчего бы нам, одиноким сиротам на чужбине, не жить вместе, как брату с сестрой? Мы давно знакомы друг с другом: вы должны быть уживчивы, а за себя я ручаюсь. Я веселого нрава, и вы со мною не соскучитесь. Я откровенна и вас приучу к откровенности, потому что снисходительность — главное мое качество. Вы будете любить меня, как душу, а может быть, и теперь уж любите; впечатления, которые мы получаем в первой молодости, не исчезают скоро. Подумайте, сколько удовольствия иметь возле себя сестру, которая бы любила вас, ухаживала за вами, пеклась о вашем хозяйстве, утешала вас в неудачах, радовалась вашим успехам и к тому же была бы сама счастлива. Право, подумайте. Я делаю вам это предложение, откинув всякое притворство и ложный стыд, потому что чувствую себя в состоянии быть доброю вам подругою и самоотвержением своим приобрести себе в вас друга и брата. Я одна в целом мире, и мне жить не для кого; не покинуть же мне свет в мои лета, с моим здоровьем и с моим веселым нравом; а и того хуже, не выйти же опять замуж за какого-нибудь старого брюзгу, которого любить нельзя.

Теперь скажите, хотите ли иметь толстую, но хорошенькую сестрицу, которую вы знаете почти с малолетства и к которой некогда так нежно ласкались?»

Все это Александра Васильевна проговорила очень бегло по-французски, то улыбаясь, то надув губки и с влажными от слез глазами. Я слушал ее, сидя как вкопанный, и, признаюсь, не знал, что отвечать ей; решиться на такое важное дело тотчас, не обдумав его последствий, казалось мне безрассудством, а с другой стороны, отринуть вдруг предложение милой женщины, в котором заключалось столько добродушия и столько самоотвержения в мою только пользу, было бы грубым невежеством. Наконец я решился просить у ней несколько времени на размышление; но во всяком случае, так или иначе, я обещался быть ее неизменным другом и бывать у ней как можно чаще; а если б она захотела посетить и мою келью, то с любовью приветствовать ее всегда названием милой, дорогой, толстой моей сестрицы.

И вот я сижу теперь у своей конторки, думая и передумывая о сегодняшнем странном со мною приключении; но, кажется, ломаю голову по-пустому. Как ни заманчиво предложение, но принять его невозможно, решительно невозможно. А жаль!

27 марта,
среда.

Был у А. И. Соколова, к которому вчера, по милости названной моей сестрицы, попасть не успел. Он принял меня ласково, прочитал записку Паглиновского и, посадив подле себя, спросил о существе дела. Я объяснил ему как умел и, кажется, очень сбивчиво наши права на землю, оспориваемые двумя соседями, имеющими в Петербурге большие связи, и просил дать мне добрый совет, что должен я делать по случаю передачи нашего дела в заведование другого секретаря, который, по замечанию моему, не слишком к нам благосклонствует, что необыкновенно тревожит моих домашних. Иван Алексеевич толковал со мною с час и дал мне подробное наставление на все случаи, которые могут встретиться в продолжение дела; протолковал бы, может быть, и долее, если б не вошел Н. П. Брусилов

и не помешал разговору. Я хотел откланяться, но добрый старик пригласил остаться на чашку чаю.

Между тем Брусилов тотчас же предложил партию в шахматы. «Нечего терять золотое время,— сказал он Соколову,— и я вам должен реваншем».— «Готов, готов,— отвечал Иван Алексеевич,— добрый воин никогда не отказывается от баталии; только сегодня не вчера, и вряд ли нынче победа будет на вашей стороне, потому что я собрался с силами: выспался порядком». Они начали партию, а я подсел к ним посмотреть на их неподвижность и послушать их молчания. Нечего сказать: игра занимательная, настоящая игра для глухонемых! По счастию, она продолжалась недолго, потому что вошел чиновник Ананьин, служащий при статс-секретаре Муравьеве, с каким-то поручением от своего начальства и Соколов вышел с ним для объяснения в другую комнату. Я воспользовался этим промежутком времени, чтоб познакомиться с Брусиловым. Зная, что он литератор, много писал и переводил, два года назад издавал «Журнал российской словесности» и почитается одним из деятельнейших членов Общества любителей словесности, наук и художеств, я было заговорил с ним о литературе, но он не благоволил обратить на меня большого внимания и отвечал мне очень холодно и сухо, как бы нехотя. «Ну, бог с тобой,— подумал я,— если ты такой дикарь! Кажется, много кичиться тебе еще нечем: твои «Безделки», «Приключения одного дня», «Гваделупский житель», «Бедный Леандр» и «Превратности судьбы» не бог знает еще какие заслуги, которые давали бы тебе право поднимать нос [1], и без того уже вздернутый кверху».

---

[1] Автор «Дневника» раскаивается в тогдашнем своем заблуждении. Он служил после с Николаем Петровичем Брусиловым в одном ведомстве в продолжение четырех лет и имел случай узнать его короче. Это был человек отличный во всех отношениях: благороден, правдив, чувствителен и добрый товарищ. Единственными недостатками его характера была какая-то недоверчивость к самому себе и подозрительность в отношении к другим. От этого он дичился общества и избегал новых знакомств. Впоследствии необходимые сношения по службе заставили его быть сообщительнее, а во время губернаторства своего в Вологде и особенно под конец жизни он сделался совсем другим человеком. (*Позднейшее примеч.*)

Вскоре приехал экспедитор Министерства юстиции Петр Андреевич Нилов, которого я видал у Гаврилы Романовича. Я очень обрадовался, что встретил знакомое лицо, с которым можно было перемолвить слово, потому что после нескольких «да-с», «нет-с» и «кажется-с», сказанных очень сухо Брусиловым, я потерял охоту обращаться к нему с вопросами. Нилов очень любезный и разговорчивый человек и к тому же имеет хорошее состояние и очень пригожую и любезную жену, воспетую Державиным под именем «Параши». Она очень талантлива, прекрасно играет на арфе и любит заниматься словесностью. Между прочим, Нилов сказывал, что, по словам князя Петра Васильевича, государь теперь уже в Юрбурге, а 20-го числа был в Полангане, куда приезжал из Мемеля и король прусский на несколько часов, для свидания с ним.

Вскоре возвратился Соколов с своей конференции, и Нилов нетерпеливо обратился к нему с вопросом: «Ну что, Иван Алексеич, читали записку Злобина?» — «Читал, батюшка, читал: написана умно и дельно».— «Что ж скажете?» — «Да ничего, мой отец: как посудят».— «Но ведь обстоятельства дела все в его пользу и требования его справедливы».—«Совершенно справедливы; однако ж как посудят».— «По мнению моему, иначе судить нельзя, как основываясь на данных, а они ясны».— «Правда, правда, но как посудят».— «О чем же судить? Повторяю, Иван Алексеич, ведь Первый департамент признал претензию Злобина справедливою?» — «Точно, претензию признал; но в какой сумме — о том в решении его не упоминается, между тем как сумма взыскания с Злобина определена, и он сам против того не спорит».— «Так чего ж, думаете вы, ожидать он должен?» — «Как посудят».— «Но я желал бы знать ваше мнение, почтеннейший Иван Алексеич».— «Право, не знаю, что сказать вам; как посудят» [1].

[1] И. А. Соколов, умный и благонамеренный человек, готовый всегда дать добрый совет людям безгласным и не имеющим покровительства, был чрезвычайно осторожен в сношениях с людьми высшего круга, с богачами, с своим начальством и даже с сослуживцами. Будучи принужден, по званию своему, излагать мнения свои по разным делам, он исполнял свою обязанность свято и беспристрастно и, как настоящий опытный законовед, с надлежащею определительностью, но никогда не настаивал на своем мнении и не защищал его ни перед министром, во время его юрисконсульства,

Подали чай, и Соколов с Брусиловым опять уселись за шахматы. Я хотел было подождать результата этой игры в молчанку, но, чувствуя, что меня пронимает истерическая зевота, решился откланяться хозяину, мысленно благодаря его за данные мне наставления, которыми он, по-видимому, так скупился для других.

28 марта,
четверг.

Я полагал, что Павел Юрьевич Львов только добивается членства Российской академии, а он уже академик. Вот как! Отчего ж пропущен он в списке секретаря академии? Видно оттого, что «незаметен». Но, кажется, высокое имя митрополита Платона должно быть «заметно», а между тем и оно не находится ни в списке академиков, ни в списке почетных членов академии. Что-то неладно...

Чем более просматриваю корректуру моих бардов, тем более убеждаюсь, что я не сотворен поэтом; а ведь того и смотри что заставят читать на литературном вечере, да, может быть, и похваливать станут. А. Ф. Мерзляков, прочитав «Артабана», сказал: «Ахинея, братец, ахинея! впрочем, читай ее петербургским словесникам сам, погромче — попадешь в литераторы». И чуть ли он не прав: мне сдается, что стихотворение

ни впоследствии перед Комиссиею прошений, в которой был членом. Автор «Дневника» имел случай в продолжение четырех лет (с 1812 по 1816) видеть почти ежедневно этого достойного человека и быть очевидным свидетелем его праводушия. Докладывая иногда Комиссии по особо поручаемым ему от статс-секретаря делам, автор «Дневника», по свойственной молодым людям заносчивости, позволял себе часто неуместные замечания на мнения опытного юриспрудента, который отвечал всегда одним и тем же привычным своим словом: «Мнение мое такое-то, а там как посудят, как посудят». Один только раз Иван Алексеевич дал почувствовать автору «Дневника» ошибочность его выражений. «Знаете,— сказал он,— что б отвечал Дмитрий Прокофьич Трощинский на замечания ваши? Да уж, пожалуйста, не забегайте вперед воображением вашим». (Обыкновенное выражение Д. П. Трощинского, требовавшего от докладчиков своих простоты и ясности в объяснении дел, без всяких собственных их рассуждений.)

выигрывает от громкого чтения, и Гнедич недаром надсаждает грудь над своим переводом «Илиады».

Александр Львович возвратился из Москвы вместе с Аполлоном Александровичем Майковым. Он нашел какие-то беспорядки в управлении московским театром: директор жаловался на актеров, актеры на директора, а публика недовольна и тем и другими. Говорят, что Сила Сандунов играл не последнюю роль во всей этой несогласице. Теперь, кажется, решено, что Всеволожский будет назначен директором, хотя Майкову хотелось бы самому занять это место. Между прочим, сказывали, что желчный Сила Сандунов, вслушавшись в слова одного известного любителя театра, утверждавшего, что Плавильщиков редкий актер и поражает на сцене зрителей, отвечал следующею эпиграммою:

Что редкий он актер, никто не спорит в том,
Всем взял: органом и дородством;
И точно: поражает сходством
С быком.

Пересолил, любезный Сила Николаевич, пересолил, потому что это неправда! У Плавильщикова есть свои недостатки, но он все-таки большой талант, даже возле Яковлева и Шушерина.

29 марта,
пятница.

Чиновник Панин, помнится, как-то говорил, что Ф. П. Львов определен директором Канцелярии министра коммерции будто бы по ходатайству Гаврилы Романовича. Это несправедливо: Львов лично был известен министру по служению своему при отце его, фельдмаршале Задунайском, в то время, когда великий полководец, сложив с себя, под предлогом болезни, командование войсками, оставался в Молдавии без всякого дела. Державин был только посредником в определении Львова. Из всего, что Львов рассказывает о Задунайском, можно вывести такое о нем заключение: великий ум, необычайная твердость души, огромные познания, но черствое сердце и непомерное самолюбие. Императрица знала его коротко, уважала и ценила его заслуги, обходилась с ним с величайшею внимательностью, но не очень любила его.

30 марта,
суббота.

Сегодня обедал у Харламова, которого нашел в большой ажитации. Он только что перед моим приходом возвратился с штадт-физиком Форштейном со свидетельства двух помешанных: вдовы полковницы Г** и ее дочери, жены купца Перевалова. Форштейн говорит, что, несмотря на привычку видеть почти ежедневно сумасшедших, он был чрезвычайно растрога́н состоянием этих несчастных, и особенно Переваловой, достойной всякого сострадания. Харламов рассказывал причину их сумасшествия; это печальная история, и я желал бы, чтоб ее слышали все отцы и матери, которые ищут для дочерей своих богатых супружеств, вопреки их чувствованиям и не обращая внимания на несходство их нравов и положения в обществе с нравами и положением в обществе представляющихся женихов. Вот она, эта история, которая становится довольно гласною. Перевалов, отпущенник князя Несвицкого, нажив в короткое время какими-то не очень честными способами богатый капитал, захотел вывесть единственного сына своего в люди и во что бы то ни стало приобресть ему дворянство; а как дворянство без заслуг не дается, да и сынок-то был не таких свойств и воспитания, чтоб мог оказать какие-нибудь заслуги, то папенька и придумал сделать его сначала полудворянином, то есть женить на дворянке, на имя которой купить несколько сотен душ, и ввести его покамест в круг благородных людей, чтоб приучить, как он изъяснялся, к деликатному обхождению и употребительным поступкам. Задумано — сделано, нашли благородную и недостаточную вдову, у которой было три взрослые дочери-невесты, миловидные собою, воспитанные в пансионе, то есть умеющие болтать по-французски, бренчать на фортепьяно, потанцевать и принарядиться чем бы то ни было к лицу, впрочем девушки добрые, чувствительные и невинные. «Выбирай, Семен,— крикнул честолюбивый тятенька,— и тащи любую». У Семена разбежались глаза, он растерялся и не мог поверить своему благополучию. «Какую прикажете, тятенька, такую и возьму».— «Ну так начнем с старшей: она, кажись, для хозяйства пригоднее будет». И вот, не объяснившись с невестою,

обратились с предложением к матери, впрочем только для формы, потому что эта несчастная женщина заранее на все была согласна; да и как бы можно было не согласиться ей, имея в виду, что у дочери ее, совершенной бесприданницы, вдруг будет восемьсот душ, уже приторгованных в одной из хлебороднейших губерний, богатый дом, куча денег и брильянтов, экипаж,— словом, все, о чем во сне и наяву мечтается так часто недостаточным людям? Но старшая дочь не пошла на приманку и отказала наотрез. Обратились к средней, и она также: «Лучше умереть, чем выйти за мужика» — было ее ответом. Старуха взвыла: дала слово, но как сдержать его, когда дочери не слушаются? Нельзя же вести их насильно к венцу: неравно и в церкви на вопрос священника вымолвит: «Не хочу»; тогда, кроме несбывшихся надежд, сколько пересудов, и все это падет на нее! Остается один способ выйти из затруднения: уговорить младшую дочь, девушку семнадцати лет, больше кроткую и послушную, чем ее сестры, и вот приступили к ней: поди да поди, Аннушка, будешь барыней, помещицей, будешь жить в богатстве, будешь счастлива и осчастливишь всех нас; утешь старуху мать, которая выбилась из сил в беспрестанных заботах о вас, и проч. и проч., словом, употребили все увещания, все обольщения, какие только употребляются в подобных случаях,— и бедная девушка, мечтавшая сделать счастие порядочного человека, уступила, хотя не без горьких слез, желанию матери, решилась выйти за охреяна.

Однако ж время ехать к Захарову. Сказывали, что будут читать какую-то сатиру князя Шаховского,— любопытно. Я было обещался прореветь своих бардов, но лучше подожду, пока будут отпечатаны, и прочитаю их на державинском вечере.

Выслушав сатиру князя Шаховского, стихи Марина «К Капнисту» и Буниной «Видение» и записав замечательные в них места, я ушел от Захарова без ужина. Меня что-то влекло поскорее домой. О сатирах — до завтра; а теперь, чтоб не забыть, кончу рассказ Харламова, «вожделенное для них событие».

Сборы к бракосочетанию Аннушки с Семеном Переваловым продолжались недолго: приданым снабдил жених, или, скорее, его тятенька, потому что сам он ни к чему не был способен. В день брака доставили невесте

купчую крепость на купленное будто бы ею имение и, вместе для подписания, несколько заемных писем на имя старика Перевалова, в двойной против купчей сумме. Наконец церемония кончена, и по купеческому обычаю великолепный ужин с музыкою, а после ужина танцы и отчаянная попойка заключили радостный для Переваловых день и, по шуточному выражению Харламова, «вожделенное для них событие».

Вот живет Аннушка в доме своего свекра, но живет как чужая; нет ей ни в чем воли: тятенька всем распоряжается сам, никуда ее не пускает и к себе принимать никого не велит, кроме матери, да и то ненадолго: «муж-де тебе компания, и сиди с мужем; а мужа нет дома, так покель не придет, думай об нем да его дожидайся». А муж — набитый дурак и к тому же ревнивец престрашный. Аннушка стала призадумываться; это не понравилось ни свекру, ни мужу; Аннушка начала поплакивать — беда пущая: пошли выговоры; Аннушка занемогла — посыпались укоры: привередница, капризница! Так продолжалось несколько месяцев, и силы Аннушки истощались. Однажды утром бедная женщина, проплакав всю ночь, не вышла исполнять должность хозяйки — разливать чай. Свекор побежал в спальню, разбранил больную, приказал встать с постели и потащил ее за собою, приговаривая: «Вот евдак с вами ин лучше». Аннушка пришла в слезах, села за стол, взяла чайник, но вдруг уронила его на пол и, всплеснув руками, громко закричала: «Матушка, матушка, что ты со мною сделала!» С этой минуты она уже не произносила других слов, и на вопросы медика и несколько образумившегося свекра и мужа, матери и сестер отвечать иначе не могла, как только одною фразою: «Матушка, матушка, что ты со мною сделала!»

«А какая причина была помешательству вашей матушки?» — спросил я,— продолжал Харламов,— сестер Переваловой, которые рассказывали мне все эту историю.— «Причина очень проста,— отвечали со слезами бедные девушки,— горе. Матушка целый почти год не оставляла сестры ни на минуту, спала с нею в одной комнате, наблюдала за исполнением предписаний доктора и беспрестанно слышала от нее эти несчастные слова, этот убийственный упрек: «Матушка, матушка, что ты со мною сделала!» Наконец, она выбилась из

сил; мы заменили ее при сестре, чего до тех пор она не позволяла, повторяя нам ежеминутно: «Я одна виновата, одна и должна быть наказана». Но наши попечения о сестре не облегчали душевных страданий матушки: она впала в глубокую меланхолию, и вот, как видите, около пяти месяцев, выплакав все слезы, сидит полумертвая, не обращая ни на что и ни на кого внимания, только вздыхает, а по временам смотрит на образ спасителя и шепчет, прося: „Господи, помилуй меня грешную!“»

Я полюбопытствовал знать, как переносят свое несчастие оба Перевалова и какое впечатление производит на них присутствие этих помешанных? «Ничего,— сказал Харламов,— обе вертелись тут же при свидетельствовании, которое, собственно, по ходатайству их производилось и было нужно как для получения пенсиона матери, так и для учреждения опеки над имением дочери. Впрочем, сестры Г** говорили, что отец Перевалов заботится, чтоб они ни в чем не терпели недостатка, и, по тщеславию своему, желает прослыть щедрым и великодушным; а сын беспрестанно возит жене то яблоки, то конфеты; нынче же утром приставал к ней с вопросами, не хочет ли она шоколаду, но у несчастной один всем ответ: „Матушка, матушка, что ты со мною сделала!“»

31 марта,
воскресенье.

Сатира князя Шаховского показалась мне произведением замечательным во многих отношениях: написана легко и остроумно, без натяжек, без всяких претензий на глубокомыслие. Это приятная, безобидная шутка, в которой Шаховской очень живо очертил нескольких оригиналов современного общества, выхваченных, как говорят, из салона А. А. Нарышкина. Крылов утверждает, что портреты очень сходны. Автор сначала обращается к Мольеру:

Так ты один, Мольер, без злобы и без шутства
Смеялся над людьми, умел людей смешить;
Твой быстрый взгляд проник в умы, сердца и в чувства,
Чтоб, забавляя нас, нас разуму учить.

И далее:

Мой дух горит желаньем:
Полезным сделаться порока осмеяньем;
Хочу я чудаков на разум навести.
Что делать! Не могу я видеть без досады
Пороки, слабости и странности людей.

Здесь начинает он описывать эти пороки и странности, и какими прекрасными стихами!

Одни довольны всем, всему на свете рады:
Несчастие гнетет их ближних и друзей,
Беды со всех сторон, родные их в обиде,
В гоненьи, в гибели; да им в том нужды нет;
Не трогай их одних, гори огнем весь свет:
Им это фейерверк — в большом лишь только виде.

Другие, напротив, всем недовольны:

Что хочешь делай ты — ничто им не в угоду:
Сердиты на мороз, на жаркую погоду,
Изволят гневаться на малых и больших —
Нет спуску никому...
Мне скажут: пусть их врут, какая в том беда?
Все знают, что они за то на свет озлились,
Что сами ни к чему на свете не годились.
Согласен, не было б в их болтовне вреда,
Когда бы люди все о всем судили сами
И не ленились бы своими жить умами
Иль если б родились глупцы без языка,
А то, к несчастию, что зависть замышляет,
То леность слушает, а глупость разглашает.

Какой верный портрет вестовщика:

Увидев вестовщик меня издалека,
Спешит, бежит ко мне...
...боится опоздать —
А для чего? Чтоб ложь чужую перелгать.

Ну, а это не живой ли Б. К.?

Вот мой сосед...
Все хвалит, такает, лишь только б угодить
Тому, кто иногда изволит брать с собою
Его по улицам от скуки походить
И на вечер в свой дом изредка приглашает;
А в нем весь свет большой за картами сидит
Или под музыку охотничью зевает.

Прекрасно описан К. Ч.

...Но едва ль не счастливей его,
Там шпорами бренча, хват такту бьет ногою,
Затянут, вытянут, любуяся собою,
Кобенясь, ни во что не ставит никого:

Лишь дай здоровья бог его четверке чалой,
Тарасу кучеру да пристяжной удалой,
А впрочем, дела нет ему ни до кого.

А каков селадон С.?

Близ хвата франт сидит с премодным воспитаньем,
С ухваткой дамскою, с сорочьим щебетаньем,
Головку искривя; так нежен, так уныл,
И молча говорит: смотрите, как я мил!
Как милым и не быть? Легко ли, три аббата
На разных языках учили молодца
И, выпуская в свет, уверили отца,
Что редкость сын его, что в нем ума палата.

Окончание сатиры соответствует ее началу:

Кто может описать всех наших чудаков?..
. . . .
Их столько развелось за наши все грехи,
Заморских и своих, что тесно жить приходит,
И всяк из них на свой обычай колобродит:
Один ударился писать на все стихи...
Другой политик стал...
Тот захозяйничал и в деревнях мудрит:
Из иностранных книг и с образца чужого,
Без толку, без пути он сеет русский хлеб —
Да на чужой манер хлеб русский не родится.
Иной, забыв, что он и стар, и чуть не слеп,
Задумал всех пленять и в щегольство пуститься;
А этот выдает себя за мудреца:
Всклокотил голову, в чернилах замарался,
Хоть много книг прочел — ума не начитался.

Стихотворение А. П. Буниной «Видение в сумерки» не похоже на предыдущее: это великолепный набор слов, предпринятый, кажется в намерении польстить Державину.

Из всего стихотворения замечательны только два первых стиха:

Блеснул на западе румяный царь природы,
Скатился в океан — и загорелись воды.

Но изображение Державина — образцовая нелепость. Я не мог не списать его для своего архива курьезностей:

Чьих лир согласный звук во слух мой ударяет?
. . . .
Сквозь пальмовых дерев я вижу храм;
А там
Средь миртовых кустов, склоненных над водою,
Почтенный муж с открытой головою
На мягких лилиях сидит.

В очах его небесный огнь горит,
Чело, как утро, ясно,
С устами и с душой согласно,
На коем возложен из лавр венец;
У ног стоит златая лира.
Коснулся — и воспел причину мира,
Воспел и заблистал в творениях творец!

После Державин будто бы заплакал; но так как всякому горю есть конец, то

Певец отер слезу, коснулся вновь перстами,
Коснулся, загремел
И сладкозвучными словами
Земных богов воспел.

Этим, однако ж, не кончено: сочинительница продолжает бредить, но бредить так, что уж из рук вон — даже и не смешно. Это стихотворение непременно отправлю к Мерзлякову: оно петербургской школы, которой профессоры обещали меня «выполировать».

В заключение читали «Послание к Капнисту» С. Н. Марина. Это послание — тоже нечто вроде сатиры, но сатиры тяжелой, в которой не найдешь ничего, кроме общих мест натянутого умничанья. Талант Марина, столько замечательный в его мелких стихотворениях, как то: эпиграммах, надписях, некоторых пародиях и небольших шуточных посланиях, исполненных веселости и колких насмешек,— совершенно подавляется предметами более возвышенными, и там, где Марин хочет быть моралистом, он становится скучным и даже пошлым. Например, что это за стихи, которыми начинается его послание к Капнисту?

Какая бы тому, Капнист, была причина,
Что умным мыслит быть последний дурачина? и проч.

Таких стихов и посланий я бы мог представить кипу для чтения на литературных вечерах, если бы не опасался прослыть, по выражению Буринского, «бессовестным писакою». Послание Марина к Капнисту как раз напоминает эпистолу воспитанников Университетского пансиона к пансионскому эконому Болотову «О пользе огурцов», забавную пародию превосходной эпистолы Ломоносова к Шувалову «О пользе стекла»:

Неправо о вещах те думают, Болотов,
Которы огурцы чтут ниже бергамотов.

1 апреля,
понедельник.

Обедал сегодня в павильоне: Марья Лукинична именинница. Пили за здоровье ее каким-то новым вином — сен-пре или сен-пере, о котором я никогда не слыхал; оно вроде шампанского или нашего цимлянского, только с горечью и на вкус мой вовсе не хорошо.

Именинница проплакала почти весь обед. «Да о чем вы плачете?» — «Так». — «Без причины плакать нельзя».— «Можно».— «Я догадываюсь о чем».— «Ведь вы не граф де Блакас».— «Хотите скажу?» — «Скажите; только если также ошибетесь и заставите меня покраснеть, то и вас возненавижу, как этого рыжего демона».

Из павильона заходил к Гнедичу; застал его за работой: корпит над «Леаром». Мне показалось очень странным, что, будучи таким поклонником Шекспира, он вздумал поправлять его; у него «Леар» не только не Шекспиров, но даже и не Дюсисов: все патетические сцены сумасшествия Леара выкидываются; а, кажется, на них основан весь интерес пьесы. Роль, назначаемая Яковлеву, ничтожна. Заметно, что заботы Гнедича — об одной только роли Корделии для Семеновой. Он начал также переводить «Танкреда», но не хочет продолжать его, покамест не спустит с рук «Леара».

Говорили о сатире князя Шаховского, которую третьего дня читали у Захарова. Гнедич уже слышал ее у Шаховского, и она ему не понравилась. «В ней нет никакой силы,— сказал он.— Уж если писать сатиры, так надобно подражать Ювеналу».— «Почему ж не подражать и Горацию? — отвечал я.— Сатира князя Шаховского — приятная шутка, написанная прекрасными стихами, и многие характеры обрисованы верно».— «Не спорю,— возразил он,— но князь Шаховской колет булавками, тогда как в сатире надобно поражать кинжалом. Впрочем, у него есть другая сатира: «Разговор цензора с другом»,— эта будет лучше, хотя и в том же роде».

Гнедич предложил познакомить меня с князем Шаховским. Я с радостью принял предложение, но попросил недели на две отсрочки. «Или опять голова не в порядке,— спросил он меня,— и не замытились ли опять?» — «Нет, не то,— отвечал я,— а не хочется идти

к нему с пустыми руками; надобно рекомендоваться ему чем-нибудь: у меня есть стихи под заглавием «Осень». На днях принесу показать их вам; вы мне скажете ваше мнение, и тогда отправимся к Шаховскому».

2 апреля,
вторник.

Федор Данилович [1] читал нам духовное завещание одного из старинных своих приятелей, Ивана Михайловича Морсочникова, умершего в глубокой старости, у него на руках, лет пятнадцать назад; оно замечательно как по странному слогу, так и по ребяческой, забавной откровенности завещателя. Я не мог отказать себе в удовольствии списать для своего музеума литературных курьезностей некоторые параграфы этой пространной исповеди Морсочникова, о котором Федор Данилович отзывается как о примерном христианине, заслужившем в кругу своих знакомых смирением, добротою и самоотвержением своим в пользу ближнего название праведника. Несмотря на этот отзыв, покойник, кажется, был большой чудак, хотя и занимал в 1772 году довольно важный пост — секретаря или едва ли не члена Розыскной экспедиции.

«Лета 1784 мая в осьмый день, в онь же празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, я, нижеименованный надворный советник Иван Михайлов сын Морсочников, от роду 68 лет, хотя и обретаюся по благодати божией в здравии телёсном, полном уме и свежей памяти, но, помня час смертный, рассудил учинить при нижеозначенных свидетелях сие мое духовное завещание в пример и назидание родному племяннику моему, единственному сыну здравствующей и поныне родной сестры моей Ирины Михайловой, по муже Епанчиной, Гавриле Алексееву Епанчину, которому, окроме сего отеческого моего назидания, оставляю по кровному с ним родству моему все мое имущество, поелику других наследников, опричь его, племянника Гаврилы с матерью, у меня нет, а именно...»

[1] Контролер Иванов.

Здесь в трех пунктах следует исчисление оставляемого имущества, состоящего в небольшом домишке, в иконах, нескольких серебряных ложках, портрете императрицы Екатерины II, чайной, столовой и кухонной посуде, небольшом количестве кой-какой мебели, платья и белья и, наконец, в сумме 500 рублей, из которой половина назначалась на похоронные издержки, раздачу по церквам и подаяния нищим; а затем уже начинаются оригинальные наставления племяннику.

«Пункт IV. Поелику означенному племяннику моему Гавриле, с егорьева дня, сиречь с 23-го числа апреля, от роду минуло 21 год, и оный совершеннолетний племянник мой старанием моим записан на службу в Сенатский архив, в который, по благословению родительницы своей, а моей родной сестры, ежедневное прилежное хождение иметь начал, а потому завещаю ему, племяннику моему Гавриле, первое: идучи из дома на службу, такожде и со службы домой, ни в какие увеселительные сходбища, а наипаче зазорные места не заходить и долговременного стояния на улицах у лотков с блинами и пирогами не иметь, и разных неприличных речей и прибауток бывающих около них во множестве разного звания людей не слушать; второе: по приходе в Архив довлеет ему, племяннику моему, сотворить вначале троекратное поклонение, при крестном себя знаменовании, образу пресвятыя богородицы Казанския, и посем с учтивостию, как благовоспитанному юноше надлежит, раскланявшись с товарищи, благочинно сесть на свое место и с достодолжным вниманием приступить к переписыванию порученной от повытья бумаги, безошибочно; а буде бы таковой бумаги не случилося, то в молчании ждать приказа от начальства, а тем временем не сидеть в праздности, но иметь занятие или чинением перьев, каковых должно иметь всегда немало в запасе, или пробою оных на подкладочном листе, дабы почерк был всегда одинаков, без царапанья и крючков, на каковые крючки и разводы начальствующие особы ныне весьма негодуют. А как бывает, что в товарищах тех случаются такие насмешники и озорники, что того и глядят, как бы над благовоспитанным человеком учинить какое невежество или издевку, как то неоднократно случалось и со мною в начале моего в Экспедиции служения, сиречь: яко бы ненароком закапать тебя с обеих сторон чернилами или напудрить песком, или,

стянув из кармана носовой платок, запачкать оный разною дрянью и всунуть его опять в карман, а потом и спросить, «что-де у тебя замаран нос, ты бы, мол, утерся»,— а ты бывало хвать и вытащишь из кармана платок такой загаженный, что самому противно станет; или же оные насмешники доходят и до такого нахальства, что иной раз приколят, невдомек тебе, сзади какую хульную картину, на приклад: козла с рогами или облезьяну, и подпишут, это, мол, такой-то, а как ты из должности выдешь, так народ на тебя смеяться станет и указывать пальцами. Почему в таковых оказиях завещаваю племяннику моему Гавриле не иметь огорчения и жалобами своими начальству не стужать; а поступать по обычаю христианскому и всякую таковую издевку принимать со смирением и в молчании, поелику обидчикам и featureзнестроителям судит бог, а ты им не судья.

Пункт VI. Известно моему племяннику Гавриле, что я от рождения моего никаких хмельных напитков не употреблял и не точию заниматься горелкою или пивом, но и красного бутылочного не вкушал, и великое к оным напиткам отвращение имею; чего ради за таковую трезвость от начальства всегда похвален бывал и господом богом в здоровье не оставлен; почему и следует тако ж и племяннику моему от горячих напитков всемерно воздерживаться и, окроме двукратного в сутки пития чаю, никаких заморских и российских ошаление производящих напитков не вкушать.

Пункт VII. Известно также племяннику моему от матери его, а моей сестры, скорбное житие мое при покойнице жене моей, Авдотье Никифоровне — царство ей небесное и вечная память,— колико претерпел я от нее истязаний биением палкою и бросанием горячими утюгами; наипаче же за неприятие от просителей богопротивных подносов неоднократно залеплением мне глаз негодными и протухлыми яйцами: того ради племяннику моему Гавриле завещаваю жить в безбрачии и прошу господа бога, да избавится он от неистовства женского, меру терпения человеческого превосходящего; а буде бы оный племянник мой по божию попущению каким ни на есть случаем обрачился, то да не мудрствует и не препирается с сожительницею своею, паче же удаляется гнева ее, понеже наваждением бесовским поразить его может ударом смертельным».

Все пункты завещания в таком же роде, и делая наставления племяннику, старик просто рассказывает происшествия своей жизни. Федор Данилович говорит, что в старину помещать наставления в завещаниях было в некоторой моде. Неужто же и на формы завещаний могла быть мода?

3 апреля,
среда.

Вчера познакомился я у гостеприимного А. И. Андреева [1] с придворным протодьяконом Петром Николаевичем Мысловским [2] и смотрителем Эрмитажа Васильем Степановичем Кислым. Пили чай с подливкою какой-то ананасной настойки и наговорились вдоволь. Мысловский знает музыку и играет на фортепьяно. Голос у него не огромный, как у прочих протодьяконов, но, в замену, он отлично образован и, кажется, недолго останется в настоящем звании, а поступит на какую-нибудь видную священническую или протопопскую вакансию. Что касается до Кислого, то этот Кислый для меня слаще сахара: звал к себе и обещал дозволить мне свободный вход в Эрмитаж во всякое время. Это будет совершенным для меня благодеянием, потому что доставит мне веселое занятие по утрам, которые до сих пор проводил я в одной коллежской болтовне о вещах не только бесполезных, но даже и не занимательных.

Толковали о некоторых придворных чинах. Я удивился, что при дворе так мало штатс-дам: их всего считается восемь, но на службе только четыре. Старшая из них, княгиня Дашкова, находится в Москве, графиня Анна Родионовна Чернышева и графиня Браницкая живут по своим деревням, а графиня Салтыкова хотя и здесь, но во дворец не ездит, потому что, по слабости

---

[1] Комиссар придворной конторы. См. «Дневник», 11 января.

[2] П. Н. Мысловский впоследствии был ключарем, а наконец, и протоиереем Казанского собора и в этом сане занимал некоторое время должность увещателя подсудимых.
Автор «Дневника», в продолжение своего с ним знакомства, не может достаточно нахвалиться дружеским расположением этого достойного человека и обязан ему многими любопытными сведениями, не всякому доступными. (*Позднейшее примеч.*)

нерв, не может сносить запаха помады, пудры и духов; остаются графини де Литта и Ливен да княгини Лопухина и Наталья Петровна Голицына, единственная штатс-дама, которая возведена в это звание нынешним государем императором; княгиня Голицына, вопреки существовавшему в подобных случаях обычаю, пожалована штатс-дамою не за заслуги мужа, который был только бригадир в отставке, но за семейные свои добродетели и во внимании к общему уважению, которым она пользуется. Впрочем, она происхождения знатного: дочь графа Петра Григорьевича Чернышева, была фрейлиною еще в начале царствования императрицы Екатерины II и в свое время считалась такою красавицею, что назначена была царицею знаменитого турнира, о котором до сих пор не наговорятся старожилы, с восхищением описывая ловкость и удальство «молодцов» графов Орловых.

Андреев уверяет, что обер-гофмаршал граф Толстой до такой степени бережлив в расходах по управлению и содержанию дворца, что государь иногда смеется над ним и один раз в шутку назвал его скрягою. «Так не угодно ли будет вашему величеству поручить должность мою А. Л. Нарышкину?» — отвечал граф Толстой. Государь изволил расхохотаться.

4 апреля,
четверг.

Заходил из Коллегии к Александре Васильевне. Застал у нее одного чиновника из Министерства военных сил, который принес известие о назначении ей за службу мужа вдовьего пенсиона. Толстая моя красавица в восхищении: обстоятельства ее округляются; показывала письмо от тетки, которая уверяет, что будет доставлять ей аккуратно по двести рублей в месяц и сверх того даст ей возможность обзавестись и экипажем. «А продолжаете ли вы гулять одне?» — спросил я названную свою сестрицу. «Гуляю ежедневно и во всякую погоду,— отвечала она,— потому что это необходимо для моего здоровья; иногда попадаются мне франты, которые подшучивают надо мною, но я отшучиваюсь». Нельзя милее сносить положения своего, как сносит его эта добродушная и откровенная Александра Васильевна.

Решено, что «Князь Пожарский» представлен будет на театре в половине будущего мая. Роль маленького Георгия, сына Пожарского, поручена воспитаннику театральной школы Сосницкому, который, говорят, подает большие надежды. Шушерин недоволен своей ролью и говорит, что скоро, пожалуй, заставят его играть наперсников, следуя пословице: изъезженному коню навоз возить. «Что ж это вы равняете себя с лошадью?» — сказал ему бывший навеселе Прытков. «Не равнять же мне себя с твоим братом — ослом»,— отвечал Шушерин.

5 апреля, пятница.

Август Альбанус, рижский пастор, написал похвальное слово государю, которое ходит по рукам у всех здешних именитых немцев. Все, кто только имеет счастье знать государя лично, утверждают, что изображение его чрезвычайно верно и без малейшей лести. Меня забирает охота перевести некоторые места из этого прекрасного сочинения, тем более что в них есть что-то давно мне знакомое: как будто я уже читал его или кто-нибудь подробно мне о нем рассказывал. На будущей страстной неделе займусь этим переводом непременно: дело стоит труда.

П. Сумароков скомпоновал преужасную драму «Марфа Посадница», в которой все действующие лица друг за другом убиваются сами или другими, кроме одного, которое остается на сцене для закончания драмы. Марфа представлена героинею, но геройство ее в разладе с здравым смыслом, потому что она в переписке с королем польским Казимиром и умышляет предать ему Новгород и своих сограждан. Хороша героиня! Сумароков настаивал, чтоб этот сумбур представлен был на театре; но князь Шаховской не решился принять его, и поэтому между ними возникло неудовольствие. Сумароков теперь апеллирует к публике и напечатал свою драму с следующим забавным предисловием:

«Актер г. Шушерин, убедивший меня «наскоро» (было зачем торопиться!) написать сию драму, есть «виновник ее порождения» (хорошего детища дал бог

Шушерину!), а театр, «браковавший» (точно лен или пеньку) оную за единое ее содержание, есть причиною непоявления ее на сцене. Станок тиснул листы, мое дело окончено, талант в продаже за семь гривен (дорого!), и читателям остается судить, стоит ли чернил произведение». (Я — читатель и сужу: не стоит.)

Прочитав это предисловие, я подумал, что нахожусь в прежнем галиматейском обществе оперных переводчиков. Если здешние драматурги все похожи на Сумарокова, то земляк мой, Кобяков, недаром почитается в мнении актеров грамотным человеком.

6 апреля,
суббота.

Очередной вечер А. С. Хвостова отлагается до субботы фоминой недели.

Таскался по гулянью около Гостиного двора. Грязь престрашная. Чадолюбивые маменьки и бабушки толпятся около столов, на которых расставлены игрушки, а наша братья-зеваки большею частью глазеют с бульвара. Я заметил одного пожилого с огромным носом барина, который отыскивал вербы о двенадцати херувимчиках и, к крайней досаде своей, отыскать такой не мог; один из торгашей, посметливее других, подряжался изготовить ему к вечеру огромную вербу, хоть о пятидесяти херувимчиках. «Это все в нашей власти,— говорил он,— лишь извольте пожаловать вперед деньги». Но барин на это не согласился.

Между здешним и московским гуляньями в лазареву субботу пребольшая разница: в Москве на Красной площади простор, богатые экипажи, кавалькады — настоящее гулянье народное; здесь же, напротив, люди жмутся на одной кратчайшей линии Гостиного двора, так что не только проехать, но и пройти с трудом можно: какая-то невыносимая давка, а от грязи только и спасенья, что бульвар посредине Невского проспекта, да и на тот попасть не всякому удастся, потому что сплошь покрыт народом, который толчется на одном месте и безотчетно зевает на все четыре стороны. Это не приятное гулянье, а скорее неприятное с т о я н ь е.

7 апреля,
воскресенье.

Со времени войны с французами появился в Москве особый разряд людей под названием «нувеллистов», которых все занятие состоит только в том, чтоб собирать разные новости, развозить их по городу и рассуждать о делах политических. Разумеется, все их рассуждения имеют один припев: «Я поступил бы иначе; у меня пошло бы поживее» и проч. Мерзляков в своей песне прекрасно обрисовал одного из этих господ, живущих политическими новостями:

Тамо старый дуралей,
Сняв очки с густых бровей,
Исчисляет в важном тоне
Все грехи в Наполеоне.

Я думал, что эти люди составляют принадлежность одной только Москвы, в которой иному точно и делать другого нечего, как развозить новости и толковать о политике; но сегодня обедал я с такими отчаянными (по выражению Настасьи Дмитриевны Офросимовой) «политиканами», что наши московские в подметки им не годятся, и песня Мерзлякова как будто нарочно на счет их была сложена; а между тем это люди совсем не праздные и даже сановники, хотя, кажется, и не с большим весом. Один из них осуждал действия главнокомандующего армиею, другой назначал своих генералов, а третий утверждал, что он для окончания войны «просто взял бы Париж и Бонапарте повесил бы как разбойника», и проч. и проч. Все эти толки сопровождались такими неистовыми возгласами и кулачными ударами по бедному столу, что хозяйка дрожала за столовый свой хрусталь, а нам становилось страшно. Охота же так горячиться из ничего! И разве нельзя сочувствовать общему делу и принимать участие в теперешних затруднительных обстоятельствах, не выходя из себя и не выставляя напоказ вздорных своих мнений? Я уверен, что эти господа так гомозятся оттого, что их не спрашивают; а попробуй спросить их — станут в тупик.

Но так как всякому человеку случается в жизни обмолвиться умным словом, то и один из моих ораторов сделал под конец обеда очень дельное замечание.

«Нынче у всех молодых людей,— сказал он,— есть страстишка щегольнуть умом и своими способностями, а между тем кто выходит в люди? Только те, которые умеют скрывать их до благоприятного случая. Поверьте, что тот дурачится, кто хочет выказываться и возбуждать зависть в начале служебной своей карьеры; он не кончит ее благополучно, если скоро не будет в отставке».

8 апреля,
понедельник.

Похвальное слово государю, которым так мы восхищаемся и которое полагали «сочинением» пастора Альбануса, оказывается просто извлечением из похвального слова Траяну Плиния-младшего; но пусть и так: все же нельзя не поблагодарить Альбануса за то, что он так удачно и мастерски умел применить Плиниево изображение Траяна к особе и качествам государя, например:

«Oft versuchte ich mir den Mann zu denken, an dessen Winke Länder und Meere, Friede und Krieg hängen. Mein Geist strengte sich an, sich das Bild eines Selbstherrschers vorzustellen, der wie die Gottheit durch seinen blossen Willen alles bestimmt; aber es gelang mir nie, ein Bild zu ersinnen, des dem gleiche, welches unser aller Geiste und Herzen nun vorschwebt.— Noch kannten wir keinen Fürsten, dessen Tugenden so fleckenlos gewesen wären. Aber in diesem Fürsten — welche Harmonie, welcher Einklang aller Vorzüge und Vollkommenheiten! Welche Einfachheit, ohne den Herrscherglanz zu verdunkeln! Welche Majestät bei welcher Humanität! — Diese Festigkeit, dieser schöne Wuchs des Körpers, diese reine Schönheit der Stirn, diese männlichen Reize des Antlitzes, diese liebliche Reife des blühendesten Alters, diese schönschmückende, Vollendung verkündende blonde Haar, wie eine anerschaffne goldne Krone um das erhabene Haupt, beurkundet es nicht des Welt den gebohrnen Kaiser?»

«C. IV.— Saepe ego mecum tacitus agitavi, qualem quantumque esse oporteret, cujus ditione nutuque maria, terrae, pax, bella regerentur: quum interea fingenti formantique mihi principem, quem aequata diis immortalibus potestas deceret, nunquam voto saltem concipere succu-

rrit similem huic, quem videmus... adhuc nemo excitit, cujus virtutes nullo vitiorum confinio laederentur. At principi nostro quanta concordia, quantusque concentus omnium laudum, omnisque gloriae contigit, ut nihil severitati ejus hilaritate, nihil gravitati simplicitate, nihil majestati humanitate detrahatur? Jam firmitas, jam proceritas corporis, jam honor capitis et dignitas oris, ad hoc, aetatis indeflexa maturitas, nec sine quodam munere deum festinatis senectutis insignibus ad augendam majestatem ornata caesaries, nonne longe lateque principem ostentant?»

Или:

«Längst schon verdientest du, die Völker zu beherrschen; aber wir hätten nicht gewusst, wie unermässlich viel dir das Reich zu verdanken hat, wenn du die Krone früher getragen hättest. Der Staat hat sich an dein Herz angeschmiegt. Seitdem nun du regierst, bist du allein sorgenvoller, und alles Andere ist sorgenfreier geworden».

«C. VI.— Olim tu quidem adoptari merebare: sed nescissemus, quantum tibi deberet imperium, si ante adoptatus esses... Confugit in sinum tuum concussa respublica... Communicato enim imperio sollicitior tu, ille securior factus est».

«Seitdem das Vaterland auf deinen Schultern ruht, ist es stark geworden durch deine Kraft und verjüngt durch deine Tugend».

«C. VIII.— Tuis humeris se patriamque sustentans, tua juventa, tuo robore invaluit».

«Du hast Freunde, denn du weisst selbst Freund zu sein. Liebe wird auch von den höchsten Macht nicht geboten: Liebe ist stolz, und frei, und unabhängig, und fordert Erwiederung. Ein Fürst kann zwar, vielleicht unbillig, gehasset werden, ohne selbst zu hassen; aber, ohne selbst Liebe zu geben, kann er Liebe nicht nehmen. Du liebst und wirst geliebt. Beseligend ist das für uns alle, aber der Ruhm davon ist dein».

«C. LXXXV. Habes amicos, quia amicus ipse es. Neque enim, ut alia subjectis, ita amor imperatur: neque est ullus affectus tam erectus, et liber, et dominationis impatiens, nec qui magis vices exigat. Potest fortasse princeps unique, potest tamen odio esse nonnulis, etiamsi ipse non oderit: amari, nisi ipse amet, non potest. Diligis

ergo, quum diligaris, et in eo, quod utrinque honestissimum est, tota gloria tua est» [1].

Нельзя без сердечного удовольствия читать этого «слова», которое все состоит из отрывков Плиниева панегирика, почти буквально переведенного; и читая его, невольно удивляешься, как мог римский писатель, за семнадцать столетий пред сим, так верно изобразить обожаемого нашего государя без особого дара предвидения и вдохновения свыше, потому что не только наружность, не только пленительные свойства, не только возвышенный образ мыслей, но и смысл самых указов и постановлений императора Александра изображаются с изумительною подробностью. Жаль одного, что прекрасное «слово» не есть произведение писателя русского.

---

[1] «Гл. IV. — Часто я размышлял в безмолвии, каков должен быть тот, который бы, по власти и манию своему, правил морями, сушью, миром и бранию; составляя мысленно образ государя, равного в могуществе правителю вселенной, никогда я не мог даже пожелать монарха, подобного в совершенствах царствующему ныне... не было еще государя, которого бы добродетели не были причастны никакому пороку. Но в государе нашем мы видим чудное согласие всех совершенств и доблестей! Ни сановитость его ласковостию, ни важность простотой, ни величие снисхождением не умаляются. Телесная крепость, высокий стан, величественное чело, осанистый вид, непреклонная зрелость лет и, не без особого некоего благоволения небес, преждевременною красотою старости к умножению величия увенчанные власы: все сие не являет ли в нем обладателя пространной и обширной державы?»
«Гл. VI.— Давно уже ты был достоен усыновления: но мы не ведали бы ныне, сколько держава тебе одолжена своим благоденствием, если бы ты усыновлен был прежде... Поверглось на лоно твое потрясенное отечество... со вручением тебе державы ты потерял, он приобрел спокойствие».
«Гл. VIII.— Поддерживая себя и отечество на раменах твоих, он укрепился твоею юностию, твоею силою».
«Гл. LXXXV. Имеешь друзей, ибо сам хранишь дружбу. Силою власти вселить любви никто не может. Сие чувствование есть самое высокое и свободное, гнушающееся рабством и требующее любви взаимной. Государь может иногда подвергнуться неправедной ненависти, хотя сам не будет никого ненавидеть; но приобресть любовь без любви не может. Твоя любовь к гражданам доказывается их взаимною любовью; и вся слава сего благородного чувства принадлежит единому тебе» (*лат.*).

9 апреля,
вторник.

Получено известие, что 4-го числа государь изволил быть с прусским королем в Шиппенбейле, куда прибыла и гвардия в отличном порядке, несмотря на форсированные марши, которые принуждена она была делать. Пятого числа, в Бартенштейне, у главнокомандующего Беннигсена был огромный обед, на котором государь присутствовал и был, говорят, до такой степени милостив к заслуженному генералу, что при всех изъявил совершенное доверие к его военным соображениям и опытности и предоставил ему полную свободу действовать, как он, по обстоятельствам, признает за лучшее. Эти вести радуют здесь многих почтенных людей, которых было встревожили кой-какие смутные слухи о предстоящих будто бы переменах в военном начальстве.

Вечером сидели у меня Гнедич с Юшневским, говорили, разумеется, большею частью о трагедиях и об актерах, хотя, правду сказать, и не то время, чтоб толковать о театре, а скорее бы надобно было читать канон покаянный, и особенно мне, грешному. Гнедич уверяет, что с некоторых пор русский театр видимо совершенствуется и, не говоря уже о прежних известных талантах, которые в продолжение последних трех лет, благодаря многим новым пьесам, на театр поступившим, необыкновенно оживились и, можно сказать, переродились, являются на сцену таланты молодые, свежие, с лучшим образованием и современными понятиями об искусстве [1]. Юшневский, соглашаясь с Гнедичем, что театр наш точно становится лучше, не хотел, однако ж, согласиться с ним в том, чтоб это усовершенствование могло иметь такое сильное влияние на наше общество, чтобы, как он утверждает, люди большого света, приученные иностранным воспитанием смотреть с некоторым равнодушием на отечественные театральные произ-

[1] Так прежде казалось и мне; но я убедился впоследствии, что прежние актеры, вопреки мнению Гнедича, не менее новых имели образование и понятия об искусстве, а сверх того, обладали еще и большими физическими способностями, нужными для сцены. По этому случаю невольно приходят на память слова П. А. Плавильщикова, сказанные им за обедом у князя М. А. Долгорукова. См. «Дневник студента», 30 октября 1805 г. (*Позднейшее примеч.*)

ведения и русских актеров, вдруг стали предпочитать русский театр иностранному и охотнее посещать его, чем французский, и что «Эдип», «Димитрий Донской», «Модная лавка» и несколько других пьес не в состоянии так скоро переменить направление вкуса публики высшего круга. Если ж она с такою жадностью бросилась смотреть на эти пьесы, так не потому ли, что, по замечанию статского советника Полетики, она хотела убедиться в двух невероятных для нее вещах, то есть что русский автор написал хорошую пьесу, а русские актеры хорошо ее разыграли. «Пожалуй,— сказал он смеясь,— вы, Николай Иваныч, и опять станете уверять, что несколько хороших пьес и хороших актеров нечувствительно могут переменить образ мыслей и поведение наших слуг, ремесленников и рабочих людей и заставить их, вместо питейных домов, проводить время в театре. До этого еще далеко».

«Далеко или нет,— отвечал Гнедич,— но это последует непременно, если только явятся писатели с талантом и станут сочинять пьесы, занимательные по содержанию и достоинству слога; если ж эти пьесы будут, сверх того, и в наших нравах, то успех несомнителен: театры будут наполнены и переполнены зрителями; но та беда, что трудно написать хорошую пьесу, и особенно пьесу в наших нравах». Я знаю только одну в этом роде, которая заслуживает полного уважения: это драма Ильина «Рекрутский набор»; в ней все есть: и правильность хода, и занимательность содержания, и ясность мысли, и теплота чувства, и живость разговора, и все это как нельзя более приличествует действующим лицам; жаль только, что автор без нужды заставил в одной сцене второго акта философствовать извозчика Герасима: не будь этого промаха, драма Ильина могла бы назваться совершенною. Впрочем, как быть! Вот более десяти лет как немцы соблазняют нас, и я первый приношу покаянную в прежнем безотчетном моем подражании немецким драматургам-философам».

10 апреля,
среда.

Мне доставили только что появившиеся чрезвычайно интересные записки знаменитой английской актрисы мистрис Робинзон, которой отец служил в нашем флоте

капитаном и умер здесь, в Петербурге, в 1785 году. Эта милая женщина, получившая отличное воспитание, вдруг, по внушению страсти к театру, сделалась на восьмнадцатом году своего возраста актрисою. Наставником ее в искусстве был Гаррик, который предпочитал игру ее в ролях Юлии, Дездемоны, Офелии и других, требующих наиболее чувства, игре всех актрис, когда-либо украшавших английскую сцену. К несчастью, сценическое ее поприще было непродолжительно: на двадцать пятом году, в наиблистательнейшую эпоху красоты своей и таланта, она впала в какое-то нервическое расслабление, приковавшее ее к постели, с которой не сходила уже она до самой своей кончины, последовавшей на сорок втором году ее жизни.

Более шестнадцати лет провела гениальная страдалица почти в совершенной неподвижности, лишенная употребления рук и ног; но, твердая духом и бодрая умом, она умела найти отраду в занятиях литературных и нравственном образовании дочери, которой диктовала прекрасные свои стихотворения и записки. Первые преисполнены глубоким чувством, пленительны игривостью воображения и свежестью колорита в описаниях; а последние, кроме интересной биографии самой писательницы, заключают в себе множество любопытных и, как мне кажется, чрезвычайно верных замечаний об искусстве театральном. Не могу отказать себе в удовольствии перевести некоторые из этих замечаний; оно ж кстати: эти дни ходить мне некуда и делать нечего; займусь работой, которая вместе будет для меня и рассеянием; по крайней мере, в это время несносных предчувствий не дам тоске овладеть собою.

11, 12, и 13 апреля,
четверг, пятница и суббота.

«Die Blätter fallen»[1],— говорил Карл Моор; «Die Blätter fallen»,— говорю за ним и я, потому что обманывать себя бесполезно; а между тем милая мистрис Робинзон говорит кой-что поумнее:

«Каким бы прекрасным слогом драматическая пьеса ни была написана и сколько бы ни было в ней красот

[1] «Листья опадают» (*нем.*).

поэтических, но если она не заманчива содержанием и ситуациями персонажей, то никогда не будет иметь успеха в представлении. В краткий период бытности моей на сцене я заметила, что публика предпочтительно любит те пьесы, в которых положение главных действующих лиц более или менее сообразно с положением каждого из зрителей: они редко принимают участие в судьбе какого-нибудь завоевателя или политика; им дела нет до смерти Кесаря, ни до видов Антония, ни до замыслов Октавия и борьбы этих честолюбцев за обладание Римом, но они сочувствуют Отелло, Леару и Гамлету; трепещут за Дездемону, скорбят об Офелии и плачут об участи Ромео и Юлии. Справедливость сказанного мною еще очевиднее в трагедиях и драмах новейших, которых содержание взято из быта народного; как ни плох перевод драм «Беверлея» и «Отца семейства» Дидро, «Евгении» Бомарше и других, им подобных, но публика любит смотреть их, потому что положение и чувства персонажей, в них изображенных, для нее понятны. Впрочем, несмотря на успех этих пьес, я не любила в них участвовать. Слишком изнеженные чувствования, запутанные любовные интриги с вечными клятвами безусловной верности, вопреки судьбе и людям, великодушие на ходулях, припадки безрассудной и неуместной ревности, оканчивающиеся обыкновенно мольбою о прощении, низкие слабости, унижающие человечество, как то: нарушение супружеской верности, страсть к игре и проч., эти пружины новейших драм были не в моем вкусе и мне часто случалось отказываться от таких ролей, в которых, по мнению других, я могла бы заслужить благоволение публики».

«Вообще в трагедиях и драмах должно избегать надутого и неестественного слога. Величие всегда просто, и напыщенный разговор неприличен даже самому Кесарю. У древних трагиков и у Шекспира люди говорят и действуют, как они говорить и действовать должны; но драматурги нашего времени, кажется, незнакомы с приличиями сцены: они не заставляют своих персонажей говорить и действовать свойственным каждому образом и часто обращают царей в поселян и обратно».

«Первым качеством трагедианта должна быть глубокая чувствительность; качеством комедианта — увлекательная веселость; но главнейше требуется от обоих — истины. Трагедиант не должен быть проповедни-

ком, а комедиант — площадным шутом. Пусть первый ужасает и трогает, но не доводит ужаса до отвращения и омерзения; пусть другой заставляет смеяться, но не доводит смеха до презрения. Они не должны забывать, что благородное искусство декламации требует совокупных качеств и великого ритора и великого живописца; искусство декламации, так же как искусство ритора и живописца, не терпит посредственности, и те из сценических художников могут одни достигнуть истинной славы, которые достигли совершенства; прочие же бывают по необходимости только терпимы и часто презираемы».

«Природа редко наделяет людей нужными способностями для сценического поприща; но если находятся счастливцы, наделенные ее дарами, то сколько необходимо им труда и терпенья для развития этих способностей! сколько требуется учения, исследований и соображений для усовершенствования этого развития, а после сколько настойчивых усилий, чтоб уже приобретенное искусство обратить опять в природу!»

«Всякое театральное сочинение без хороших актеров — тело без души; но в трагедии соединение первоклассных талантов невозможно, и до сих пор никто не встречал его. Довольно и того, если общее согласие действующих лиц не слишком разительно нарушается посредственностью некоторых второразрядных актеров сравнительно с первостепенными; но часто случается, что эти бедные люди, не знающие различия между дикциею естественною и пошлою, равно как и между величавою, благородною декламациею и напыщенною, бывают вовсе не на своих местах и мешают ходу пьесы. Опасаясь насмешек публики, они обыкновенно не смеют выдвигаться на авансцену и произносят в глубине театра стихи, как прозу, и прозу, как стихи, не чувствуя ни меры стихов, ни плавного теченья прозы и требуемых смыслом на слова ударений. А между тем сколько великолепных стихов, сколько прекрасных мыслей заключается иногда в их ролях, хотя и второстепенных! К сожалению, однообразная и фальшивая интонация голоса и неестественная дикция отнимают у них всю красоту, и они исчезают незаметно для публики».

«Без соблюдения основных правил декламации, долговременными опытами усвоенных на сцене, нельзя быть ни великим актером, ни великою актрисою —

это аксиома. Однако ж сильное ощущение страстей, развитых в роли, более содействует успеху актера на сцене, чем строгое соблюдение сценических правил, и отступление от них бывает иногда извинительно. Так, например, театральными правилами запрещается актеру на сцене оборачиваться спиною к зрителям и поднимать руки выше головы; но если это сделал актер, исполненный огня и силы, в пылу увлечения своей ролью, то кто ж не простит ему такого отступления от правил?»

«Искусство слушать на сцене — камень преткновения для большей части актеров. Какими бы блистательными физическими средствами природа их ни наделила, каким бы даром декламации ни обладали они, но без искусства хорошо и прилично слушать они не будут никогда признаны великими актерами. Для достижения в этой необходимой принадлежности театральной игры возможного совершенства Гаррик советовал мне изучать роли и тех персонажей, с которыми я должна была находиться на сцене, и мне кажется, что это единственный и легчайший способ приучить себя к разумному и отчетливому слушанию на сцене соответственно смыслу своей роли».

«Если прискорбно видеть искусного актера, унижающего высокое дарование разными излишествами и поведением, не всегда согласным с правилами доброй нравственности, то при виде талантливой актрисы, отступившей от сих правил, невольно сжимается сердце. Актрисе для приобретения уважения недостаточно одного таланта: она должна помнить и во всех случаях своей жизни иметь в виду, что она прежде всего женщина и что качества, которые должны отличать ее от закулисной толпы, заключаются в благонравии, целомудрии и умеренности. Талант актрисы, как бы превосходен ни был, не может быть долговечным, если он соединяется с презрением к лицу самой актрисы. Я до сих пор не могу без слез вспомнить о бедственной участи, постигшей одну великую актрису вследствие ее неблагоразумия и легкомысленного поведения».

Эта великая актриса, о которой так сокрушается мистрис Робинзон, была знакомка ее, мисс Беллами, актриса Ковентгарденского театра в ролях первых любовниц. Она воспитывалась у сестры известного герцога Мальборо, мистрис Годефрей, и на четырнадцатом году возраста вступила на сцену. Красота ее была порази-

тельна, а талант приводил в восторг и удивление. Гаррик называл ее «царицею актрис» (The Queen of the Actress), хотя почему-то и не очень ей доброжелательствовал. Обожателями ее были большею частью люди знаменитые, и в особенности славные государственные мужи Честерфильд и Фокс. Последнему она сопутствовала в Париж, где, после блистательной и роскошной жизни, умерла в забвении и нищете.

Не знаю, хорошо ли я передал эти отрывки из замечаний умной актрисы, но, во всяком случае, за буквальный смысл их ручаюсь.

Из числа великих актеров английских и французских не много было таких, которые приняли бы на себя труд образовать других подобных им великих актеров. Неподражаемый Лекен не имел учеников, Гаррик был скуп на советы и, кроме двух-трех женщин, в числе которых была и мистрис Робинзон, не давал их никому. Кембль-отец был только его подражателем, и то в некоторых ролях, как то: Гамлета, Кориолана, Макбета и Отелло. Бризар не оставил после себя даже и преданий и тайну патетичной игры своей унес с собой в могилу. Мамзель Дюмениль играла по одному вдохновению, без правил, следовательно, и не могла оставить по себе ни правил, ни учеников. Офрен, окончивший театральное свое поприще на петербургской придворной сцене, давал советы только Деглиньи, наследовавшему его дикцию и занявшему на той же сцене его амплуа; но Деглиньи слишком растолстел и получил одышку, следовательно, первоклассным актером быть не мог. Остаются: Превиль, образовавший Дюгазона и Дазенкура, лучших комических актеров на Французском театре в Париже, которые, в свою очередь, продолжают дело образования многих молодых талантов в Консерватории парижской; Монвель имел только одну ученицу — дочь свою, мамзель Марс; но эта одна стоит сотни других. Самолюбивая мамзель Клерон была наставницею Ларива и мамзель Рокур, которая, в свою очередь, образовала мамзель Жорж — перл нынешней французской трагедии. Ларив не оставил учеников, но подражателей немало, и лучший из них — Лафон, дублер великого Тальма. Сам же Тальма не имел учителей и, вероятно, не будет иметь и учеников, потому что он создал особенный род декламации, свойственный только одной его натуре. Он тип в своем роде, и можно

сказать, тип неподражаемый, потому что все те, которые подражать ему хотели, делались смешными и должны были возвратиться к собственной своей природе; впрочем, он не стар: ему не более сорока двух или сорока трех лет, и в продолжение жизни его может найтись кто-нибудь, кто усвоит себе его методу, тем более что Тальма добрый и благонамеренный человек и никому не отказывает в своих советах.

Все это рассказал мне серьезный подагрик Ларош, которого завел ко мне добряк граф Монфокон на чашку чаю. Ларош забыл сказать одно, что он сам был одним из лучших трагических актеров в Лионе и Бордо и поступил на сцену петербургского театра преемником Флоридора. Скромник!

Я слышал, что здешние французские актеры строго следуют правилам первого Французского театра в Париже (Théâtre Français), существующим с самого начала его учреждения. По этим правилам: 1) роли распределяются актерам непременно по тем амплуа, на которые кто из них ангажирован, несмотря ни на какие уважения в отношении к их изменившимся иногда от времени физическим средствам, и 2) что в распределении ролей актерам одного амплуа наблюдается между ними старшинство поступления их на театр, по которому младший, будь он во сто крат талантливее своего сотоварища, находится всегда в зависимости у старшего (chef d'emploi); из этого происходит, что в первом случае актеры уже устаревшие, как, например, Ларош, Дюкроаси или Фрожер, должны иногда играть роли, особенно в пьесах старого репертуара, вовсе не свойственные их летам и наружности; а во втором — что старшие актеры заставляют занимать свои роли младших, часто к неудовольствию публики; или же, если последние при дебютах своих публике понравились, не дают им вовсе никакого хода и лучшие роли, которые бы они могли выполнить с успехом, играют всегда сами, во избежание невыгодного для себя сравнения.

Известный уличный стихотворец старик Патрикеич, которого необыкновенной способности низать рифмы завидует сам остроумный Марин [1], а оригинальными

---

[1] В одной из сатир своих, в которой жалуется на затруднение в приискании рифм:

виршами так восхищается мой друг Кобяков, обмолвился преисправедливым двустишием:

Горем беде не пособишь,
Натуру свою лишь уходишь.

Почему, на основании этой аксиомы, не должно бы и мне так сокрушаться «о том, о сем, следующем и прочем»[1] и тосковать одному, запершись в четырех стенах, когда для меня открыты все четыре стороны света; но можно ли сладить с собою? Я, по крайней мере, сделать этого не умею, и притворство покамест еще не мое ремесло. Как это делают другие — не знаю; но казаться веселым, когда змея грызет сердце, отвечать кстати на вопросы любопытных, когда не слышишь и не понимаешь, о чем тебя спрашивают, говорить д а, когда надобно сказать н е т, и обратно — все это для меня непостижимо, и я боюсь, что при первом свидании с кем-нибудь из близких знакомых того и смотри раз-

---

О если б я умел свою принудить музу,
Чтоб тяжких правил сих сложить с себя обузу:
Когда я с Пиндаром сравнить кого готов,
Державин на уме, а под пером Хвостов;
Сам у себя весь век я находясь в неволе,
Завидую твоей, о П а т р и к е и ч! доле.

Патрикеич в свое время был в моде и служил потехою многим умным людям, в том числе и Фонвизину, на которого написал он так называемую им эпиграмму:

Открылся некий Дионистр (то есть Денис),
Мнимый наместник и министр,
Столпотворению себя уподобляет! и проч.

Автор «Недоросля» отвечал ему также стихами, оканчивающимися так:

Счастлива та утроба,
Котора некогда тобой была жерёба!

Но верхом совершенства в нелепом сочетании рифм были стихи, поднесенные Патрикеичем калужскому преосвященному. Они начинались так:

Преосвященному пою Феофилакту,
Во красноречии наук
Кой Вильманстрандскому подобен катаракту...—

а оканчивались желанием, чтоб преосвященный взглянул л ю б е з н о на его послание б е з м е з д н о; но в выноске замечено, что последнее выражение употреблено только для рифмы, а сочинитель не прочь от подарка. (*Позднейшее примеч.*)

[1] Так записал известный всем чиновник содержание одной полученной бумаги в дежурную книгу. (*Позднейшее примеч.*)

болтаю всю подноготную. Что из этого может выйти, один бог весть; но мне кажется, что откровенность — лучшее лекарство для облегчения страданий души.

А между тем завтра светлое воскресенье; у меня уже раздается в ушах божественная песнь Дамаскина: «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, севера и моря и от востока чада твоя, благословяще Христа во веки!» Пойдем в церковь, новый Сион наш, «просвятимся торжеством и друг друга обымем и рцем: братие, ненавидящим нас простим вся воскресением!». Легче будет...

14—20 апреля, воскресенье — суббота.

Христос воскресе!

Кроме Державина, я решительно ни у кого с поздравлениями не был и не буду в продолжение целой недели. Гаврила Романович пенял, что пришел утром, и приглашал обедать, но я отговорился нездоровьем. С участием посмотрев на меня, он сказал, что я в самом деле изменился в лице и чтоб я вел себя осторожнее, потому что всякое излишество гибельно в Петербурге для новичков, что знает он по собственному опыту. При ссылке на свое нездоровье я краснел и чувствовал биение сердца: меня мучила совесть. Стоит только однажды сбиться с прямого пути, так и начнешь вилять вкривь и вкось по окольным дорожкам, покамест не застрянешь в какой-нибудь волчьей яме. Я сказал неправду — и кому? как бы не было вперед хуже:

Ainsi que la vertu le crime a ses dégrés [1].

Неблагодарно с моей стороны не быть в павильоне; но как идти туда, когда наперед знаю, что попадусь в руки беспощадной инквизиции и что вопросам и расспросам любопытных и сметливых моих приятельниц конца не будет; да и без расспросов они великие мастерицы угадывать по одному моему взгляду, движению губ и даже по моей походке, что происходит у меня на душе. Нет, как ни скучно, но решусь просидеть всю

---

[1] У порока, как и у добродетели, есть свои степени (*франц.*).

эту неделю дома под предлогом болезни, а там что бог даст!

Веселый хозяин мой заходил приглашать меня на вечер, который вместо четверга назначается в среду, по случаю именин жены его. «Wir werden singen und springen,— сказал он, подмигивая и припрыгнув.— Die Dame wird auch da sein» [1]. Нашел чем заманивать меня добрый Торсберг! Не до песен и пляски мне, грустному затворнику, у которого в голове теперь одна мелодия: «Das waren mir seelige Tage!» [2]

Я всегда любил делить досуг свой с людьми добрыми, как бы ничтожны они ни были; но теперь совокупное посещение таких оригиналов, как Т. Ф. Дурнов и земляк мой Кобяков, почитаю благодеянием судьбы. Они рады были приглашению моему бывать у меня ежедневно и обещались даже обедать со мною во все продолжение праздников; народ неприхотливый и довольствуется больше количеством, чем качеством. Не заведет ли благоприятный случай ко мне еще и Вельяминова? Он был бы для меня сущею отрадою: с ним время проходит незаметно.

Краснопольский начал переводить оперу «Das neue Sonntagskind» под заглавием «Домовые»; но едва ли он в состоянии будет удержать в своем переводе весь комизм арий, дуэтов и особенно преуморительного финала первого действия: для этого нужно много веселости, а Краснопольский переводит очень равнодушно, как ученик по лексикону, и вовсе не знаком с немецкими вицами (Witz [3]), иногда очень пошлыми и глупыми, но зато всегда смешными. Ну как, например, он справится с входною ариею студента-жениха, которою молодой педант изъясняет такое смешное участие в здоровье своей невесты:

Ich frag's obsequialiter,
Das heisst, ergebnermassen,
Ob sie heut nocturnaliter
Geschlafen wie ein Ratz? [4]

---

[1] «Мы будем петь и прыгать. Дама тоже будет» (*нем.*).

[2] «То были для меня блаженные дни!» (*Нем.*)

[3] Шутками (*нем.*).

[4] Я спрашиваю obsequialiter, то есть почтительно, спали ли вы сегодня nocturnaliter (ночью), как кошка? (*Нем.*)

Если бы перевод мог удасться, то нет сомнения, что эта оперка, не во гнев будет сказано Якову Степановичу Воробьеву, который такой ненавистник немецких и французских опер и опереток, чрезвычайно бы понравилась веселой части публики, тем более что могла бы удачно быть обставлена; все роли в ней, как нарочно, созданы для Воробьева, Пономарева, Рожественского, Чудина, Лебедева, Самойлова, жены его, Болиной и Рахмановой.

Сказывают, что в дирекцию театра поступает такое множество драм оригинальных и переводных, что она не знает, что с ними делать, а пуще как отбиться от назойливых авторов, решительно ее осаждающих; эти авторы большею частью подкрепляемы бывают рекомендательными письмами значительных особ, на которые театральное начальство отвечать должно, что́ приводит его в великое затруднение. Многие из поступающих драм остаются даже и непрочитанными. Казначей театра, П. И. Альбрехт, получивший недавно Анненский крест на шею, великий эконом, предлагал князю Шаховскому употреблять их для топки печей вместо дров, потому что у него в квартире всегда холодно. «Да за что ж, батюшка Петр Иваныч, ты меня совсем заморозить хочешь? — возразил сочинитель «Нового Стерна».— От них еще пуще повеет холодом».

И в самом деле, сколько авторов только и делают, что сочиняют драмы, бог весть для кого и для чего, потому что их почти никогда не принимают на сцену и даже не читают, если они бывают напечатаны! Намедни Дмитревский очень ясно истолковал причину этой несчастной страсти к сочинению драм и других театральных пьес прозою. «Естественно, мы всегда хотим успеха,— сказал он,— который бы не стоил нам больших усилий; а драму написать легче, чем трагедию или комедию, и сочинение в прозе не требует столько труда и таланта, сколько сочинение в стихах». По словам его, Вольтер был большой враг драматических пьес в прозе и говорил, что они изобретены «бездарною леностью».

Кто-то заметил очень остроумно, что правильная драматическая пьеса, трагедия или комедия, должна быть подобна золотой монете, то есть иметь надлежащий вес, ценность и звон. Вес ее — мысли, ценность — изящная чистота слога, звон — гармония стихов.

Сегодня было у меня стечение преразнообразных посетителей: чиновники, сочинители, актеры и художники — все сошлись вместе, и даже, как нарочно, явилась неожиданно красавица Александра Васильевна. Все прошло бы превесело, если б я только мог быть веселым. Сначала смотрели на сестрицу мою с каким-то любопытным изумлением и как будто ее дичились, но она так мило и ловко сама подтрунивала над толщиной своей и так умно обо всем говорила и рассуждала, что мои гости забыли о толщине ее, чтоб любоваться необыкновенной прелестью ее пленительной головки и красивых рук. Оригинал Дурнов, как художник, не сводил с нее глаз. «Что вы так смотрите на меня? — сказала она ему, улыбаясь.— Вы, верно, удивляетесь, что такая прекрасная голова присажена к такому неуклюжему телу? Это для того, скажу вам, чтоб я не очень гордилась преимуществами красоты своей, не была кокеткою и не сводила с ума тех, которые, подобно вам, так пристально на меня смотрят».

В качестве сестрицы, навестившей больного братца, Александра Васильевна разливала нам чай, и гости мои не положили охулки на руку: несколько раз подливали в самовар воды и подсыпали в чайник чаю. Гебгард болтал без умолку и очень смешил рассказами о последствиях нашего пикника в честь Ифланда и об одном известном барине, который, не так давно принимая одну также известную барышню с немецкой сцены под свое покровительство, непременно хотел, чтоб это покровительство ознаменовано было с его стороны возможным великолепием, и потому, заказав в квартире, изготовленной для приема покровительствуемой особы, пышный банкет, он пригласил к ужину всех ее сотоварищей и каждому предоставил в распоряжение особую карету, с тем чтоб все они из прежней квартиры красавицы следовали за нею на приготовленное ей новоселье. «Это была преуморительная процессия,— говорил Гебгард,— точно это были похороны здравого смысла, потому что не прошло двух недель, как тщеславный покровитель чуть не был выброшен за окошко таким же другим, имевшим на покровительство преимущественное право давности». Мне всего больше понравилась наивность, которою заключил Гебгард свой рассказ. «Надобно быть совершенным немцем,— сказал он,— чтоб это выдумать».

Из павильона присылали спросить, отчего так давно не видать меня, и, в случае болезни, узнать, не имею ли в чем нужды. Добрые люди! Были также старик Самсонов с своими рассказами и братья Харламовы, которым я объявил, что в половине мая перееду к ним в дом, и хотел условиться с ними о квартире; но они не хотели о том и слышать, говоря, что сочтемся, и без памяти рады, что приобретают себе жильца данковца. У всякого своя слабость.

Кстати о слабостях. Самсонов рассказывал, что известный Иван Перфильевич Елагин, весьма умный, образованный и притом отлично добрый человек, имел, кроме слабости к женскому полу, еще другую довольно забавную слабость: он не любил, чтоб другие, знакомые и приятели его, ели в то время, когда у него самого аппетита не было, ходили гулять, когда у него болела нога, и вообще делали то, что иногда он сам делать был не в состоянии. У него ежедневно был роскошный стол, и без гостей он никогда не бывал. Если чувствовал он себя хорошо, тогда потчевал напропалую, выговаривая беспрестанно, что мало едят и пьют; когда же не имел аппетита или, по предписанию доктора, обязан был воздерживаться от разных кушаньев, то начинал всегда рассуждение о том, как люди не берегут себя и безрассудно предаются излишеству в пище; что для насыщения человека нужно немногое, а между тем он поглощает всякую дрянь (тут он называл поименно все лакомые блюда стола своего) в предосуждение своего здоровья. Так и в других случаях: едет ли кто в страстно любимый им театр (которого он был главным директором) в такое время, когда по нездоровью или особым делам он не мог присутствовать при представлении, и вот Елагин начнет ворчать: «Право, не понимаю этой страсти к театру, что за невидаль такая? Добро бы что-нибудь новое, а то все одно и то же; что вчера, то и нынче: те же пьесы, те же актеры и те же кулисы».

Однако ж мне кажется, что эта слабость Елагина — общая слабость всех людей; только они не хотят в ней сознаться и ее не высказывают. В сердце каждого, и самого доброго человека непременно таится, больше или меньше, проклятая зависть — клочок греха первородного; иначе отчего бы я, например, добрый человек, так был доволен, что сегодня скверная погода и мешает

гулянью? Оттого, что мне самому гулять не приходится и я должен сидеть дома.

Сегодня убедился я еще более, что Вельяминов очень начитанный и образованный малый. Несмотря на то что средства его не позволяют ему часто бывать в спектаклях, он знает теорию театрального искусства, а о нашем театре и наших актерах судит вообще основательно и остроумно. «Самолюбие,— говорит он,— есть неизлечимая слабость всех авторов и актеров и в людях талантливых так же извинительно, как в бесталанных смешно и даже гадко. Но писатель с талантом всегда почти имеет достаточно инстинкта для оценки своих произведений и потому не потребует хвалы какому-нибудь своему сочинению, явно погрешающему противу правил языка или вкуса; исключения редки и бывают только в авторах или слишком молодых, или слишком устаревших. Отчего же все наши актеры, молодые и старые, чем даровитее, тем более ослепляются своим самолюбием и не только никогда не чувствуют своих погрешностей, но даже отвергают все благоразумные советы и почитают себя непогрешимыми? Мне кажется, в том виновата наша публика, которая слишком безотчетно бывает снисходительна к тем актерам, которых она однажды навсегда признала своими любимцами. Я слыхал от многих французов, любителей и знатоков театра, что во Франции не было и нет ни одного столь искусного актера, который бы не ошибался иногда в понимании и исполнении своей роли, хотя правила сценического искусства во Франции определены точнее, нежели где-нибудь; но во Франции строгая взыскательность публики тотчас замечает и исправляет погрешности актера, между тем как у нас актеры сами управляют вкусом публики, потому что она малообразованна и, не имея достаточных познаний для настоящей оценки их талантов, увлекается ими безотчетно. Впрочем, где же может наша публика и приобресть эти необходимые для верного суждения об игре актеров познания? Кроме специального изучения искусства, они приобретаются сравнением одного актера с другим в одних и тех же ролях; а у нас театр один; главных актеров на всякое амплуа по одному, и больше того их едва ли и быть может, по той причине, что нет сцены, на которой бы молодые таланты имели случай подготовлять себя прилежным упражнением в искусстве, и,

сверх того, нет особенных преподавателей декламации и репетиторов, которые могли бы развить природные их способности. Наши актеры большею частью самоучки и поступают прямо на большую сцену петербургского или московского театров для занятия главных ролей: если удается им понравиться публике с первого раза, они остаются обладателями своего амплуа без раздела и делаются фаворитами этой публики; в противном случае переменяют амплуа: из драматических делаются комическими, а при новой неудаче сходят со сцены и погружаются в прежнюю неизвестность».

Александр Васильевич Приклонский сказывал, что, несмотря на праздники, в канцелярии нашего министра существует большая деятельность вследствие полученного вчера известия о заключении в Бартенштейне договора между государем и королем прусским. Этот договор, состоявшийся в самый первый день пасхи, имеет основанием восстановление Пруссии и Австрии и защиту других государств от властолюбия Бонапарте, угрожающего им совершенным разорением. Говорят, что план государя для действий в пользу Пруссии и Австрии очень обширен и составлен им с необыкновенною проницательностью и знанием дела; но боятся, чтоб исполнение этого плана не встретило препятствий, с одной стороны, в нерешительности Австрии, а с другой — в недобросовестности Англии, которая обещала прежде до тридцати тысяч вспомогательных войск для высадки в Пруссию, французам в тыл, а теперь уменьшает их до десяти тысяч. Приклонский слышал также от Ивана Андреевича Вейдемейера, что Будберг решительно просит увольнения от звания министра иностранных дел и что место его непременно займет граф Николай Петрович Румянцев. Я воображаю, как обрадуются все, служащие в Коллегии, этой перемене начальства: может быть, новый министр захочет употребить на что-нибудь и нас, «считающихся при разных должностях» и не имеющих не только никакой должности, но даже и никакого занятия.

К слову о графе Румянцеве. Анна Никитична Нарышкина назначила его единственным наследником своего огромного имения, которое, по совести, следовало бы в род Нарышкиных, Александра Львовича с братом, как доставшееся ей после родного дяди их, Александра Александровича. Это назначение давно уже

предвидели, и по сему случаю между графом Румянцевым и Нарышкиными существовала большая холодность, обратившаяся с недавнего времени в явную неприязнь. Острый Александр Львович неутомимо преследовал Румянцева разными колкостями, хотя и прекрасно выраженными, но, к несчастью, бессильными для поправления дела.

Завтра, даст бог, выползу из своего заточения. Я так одичал в эту неделю, что, право, не знаю, как встречусь с знакомыми и что буду отвечать им на неминуемые их вопросы.

21 апреля,
воскресенье.

Слава богу, все обошлось благополучно! Вместо ожидаемой пытки я встретил одни довольно сносные насмешки: «Oh, l'enfant! Oh, le pauvre enfant! Voyez le grand malheur qui lui arrive! Mais c'est charmant, c'est impayable!» [1] «Да, да,— подумал я,— смейтесь, смейтесь, павильонские мои трещоточки, хохочите себе наобум, а все-таки, несмотря на гасконские выходки старого зажиги, вашего папá, вы от меня ничего не узнаете: я отмолчусь». И точно: отмолчался.

За обедом много толковали о путешествии государя. Всюду принимают его как будущего своего избавителя от ига нового Чингисхана. Все это хорошо; но старые эмигранты ропщут на те государства, за которые он так великодушно вооружился, что они, с своей стороны, мало предоставляют ему средств для продолжения войны более энергическим образом. Мсье виконт, который бывает у Марьи Антоновны ежедневно и к которому она имеет полную доверенность, потому что он заведывает ее интимною корреспонденциею, слышал от нее, что государь встречает немало огорчения от нерешительности Австрии, которая действует как бы нехотя, и что, кажется, надобно отложить всякую надежду на какое бы то ни было с ее стороны содействие. Грустно слышать, что эти немцы заблуждаются насчет своего по-

---

[1] «Ах, ребенок! Ах, бедный ребенок! Посмотрите, какое несчастье случилось с ним! Ведь это прелестно, преуморительно!» (*Франц.*)

ложения и не хотят понять благих намерений нашего государя в их собственную пользу. Виконт говорит, что со времени Суворова нам не удался ни один союз с Австрией, которая всегда хочет загребать жар чужими руками.

С завтрашнего дня начинаются спектакли. Меня пригласили в ложу на комедию «Два Фигаро» («Les deux Figaros»), в которой, говорят, так превосходны Дюран, Каллан и мадам Туссен; но, признаюсь, мне хотелось бы еще взглянуть на Яковлева в «Донском» и опять послушать прекрасных стихов Озерова. Впрочем, «Двух Фигаро» я еще не видал, и потому, благо есть случай, надобно идти во французский спектакль. Зато во вторник пойду смотреть на Рыкалова в «Скапиновых обманах», а в среду к немцам.

Челищев рассказывал, что в минувшем феврале двое секретарей посольства, английского и австрийского, отправились на медвежью охоту в окрестностях Тосны. Два медведя были обойдены за неделю до их приезда и, по наблюдениям стороживших их крестьян, получавших за то хорошую плату, оба преспокойно сосали лапы в своих берлогах; но в самый день приезда охотников, как будто встревоженные предчувствием ожидавшей их беды, вдруг исчезли, и охотники, проехавшие около ста верст, нашли только одни логовища да свежие следы скрывшихся мишуков. Молодые дипломаты предались ужасному негодованию и гневу, обвиняя мужиков, что медведи ушли по одной их неосторожности и что, следовательно, они должны возвратить им полученные за обход деньги. Сколько ни уверяли мужики, что они вовсе не причиною такого своеволия медведей, но дипломаты не хотели ничего слушать и требовали возвращения своих денег. К счастью, один крестьянин, посмышленее других, вызвался поставить им «охоту» почище медвежьей — охоту на лося. «Вот извольте, отцы мои, покушать да поотдохнуть, а уж к утру вам будет лось». Охотники согласились. «А видали ли вы, мои батюшки, лосей-то?» Оказалось, что ни один из них живых лосей не видывал. «Ну так завтра же изволите увидеть, родные мои: такого представлю, что на подивленье». Поверив обещанию, горячие охотники, в нетерпеливом ожидании застрелить незнакомого им зверя, расположились ночевать в деревне, а между тем проворный крестьянин добыл где-то старую, яловую и комолую

корову бурой шерсти, отвел ее в самую чащу леса и, бросив голодной яловке охапку сена, явился ни свет ни заря к охотникам с донесением, что он обошел следы молодой лосихи и что для удачной охоты должно следовать за ним тотчас, чтоб на месте быть до рассвета. Разумеется, охотники тотчас же поскакали с вожатым своим в лес и, несмотря на темноту ночи, успели разглядеть в чаще лосиху, смирно стоящую и не замечающую их появления. Думать было нечего: оба Нимврода взвели курки, прицелились и в одно время дали залп, которым бедное животное было убито наповал. Происшествие кончилось тем, что дипломаты щедро наградили своего вожатого и, сверх того, поручили ему за известную плату немедленно доставить убитую ими лосиху в Петербург на показ их приятелям. «Но вы можете угадать,— сказал Челищев в заключение своей истории,— как исполнил мужичок это поручение; лосиха-корова была съедена крестьянами всей деревни за здравие проницательных охотников».

22 апреля,
понедельник.

Вместо «Двух Фигаро» я попал на Реньярова «Игрока» и в том не раскаиваюсь. Актеры все почти те же и все играли восхитительно: Дюран и Каллан в ролях первый — игрока, а второй — слуги превосходны! как они мастерски читают стихи: самый привычный слух не отличит их от прозы. Какой огонь в игре, какой натуральный комизм и вместе какое благородство! В сцене, когда проигравшийся игрок для рассеяния заставляет слугу читать себе книгу и слуга так некстати выбирает для чтения главу из Сенеки о презрении к богатству, «Du mépris des richesses», игра обоих актеров изумительно хороша. Особенно отличился Дюран в той сцене, в которой игрок, при безденежье, возвращается к предмету любви своей и с восторгом вспоминает о прелестях своей невесты; но вдруг, неожиданно получив деньги, забывает все: и невесту, и наставления отца, заботится только о том, как бы поскорее отыграться с барышом, и ломает голову над предположениями, какой бы ему поставить куш на первую карту. Деглиньи прекрасно играл роль отца. Надобно удивляться, как

при своей толщине он так развязен на сцене, так ловко носит шитый французский кафтан и непринужденно владеет шляпою с плюмажем. Смотря на него, нельзя не согласиться с Монфоконом, que c'est un modèle des vieux courtisans de l'ancienne Cour des rois de France, moins leur fatuité [1].

После комедии дана была комическая оперка «Le Bouffe et le Tailleur», в которой Меес в роли меломана-портного был удивительно забавен. Какая богатая в этом человеке натура! что за голос и что за энергия в игре! как он благородно смешон в своей роли, а что за мимика! В той сцене, где он, развалясь в креслах, слушает арию итальянского певца, воображая, что ее поет его подмастерье, он одною мимикою, одними восклицаниями «ah! ah!» такое производил действие на публику, что она забыла слушать и Сен-Леона, и мадам Монготье и только смотрела на Мееса. И какое разнообразное дарование! Сегодня играет он роль комическую, а завтра драматическую; то портного, то Титзикана, то старого неуклюжего слугу в «Monsieur des Chalumeaux», то слепца Эдипа в «Oedipe à Colonne», и все это с одинаковым совершенством!

Нечего сказать, здешний французский спектакль — совершенство в своем роде, настоящий спектакль для избранного общества. Нынешним составом французской труппы публика обязана Александру Львовичу или, скорее, князю Шаховскому, который, будучи вместе с ним в Париже, имел весьма близкие сношения со всеми первоклассными артистами знаменитого Французского театра (Théâtre Français), особенно с Дюгазоном, Дазенкуром и Сен-Фалем, руководствовавшими его в выборе большей части актеров для петербургской сцены. Таланты Дюрана и Каллана были известны в самой Франции, потому что они играли всегда на больших сценах в Бордо, Лионе и Марселе; а Деглиньи уважаем был и самим Офреном.

---

[1] Что это образец старых придворных прежнего королевского двора без их напыщенности (*франц.*).

23 апреля,
вторник.

Если б комедия «Скапиновы обманы» была сочинена в наше время, то ее назвали бы не комедиею, а фарсом, что она, в сущности, и есть. «Скапиновы обманы» — фарс, но какой фарс! Содержание просто: плут-слуга дурачит хозяина, старого скрягу. Происшествия несбыточные, характеры действующих лиц неправдоподобные, завязка невероятная, развязка неестественная, а между тем вся эта галиматья так увлекательна, что все кажется и вероятным, и естественным. Мне кажется, что гений Мольера нигде не проявляется с такою силою, как в фарсах, то есть в «Скапиновых обманах», «Мнимом больном», «Мещанине во дворянстве», «Пурсоньяке» и «Мнимом рогоносце», потому что все эти пьесы, будучи основаны на характерах нелепых и происшествиях невозможных, требовали необычайного таланта, чтоб заставить извинить в них недостаток вымысла и отсутствие всякого правдоподобия в действии [1].

Но рассуждения в сторону; поговорим о представлении. Рыкалова можно назвать актером par excellence [2]. Он играл роль Жеронта. Какая великолепная комическая фигура! Лицо, стан, походка, движения — все это в нем так неуклюже, так натурально глупо, что при одном появлении его нельзя удержаться от смеха; а орган, а дикция — это совершенная натура: никаких натяжек, никакого преувеличения, ничего площадного; словом, видишь перед собою не актера, а настоящего Жеронта. Но в сцене, когда Скапин объявляет ему, что турок захватил его сына и требует за него выкупа, Рыкалов превзошел мои ожидания: все, что я прежде ни слышал о превосходной игре его в этой сцене, ничего не значило в сравнении с тем, что я увидел. Как уморительно смешно было его отчаяние! с какою забавно-жалобною миною развязывал он кошелек свой, повторяя беспрестанно эти известные восклицания: «Да зачем черт его на галеру-то носил? О, проклятый турка! о, проклятая галера!» Как мастерски сыграна им сцена, в которой

---

[1] Автор «Дневника» думает теперь иначе и просит извинения за неосновательные суждения молодого чиновника о великом Мольере. (*Позднейшее примеч.*)

[2] По преимуществу (*франц.*).

Скапин прячет его в мешок и потчует палочными ударами! Сначала его нетерпеливые движения и корчи в мешке, потом удивление и ужас его при открытии обмана и, наконец, бешенство, с каким он, избитый, вылезает из мешка и преследует Скапина,— все это выражено Рыкаловым превосходно и с необыкновенною верностью. Я теперь понимаю, почему старые французские актеры отзываются о нем с таким уважением: он им передает Мольера «à la Préville» [1].

Роль Скапина играл Прытков довольно развязно; но быть развязным на сцене и быть настоящим Скапином, как Рыкалов был настоящим Жеронтом,— большая разница. Сказать откровенно, роль Скапина Прыткову не по силам: Прытков был бесцветным плутишкою, когда надобно было быть отъявленным, дерзким плутом, то есть иметь тот бесстыдный взгляд, ту решительную походку, ту наглую поговорку, которая всегда отличает первоклассных плутов. Для роли Скапина, кажется, у нас единственный актер — Сила Сандунов. Я воображаю, как бы этот молодец, так всегда превосходный в ролях плутоватых слуг, отличился в роли Скапина и как бы он был под пару Рыкалову; но в том-то и беда, что у нас (впрочем, как и везде, кроме Французского театра в Париже) соединение на одной сцене первоклассных талантов невозможно.

О прочих актерах, игравших в пьесе, сказать нечего: их роли ничтожны; но желательно было бы видеть в роли молодого любовника кого-нибудь поразвязнее Щеникова: неужели же он сладит с ролью в «Магомете», которого надеюсь увидеть в пятницу? Что-то не верится.

Во все продолжение спектакля один старичок, седой как лунь, сидевший в первом ряду кресел, обращал на себя беспрерывное внимание участием, которое громогласно изъявлял к действующим лицам. Покажется ли на сцену Рыкалов, и вот старичок заговорит: «Вишь, какой старый скряга, вот ужо тебе достанется!» Начнет ли свою сцену Прытков, и старичок тотчас же встретит его громким приветствием: «Экой мошенник! экая бестия! вот уж настоящий каторжник!» При палочных ударах Скапина Жеронту в мешке старичок помирал со смеху, приговаривая: «Дельно ему, дельно; хорошенько

---

[1] В духе Превиля (*франц.*).

его, хорошенько старого скрягу!» Но при появлении на сцену Болиной, игравшей роль цыганки, выходка старичка произвела общий взрыв необыкновенной веселости и аплодисментов: «Ах, какая хорошенькая! То-то лакомый кусочек! Кому-то ты, матушка, достанешься?» При выходе из театра я любопытствовал узнать, кто этот старичок, так бесцеремонно думающий вслух. Мне сказали, что это действительный статский советник Полянский, человек, принадлежащий к высшему обществу, богатый и очень уважаемый за доброту души и благонамеренность, но, по старости лет, никуда не выезжающий, кроме спектаклей, в которых он бывает ежедневно, попеременкам: то в русском, то во французском, а иногда и в немецком, когда играет Линденштейн, и всюду получаемые им впечатления разделяет со всей публикой.

24 апреля,
среда.

Вместо немецкого театра попал к Рахманову и вечер провел у него вместе с Вельяминовым. Они оба в больших заботах о своем «Орфее»: примут ли его на театр? кому петь Эврндику? Рахманов полагает, что для партии Эвридики голос Самойловой низок. Я объявил ему, что скоро на русской сцене будет дебютировать в роли Зетюльбы дочь какого-то француза-гитариста, Фодор, девка знатная, кровь с молоком, у которой, говорят, голос огромный; следовательно, ему и беспокоиться не о чем: Орфей есть — и Эвридика будет. Рахманов был в восхищении от этой новости и добивался, от кого я слышал. «От кого же другого я мог ее слышать,— отвечал я,— как не от друга моего Кобякова, который, как настоящая театральная ищейка, все знает, что происходит за кулисами, и, надобно отдать ему справедливость, сведения его всегда верны».—«Ну, так и я тебе скажу добрую новость,— сказал Рахманов,— я, наконец, добыл себе „Псаммит Архимеда“».— «Это что такое?» — «Это, братец ты мой, исчисление песку в пространстве, равном шару неподвижных звезд,— книга, которой я здесь на французском языке отыскать не мог и которую уступил мне Гурьев». Радуюсь приобретению Петра Александровича, не зная, впрочем, к чему это исчисление песку служить может: не при мне писано.

Толковали о вчерашнем спектакле и об игре Рыкалова. Рахманов видел «Les fourberies de Scapin» в Париже и в роли Скапина превозносит Дазенкура, с которым был знаком и о котором отзывается с энтузиазмом. «На сцене это воплощенный бес,— говорит он,— но вне сцены умный, ученый и солидный человек, каких мало встречаешь в обществе». Слава Дазенкура началась со времени представления «Севильского цирюльника» Бомарше, и вот каким образом: когда, после многих долговременных и бесполезных домогательств всего парижского общества и самого Бомарше о дозволении представить par les comédiens ordinaires du roi [1], как называли тогда актеров французского театра, комедию «Севильский цирюльник», двор наконец согласился даровать это дозволение, Бомарше распределил роли своей пьесы всем первоклассным актерам и, между прочим, роль цирюльника назначил знаменитому Превилю; но Превиль был француз старого покроя, un français de la vieille roche, простодушный, честный и добросовестный человек; он выучил и даже репетировал роль на сцене, но чувствовал, что лета лишили его надлежащей энергии для успешного исполнения пред взыскательною публикою этой роли, требующей, по его понятиям, кроме глубоких соображений, молодости, силы и свежести звучного органа, и потому решился объясниться с Бомарше. «Послушайте,— сказал он ему,— верите ли вы мне и хотите ли, чтоб ваша комедия имела успех?» — «Кто ж не поверит Превилю? — отвечал Бомарше,— и какой же автор не пожелает успеха своей пьесе?» — «Так позвольте мне передать роль мою — не удивитесь!— Дазенкуру».— «Как Дазенкуру? Да он и не sociétaire [2] ваш, а покамест на жалованье; он даже не дублер ваш, а третий по старшинству занимаемого амплуа».— «В том-то у нас и вся беда, что покамест иному старому черту, главному в амплуа, не вздумается отойти ad patres [3], молодой талант должен гибнуть в неизвестности и часто пропадать без занятия. Могу вас честью удостоверить, что для роли вашего цирюльника другого актера, подобного Дазенкуру, не родилось еще

---

[1] Ординарными королевскими комедиантами (*франц.*).
[2] Постоянный член труппы (*франц.*).
[3] К праотцам (*лат.*).

во Франции. Теперь решайте сами, кто из нас играть должен: я или Дазенкур; я сделал свое дело и за последствия отвечать не буду; je m'en lave les mains [1]. Но, чтоб доказать вам, что объяснение мое с вами было следствием одного только уважения к вашему труду, а не других, посторонних побуждений, в которых нас, старых актеров, так часто упрекают, то в случае передачи роли Фигаро Дазенкуру я вызываюсь принять на себя самую незначительную роль в вашей пьесе и надеюсь дать ей замечательную физиономию».

Бомарше передал роль цирюльника Дазенкуру и не имел повода в том раскаиваться: он сыграл ее мастерски и с тех пор сделался любимцем публики. Спустя несколько времени стареющийся Превиль все лучшие роли свои разделил между ним и Дюгазоном, оставив себе только небольшие, считавшиеся ничтожными роли, которые, как, например, роль Бридоазона, отделывал он с неизвестным до него искусством.

25 апреля,
четверг.

Гаврила Романович удивлялся, что я с первого дня праздника у него не был. «Я думал, что в самом деле не занемог ли ты, а ты рыскаешь по театрам!» Я не выдержал и рассказал ему в с е. «Только-то? — спросил он, усмехнувшись.— Ну, это еще не беда: вперед наука. Между тем изготовь-ка что-нибудь к хвостовской субботе, а завтра вечером предварительно мне прочитай». Я предложил ему на выбор «Бардов» или новое стихотворение «Осень», только просил увольнения от завтрашнего вечера по случаю именин моих и потому что сбираюсь в театр смотреть «Магомета». «Ну так в субботу приходи обедать, а там и поедем вместе к Хвостову».

В Коллегии сказывали, что какой-то неважный чиновник, Коженков, в припадке бешеной ревности зарезал жену. Опамятовавшись, он бросился в полицию и сам объявил о своем преступлении, прося поступить с ним по законам и не извиняя себя никакими обстоятельствами. Говорят, что этот новый Отелло отчаянием

[1] Я умываю руки (*франц.*).

своим возбуждает невольное сострадание, тем более что жена его, по сделанному исследованию и показанию соседей, вовсе не похожа на Дездемону.

Заходил к Гнедичу пригласить его завтра на скромную трапезу: угощу чем бог послал. Пригласил бы и Яковлева, если б он не играл. Во всяком случае, несмотря на мое одиночество, найдутся люди разломить пирог над головою именинника. Отпраздную тезоименитство свое по преданию семейному: иначе было бы дурное предзнаменование для меня на целый год.

А между тем в обществах заметно какое-то беспокойство: вести из главной квартиры государя неутешительны. По милости немцев армия наша нуждается в продовольствии, и англичане отказали не только в обещанном количестве войск, но даже и в условленных для наших союзников денежных субсидиях. Говорят, что шведский король так огорчился этою недобросовестностью, что не хочет посылать десанта и входит в переговоры с Бонапарте. Ай да союзники!

26 апреля,
пятница.

Мне очень хотелось узнать, нет ли здесь церкви или хотя придела во имя св. Стефана, чтоб отслушать обедню и отслужить святому просветителю Перми молебен, но, к сожалению, по всем справкам, ни церкви, ни придела во имя его не оказалось; я слушал обедню в Казанском. Недаром вчера в Коллегии добрый контролер наш Федор Данилович, который признается за лучшего статистика по части церквей, монастырей и всего принадлежащего к духовному ведомству, советовал не терять времени в пустых расспросах, сказав решительно: «Уж если я говорю: нет, так верно и не сыщешь; да и в Москве-то у вас, кроме церкви Спаса, что на Бору, где почивают мощи святителя и где учреждено в память его празднество, других церквей и приделов во имя его нет».

Именинное «учреждение» мое хоть куда: трапеза исполнена и телец упитанный есть. Граф Монфокон, Гнедич, Юшневский, Хмельницкий, Вельяминов и Кобяков — приглашенные гости; а пожалует кто еще невзначай — милости просим: не отпустится тощ. Попируем

во славу и воспоминание Московского университета, а там и в театр.

Гаврила Романович, которому вчера я неосторожно намекнул о своих именинах, присылал поздравить. Боюсь, чтоб он не подумал, что я напросился на это поздравление. Недельки три назад вспомнили бы меня и другие-прочие! Досадно...

27 апреля,
суббота.

«Умеренность — лучший пир»,— сказал Державин в стихотворном приглашении своем к обеду. Нет сомнения, что афоризм выражен прекрасно. Но я, виноват, не очень его понимаю: что кажется умеренным одному, то для другого казаться может излишеством, а для третьего сущим недостатком. Все это относительно и трудно для определения. По-моему, вчерашняя трапеза моя была очень умеренна: именинный пирог, щи, окорок ветчины да часть телятины; но для моего Кобякова она казалась роскошною; а попотчуй я такими же блюдами его дражайшего родителя, избалованного роскошью измайловского стола, он, наверно бы, сказал: «Жить не умеет; обед у него как на постоялом дворе».

Как бы то ни было, только гости мои были очень довольны, не исключая и старого эмигранта, который уверял, что наелся на неделю. Время провели в разговорах и рассказах. Добрый Гнедич все свысока: удивлялся, как мог я с удовольствием смотреть на «Скапиновы обманы»; добро бы на «Мизантропа», «Тартюфа» и прочие пьесы de caractère, а то площадный фарс — фи! Вот поди толкуй с ним! В качестве хозяина я не хотел возражать Гнедичу, но Хмельницкий вступился за комедию и очень забавно доказывал, что смеяться гораздо приятнее, чем зевать.

Была речь и о «Магомете», Гнедич негодовал, что Магомета, Омара и Сеида костюмируют турками, тогда как они просто арабы-бедуины и, следовательно, должны быть одеты бедуинами. Граф Монфокон вслушивался и, верный преданиям французского театра, вступился за костюм Магомета, присвоенный ему первоначальным исполнителем роли, Лекеном. «Это очень хорошо было в свое время,— сказал Гнедич,— и лучше,

нежели бы Лекен играл Магомета во французском кафтане; но теперь, с развитием образованности, усовершенствованиями театральной сцены и сценических принадлежностей, турецкий костюм Магомета — такая же непростительная несообразность, как если б, следуя прежнему обычаю, надеть на Агамемнона огромный напудренный парик и затянуть Федру в длинный корсет и фижмы».— «C'est incontestable,— подхватил старый француз, засмеявшись,— et pourtant j'ai bien vu de mes propres yeux m-lle Duclos jouer Electre avec une robe ronde à queue, des paniers et une coiffure á trois étages, poudrée et couronnée de fleurs; et pour vous dire tout, messieurs, c'est moi qui lui avait fourni la robe» [1]. Мы померли со смеху.

В театр отправились мы вместе с Кобяковым и чуть-чуть не опоздали к началу. Я очень удивился, когда по поднятии занавеса вместо палат Зопировых увидел на сцене морской берег, множество народа в древнеирландских костюмах, Самойлова с арфою в руках и Семенову на каком-то возвышении, окруженную толпою молодых подруг. «Петр Николаевич, что это такое?» — «Это „Фингал“».— «Но ведь назначен был „Магомет“?» — «Видно, переменили спектакль по болезни кого-нибудь из актеров». И прекрасно! «Магомет» впереди, а теперь посмотрим на «Фингала», которого я еще не видал.

«Фингал», по мнению Мерзлякова, трагедия плохая; он говорил — а ему можно верить,— что Озеров, как школьник, написав «Фингала» после «Эдипа», спустился с первой лавки на последнюю. Но я, собственно, интересовался не самою трагедиею, а игравшими в ней Шушериным, Яковлевым и Семеновою. Они все трое играли хорошо; но из них Шушерин лучше всех, потому что в занимаемой им роли есть страсть, жажда мщения, которою он мог воспользоваться, чтоб дать роли своей надлежащую физиономию; между тем как из ролей Фингала и Моины, персонажей страдательных и бесцветных в самой взаимной любви своей, едва ли что можно было сделать другое, кроме того, что сделали

[1] «Это бесспорно, и однако я хорошо видел собственными глазами, как м-ль Дюкло играла Электру в роброне с кринолином и со шлейфом, с фижмами и в трехэтажной прическе, напудренная, увенчанная цветами; и признаться, господа, это платье достал ей я» (*франц.*).

Яковлев и Семенова, то есть прекрасно читали прекрасные идиллические стихи и обворожили зрителей прелестью своей наружности. В самом деле, Яковлев в роли Фингала может служить великолепным образцом художнику для картины: это настоящий вождь Морвена; черты лица, стан, походка, телодвижение, голос — все было очаровательно в этом баловне природы. Что ж касается до искусства его в роли Фингала, то, мне кажется, оно заключалось в одном отсутствии всякого искусства: он играл с одушевлением и непринужденно, как и следовало играть роль «доброго малого» Фингала, который пороху не выдумал и которого, по собственному его сознанию,

...Искусство все бесстрашным быть в боях...—

но затем и баста. В продолжение всей пьесы я заметил одну только сцену, в которой Яковлев был истинно превосходен, потому что, видно, нашел ее достойною того, чтоб над нею потрудиться. Это сцена спора, когда Фингал упрекает Старна в недобросовестности:

Царь, изменяешь ли ты слову своему:
Коль нам не верить, царь, то верить ли кому? —

и затем ответ его на угрозу Старна: «Ты в областях моих!» —

Я здесь не в первый раз!

Это полустишие сказано было Яковлевым с такою энергиею, что у меня кровь прихлынула к сердцу. За это полустишие, которым он увлек всю публику и от которого застонал весь театр, можно было простить гениальному актеру все его своенравие в исполнении прочих частей роли Фингала.

Семенова — красавица, Семенова — драгоценная жемчужина нашего театра, Семенова имеет все, чтоб сделаться одною из величайших актрис своего времени; но исполнит ли она свое предназначение? Сохранит ли она ту постоянную любовь к искусству, которая заставляет избранных пренебрегать выгодами спокойной и роскошной жизни, чтоб предаться неутомимым трудам для приобретения нужных познаний? Не слишком ли рано нарядилась она в бархатные капоты, облеклась в турецкие шали и украсилась разными дорогими погремушками? Сколько я от всех слышу, да и сам частью испытал на репетиции «Димитрия Донского»,

когда она так грубо отпотчевала меня своим высокомерным «чего-с?»,— в ней недостает образованности, простоты сердца и той душевной теплоты, которую французы разумеют под словом «aménité» [1]; а эти качества, за малым исключением, всегда бывают принадлежностью великих талантов. Семенова прекрасно сыграла Моину, бесподобно играла Антигону и Ксению, но этих ролей недостаточно, чтоб положительно судить о решительной будущности ее таланта. Эти роли могла играть она по внушению других: бывали же у нас актрисы, которым, по безграмотству их, начитывали роли, но которые, однако ж, имели успех, покамест не предоставляли их самим себе. Милая Семенова, вы, бесспорно, красавица, бесспорно, драгоценная жемчужина нашего театра, и вами не без причины так восхищается вся публика; но скажите, отчего я, профан, не плачу, смотря на игру вашу, как обыкновенно плачу я по милости товарища вашего, Яковлева?..

Но время к певцу Фелицы, чтоб до обеда успеть прочитать ему мою «Осень» или, скорее, «Осень» мистрис Робинзон, которую переделал я на свой лад.

28 апреля,
воскресенье.

Вечер А. С. Хвостова не дается, как клад, и отложен опять до будущей субботы, по внезапному нездоровью хозяина.

Гаврила Романович был очень доволен моею «Осенью», но заметил, что в «Бардах» больше воображения и силы. Разумеется, так: в этой небольшой поэме столько такой разнообразной чухи, какой не отыщешь и в сочинениях самого Семена Сергеевича Боброва, сумбуротворца по преимуществу.

Сегодня у графа А. Н. Салтыкова по какому-то случаю танцевальная вечеринка. Молодая хозяйка любит повеселиться и потанцевать, и это очень естественно в такой пригожей и любезной женщине; жаль только, что, за отсутствием гвардии, теперь в городе мало хороших танцоров, и чтоб помочь горю, граф Соллогуб набирает из статских «мастеров бального дела»; но,

---

[1] «Приветливость» (*франц.*).

кажется, набор не очень удается: все заумничали и лезут в серьезные и деловые люди.

29 апреля,
понедельник.

Из Коллегии ездил с запоздалыми визитами: был у Ададуровых и Воеводских. Анна Ивановна пополнела, а Катерина Петровна, мне кажется, еще более похорошела. У первой застал обер-гофмейстера Тарсукова, свояка известной Марьи Савичны Перекусихиной, первой и любимой камер-фрау императрицы Екатерины II. Он очень богат, и это состояние наследовала жена его после смерти сестры. Говорят, что ей досталось одних только брильянтов и жемчугов на полмильона. Анна Ивановна тоскует о друге своем, Протасове, который находится в походе вместе с полком конной гвардии. Понимаю это чувство: привычка — великое дело. Воеводская же рассказывала, что она не чувствует ног под собою: протанцевала у графини Салтыковой целую почти ночь и приехала домой на рассвете! Я советовал ей беречь себя и красоту свою, которая от неумеренных танцев и особенно от ночей, проведенных без сна, пострадать может. «А на что мне красота? — возразила она.— Я замужем и прельщать никого не намерена. Годом прежде, годом после, а все же надобно будет подурнеть и состариться: по крайней мере, пока время не ушло, напрыгаюсь и навеселюсь вдоволь, а там и примусь за нравоучения своим детям». Это в своем роде также логика. Я спрашивал, справилась ли с кавалерами? «Множесто их было,— отвечала она,— и всякого разбора; ловких и неловких; но для меня все равно, какие эти господа ни были бы, лишь бы шаркали по паркету». Ну, и это дело, подумал я. Следовательно, «Vous n'êtes pas pour les grands sentiments?» [1] — спросил я опять премилую мою хозяйку.

«Eh, mon dieu, monsieur, je n'ai jamais-étudié la métaphysique, et en vérité, je ne sais pas à quoi peuvent ils sérvir» [2]. После этой выходки для меня все стало

---

[1] «Вы не поклонница высоких чувств?» (*Франц.*)
[2] «Ах, мосье, я никогда не изучала метафизики и, право, не знаю, на что они нужны» (*франц.*).

ясно как день, и я вышел от красавицы с новыми познаниями в физиологии женщин. «Courte et bonne»,— говорят французы; «Kurz, aber lustig» [1],— повторяют немцы; а какой смысл дать этим фразам на русском языке — я еще не придумал.

30 апреля,
вторник.

Забыв, что мой гасконец католического исповедания и что он не может быть сегодня именинником, я пришел поздравить его, как водится, со днем ангела и принес ему большую банку варенья полевой клубники, здесь мало известного, которое так ему нравилось в Липецке. Старик очень обрадовался вниманию моему, а также, думаю, и варенью и тотчас спрятал его в свой кабинетный шкап, объявив дочерям и внучке, что им не удастся отведать из него ни ягодки; а барышни напустились на меня, зачем я не отдал этого варенья им, потому что старик в один день все съест и после оттого занеможет: «Comme si vous ne connaissiez pas notre cher papa!» [2] Но делать было нечего: подслужился невпопад.

Лабаты танцевали также третьего дня у графини Салтыковой и рассказывали о подвигах Катерины Петровны. «Croyez vous,— говорили они,— qu'elle n'a pas quitté le parquet depuis 10 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin et puis toujours gaie, prévenante et aimable. En vérité, c'est un ange» [3]. Я объявил, что вчера провел у нее больше часу, и пересказал им весь наш разговор. «Oui, oui,— подхватили они,— c'est elle-même [4], ни лучше, ни хуже, как ее создал бог». Я оставил их в этих мыслях и не договорил того, что я думаю.

Завтра гулянье в Екатерингофе. Мне очень хочется сравнить его с нашим московским гуляньем 1 мая в Сокольниках. Говорят, что нынешний год оно будет бедно как щегольскими экипажами, так и кавалькадами, по-

---

[1] «Коротко и хорошо»; «коротко, но весело» (*франц.* и *нем.*).

[2] «Как будто вы не знаете нашего папеньки!» (*Франц.*)

[3] «Поверите ли, что она не сходила с паркета от 10 часов вечера до 5 утра и была все время весела, любезна и мила. Это прямо ангел» (*франц.*).

[4] Да, да, это она, как есть (*франц.*).

тому что гвардия в отсутствии, и что смотреть нечего. Нужды нет: надобно побывать из любопытства.

1 мая,
среда.

Екатерингофское гулянье в сравнении с сокольницким то же, что здешняя толкотня в лазареву субботу по линии Гостиного двора в сравнении с гуляньем на Красной площади в Москве: узко, тесно, бедно и неуклюже. Нарядных экипажей и охотничьих упряжек нет, а о богатых барских палатках, которые бы служили сборным местом для лучшего общества, как это бывает в Сокольниках,— нет и помину. Вместо трех-четырех таборов удалых цыган, вместо нескольких отличных хоров русских песенников и роговой музыки, расставленных там и сям по сокольничей роще на полянках, ближайших к дороге, по которой движутся ряды экипажей, в Екатерингофе красуются одни питейные выставки, около которых толпится народ, а по местам сереют запачканные парусиновые навесы и полупалатки — приют самоварников; при некоторых из этих походных трактиров поются песни и слышится по временам рожок или кларнет; но хриплые, давленые голоса и сиплый дребезжащий звук вполовину расколотого инструмента отнимают охоту наслаждаться такою музыкою.

Пробираясь лесом все дале и дале, мы, наконец, пришли к деревушке, состоящей из ряда небольших однофасадных домишек в три окошка на улицу. Эта деревушка называется Екатерингофскою слободкою и, кажется, есть le nec plus ultra [1] гулянья, потому что вереница экипажей от нее поворачивала в обратный путь. Все окна в домишках были отворены настежь, и проходящие могли видеть все, что происходило в комнатах; а происходило в них то, что большею частью происходит у хозяев, угощающих приятелей, наехавших к ним по случаю гулянья, то есть попойка. Проходя мимо одного домишка, вросшего почти в землю, я вдруг увидел предлинную и прехудощавую фигуру, которая, высунувшись из окна, схватила без церемонии за воротник друга и вожатого моего, Кобякова, и с громким воск-

---

[1] Предел (*лат.*).

лицанием: «sta viator!»[1] потащила его себе в окошко, приговаривая: «Так-то, приятель, мимо проходишь, к нам не заходишь; все бы тебе к актерам и актрисам; нет, любезный, теперь не вывернешься».— «И рад бы, Левонтий Герасимыч, да нельзя: я не один»,— пропищал мой Кобяков. «С кем же ты? с актером, что ли, каким?» — «Нет, с земляком, который недавно здесь и в Коллегии служит».— «Так и его проси».— «Да он, может, не пойдет».— «Ну так притащи его».— И вдруг, оборотясь ко мне, Левонтий Герасимыч закричал: «Гей, милостивый государь, как ваше имя и отчество — не знаю! покорнейше прошу сделать мне честь пожаловать на стакан пуншу: не то я земляка вашего задушу». Видя, что народ собирается около нас, и опасаясь скандалу, я решился идти на выручку Кобякова, у которого такие приятные и бесцеремонные знакомцы, и сказал, что зайду с удовольствием. Услышав это, Левонтий Герасимыч ослабил железную свою лапу и освободил моего карапузика.

Мы вошли в комнату: с полдюжины гостей сидели развалившись, кто на софе, кто на креслах, и потягивали пуншик. В числе их был один барин, довольно плотный, с красным угреватым лицом, в синем, выложенном черными шнурками казакине, шелковом пестром, канареечного цвета жилете и широких плисовых шарварах, который бренчал на какой-то балалайке особенной конструкции, припевая себе под нос. Все пальцы пухлой руки его изукрашены были кольцами и перстнями разных величин и фасонов. «Это знаменитый Хрунов»,— шепнул мне Кобяков, как бы желая приятно удивить меня. «Кто Хрунов: хозяин или барин с балалайкою?» — «Барин с балалайкой».— «Чем же знаменит он»?» — «А вот увидишь».

Между тем долговязый хозяин явился с несколькими стаканами горячего пуншу и прямо к нам: «Милости просим выкушать!» Товарищ мой схватил стакан, но я попросил увольнения, потому что неохотно пью пунш, да и запах родимой горелки как-то неприятно подействовал на мое обоняние. «Отчего же вы не пьете?» — «Признаюсь, не люблю».— «Не хотите ли мадеры?» — «Нет, благодарю покорно».— «Да, впрочем, мадеры-то у меня и нет; не хотите ли лучше шампанского?» —

[1] «Стой, путник!» (*Лат.*)

«Извините; что-то не хочется».— «У меня и шампанского нет; но, может быть, вы любите сладкие напитки, малагу например?»— «За обедом иногда пью».— «Ну и малаги нет у меня. Чем же просить вас?» — «Не беспокойтесь: право, ничего не хочется».— «Да надобно же выпить что-нибудь». Тут приставив указательный палец ко лбу и как бы спохватившись: «Знаете ли вы,— сказал он,— у меня есть отличный квас: не выпить ли квасу?»— «Квасу выпью с большим удовольствием,— отвечал я,— это мой обыкновенный напиток». И вот услужливый хозяин мой побежал за квасом, но чрез несколько минут возвратился с извинением, что квас весь вышел, но зато есть свежая колодезная вода, которую многие предпочитают невской, и потому он советует мне выпить хоть воды. Разумеется, я согласился на воду, едва-едва удерживаясь от смеха.

Обнеся собеседников пуншем, Левонтий Герасимыч обратился к «знаменитому», по словам Кобякова, Хрунову с просьбою потешить новоприбывших гостей песенкою: «Уж не откажите, Матвей Григорьич, не откажите; ведь нечасто нам выдаются оказии вас послушать».— «Почему ж и не так? — отвечал Хрунов очень самодовольно,— нас достанет для всех: для вас и для вашего частного пристава, у которого сегодня, после гулянья, я должен быть на банкете». И вот «знаменитый» Хрунов, ударив по струнам своей балалайки так сильно, что они чуть не лопнули, запел знакомую песню «Барыня, барыня», но с припевами, как видно, собственного сочинения и такими оригинальными приговорками, что невольно заставил нас внимательно его слушать. Сначала играл и пел он довольно тихо, но по мере того как входил, по выражению хозяина, «в пассию», игра его, пение и поговорки становились все бойчее и бойчее, так что под конец он, вскочив с кресел, начал сперва притопывать ногою в каданс и потом, постепенно оживляясь, как шаман, пустился из всей мочи в пляс, приговаривая на виршах всякий вздор о себе и о других, какой только мог ему прийти в голову:

А Хрунов, сударь, Хрунов
Из числа больших врунов.
Барыня, барыня!
У Хрунова ни гроша,
Зато слава хороша.
Барыня, барыня!
У Хрунова нет родни:

Лишь измайловцы одни.
Барыня, барыня!

Между тем начинало смеркаться, и меня подмывало домой. Я напомнил товарищу, что в гостях как ни хорошо, а дома лучше, и звал его в обратный путь; но хозяин, заметив наши сборы, предложил закуску: «Ведь надобно же закусить на дорогу: котлетку, например, или цыпленочка — что полегче; правда, котлет у меня не стряпают, да и цыплят нет; зато есть славная колбаса и жареный глухарь: покорнейше прошу, сейчас подадут». Но я на этот раз остался глух к приглашению и, несмотря на явное желание Кобякова отведать колбасы и глухаря, увел его от оригинального обитателя Екатерингофской слободки.

Дорогою Кобяков рассказал мне, что титулярный советник Леонтий Герасимыч Максютин — его сослуживец и занимает должность столоначальника в Военной коллегии; что он очень любим начальством за свою деятельность и сверх жалованья получает ежегодное награжденье. «Человек очень хороший,— прибавил Кобяков,— но престрашный чудак. Недавно женился на мещанке, дочери лавочника, которая принесла ему в приданое тот самый домишко, где он угощал нас, и тысяч пять рублей деньгами. Вот ему теперь и черт не брат».— «Ну, а Хрунов что за птица?»— «Хрунов не только певец и плясун, но и главный полковой актер, отличавшийся в роли Самозванца [1]. Он из солдатских детей, служил унтер-офицером в Измайловском полку, теперь в отставке; поет, пляшет и составляет необходимую принадлежность вечеринок офицеров Измайловского полка и даже самого шефа этого полка, генерала Малютина [2]. Малой разбитной: его весело слушать».

Я не хотел возражать, потому что о вкусах не спорят.

---

[1] Полковые спектакли на святках и на масленице бывали очень любопытны. Обыкновенно игрались трагедии, и чаще других «Димитрий Самозванец» — пьеска, преимущественно любимая солдатами. В ней можно было встретить иногда Ксению с усами и Георгия двух аршин тринадцати вершков ростом.

[2] Генерал-лейтенант Малютин и шеф лейб-гусарского полка Андрей Семенович Кологривов были известные bons vivants (гуляки, *франц.*) в русском духе. В тогдашнее время о них говорили: «Кто у Малютина пообедает, а у Кологривова поужинает и к утру не умрет, тот два века проживет». (*Позднейшее примеч.*)

3 мая,
пятница.

Борис Ильич пригласил меня вчера на взморье поохотиться на уток. Я согласился единственно из любопытства и от нечего делать, вовсе не считая на потешную охоту и не полагая, по словам самого Бориса Ильича, найти много дичи около берегов Финского залива. «Таскаешься, таскаешься целый день, да и убьешь чирка»,— сказал он мне еще прошедшею зимою. Однако ж, на мое счастье, мы охотились довольно удачно: убили несколько пар разной дичи и поймали тюленя, а главное время провели не скучно.

После простого, но сытного обеда у доброго казначея мы сели в коллежский катер, запасшись графинчиком водки, несколькими бутылками квасу и холодною закускою, и отправились из коллежского дома по теченью Невы. Обогнув Васильевский остров и миновав Вольный и Крестовский острова, гребцы наши поставили парус и не более как в час времени достигли того места на берегу залива, где обыкновенно останавливается Борис Ильич для охоты и где построил он на свой счет шалаш, стоивший ему «около семи рублей». По выходе из катера мы прошли сажен двести вдоль по берегу и засели в кустах ожидать приближенья к нам уток, которых множество плавало по заливу, но так далеко, что выстрелы наши долететь до них не могли, и, вероятно, пришлось бы нам долго дожидаться их приближенья, если б, по счастью, другие охотники, разъезжавшие на лодках и елботах по взморью, выстрелами своими не прогнали птиц под самые наши выстрелы. Я убил двух уток, а Борис Ильич и один из гребцов застрелили по одной. Бывшая с нами легавая собака очень ловко перетаскала их из воды на берег; но тут между нами возникло недоразуменье: в числе четырех убитых птиц находилось два нырка, которыми пренебрегают охотники по их отвратительному рыбному запаху; кто убил этих нырков, по которым добрые охотники даже и не стреляют? Разумеется, вся вина пала на меня, потому что, видишь, я «не здешний и петербургская орнитология мне незнакома»; а так как для меня это было совершенно все равно, то я охотно и согласился быть виноватым. Вскоре поднялась еще ватага уток со взморья и пролетела почти над нашими

головами; мы дали залп, и еще три птицы повалились к ногам нашим — все они были хорошего сорта. Возвращаясь из нашей засады к катеру, Борис Ильич, к великому своему удовольствию, застрелил пару куличков, а я дрозда, который на беду свою порхал над кустарником.

На обратном пути, заметив, что у одного из заколов на взморье стоял катер и закидывалась тоня, мы подъехали к нему, любопытствуя узнать, начался ли улов лососей, как вдруг с плота послышался голос: «Это вы, Борис Ильич? Откуда?» — «А! это вы, Матвей Григорьич? Вы как здесь очутились?» — «Да вот видите: плотно пообедали и трохи подгуляли, так приехали поосвежиться. Вы с охоты?» — «С охоты, и довольно счастливой: парочкой уточек и вам служить будем».— «Благодарим на приязни; а вот мы четвертую закидываем — ни молявки». — «Так и быть должно: лososкам пора еще не пришла».— «Да выйдьте к нам, Борис Ильич, на стаканчик шапманеи. Кто там еще с вами?» — «Приятель-сослуживец; я сегодня охотился его счастьем».— «Ну, так милости просим; авось его счастьем и нам попадется что-нибудь».

Мы взошли на закол; нам тотчас же поднесли по стакану шампанского и подали в корзине хлеба, сыру и ветчины для закуски. Вечер был тихий и ясный. Все взморье представляло вид огромного, гладкого зеркала. Не умею выразить, как подействовало на меня это очаровательное однообразие необозримой массы вод и эта ничем почти не возмущаемая тишина. В первый раз в жизни удалось мне видеть такую картину...

«А что, Борис Ильич, не закинуть ли нам тоню на счастье вашего сослуживца? — сказал Матвей Григорьевич и потом, обратившись ко мне, спросил:— Позволите?» Я отвечал, что готов поделиться с ним своим счастьем, но прежде желал бы испытать сам удачи и закинуть тоню собственно для себя. «Ну так с богом! прежде вам, а после нам».

Между тем рыбаки вытащили закинутую уже тоню, в которой ничего не нашлось, кроме двух или трех мелких корюшек, и немедля стали завозить невод для меня. Покамест продолжалась эта завозка, Матвей Григорьевич потчевал опять шампанским, до которого, кажется, был большой охотник, и, наконец, приказал поставить самовар, спросив предварительно: «Не позабыли ли

взять с собою рому?» — «Все есть,— откликнулся бойкий малый лет двадцати,— и ром, и водка; ничего не забыли».— «Ин ладно!»

Но вот рыбаки начали выбирать на плот мою тоню и что-то перешептываться между собой. Я спросил их, о чем говорят они. «Да что-то не в меру тягостно. Лоскам лову большого нет: попадется один, много два; думаем: не осетр ли?» Услышав об осетре, все бросились к неводу и с любопытством стали ожидать выгрузки мотни с возвещенным осетром. Однако ж общие ожидания не сбылись, и «на счастье» мое вытащена была не красная рыба, а серый, прежирный тюлень.

Все захохотали, но я вовсе не тужил: во-первых, я рад был случаю увидеть тюленя, о котором только по картинкам имел некоторое понятие; а во-вторых, хотя бы и осетр был пойман, то все же он, по принятому правилу, должен был принадлежать не мне, а хозяину закола.

Последняя закинутая тоня была на мое счастье, но в пользу Матвея Григорьевича, и на этот раз он не имел причины жаловаться на неудачу: вытащили довольно разной рыбы: сигов, окуней, ершей и, между прочим, двух угрей, которых я также прежде не видывал. Старые приятели разделили тоню между собою, и после двух-трех стаканов пунша мы отправились по домам, потому что был уже первый час ночи.

Дорогой спросил я Бориса Ильича, кто такой этот Матвей Григорьевич и с кем он был на тоне. «Это известный Валежников,— отвечал он,— имеющий дела с Комиссариатом и Провиантским департаментом, большой приятель Перетца, а товарищи его, кажется, комиссариатские или провиантские чиновники; он человек очень хороший и знает свое дело».— «А кто ж такой Перетц?» — «Перетц — богатый еврей, у которого огромные дела по разным откупам и подрядам и особенно по перевозке и поставке соли в казенные магазины». «Ну,— подумал я,— это должен быть именно тот, о котором говорят: где соль, тут и перец».

4 мая,
суббота.

Сейчас от Александра Львовича. Удивительный человек! С ним время проходит незаметно. Застал

у него Бантыш-Каменского, обыкновенного его спутника в утренних прогулках, и плешивого Константинова, который считается последнею отраслью великого Ломоносова. Александр Львович сетовал, что нынешний год корабли с устрицами опоздали, потому что Нева вскрылась слишком поздно. «Да уж мне эта Нева! — подхватил Константинов.— Я проиграл в Английском клубе два заклада на нее, проклятую; осенью держал пари, что она станет не прежде четвертого ноября, а нынче, великим постом, что вскроется прежде двадцатого апреля, и, к несчастью, не случилось ни того, ни другого. Кто ж мог предвидеть, что эта капризница в первом случае поспешит, а в другом опоздает? Я так несчастлив, что на беду мою изменяются и самые законы природы».

Вскоре приехал Павел Михайлович Арсеньев, поклонник Крюковского, и стал уверять при всех, что его трагедия «Пожарский», которая будет представлена на театре в конце этого месяца, первая трагедия в свете. Некстати было возражать ему, а признаюсь, сердце порывалось на спор, потому что Павел Михайлович хотя и добрый человек, но городит ахинею, как пьяный школьник.

Александр Львович сказал мне: «Je crois que vous êtes accablé d'affaires du Collège» [1]. Я отвечал, что по службе решительно никакого дела нет, но занимаюсь литературою, а иногда хожу в театр, и если б позволял карман, то ходил бы ежедневно. Это заметил я с тем намерением, что не вызовется ли он предложить мне даровой вход в театр на порожние места; но его высокопревосходительство догадаться не изволил.

Сегодня очередной вечер Хвостова. Удивляюсь, как он опять по какому-нибудь случаю не отказан. Не знаю, какие стихи заставит меня читать Гаврила Романович: «Барды» или «Осень». Ему нравятся «Барды», но мне они вовсе не по душе, и, право, совестно читать их; а делать нечего: сам кругом виноват.

---

[1] «Я полагаю, что вы завалены делами в Коллегии» (*франц.*).

5 мая,
воскресенье.

Вчерашний литературный вечер А. С. Хвостова был последним из литературных вечеров, и до осени их более не будет. Гаврила Романович уезжает в свою Званку, на берега Волхова, и хочет на досуге заняться стихотворным описанием сельской своей жизни. «Лира мне больше не по силам,— говорит он,— хочу приняться за цевницу». Но кажется, что он только так говорит, а думает иначе и при первом случае не утерпит, чтоб опять не приняться за оду: как бы человек в силах ни ослабел, он не может идти наперекор своему призванию. «Chassez le naturel, il revient au galop»[1].

Я несколько опоздал к чтению и вошел в гостиную, когда оно уже началось. А. С. Шишков читал какую-то детскую повесть, одну из многих, приготовленных им к изданию и составляющих продолжение к изданным уже в прошедшем году. Разумеется, не было конца похвалам повести, а еще более намеренью автора; последнее точно стоит доброго ему спасиба от всех честных людей. Каково бы ни было достоинство повести в литературном отношении, о котором, впрочем, я ничего сказать не могу, потому что слышал ее только вполовину, но, признаюсь, нельзя было без особого уважения смотреть на этого почтенного человека, который с такою любовью посвящает труды свои детям.

За этим князь Шихматов читал свое подражание восьмой сатире Буало. Все удивлялись, что Шихматов вдруг сделался сатириком, потому что этот род поэзии не свойствен его таланту. Однако ж сатира его имеет свои достоинства и по мыслям, и по языку. Преудивительный человек этот Шихматов! Как я ни вслушивался в рифмы, но не мог заметить ни одного стиха, оканчивающегося глаголом. Особый дар и особая сила слова![2]

Нынче, видно, мода на сатиры: вот уж четвертая,

---

[1] «Гони природу в дверь — она влетит в окно» (*франц.*). (Буквально: гоните природу — она вернется галопом).

[2] Так прежде казалось автору «Дневника», и он сознается, что удивление его было безотчетно и неосновательно. Это литературный фокус-покус — одна побежденная трудность и не заключает в себе большого достоинства. (*Позднейшее примеч.*)

которую удается мне слышать: Горчакова, Шаховского, Марина и, наконец, Шихматова.

После чаю Крылов попотчевал нас баснею «Медведь и Пустынник»; это перевод из Лафонтена; но какой перевод! прелесть! стоит оригинала. Медведь у него совершенно живой:

...Завидя муху,
Увесистый булыжник в лапы сгреб,
Присел на корточки, не переводит духу
И думает: постой, вот я тебя, воструху!

А как читает этот Крылов! внятно, просто, без всяких вычур и между тем с необыкновенною выразительностью; всякий стих так и врезывается в память. После него, право, и читать совестно.

Собеседники делали ему множество комплиментов и, между прочим, чрезвычайно хвалили комедию его «Урок дочкам». Лабзин заметил, что кроме нравственной цели, которую Крылов умел развить с таким искусством в своей комедии, в ней, как в пьесах Мольера, есть величайшее достоинство совершенного отсутствия самого автора и что он умел избежать этого нестерпимого притязанья наших комиков на острословье, которым они желают выказываться сами, тогда как надобно выказать характеры своих персонажей. «Жаль одного,— сказал он,— что комедия «Урок дочкам» не написана стихами: тогда была бы она еще совершеннее».

«А почему ж бы она была совершеннее? — возразил прозаик И. С. Захаров.— Ничего не бывало: эта комедия, хотя она и в одном действии, имеет все достоинства des pièces de caractère [1] и легко обойдется без стихов, которыми нужно только скрашивать les pièces de circonstance [2], по ничтожности их содержания и характеров действующих лиц».

«А потому,— подхватил Карабанов,— что острое слово в стихах скорее врезывается в память и поступки людей разительнее представляются в стихах, нежели в прозе».

«Избави нас бог,— сказал Шишков,— от острословия в комедиях, которое годится только для эпиграмм.

---

[1] Комедий характеров (*франц.*).
[2] Комедии положений (*франц.*).

Надобно, чтоб комедия возбуждала смех положением действующих лиц, а не остротами. Возьмем в пример хоть бы сцену из «Модной лавки» Ивана Андреича, когда провинциал-муж находит в шкапу модного магазина вместо предполагаемой в нем контрабанды старуху, жену свою: в этой сцене нет ни одной остроты, а она заставляет хохотать от всей души. Но вот и другой пример. В первой сцене комедии Павла Иваныча Сумарокова «Деревенский в столице», которую он читал мне на прошлой неделе, слуга на замечание помещика, что Петербург очень изменился с тех пор, как они его не видели, отвечает: «И сколько желтых домов! не пересчитаешь». Вот, пожалуй, и острота, а смеха не производит».

Наконец заставили читать меня. Гавриле Романовичу хотелось, чтоб я прочитал «Бардов», но я извинился, что наизусть их не помню, и прочитал «Осень», однако ж не без робости. На диване против меня сидел человек, которого я видел в первый раз,— пожилой генерал с двумя звездами, с живой, умной физиономией и насмешливой улыбкой: это был известный остряк и знаменитый рассказчик Сергей Лаврентьевич Львов, приехавший к хозяину невзначай и, кажется, очень довольный тем, что нашел у него литературное собрание. Львов устремил на меня выразительный взгляд и заставил сконфузиться: я читал плохо, спешил и заикался, однако ж стихи мои, кажется, понравились; впрочем, мудрено было бы им и не понравиться после таких стихотворений, каковы, например, «К трубочке», «К пеночке», «Видение», «К Честану» и проч.; в моих, по крайней мере, есть воображение, чувство и чистота слога [1]. Да здравствует Москва!

Губернатор Львов спросил меня: не родня ли мне бывший вятский губернатор Жихарев? Я отвечал, что он родной мне дед и, сверх того, крестный отец. «Так было бы вам известно, что я знавал его в моей молодости, когда он был полковником и командовал полком; а слыхали ли вы когда-нибудь об управлении его Вятскою губерниею и каким образом заставил он вятских лекарей оживить умершую купчиху?» Я объявил, что кое-что

---

[1] Автор «Дневника» просит извинения за нескромность юноши, но исправлять не намерен: еже писах, писах. (*Позднейшее примеч.*)

о том слышал от Николая Петровича Архарова. «Прекурьезная история! — подхватил Гаврила Романович.— Я был дружен с дедом С. П. в бытность мою губернатором в Тамбове и слышал об этом происшествии от него самого. Решительный был человек!»

За ужином Сергей Лаврентьевич не истощался в рассказах, и если б у меня память была вдвое лучше, то и тогда бы я не мог запомнить половины того, что говорил этот в самом деле необыкновенно красноречивый и острый старик. То разъяснял он некоторые события своего времени, загадочные для нас; то рассказывал о таких любопытных происшествиях в армии при фельдмаршалах графе Румянцеве и князе Потемкине, о которых никто и не слыхивал; то забавлял анекдотами о причине возвышения при дворе многих известных людей и неприязненных отношениях, в которых они бывали между собою, и все это пересыпал он своими замечаниями, чрезвычайно забавными, так что умел расшевелить самих Державина и Шишкова, которые, кажется, от роду своего не смеялись так от чистого сердца.

Между прочим, на вопрос Шишкова, что побудило его отважиться на опасность воздушного путешествия с Гарнереном, Львов объяснил, что, кроме желания испытать свои нервы, другого побуждения к тому не было. «Я бывал в нескольких сражениях,— сказал он,— больших и малых, видел неприятеля лицом к лицу и никогда не чувствовал, чтоб у меня забилось сердце. Я играл в карты, проигрывал все до последнего гроша, не зная, чем завтра существовать буду, и оставался так же покоен, как бы имея мильон за пазухою. Наконец, вздумалось мне влюбиться в одну красавицу полячку, которая, казалось, была от меня без памяти, но в самом деле безбожно обманывала меня для одного венгерского офицера; я узнал об измене со всеми гнусными ее подробностями — и мне стало смешно. Как же, думал я, дожить до шестидесяти лет и не испытать в жизни ни одного сильного ощущения! Если оно не далось мне на земле, дай поищу его за облаками: вот я и полетел. Но за пределами нашей атмосферы я не ощутил ничего, кроме тумана и сырости: немного продрог — вот и все».

Чиновник Неведомский, хромой пиита, над которым беспрестанно подтрунивали товарищи, называя его пиитом-Вулканом, получил неожиданно, по протек-

ции И. С. Захарова, место с хорошим жалованьем и содержанием. По этому случаю он писал басню «Калека и скороходы» и, напечатав ее в небольшом количестве экземпляров, разослал по своим сослуживцам. Эта басня, вроде басен графа Хвостова, оканчивается следующим нравоучением:

Кому помощник бог,
Того ничто не отсторонит,
И будь он хоть совсем без ног,
А все другого перегонит.

Захаров находит, что басня очень хороша.

6 мая,
понедельник.

Сегодня был на первой репетиции «Пожарского» на сцене. Автор сидел вместе с князем Шаховским и Дмитревским и что-то очень был не в духе. Яковлев не играл, а говорил, а Шушерин даже и не говорил, а бормотал себе под нос. Одна Каратыгина читала свою роль как следует, хотя тихо, но со всеми изменениями голоса. Георгия играет воспитанник Сосницкий, прекрасный мальчик лет четырнадцати. Эта репетиция только для того, чтоб актеры узнали места свои, равно входы и выходы на сцену и со сцены.

По милости Дмитревского я познакомился с князем Шаховским. Он без церемонии приглашал меня к себе, сказав, что всякий вечер бывает дома и что я ежедневно найду у него кого-нибудь из литераторов и, между прочим, Крылова, который живет с ним в одном доме и даже стена об стену.

Князь Шаховской толст и неуклюж, однако ж ходит проворно. Вся фигура его очень оригинальна, но всего оригинальнее нос и маленькие живые глаза, которые он беспрестанно прищуривает; говорит скоро, пришепетывая, и судя по тому, что говорит, надобно полагать, что любит подсмеяться. Не понимаю, как он может с своею фигурою и своим произношением преподавать правила трагической декламации: ученики его должны во время уроков помирать со смеху.

7 мая,
вторник.

Был в немецком театре и насмеялся досыта: давали «Суматоху» — комедию Коцебу; Линденштейн в роли Herr von Langsalm и мадам Эвес в роли жены его уморительны; но, кроме того, какая верность в игре их и какая натура! Когда они на сцене, забываешься, что сидишь в театре. А как гримируется Линденштейн! Я понимаю, что лысину и седины можно подделать париком, но претвориться в беззубого человека, когда у него ряд здоровых, белых зубов,— этого не понимаю: не в карман же он их прячет!

После «Суматохи» играли маленькую комедию в двух персонажах «Die Beichte», которую Гебгард и мамзель Лёве разыгрывают отлично. Оба молоды, оба хороши собою, оба развязны на сцене и объясняются тоном людей самого лучшего общества: слушая их, думаешь, что они говорят не по-немецки, а по-итальянски — так легко и непринужденно их произношение. Вообще, я очень доволен был моим вечером.

Заходил мой добрый хозяин Торсберг уговаривать меня остаться у него в доме, как будто бы мне самому этого не хотелось и я переезжаю из каприза. Как быть! с силою обстоятельств не сладишь. Квартира, которую приготовили для меня услужливые Харламовы, вовсе не по моему вкусу: шесть комнат, из которых одна большая зала с балконом; половину этих комнат, неопрятных и даже грязных, с ветхим полом и дребезжащими окончинами, я должен буду запереть, потому что мебели у меня недостаточно, а покупать ее не на что. Впрочем, унывать нечего: все впереди!

Если б случилась скоро оказия, пришли мне одного из Дураков моих. Я никогда не чувствовал такой нужды в товарище, как теперь, и буду ждать его с нетерпением.

9 мая,
четверг.

Вчера вечером я был у князя Шаховского. Он живет у Синего моста, в доме Гунаропуло, на углу Большой Морской. Меня встретил высокий лакей, довольно заса-

ленный, которого, как я после узнал, зовут Макаром. «Дома ли князь?» — «Никак нет-с, он во французском театре, но сейчас приедет; пожалуйте: Катерина Ивановна у себя». Я вошел. Женщина небольшого роста, худощавая, лет двадцати четырех, сидевшая на диване за каким-то шитьем, встретила меня очень приветливо, спросив: «Что вам угодно?» Я сказал ей свое имя, прибавив, что князь приглашал меня к себе на репетиции «Пожарского», назначив время по вечерам, в которые, по словам его, обыкновенно бывает дома. «Ах, батюшки! да он вас дожидался еще на другой день репетиции! — заговорила вдруг Катерина Ивановна (это была она) так громко и нецеремонно, как будто мы с нею целый век были знакомы.— Ведь вы пишете стихи и сочинили трагедию, которую Петр Николаич очень хвалит».— «Правда, что я пишу стихи и сочинил трагедию,— отвечал я,— но такую, которая, по мнению знающих людей и по собственному моему убеждению, не может быть представлена на театре, и Кобяков в этом случае сказал наобум, потому что он даже и не читал ее».— «О! да, да! он ничего не смыслит и только побирается стишками. Вот намедни пристал к князю: сочини ему стихи в его оперку, которую он перевел с французского, «Les amants Protées»; вообразите, с бессмыслицей для роли Самойлова сладить не мог [1]; а когда есть время князю заниматься таким вздором? Вы не поверите, как он занят: так занят, что не имеет часу свободного времени. Петр Николаич у нас почти всякий день, приносит разные новости, в которых и половины нет правды; а впрочем, он прекраснейший человек».

Я узнал моего друга; но узнал также, что Катерина Ивановна любит поговорить.

Между тем князь Шаховской возвратился из театра вместе с Павлом Михайловичем Арсеньевым. Последний тотчас с великою радостью объявил Катерине Ивановне, что Матвей Васильевич (Крюковской) вслед за ними едет. Князь обласкал меня и просил быть у него

---

[1] Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился черный блеск от солнечных лучей;
Ужасный слышу гром в молчанье непрерывном...
Спокоен был и весь от страха трепетал...
Закрыл свои глаза и с быстротой взирал, и проч. и проч.

(«Оборотни», опера в одном действии)

без церемоний. «Только мне и отрады,— примолвил он, что по вечерам дома с людьми грамотными».

Вскоре приехал Крюковской и за ним князь Иван Алексеевич Гагарин, покровитель Семеновой. «Теперь все налицо, Катенька,— сказал князь,— как бы чаю?» — «Ивана Андреича еще нет»,— отвечала она и тотчас послала сказать Крылову, что чай готов.

Мы уселись вокруг большого круглого стола, а Шаховской с Гагариным развалились на диване и закурили трубки. Крылов не замедлил явиться и сел на креслах в углу у печки. «Спасибо, умница, что место мое не занято,— сказал он Катерине Ивановне,— тут потеплее».

Арсеньев завел речь о «Пожарском» и начал хвалить автора на чем свет стоит: чего-чего он не наговорил ему! что он первый-то у нас драматический писатель; что трагедия его — первая современная трагедия в целом свете; что на нем одном теперь сосредоточены надежды всех любителей драматической поэзии и проч. и проч. Крюковский краснел и молчал, Крылов улыбался, князь Гагарин очень серьезно и с удивлением посматривал на своего приятеля, который осмеливался так превозносить пьесу, в которой не было роли для Семеновой; но князь Шаховской не выдержал и вспыхнул как фейерверк: «Да помилуй, братец Павел Михайлыч! откуда ты вдруг набрался такой премудрости, что выдаешь себя за оракула драматической поэзии и уверяешь автора в том, в чем он и сам, по совести, сознаться не может. Бесспорно, пьеса Матвея Васильевича имеет свои достоинства; но чтоб она была первою пьесою в свете, так это, голубчик, вздор; а то еще и пущий вздор, чтоб один только автор ее был надеждой и опорой русской сцены. Не говоря о других, куда ж ты девал Озерова?»

«Ну, это только так говорится»,— отвечал Арсеньев.

«Говорится? — возразил князь Шаховской,— а зачем же на вечерах у Марьи Алексеевны проповедуешь ты эту чепуху барыням и барышням, которые ни бельмеса не смыслят в нашей драматической поэзии? Ты сказал, а они повторять пошли: на русском театре ничего-де путного нет, кроме трагедии «Пожарский». И вот пирог испечен, мнение готово! Нет, любезный, прямо просишься в мою сатиру или в комедию Ивана Андреича».

«Знаешь ли, князь, отчего наш Арсеньев так при-

страстен к трагедии Матвея Васильича, которой, впрочем, я сам отдаю полную справедливость, хотя и не знаю, какой она будет иметь успех на сцене? Оттого что он в жизни своей не читал никакой другой пьесы, а эту как-то удалось ему выучить наизусть. Не правда ли, Павел Михайлыч?»

Арсеньев засмеялся.

«Смейся или нет, что правда, то правда,— продолжал князь Гагарин.— Ну-ка назови еще трагедию или комедию, которую бы ты читал когда-нибудь».

Арсеньев признался, что он точно не читывал ни одной театральной пьесы, но зато по страсти к театру все их пересмотрел на сцене.

В одиннадцать часов заехал за князем Гагариным граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин, очень толстый, но приятной наружности человек, с открытым лицом и добродушною физиономиею; он большой любитель спектаклей французского и русского театров и ежедневно бывает в одном из них. «Или сегодня у тебя неприсутственный день,— спросил он князя,— что ничего не читают?»— «Да еще не размололись,— отвечал Шаховской,— и вместо пролога бранимся пока с Арсеньевым».

Между тем Крюковской подсел к столику, на котором Катерина Ивановна разливала чай, и тихомолком болтал с нею. Из всего, что они говорили, я мог только расслышать несколько слов: «И сегодня были?» — «Были утром».— «Хорошо читает?» — «Прекрасно; князь очень доволен».— «А чем дебютирует?» — «Кажется, Дидоной или Пальмирой».— «Как жаль, что я не был!»

«А ты не слыхал,— сказал князь Шаховской графу Пушкину,— что Крылов написал новую басню, да и притаился, злодей!» (С этим словом он вдруг вскочил с дивана и поклонился в пояс Крылову.) «Батюшка Иван Андреич, будьте милостивы до нас, бедных,— расскажите нам одну из тех сказочек, которые вы умеете так хорошо рассказывать». Шаховской пародировал сестру Шехеразады.

Крылов засмеялся, а когда смеется Крылов, так это недаром: дóлжно быть, смешно. Он придвинулся к столу и прочитал новую свою басню «Оракул»:

> В каком-то капище был деревянный бог,
> И стал он издавать пророчески ответы, и проч.

Собеседники слушали с величайшим удовольствием и заставили автора повторить заключение. Странное дело: мы слышали басню в первый раз, а почти все знали ее уже наизусть.

После Крылова читал князь Шаховской начало комической своей поэмы «Расхищенные шубы». Содержание основано на происшествии, случившемся прошедшею зимою в немецком, так называемом Шустер-клубе: пьяный швейцар во время бала перепутал шубы и салопы приезжих гостей, отчего при разъезде произошел беспорядок,— вот и все тут! Но князь Шаховской умел опоэтизировать анекдот: в его стихотворной шутке много мест, достойных Буало, поэме которого («Le Lutrin») он, по словам его, подражать хотел. Каково-то будет продолжение, а начало, нечего сказать, прекрасно. Совет старшин клуба описан мастерски, и некоторые из них дышат жизнию:

Сам мастер гробовой Фрейтодт с умильным взором,
С улыбкой радостной, как будто перед мором!

«Но скажи, пожалуйста, князь,— спросил граф Пушкин,— когда ты находишь время сочинять что-нибудь? По утрам у тебя должностной народ, перед обедом репетиции, по вечерам всегда общество, и прежде второго часа ты не ложишься — когда ж ты пишешь?»

«Он лунатик, граф,— с громким смехом подхватила Катерина Ивановна,— не поверите: во сне бредит стихами! Иногда думаешь, что он тебе что-нибудь сказать хочет, а он вскочил да и за перо, прибирать рифмы!»

Мы расхохотались, и сам князь Шаховской также.

Граф Пушкин с князем Гагариным уехали к княгине Голицыной, проименованной la princesse Nocturne [1], потому что она не принимает у себя ранее полуночи и ночи превращает в дни; Крылов ушел спать, а наконец и Арсеньев с идолом своим Крюковским отправились по домам. Я также хотел откланяться, но князь Шаховской настоял, чтоб я с ним ужинал. Мы остались болтать втроем. Я рассказал ему о моей праздной службе, о моих занятиях и о страсти моей к театру, прочитал ему несколько сцен из «Артабана» и передал слово в слово отзыв о нем Дмитревского, которым он так сконфузил меня в бытность мою у него в первый раз.

---

[1] Ночная княгиня (*франц.*).

Князь Шаховской очень смеялся, Катерина Ивановна еще больше; но результат моей болтовни был для меня неожиданно счастлив: с величайшим добродушием князь предложил мне ходить во все театры, отныне навсегда, бесплатно в его кресла, которые он сам никогда не занимает, находясь всегда за кулисами.

Вот оно что! Теперь не для чего мне справляться с карманом и разбирать спектакли: ступай в любой и, сверх того, в кресла!

10 мая,
пятница.

Гаврила Романович уезжает завтра и что-то очень невесел; впрочем, говорят, что он и всегда таков перед отъездом, потому что не любит суеты, неразлучной с сборами в дорогу. Мне жаль сердечно старика: прощанье с ним навело меня на грустные размышления об одиночестве, которое ожидает меня до будущей осени: кажется, что без него я совсем осиротею; из ближайших моих знакомых остаются одни только обитатели павильона, добрые, благородные люди; но что у меня общего с ними? Вкусы наши различны, образ мыслей неодинаков, и к тому же, кроме времени обеда, они все в рассеянии: то сидят по своим камерам, то странствуют по знакомым. По благосклонности князя Шаховского, вечера мои теперь могут быть приятно заняты, но прежде вечеров есть долгие дни... Поневоле вспомнишь милую толстуху Александру Васильевну, которая так умно и живо описывала мне скуку одинокой жизни!

В нашей Коллегии толков не оберешься: боятся, чтоб кампания не была неудачна. Говорят, что государь весьма недоволен союзниками, в особенности Англиею, и если б не увлекался сверхчеловеческим своим великодушием, то предоставил бы Англию и Австрию судьбе их. Достойно замечания, что превосходно составленный самим государем план разбить корпус Нея уничтожен внезапно ложным известием, сообщенным государю лично самим главнокомандующим, что Бонапарте со всеми силами пришел на подкрепление Нея, тогда как он находился далеко и ничего не знал об опасности, предстоящей Нею. Трудно поверить, чтоб генерал Беннигсен имел таких негодных и неверных шпионов;

однако ж в высшем кругу не сомневаются в справедливости этого события.

Утверждают также, что граф Николай Иванович Салтыков на днях вечером у себя открыто говорил, будто бы граф Н. П. Румянцев представил государю, перед отъездом его в армию, записку, в которой объяснил, что он не надеется ни на какое решительное нам содействие со стороны Англии и Австрии в продолжение сей войны и что каким бы отъявленным врагом ни был нам Бонапарте, но никогда не может причинить нам столько зла, сколько причиняет его Англия своею лицемерною дружбою и обещаниями, никогда не исполняемыми. Прибавляют, что государь с благоволением и даже признательностью изволил принять эту записку к своему соображению.

11 мая,
суббота.

Во французском театре давали «Тартюфа» и оперу «Продажный дом» («La maison à vendre»); обе пьесы шли превосходно, и в особенности первая. Тартюфа играл Ларош, Оргона — Дюкроаси, брата его, резонера,— Деглиньи, служанку — мадам Туссен-Мезьер и Эльвиру — мадам Вальвиль, которая менее всех понравилась мне; она, бесспорно, играет хорошо, говорит правильно и читает стихи как нельзя лучше, но уж слишком невзрачна собою, и в игре ее есть что-то угловатое, похожее на игру немецких актрис, представляющих светских женщин. Небольшую роль мадам Пернель занимала мадам Меес и очень комически ее исполнила. Не знаю, отчего Ларош принял на себя роль Тартюфа? Эта роль принадлежит к амплуа слуг, la grande livreé, и на французском театре в Париже играют ее только актеры, принадлежащие к этому амплуа. Правда, бледная и тощая фигура Лароша очень идет к роли иезуита-лицемера, но между тем находится в совершенном противоречии с наружностью того Тартюфа, которого изобразил Мольер, то есть цветущего здоровьем, тучного и сластолюбивого; а из этой-то противоположности фигуры бузника с лицемерным смирением и проистекает весь комизм положений действующих на сцене лиц; иначе комедия «Тартюф» была бы

печальной драмой, потому что содержание ее чисто драматическое.

Дюкроаси роль Оргона играл в совершенстве. Как естественно забавны были его расспросы о здоровье Тартюфа: «Et Tartuffe? le pauvre homme!» [1] — и с каким комическим нетерпением возился он под столом при объяснениях Тартюфа с Эльвирою! Но когда, выведенный из терпения наглостью подлого пройдохи, он вылез из-под стола и прежде, чем начал говорить, стал одними знаками изъяснять свое негодование, тут надобно было видеть Дюкроаси: черты лица его изменились, глаза чуть не выкатились вон, все мускулы трепетали, и он, задушаемый негодованием, казалось, искал и не находил слов для выражения своей ярости; тут был он в высшей степени превосходен, и я, право, не знаю, кому отдать преимущество: ему или Рыкалову в сцене, когда он, избитый Скапином, вылезает из мешка? Здесь сравнение в сторону — оба великие актеры!

Говоря о роли Оргона, кстати привесть анекдот, рассказанный мне самим Дюкроаси. Знаменитый Десессар, лучший актер своего времени для ролей á manteaux, был огромного роста, непомерно толст и неповоротлив. Играя роль Оргона, он с большим затруднением мог умещаться под столом и сцену стола почитал величайшим для себя наказанием, до такой степени, что желал передать роль свою младшему по нем в амплуа; но с французским партером шутить нельзя, особенно когда дело касается до пьес Мольера: он ни за что не потерпел бы второклассного актера и безжалостно освистал бы его, да и Десессару досталось бы при первом его появлении. Однажды по какому-то случаю поставлен был на сцену не тот стол, под которым обыкновенно прятался знаменитый толстяк, а другой, несколько меньше, так что Десессар увяз в нем, и когда надобно было вылезать из-под него, он ни под каким видом не мог освободиться от своей западни и должен был таскать ее за спиною по крайней мере несколько минут в продолжение сцены. Десессар оставил по себе славную память в Лесажевом «Тюркарете».

В опере «La maison à vendre» всех лучше была мадам Филис-Андриё, а за нею Меес, Сен-Леон и Клапаред. Сам Андриё, игравший главного повесу, очень

---

[1] «А Тартюф? бедняга!» (*Франц.*)

развязен на сцене; но, кажется, его губят претензии и, как мне сказывали, страсть слепо подражать знаменитому парижскому актеру-певцу Альвиу. Этот платок в руках, которым он, вероятно pour la contenance [1], беспрестанно машется и потирает себя по лбу, вовсе не кстати; но главное несчастье Андриё — что он имеет жену, которая превосходством своим вовсе уничтожает его, и мсье Андриё без мадам Андриё был бы, конечно, более теперешнего любим публикою. Но как бы то ни было, опера шла бесподобно, à ravir [2]. Во французском театре надобно более всего удивляться совершенству ансамбля; и если есть актеры одни лучше других, то можно решительно сказать, что дурного нет ни одного.

Признаюсь, я очень обрадовался, когда при входе в кресла капельдинер, спросив мою фамилию, не только пропустил меня без всяких возражений, но даже с великою учтивостью указал мне кресла князя Шаховского; иначе объясняться с ним при публике было бы очень неловко. Спасибо доброму князю.

12 мая,
воскресенье.

Наконец я увидел оперу «Князь-невидимка», о которой мне прожужжали уши. Это, вероятно, переделка какой-нибудь французской волшебной оперы, «opéra féerie», которую, однако ж, г. Евграф Лифанов назвал печатно собственным своим сочинением. Но пусть будет она чем бы ни было, переводом или оригинальным сочинением, только надобно признаться, что это ужасная галиматья, перед которою «Русалка» ничего не значит; зато великолепие декораций, быстрота их перемен, пышность костюмов и внезапность переодеваний — изумительны. Музыка — сочинение капельмейстера Кавоса: она очень легка и приятна; мелодии остаются в памяти, и особенно дуэт Личарды и Прияты, то есть Воробьева и Самойловой, «Коль назначено судьбою» — прелесть и до сих пор раздается у меня в ушах. В первый раз в жизни удалось мне видеть такой диковинный, богатый спектакль, в котором чего хочешь, того и про-

---

[1] Для важности (*франц.*).
[2] Восхитительно (*франц.*).

сишь. Декорации большею частью кисти Корсини и Гонзаго. Это настоящие чародеи; машинист не отстал от них и удивляет своим искусством: то видите вы слона, который ходит по сцене, как живой, поворачивает глазами и действует хоботом, то Личарда — Воробьев, не двигаясь с места, двенадцать раз сряду превращается в разные виды; то у Цымбалды вырастает сажен в десять рука, и все это делается так быстро и натурально, что не успеешь глазом мигнуть, как превращение и совершилось. Говори что хочешь и, пожалуй, называй все это глупостью и балаганными штуками, однако ж изредка взглянуть на эти штуки весело, когда они делаются отчетливо и особенно когда находятся в соединении с такою прелестною живописью и очаровательною музыкою, сверх того оживляются игрою таких талантов, каковы Воробьев, Самойловы и Пономарев. Последний в роли Цымбалды уморителен: как он забавен на сцене, когда, маршируя перед своим отрядом инвалидов, вдруг громко командует: «берегись!» — и, этим внезапным восклицанием перепугав свой отряд, а вместе перепугавшись сам, начинает толковать им, что слово «берегись» не значит: «берегись чего-нибудь», а есть только воинская команда... Виноват, я с удовольствием смеялся в «Невидимке» и пойду смеяться в другой раз.

Дирекция поставила «Невидимку» после двух первых частей «Русалки», которые несколько уж стали надоедать публике. В продолжение двух с лишком лет, как дают эту оперу, театр почти всегда бывает наполнен, и казначей театра Петр Иванович Альбрехт, получивший недавно Анненский крест, тогда как его не имеют еще ни Майков, ни князь Шаховской, предпочитает «Невидимку» всем трагедиям в свете, «Эдипам» и «Донским», в отношении к денежному сбору. Но всему свой черед. Говорят, что декорации, костюмы и машины, приготовляемые теперь для оперы Крылова «Илья Богатырь», несравненно великолепнее всех тех, которые удивляют нас в «Русалках» и «Князе-невидимке».

Вольтер не любил больших опер, хотя и сам сочинял их. Он называет оперу «областью Овидиевых превращений». Это справедливо; но едва ли справедливо сказанное им вообще о больших операх, à grand spectacle: все великолепие опер с их декорациями, машинами, сотнею музыкантов и двумя сотнями всадников не стоит четырех превосходных стихов из трагедии.

13 мая,
понедельник.

Возвращаясь из Коллегии с Юшневским, встретили мы Петра Свиньина, который давно уж здесь и, так же как и я, бьет баклуши. Поговорив о прошлом московском житье-бытье и вспомнив о серенадах его под окнами Н. В. Бушуевой, он на прощанье просил нас сочинить ему немецкое письмо. «А ты не знаешь разве сам по-немецки?» — спросил его Юшневский. «Немного знаю».— «Что ж ты знаешь?» — «Gut morgen, küssen sie mich» [1].— «И больше ничего?» — «Ни бельмеса».— «А к кому письмо и какого содержания?» — «Объяснение в любви к булочнице, что вон там, у Синего моста, в лавке сидит».— «Да ты влюблен, что ли?» — «Ни крошки».— «Для чего ж вся эта процедура?» — «Надобно же что-нибудь делать в Петербурге».— «Ну, так знаешь ли что? — порешил Юшневский.— Двух твоих фраз очень достаточно для объяснения, а если прибавишь третью, то и успех несомнителен».— «Что ж написать? Пожалуйста, научи».— «Ich habe Geld» [2].— «Спасибо!»

Свиньин сказывал, что получил письмо от брата своего Павла, находящегося при адмирале Сенявине, наполненное любопытными подробностями о наших моряках. В этом письме, между прочим, Павел Свиньин намекает, что скоро, может быть, мы услышим о сражении нашего флота с турецким, которое, кажется, должно произойти неминуемо и произошло бы уже, если б английский адмирал Дукворт захотел оказать нам какое-либо содействие; но бездействие и нерешительность англичан непостижимы. То же писал и полковник Манфреди к жене своей.

14 мая,
вторник.

Судить о достоинствах и качествах человека единственно по одним его личным к нам отношениям — несправедливо. Иной, имеющий добрую душу и благород-

[1] «Доброе утро, поцелуйте меня» (*нем.*).
[2] «У меня есть деньги» (*нем.*)

ное сердце, бывает иногда нашим недругом и нам вреден; а другой, злой и бесчестный человек, может быть при случае нам доброжелателен и полезен. Все зависит от обстоятельств, в которых мы иногда находимся. Есть люди, которые часто говорят: «Что мне за дело, что такой-то поступает дурно с другими, но я люблю его, потому что он делает мне добро». Это чистый эгоизм. Если должно быть признательным, то должно быть и справедливым, и порядочный человек не в состоянии любить и уважать разбойника и вора за то, что он оказывает к нему благосклонность.

Эту идею намерен князь Шаховской развить в комедии, которой хочет дать название «Прекрасный человек» или другое, тому подобное, как там после придумает лучше. Он говорит, что характер главного лица этой комедии должен будет более или менее сходствовать с характером главного персонажа комедии «Le Philinte de Molière», сочинения известного революционера Fabre d'Eglantine. Одно только опасение, говорит князь Шаховской, чтоб не сочли комедии моей подражанием Фабру, ставит меня в тупик; иначе бы я уж ее начал, потому что «Полубарские затеи» мои кончены, и я теперь на свободе перебиваюсь только мелочью. «Да,— подумал я,— хороша свобода!»

У Паглиновского познакомился я с статским советником И. А. Пукаловым, бывшим в начале нынешнего царствования обер-секретарем в Синоде. Кажется, он человек очень умный и веселый рассказчик, хотя по наружности и серьезен. Узнав, что я недавно из Москвы, он сказал мне, что у него в Москве есть несколько знакомых, и назвал мне их по фамилиям, а в том числе и Вишневских. Когда же я заметил, что Вишневская мне родная тетка, то Пукалов объявил, что она была посаженой матерью у него на свадьбе, а потому мы можем с ним считаться почти свойственниками. Он очень обласкал меня и приглашал к себе, говоря, что ежедневно обедает у себя дома.

Между прочим, Пукалов рассказал анекдот об одном калмыке, вышедшем в люди в последние годы царствования императрицы Елизаветы Петровны, слышанный им от Секретарева, камердинера князя Потемкина. Этот калмык, имевший привычку говорить всем «ты» и приговаривать: «я тебе лучше скажу», вел большую игру и по этому случаю втерся в общество людей знат-

ных, и между прочим, к князю Потемкину, который вскоре привык к нему и любил играть с ним в карты. Однажды, понтируя с каким-то знатным молдаванином против калмыка, князь Потемкин играл несчастливо и, разгорячившись на неудачу, вдруг с нетерпением сказал банкомету: «Надобно быть сущим калмыком, чтоб метать так счастливо».— «А я тебе лучше скажу,— возразил калмык,— что калмык играет, как князь Потемкин, а князь Потемкин, как сущий калмык, потому что сердится».— «Вот насилу-то сказал ты лучше!» — подхватил, захохотав, великолепный князь Таврический.

Паглиновский говорит, что Пукалов очень богат и сверх того у него молоденькая и хорошенькая жена, бывшая воспитанница Петра Семеновича Мордвинова, брата адмирала, которая с своей стороны принесла ему в приданое около тысячи душ.

15 мая,
среда.

Я был сегодня обрадован внезапным посещением И. А. Дмитревского. Старик, по обыкновению своему, прибрел пешком и, войдя в комнату, тотчас спросил меня: «Не заняты ли вы, душа, чем-нибудь и не помешал ли я вам своим приходом?» Разумеется, я наговорил ему кучу вежливостей и так живо изъявил свою радость видеть его, что Дмитревский растаял от удовольствия и просидел у меня до десяти часов, попивая чай и рассказывая о многих происшествиях своей жизни. Я очень жалел, что неразлучный со мною надоедательный Кобяков перебивал его по временам неуместными своими вопросами; иначе он был бы, кажется, еще словоохотливее, потому что находился в самом веселом расположении духа.

Старик неисчерпаем в своих рассказах о французском театре и о многих театральных знаменитостях прежнего времени. Он попотчевал нас несколькими о них анекдотами и, между прочим, историею первого своего знакомства с актрисами Клерон и Дюмениль, весьма любопытною. «Первый визит мой был,— говорил Дмитревский,— к мамзель Клерон, потому что тогда она была в большой приязни с любимцем короля и дру-

гом Вольтера, маршалом Франции дюком де Ришелье, которого называли «le sultan de la Comédie Française» [1] (после они поссорились). Она жила в улице Chaussée d'Antin и занимала довольно большой дом. Меня ввели в гостиную, убранную со всевозможным великолепием. На передней стене висел огромный портрет хозяйки дома в роли Медеи, писанный знаменитым Ванло, на другой — портрет какого-то немецкого маркграфа. Минут через пять вышла ко мне молодая девица, лет восьмнадцати, высокая, стройная, черноволосая, довольно смуглая, но с необыкновенно выразительным лицом и огненными глазами; это была девица Рокур, ученица г-жи Клерон и впоследствии знаменитая актриса. Она объявила мне, что мамзель Клерон занята очень нужным делом и извиняется, что принуждена заставить меня ждать ее несколько минут. Разговаривая с девицею Рокур, я и не заметил, как протекли эти минуты, и вот отворилась дверь и показалась сама хозяйка, разряженная в пух, в платье с шлейфом и в фижмах, с высокой прической à la corbeille [2], набеленная, нарумяненная и с мушкою на левой щеке, что означало на модном языке того времени: неприступность. Девица Клерон была роста чрезвычайно малого, но держала себя очень прямо и походку имела важную, величественную. Лицо ее было несоразмерно велико против ее статуры (собственное выражение Дмитревского), но черты лица были правильны: римский нос, глаза большие, хорошо врезанные и выразительные, зубы белые и ровные, которыми, казалось, она щеголяла; а руки — совершенство в своем роде: таких рук никогда не случалось мне видеть; но зато телодвижения ее были несколько принужденны, guindés [3]. Не говоря еще с нею, я успел заметить, что она была пресамолюбивая кокетка. И в самом деле, посадив меня на табурет (на кресла сажала она только самых почетных гостей), она ни с того ни с другого начала говорить о своих связях, о своих успехах на театре, о влиянии, которое она имеет на своих товарищей (sociétaires), о совершенном преобразовании сцены и театральных костюмов, ею задуманном и исполняемом Лекеном по ее плану и указанию; что настоящее ее

---

[1] «Султан театра «Французская комедия» (*франц.*).

[2] В виде корзинки (*франц.*).

[3] Натянуты (*франц.*).

амплуа роли принцесс (des grandes princesses), как то: Медеи, Гермионы, Альзиры, Пальмиры, Аменаиды, Роксаны, Электры и проч., и что роли цариц и матерей предоставила она бедной Дюмениль, которая исполняет их кое-как (à cette pauvre femme Dumesnil, qui s'en acquitte cahincaha), и проч. и проч. Об искусстве, собственно, ни слова и ни слова также о предметах, писанных ей в поданном мною рекомендательном письме, которое она пробежала мельком, примолвив: «C'est bon» [1]. Затем распространилась она о девице Рокур и Ларивe, которых театральное образование приняла на себя, и жаловалась на недостаток их способностей и непонятливость, leur manque d'intelligence (Рокур и Ларив непонятливы и без способностей!), но изъявляла надежду, что неимоверные труды ее, настойчивость и средства, придуманные ею к передаче ученикам своим всех тайн искусства, со временем увенчаются успехом. Словом, я вышел от Клерон, не слыхав ничего другого, кроме похвал ее самой себе, и, крайне недовольный сделанным ей визитом, отправился к Дюмениль в улицу Marais, где она жила в небольшой квартире третьего этажа. Я позвонил; меня встретила женщина лет за сорок, которую я принял за кухарку: растрепанная, в спальном чепце набекрень, в одной юбке и кофте нараспашку, с засученными рукавами; в передней две женщины полоскали какое-то белье; на окошке облизывался претолстый ангорский кот, и вот какая-то паршивая собачонка с визгом бросилась мне под ноги. Я отступил, полагая, что ошибся нумером квартиры и зашел к какой-нибудь прачке: «Pardon, madame, mais j'aurais désiré de parler à m-lle Dumesnil».— «C'est moi, monsieur,— отвечала прачка,— qu'y a-t-il pour votre service?» Я остолбенел! «Il y a, madame, que j'ai une lettre de recommandation pour vous et je suis bien heureux de parler à la célèbre tragédienne» [2]. Она взяла письмо, мигом пробежала его и бросилась обнимать меня: «Comment, c'est vous, monsieur! mais savez-vous que

---

[1] «Хорошо» (*франц.*).

[2] Извините, мадам, я хотел бы поговорить с м-ль Дюмениль».— «Это я, мосье, чем могу служить?» — «Дело в том, мадам, что у меня рекомендательное письмо к вам, и я счастлив, что разговариваю с знаменитой трагической актрисой» (*франц.*).

je suis enchantée de vous voir? J'ai été prévenue de votre visite et je vous attendais. Oh! comme je vous attendais! Mais c'est véritablement un plaisir pour moi que de faire connaissance avec un homme d'un aussi beau talent (в рекомендательном письме я был расхвален на чем свет стоит) comme vous, et qui en même temps désire de s'instruire pour être utile à son pays. Tenez, je vais vous donner tout de suite un billet pour le spectacle de demain» [1]. С этим словом побежала она в какую-то темную каморку, притащила пребольшой ящик, выхватила из него несколько билетов и, подавая их мне, продолжала: «Voici pour vous et vos amis si vous en avez. Je joue «Mérope». Je la joue bien et je la jouerai encore mieux en votre honneur: vous serez content de moi. En attendant, pardon, je suis dans mon jour de ménage. N'oubliez pas, que tous les jours depuis midi jusqu'à l'heure du spectacle je suis chez moi pour tout le monde, mais vous particulièrement, vous me trouverez à toutes les heures du jour le matin comme le soir, et j'éspère que nous causerons souvent et suffisamment; ah, nous causerons bien, n'est-ce pas? Bon jour!» [2] С последним словом она только что не вытолкала меня за дверь. Этот бесцеремонный, радушный прием восхитил меня до чрезвычайности. Дюмениль была женщина более нежели среднего роста, довольно плотная, с доброю, подвижною физиономиею, имела сильный, звучный и вместе приятный орган, достигавший до сердца, говорила быстро, и заметно было, что она говорила только то, что чувствовала: все движения ее были просты и натуральны, хотя и не отличались величавостью; но, увидев на сцене Дюмениль, забудешь о величавости. Я изучал ее в ролях

---

[1] «Так это вы, мосье! Я, право, очень рада видеть вас. Меня предупредили о вашем приходе, и я ждала вас. О, как я ждала вас! Это ведь удовольствие для меня — познакомиться с таким талантливым человеком, как вы, который в то же время хочет поучиться, чтобы быть полезным своей стране. Погодите, я сейчас дам вам билет на завтрашний спектакль» (*франц.*).

[2] «Вот для вас и для ваших друзей, если они у вас есть. Я играю Меропу. Я играю ее хорошо и сыграю еще лучше в вашу честь; вы будете довольны мною. А пока простите, я сегодня занимаюсь хозяйством. Не забудьте, что ежедневно с двенадцати до начала спектакля я дома для всех, а для вас особенно, вы застанете меня в любой утренний час. Мы славно поговорим. До свиданья!» (*Франц.*).

Меропы, Клитемнестры, Семирамиды и Родогуны: игра безотчетная, но какая игра! Это непостижимое увлечение: страсть, буря, пламень! Подлинно великая, великая актриса! Ее упрекали в недостатке благородства на сцене и уверяли, что она придерживалась чарочки; но бог с ней! Без недостатков и слабостей человек не родится; надобно довольствоваться и тем, если в нем сумма хорошего превышает сумму дурного; а недостатки в Дюмениль в сравнении с высокими ее качествами — капля в море».

Мы заслушались Дмитревского и были так нескромны, что просили его рассказать нам что-нибудь о Лекене, с которым в Париже он был короче знаком, нежели с другими актерами, и которого изучал так прилежно; но старику пришла пора отправляться домой. Он оставил нас, дав слово при первом свидании рассказать многие подробности о жизни и трудах Лекена, которого не иначе называет, как великим гением. «Нельзя вообразить себе, душа,— сказал он, прощаясь со мною,— какая непостижимая сила таланта и железной воли заключалась в прекрасной душе этого Лекена, чтоб с такою энергиею он мог преодолеть все препятствия, которые в продолжение двадцативосьмилетнего сценического его поприща расставляли ему на каждом шагу зависть, интрига и даже преследование многих знатных покровителей некоторых актрис, одаренных больше красотою, нежели талантом».

16 мая,
четверг.

Манфреди [1] пишет к жене от 3-го числа: «Il parait, que nous sommes á la veille d'une bataille et j'éspère que l'issue en sera heureuse et glorieuse pour notre flotte. Quoiqu'il en soit, nous avons pleine confiance en la bonté divine, la sainteté de notre cause et les dispositions de

[1] Инженерный полковник, находившийся при вице-адмирале Сенявине и женатый на средней дочери Я. П. Лабата. Как Манфреди, так и другие многие пьемонтские офицеры, не хотевшие признавать владычество Наполеона, были определены государем в нашу службу по особенному уважению их отличных способностей и обширных познаний в военных науках. (*Позднейшее примеч.*)

notre brave et excellent Amiral, qui est adoré de tous ses officiers»[1]. Дай бог слышать добрые вести! Между тем известия из армии как-то замолкли: гвардейцы мало пишут, официальных сведений вовсе нет, и любопытство публики час от часу возрастает.

На Малом театре давали «Мещанин во дворянстве» («Le Bourgeois gentilhomme»). Рыкалов в роли Журдана, или Журдена, был превосходен. Что за физиономия, что за ухватки! Как рельефно произносит он каждое слово, которое характеризует персонаж, и все это без малейшей натяжки, без пошлого буффонства, так отчетливо и естественно! Как уморителен был он в сцене с учителем философии: «Эф, а, эф, а — о, батюшка и матушка! сколько я вам зла желаю, что вы меня не учили!»

Несмотря на то что роль Журдена огромна и Рыкалов в продолжение всех пяти актов почти не сходил со сцены, в нем незаметно было никакого утомления и последнюю фразу своей роли: «Николину отдаю толмачу, а жену кому угодно» — он произнес с таким же одушевлением и веселостью, как и первую, при появлении своем на сцену. Надобно много иметь энергии в игре, чтоб заставить зрителя заниматься одним собою в продолжение такой длинной пьесы и не надоесть ему. Правду молвить, что и за комедия «Мещанин во дворянстве»! Мне кажется, о ней то же сказать можно, что Дидро сказал о Пурсоньяке: «Si l'on croit qu'il y ait beaucoup plus d'hommes capables de faire Pourceaugnac que le Misanthrope, on se trompe»[2]. А Дидро верить можно: он знал свое дело.

Сегодня объявили о представлении «в непродолжительном времени» трагедии «Пожарский». Ежова, которая играла в комедии Николину, и весьма недурно, сказывала, что Пожарский непременно пойдет на будущей неделе; но до тех пор я успею еще полюбоваться

---

[1] «Мы, по-видимому, накануне сражения, и я надеюсь, что его исход принесет счастье и славу нашему флоту. Что бы ни случилось, мы полны веры в божественную благость, в святость нашего дела и в диспозицию нашего храброго и превосходного адмирала, которого обожают все офицеры» (*франц.*).

[2] «Если думают, что на роль Пурсоньяка гораздо больше способных исполнителей, чем на роль Мизантропа, то ошибаются» (*франц.*).

Яковлевым в «Магомете», которого дают наконец завтра в Большом театре.

17 мая,
пятница.

Не знаю, с чего взяли приписывать перевод трагедии «Магомет» вместо П. С. Потемкина Дмитревскому. Я спрашивал об этом старика, который решительно отозвался, что не только не переводил «Магомета», но даже и не поправлял его по той простой причине, что П. С. Потемкин сам владел стихом мастерски и не нуждался ни в чьей помощи. «Это был человек с большим талантом,— присовокупил Дмитревский,— и если б не посвятил всего себя военной службе, то был бы отличным писателем. В молодости своей он написал две оригинальные драмы в стихах: «Россы в Архипелаге» и «Торжество дружбы». Павел Сергеевич Потемкин, впоследствии граф, хотел отличиться не одною храбростью и мужеством на войне, но и мирными подвигами в тишине кабинета».

И в самом деле, перевод «Магомета», за исключением очень немногих стихов, правилен и верен с подлинником. Я прочитал его перед самым спектаклем и, признаюсь, нахожу, что в отношении к языку он несравненно лучше не только трагедий Сумарокова, но и самого Княжнина.

Роль Магомета чрезвычайно трудна, и однако ж Яковлев исполнил ее мастерски; с первой сцены и до последней он был совершенным Магометом, то есть каким создал его Вольтер, ибо другого настоящего Магомета я представить себе не умею; с первой сцены и до последней он казался какою-то олицетворенною судьбою, неотразимою в своих определениях: что за величавость и благородство во всех его телодвижениях! что за грозный и повелительный взгляд! какая самоуверенность и решительность в его речи! Словом, он был превосходен, так превосходен, что едва ли найдется теперь на какой-нибудь сцене актер, который мог бы сравниться с ним в этой великолепной роли. При самом появлении своем на сцене он уже овладевает вниманием и чувствами зрителя одним обращением своим к военачальникам:

Участники моих преславных в свете дел,
Величья моего щиты необоримы,
Морад, Герцид, Аммон, Али неустрашимый!
Ступайте к жителям и именем моим,
Угрозой, ласкою внушите правду им:
Чтоб бога моего народы здесь познали,
Чтоб бога чтили все, а паче трепетали!

Эти последние два стиха, и особенно последнее полустишие: «а паче трепетали», Яковлев произнес так просто, но вместе так энергически-повелительно, что если б действие происходило не на сцене, то у всякого Герцида и Аммона с товарищи душа, как говорится, ушла бы в пятки. Что за орган, боже мой, и как он владеет им!

А затем этот вид удивления и скрытого негодования при встрече Сеида и вопрос:

Сеид! зачем ты здесь?

Хорошо, что Сеид (Щеников) слишком прост и непонятлив и не обратил внимания на выражение физиономии Магомета (Яковлева), иначе он должен был бы провалиться сквозь землю.

В первой сцене с Зопиром, который поумнее Сеида и которого убедить не так легко, Магомет (Яковлев) переменяет тон и нисходит до того, что открывается шейху в своих намерениях; но и здесь он ни на минуту не теряет своей важности лжепророка. Эту сцену, одну из труднейших для актера, Яковлев понял и сыграл в совершенстве. Он был все тот же властолюбивый и повелительный Магомет, но смягчивший свое властолюбие и повелительность свою притворным снисхождением и уважением к Зопиру:

Когда б я отвечал иному, не Зопиру,
Меня вдохнувший бог вещать бы стал здесь миру;
Мой меч и Алкоран в кровавых сих руках
Заставили б молчать всех смертных в сих странах;
С тобой как человек, как друг хочу вещать:
Нет нужды сильному бессильного ласкать —
Зри, Магомет каков! Одни мы... внятлив буди!

Здесь озираясь кругом и почти шепотом:

Знай, я честолюбив,—

с величайшею убедительностью:

Но таковы все люди;
Царь, пастырь или вождь, герой иль гражданин,

В намереньях со мной сравнялся ль хоть один?

. . . . [1]

...Справедливость старику Сахарову: он был очень хорош в роли Зопира. Это старинный актер, и двадцать лет назад публика любовалась им на московской сцене в ролях Секста, Трувора и других молодых трагических персонажей. Игра его не глубокомысленна; но приятный и звучный орган, довольно чувства, правильное, ясное произношение и большая сценическая опытность дают ему полное право на уважение и признательность публики, тем более что Сахаров без претензий и решительно играет все роли в комедиях и трагедиях, какие театральному начальству вздумается поручить ему. Роль Зопира по-настоящему должен был бы занимать Шушерин, потому что она существенно принадлежит к его амплуа; почему же он не играл ее? В трагедии первенствует Яковлев, и это Шушерину не по вкусу; однако ж Бризар, Офрен, Монвель и другие были актеры не хуже Шушерина, а между тем играли роль Зопира, когда Лекен удивлял игрою своею в роли Магомета.

Я вообразить себе не мог Боброва в роли Омара и полагал насмеяться досыта, встретив в наперснике Магомета Тараса Скотинина или, по крайней мере, посла Мамаева. Ничуть не бывало. Бобров не только играл хорошо, но даже очень хорошо; чем черт не шутит! Конечно, у Боброва за органом дело не станет; но чтоб он сохранить умел такое приличие, такую важность и так мастерски произносить прекрасные стихи своей роли — я никак ожидать не мог.

Зопир

Вещай, зачем пришел?

Омар

Пришел тебя простить
Великий Магомет, твою жалея древность,
Твою прошедшу скорбь, и мужество, и ревность,
Простер днесь длань к тебе, могущую сразить,
И я пришел и мир, и благость возвестить.

Зопир

Но знал ли ты его здесь в полной срамоте,
Скитавшимся, в числе несчастных, в нищете?
О, как далек он был от нынешния славы!

---

[1] Разбор игры Яковлева в роли Магомета помещается не вполне, потому что несколько страниц «Дневника» утрачены.

Омар

Так! гнусной пышностью испорченные нравы,
Достоинства судить и вес давать уму
Хотят в сравнении по счастью своему.
Иль мнишь ты, человек надменный и кичливый,
Что насекомое, ползущее под нивой,
И быстрые орлы, по небесам царя,
Ничто суть пред очьми небесного царя?
Все смертные равны, гордятся родом тщетно,
Лишь в добродетели различье их приметно.

Или:

Есть люди мудрые, угодные судьбе,
Что мрачны в праотцах, но славны по себе;
Таков сей человек, что избран мной владыкой,
И чести в свете сем достоин он великой.

Отчего бы вдруг последовала в Боброве такая перемена к лучшему? Роль Омара не бездельная и требует более соображения, нежели роль посла Мамаева и предводителя гуситов, в которых, однако ж, он ниже всякой посредственности. Эту загадку разгадал Яковлев, и кажется, верно. «Бобров,— сказал он,— везде будет хорош, где не надобно горячиться и нежничать. Бесстрастная роль Омара как раз пришлась по его таланту: у него сильный орган и ясное произношение, но чувствительности ни на грош, и потому в тех ролях, в которых не нужно развивать какой-нибудь страсти, а надобно только декламировать, наш Бобров не ударит лицом в грязь, особенно если не будет умничать» [1].

Ларош говорил, что по смерти Лекена трагедия «Магомет» не могла удержаться на сцене Французского театра в Париже; сколько раз ни старались возобновлять ее, все попытки были напрасны: ни один актер в роли Магомета не мог удовлетворить вкусу взыскательного парижского партера; сам Ларив играл его только два раза и с неудовольствием, единственно для Монвеля, который любил роль Сеида и был в ней превосходен. В настоящее время роль Магомета мог бы играть Тальма, но и тот не хочет о ней слышать; а в случае если б управление, в надежде хорошего денежного сбо-

[1] Бобров впоследствии, по смерти Рыкалова, перешел совершенно на амплуа комических стариков и сделался, как и должно было ожидать по игре его в ролях Тараса Скотинина, Бригадира, майора в «Чудаках», повара в «Скупом», отличным комическим актером. (*Позднейшее примеч.*)

ра, непременно захотело поставить «Магомета» на сцену, то он предлагал принять на себя роль Сеида, а роль Магомета предоставить Сен-При. Вследствие этого отвращения первоклассных парижских актеров от этой роли трагедия «Магомет» сделалась принадлежностью больших провинциальных театров, и сам Ларош играл его в Лионе и Бордо. «Ваш Яковлев,— продолжал Ларош,— отличный Магомет, и я удивляюсь, comment cet homme, qui n'a rien vu et rien appris, a-t-il pu parvenir à bien exécuter un rôle aussi fortement conçu» [1].

18 мая,
суббота.

Жаль, что я не знаю ни одного из восточных языков, а то бы в Коллегии нашлось и мне дело. Илья Карлович сказывал, что теперь в Азиатском департаменте, по случаю войны с турками, много работы и чиновники не бывают праздны. В числе этих тружеников по части переводов с азиатских языков есть отличные люди, как, например, коллежский советник Везиров, надворный советник Владыкин и коллежский асессор Александр Макарович Худобашев; их не видно и не слышно, а между тем они работают как муравьи. Последний, говорят, сверх обязанностей по службе, намерен перевести или уже переводит Шагана Чиберта и Мартина: «Любопытные извлечения из восточных рукописей Парижской библиотеки о древней истории Азии». Худобашев, собственно, переводчик с армянского языка, так, как Дестунис с греческого, но знает хорошо и французский язык. Грекофил Гнедич отзывается о Дестунисе, которого познакомил с ним Юшневский, как о человеке, знающем в совершенстве греческий язык и разумеющем все наречия Гомеровых творений. Я возразил: как же Дестунису, природному греку, не знать своего родного языка? «В том-то и беда,— отвечал он,— что нынешние греки мастера только варить щук в квасу да торговать маслинами, а до Гомера и разнородных его наречий им дела нет. Спиридон Юрьич, напротив, настоящий ученый,

---

[1] Каким образом этот человек, ничего не видевший и ничему не учившийся, сумел так хорошо исполнить столь сильно задуманную роль (*франц.*).

даром что молод: он прекрасно перевел с греческого «Военную трубу» и прибавил к ней множество любопытных примечаний, а теперь переводит «Жизнеописание славных мужей» Плутарха и намерен также обогатить их своими историческими и критическими замечаниями».

У нас в Коллегии много дельных молодых людей; но, странное дело,— их-то и не видать совсем! Мне сказывали, что один из них, Федор Лаврентьевич Халчинский, предпринял перевести критическое и сравнительное описание походов Фридриха Великого и Бонапарте, сочинения Жомини. Честь ему и хвала, если он совершит этот подвиг, и военные люди скажут ему не одно спасибо.

У А. С. Шишкова встретил я Логина Ивановича Кутузова. Долго рассуждали они о чем-то тихомолком, покамест не соблаговолили сделать меня свидетелем своих разговоров. Едва ли не шла речь о действиях нашего флота и адмирале Сенявине: по-видимому, ожидают каких-нибудь важных известий. Логин Иванович очень любезен, ласков и приветлив, а сверх того должен иметь и обширные сведения, потому что целый час говорил без умолку о разных предметах ученых и литературных дельно и красноречиво. Он большой ненавистник Бонапарте; да нельзя назвать его также другом и Беннигсена, о котором он отзывался вскользь как о посредственном главнокомандующем. «Tel brille au second rang, qui s'éclipse au premier» [1],— сказал он к слову о каком-то неудачном передвижении войск наших. Кутузов — сослуживец Шишкова и, кажется, пользуется его дружбою, потому что, лишь только он уехал, Шишков начал говорить о нем как о человеке очень умном и образованном, а сверх того и хорошем литераторе. Я удивился, не слыхав никогда, чтоб Логин Иванович был литератором, и хотя знал из списка, данного мне П. И. Соколовым, что он член академии, но думал, что эта почесть приобретена им так же, как и другими, например Дружининым, Колосовым и проч., и потому спросил о трудах его. «А вот видишь ли, братец,— отвечал Шишков,— он перевел множество путешествий с английского, французского и немецкого языков, и меж-

---

[1] «Блистает на втором месте тот,
кого затмевают на первом» (*франц.*).

ду прочим, путешествия капитана Кука, Лаперуза и Мирса, сочинил морской атлас для плавания из Белого моря в Балтийское, издал «Основания морской тактики» и даже написал для театра комедию «Добрый отец». Во всяком случае, эти труды полезнее плохих од и других стихотворений братца его, Павла Ивановича».

Против таких доказательств возражать нечего.

19 мая,
воскресенье.

Князь Шаховской говорил о намерении своем с будущего года заняться изданием какого-нибудь театрального журнала или газеты, в которых бы можно было помещать рецензии на пьесы, представляемые на театре, на игру актеров, разные театральные анекдоты, жизнеописания известнейших драматургов и актеров русских и иностранных — словом, все, что относится до истории театра и правил сценического искусства. Вместе с этим в состав журнала должна войти и легкая литература: краткие повести, стихи и проч. и проч. Князь Шаховской уверяет, что в этом намерении поддерживает его Крылов, который обещал печатать в новом журнале свои басни, до сих пор нигде еще не напечатанные. В одном только он находит затруднение: кому поручить надзор за изданием журнала и своевременным выходом книжек, потому что ему самому надзирать за этим, по недостатку времени, нет возможности. Я сказал ему, что мысль прекрасная и журнал, без сомнения, должен иметь большой успех; но прежде, нежели приступить к изданию, надобно сообразиться с средствами: достаточно ли у него на первый случай материалов и уверен ли он в своих сотрудниках, без чего может тотчас остаться как рак на мели. Он утверждал, что в сотрудниках недостатка не будет; издержки издания предпримет на свой счет Рыкалов, содержатель театральной типографии, с тем чтоб ему предоставлена была вся польза от издания, и что не это его беспокоит, а только то, кто примет на себя надзор за изданием, то есть все хлопоты, корректуру и проч. Я сказал ему, что в этом случае кстати привести окончание басни «Ларчик», читанной на днях у него Крыловым: «А Ларчик просто отворялся». Если Рыкалову предоставляется вся

польза от издания, так ему и следует принять все эти хлопоты на себя. Шаховской шлепнул себя по лбу и, захохотав, сказал: «Il y a des gens d'esprit qui sont quelque fois bien bêtes»[1].

Между тем, заметив у него на столе небольшую тетрадку, исписанную стихами, я спросил его, что это за стихи. «Анекдот Лукницкого о немце-портном, позабывшем в немецком театре сына»,— отвечал Шаховской. «Хорошо рассказан?» — «По крайней мере, в нравах немцев».— «Можно прочитать?» — «Даже и взять покамест с собою: это материал для будущего журнала». Разумеется, я воспользовался дозволением и тетрадку поскорее за пазуху.

Прочитав рассказ дома, я смекнул делом: Шаховской величайший ненавистник немецких драм, хотя ни слова не понимает по-немецки; а Лукницкий пишет и переводит для театра: следовательно, как не польстить сильному начальнику репертуарной части, от которого зависит участь театрального автора? Это анекдот, случившийся с портным года три назад, когда немецкий театр был еще под частною дирекциею Мире, переложен в стихи и поднесен Шаховскому. Рассказ точно недурен, но вступление к нему длинно и не у места, потому что анекдот и без него достаточно изъясняет причину происшествия.

Один отец чадолюбивый,
Породой шваб, а ремеслом портной,
Жену и трех детей забрал в театр с собой,
Чтоб драмы посмотреть трагическо-шутливой;
И правда, в драме той
Он всякой всячине дивился
И научился
Всей философии, взятой из новых книг;
Он видел, как актеры ели, пили,
Друг друга резали, душили,
Учили разуму, потом табак курили
И в миг
Из Индии его в Берлин переносили;
От всех чудес таких,
Как от угару,
Не взвидел света наш портной
И как шальной
С детьми, с женой
Садится в пошевни и гонит бурых пару
Домой.

---

[1] «Некоторые очень умные люди бывают иной раз очень глупы» (*франц.*).

Меж тем как за Неву на Остров он катился,
Театр от зрителей давно уж опустел,
Свой ужин сторож съел,
Все запер, осмотрел, разделся, помолился
И спать ложился,
Как вдруг
В дверях он слышит стук
И видит бледного портнова:
Печаль и страх
В его глазах
И вымолвить едва он может два, три слова:
Я здесь забыл... да что? Иль трость, или лорнет —
Найдутся, будьте вы в покое.
Не то... не муфту ль? — нет... не книжку ли? нет, нет...
Да что ж такое?
Я сына здесь забыл
Или из пошевней дорогой обронил.
Я, дети и жена так драмой занялися,
Что лишь за ужином Карлуши не дочлися.
Тут сторож тотчас побежал
И, ложу отворив, в ней сына отыскал:
От драмы ошалев, еще Карлуша спал.

20 мая,
понедельник.

Здешний немецкий театр причислен к императорской Дирекции театральных зрелищ весьма недавно — только с 3 января сего года. Любопытны обстоятельства, предшествовавшие и способствовавшие этому причислению, но еще любопытнее те сведения, которые сообщали мне в подробности закулисные мои знакомцы и знакомки о прежнем состоянии и составе немецкой труппы.

Некто Мире, страсбургский уроженец, фехтмейстер, машинист и штукарь, объездивший почти все города Европы в качестве постановщика на сцену пьес с так называемым великолепным спектаклем, то есть сражениями, эволюциями, пожарами, наводнениями и землетрясениями, прибыл, наконец, в Ригу; но так как в Риге театр невелик и, сверх того, он имел уже машиниста, которым и содержатель и публика были довольны, то Мире из фехтмейстера и машиниста сделался содержателем кофейного дома и загородного воксала. Это предприятие ему удалось, и он женился на очень милой и образованной девушке, дочери умершего комического

актера Зауервейда [1], воспитывавшейся в пансионе на иждивении друзей покойного отца ее. Вскоре после свадьбы он отправился в Петербург под предлогом свидания с матерью жены своей, жившей экономкою в доме известного теперь богача купца Молво, но в самом деле в том намерении, чтоб воспользоваться случаем приобрести театральные принадлежности, как то: декорации, гардероб, библиотеку и бутафорские вещи, продававшиеся обществом молодых немецких купцов, любителей театра, устроивших для себя сцену в доме Кушелева, против Зимнего дворца, и сделаться самому директором театра. И в самом деле, он приобрел эти принадлежности за бесценок, а сверх того был передан ему на выгодных условиях и самый театр. Об актерах Мире не беспокоился: на Васильевском острову, в одном из зданий, принадлежащих Академии наук, давала свои представления одна бедная немецкая труппа, под дирекциею какого-то невежды-импресарио по фамилии Рундталлер. Мире переманил ее к себе и с нею открыл свои представления. Они начались удачно, а с удачею открылся и кредит, которым он воспользовался и, в надежде на хорошие сборы, решился выписать с разных немецких театров нескольких хороших актеров и певцов. Средства его увеличились: вскоре, после нескольких спектаклей, данных в комнатах императрицы Марии Феодоровны, государь, по ее ходатайству, пожаловал Мире тридцать тысяч рублей на поддержание немецкого театра и выписку актеров. Эта неожиданная милость развязала руки Мире и дала ему возможность приобрести отличные таланты. На сцене его явились: из Вены — известный Вейраух, бас-буффо, с женою, первою певицею; из Праги — Брюкль, актер на роли благородных отцов, с дочерью, также первою певицею; Виланд, даровитый актер в ролях молодых страстных любовников, с женою, прекрасною драматическою актрисою; уморительный комик Линденштейн и знаменитый Карл Штейнсберг, превосходный актер во всех амплуа: трагических, драматических и комических, актер по призванию, Гаррик в своем роде; К. Гюбш, серьезный бас, и Галтенгоф, замечательный тенор и красивый

---

[1] Сын этого Зауервейда сделался впоследствии отличным живописцем и профессором Академии художеств. (*Позднейшее примеч.*)

мужчина; Шарлотта, однообразная: о ней говорили, что она переменяет не роли, а только платья; мадам Эвест, которою любуемся до сих пор в ролях драматических и комических старух, актриса, каких мало по естественности игры; Цейбиг, отличный тенор, певец и музыкант, но удивительно невзрачный собою: в ролях Бельмонте, принца Тамино и других партиях Моцартовых опер его слушать иначе нельзя, как закрыв глаза, но тогда заслушаешься; Борк, умный, развязный актер в комедиях и отлично исполнявший в трагедиях некоторые роли злодеев, как то: Франца Моора и Вурма; Ленц, красавец собою, с большим талантом, но игравший редко и вскоре удалившийся со сцены [1]; Кеттнер и мадам Брандт, первый в амплуа стариков, а последняя в ролях благородных матерей были на своих местах; мадам Кафка, хорошенькая актриса, щеголиха, живая, кокетливая и вертлявая, нравилась публике в ролях служанок; наконец, Юлиус, Вильгельми, Арнольди с бреславского, данцигского и кенигсбергского театров; Бергер фон Берге, Миллер и Губерт фан-Альберт, один за другим появлялись в ролях молодых любовников, но не могли удовлетворить вкусу публики, которая с каждым днем делалась все взыскательнее.

Так прошло около двух лет, и дела Мире с каждым днем улучшались. Он пришел в Ригу пешком, из Риги приехал с женою в чухонской брике; теперь он имел нарядный экипаж, просторную и удобную квартиру в доме Кушелева, в наилучшей части города, имел верховых лошадей и охотничьих собак, многочисленную прислугу и, кроме молодой, пригожей жены, других красивых собеседниц для препровождения времени; словом, фехтмейстер Мире зажил как настоящий директор Санкт-петербургского привилегированного немецкого театра. Между тем ему недоставало нескольких сюжетов для полного укомплектования своей труппы, и особенно по смерти Виланда, скоропостижно умершего, он нуждался в хорошем актере на амплуа первых молодых любовников; но счастье и тут помогло ему: прочитав в журнале «Северный архив» («Nordisches Archiv»), издаваемом в Митаве, разбор игры одного молодого актера рижской сцены, в котором рецензент

---

[1] Впоследствии Ленц был одним из первых актеров Германии: он приобрел огромную репутацию. (*Позднейшее примеч.*)

чрезвычайно хвалил его, Мире вздумал пригласить его в Петербург на несколько представлений и в случае, если б он принят был публикою благосклонно, удержать его на своей сцене во что бы то ни стало. Задумано — сделано: актер приглашен, приехал в Петербург и явился на сцене в драме Ифланда «Питомка» («Die Mündel») в роли Филиппа Брока, одной из труднейших ролей в амплуа молодых любовников, потому что она требует от актера, вместе с дарованием и опытностью в искусстве, приятной наружности и, главное, молодости — качеств почти несовместных между собою. Актер понравился, публика была в восхищении, аплодисментам не было конца. Его вызвали [1], а генерал Клингер, друг Гете, сам знаменитый писатель и опытный знаток в сценическом искусстве, сидевший в креслах, громко и с жаром сказал: «Наконец-то дождались мы настоящего любовника!» Этот актер был талантливый двадцатидвухлетний Гебгард, с которым, по окончании спектакля, Мире тотчас же и заключил контракт.

В это время окончился срок контракта умного Карла Штейнсберга, и превосходный актер не захотел более возобновлять его: ему опротивел Мире с своим легкомыслием, с своим полубарским тщеславием и мотовством; он решился ехать в Москву и там основать немецкий театр. Пригласив с собою некоторых актеров и актрис, также не возобновивших контрактов своих с Мире, и присоединив к ним нескольких молодых аматеров, он составил очень порядочную труппу и в сопровождении жены своей Шарлотты Мюллер, молодой Марии Штейн (впоследствии мадам Гебгард, теперешнего светила здешнего театра), Гаса, Коропа, Литхенса, Беренса, Нейгауза, Штейна и Петера переселился в Москву.

Сверх полученных уже от щедрот государя тридцати тысяч рублей Мире, под предлогом усовершенствования своего театра и необходимости нового укомплектования своей труппы, по случаю неожиданного отъезда Штейнсберга, успел исходатайствовать еще себе в пособие около сорока тысяч рублей и с этими деньгами отправился в Германию, en grand seigneur [2], поручив управ-

---

[1] В тогдашнее время вызов актера был таким происшествием, о котором неделю толковали в городе. (*Позднейшее примеч.*)

[2] Как вельможа (*франц.*).

ление театром жене своей. Отсутствие его продолжалось около шести месяцев и не только было нечувствительно для управления, но, напротив, принесло ему пользу. Пригожая директриса избрала себе помощником молодого пришельца с рижской сцены, Гебгарда, и они распоряжались так деятельно и умно, что Мире, по возвращении своем, сам удивился порядку, введенному ими в управление: расходы были уменьшены, сборы увеличены и касса переполнена. Последнее обстоятельство было очень кстати, потому что Мире возвратился с новыми сюжетами, которых жалованье и содержание требовали расходов и обходились дорого. С ним приехали: актрисы — красавицы Лёве и Сандерс, но только первая одна понравилась публике в ролях кокеток и светских женщин; Дальберг и Мактоваи, обе также пригожие женщины, но с неприятным венским выговором (от которого мадам Дальберг теперь отвыкает); бас Гунниус, отличный певец и актер, превосходный в ролях Зороастра, Османа, Аксура, Лепорелло и проч., с женою, известною певицею контральто; актеры — Кудич, Арресто, Берлинг и Розенштраух для ролей трагических и драматических, Рекке на амплуа вертопрахов и Шульц с женою для ролей комических. Кроме того, с предприимчивым директором театра прибыли балетная труппа и полный оркестр: балетмейстер и танцмейстер Ламираль с женою, первою танцовщицею; танцовщики Коломбо, Ванденберг, Эбергард и несколько молодых хорошеньких танцовщиц; молодой капельмейстер Нейком, воспитанник Гайдна; известные музыканты: Миллер [1] — первая скрипка, Зук — флейтраверсист, Паульсен и Венд — гобоисты, Феррандини и Климпе — контрабасисты, Дрейвер, Герке, Ратгебер, Шпринк — скрипачи; Герман и Рудольф — фаготисты, Фукс и Фишер — валторнисты; Блашке — виолончелист и, наконец, знаменитый кларнетист Дерфельд [2]. С таким количеством хороших актеров и певцов, с таким отличным оркестром и замечательною балетною труппою немецкий театр был всегда полон зри-

---

[1] Сочинитель оратории «Архангел Михаил». (*Позднейшее примеч.*)

[2] Дерфельд впоследствии был главным капельмейстером гвардейской полковой музыки и довел ее до необыкновенного совершенства. (*Позднейшее примеч.*)

телей, и как в продолжение зимы 1803/04 года, так и до самого закрытия театра пред великим постом 1805 года сборы были чрезвычайные. Казалось, Мире должен был сделаться богачом; но он не только не сделался им, а, напротив, нашелся в невозможности удовлетворить труппу следующим ей жалованьем. Актеры, музыканты и танцовщики подняли вопль. Чтоб избавиться от ежеминутной докуки их, директор на дверях своей конторы вывесил объявление, что «удовлетворение жалованьем артистов, принадлежащих к немецкому театру, отныне впредь принимает на себя казна». Артисты не поверили объявлению и навели справки: ничего не бывало, казна о том не мыслила и не знала! Началось исследование, которое могло иметь для Мире бедственный результат, но, к счастью его, обер-полицеймейстер Эртель как-то уладил дело. Впрочем, вследствие плутовского своего поступка, Мире лишился лучших сюжетов своей труппы: Галтенгоф, Гунниус с женою, Нейком, мадам Кафка и некоторые другие честные немцы не захотели иметь с ним никакого дела и отправились, по приглашению Штейнсберга и по слухам об успехах его театра, в Москву. Остальные похождения закулисных моих героев — до завтра.

21 мая,
вторник.

А. В. Приклонский слышал в канцелярии нашего министра, что 29 апреля крепость Анапа покорилась адмиралу Пустошкину и что есть слухи, будто бы адмирал Сенявин 11-го сего месяца имел морское сражение с турками и истребил у них три корабля, о чем и ждут официального известия. Между тем вести из армии не так успокоительны и веселы: говорят, что едва ли Данциг не должен будет сдаться, если уж и не сдался.

А вот и окончание подвигов героя Мире, которые хотя и не так интересны, но, будучи тесно связаны с судьбою здешнего немецкого театра, по необходимости входят в его историю.

Несмотря на расстройство, причиненное театральному репертуару отъездом лучших сюжетов труппы в Москву, Мире продолжал свои представления и, по невозможности давать оперы Моцарта, Сальери и других

германских композиторов, столько любимые публикою и привлекавшие ее в театр, он стал забавлять ее пьесами драматическими и комическими из сочинений Циглера, Стефани, Юнгера, Бока, Брецнера, Ушокке, Бека, Бейля, Шредера, Ифланда, Коцебу, Клингера, Шиллера и других; возобновил «Русалок», «Чертову мельницу», «Чертов камень», «Дурачка Антошу», «Сестер из Праги», «Воскресное дитя» и проч. и проч. Дела продолжали идти недурно; а чтоб усилить еще более сборы, Мире выписал пригожую певицу Паузер из Риги и пригласил на выгодных условиях из труппы Штейнсберга Марию Штейн, о которой приезжие из Москвы отзывались с великою похвалою. Первая не понравилась и возвратилась в Ригу, последняя же принята с восторгом и вскоре по приезде вышла замуж за молодого любимца публики Гебгарда. Но хорошие сборы не могли уж поправить обстоятельств Мире, задолжавшего кругом и потерявшего не только кредит, но и уважение своей труппы, вследствие чего он и нашелся в необходимости сдать свой театр актеру Арресто, легкомысленно вызвавшемуся принять его с переводом на себя долгов Мире, простирающихся до восьмидесяти тысяч рублей. Новый директор, не имея понятия о вкусе петербургской публики [1] и полагая, что он имеет дело с публикою какого-нибудь немецкого городка, начал с того, что схватился за экономию: он распустил знаменитый оркестр и балетную труппу, отказал последним оперным артистам, остававшимся при театре, и принялся давать старые, давно уже знакомые публике пьесы, которые не могли обогатить кассу. Арресто был прекрасный талант, но вовсе плохой директор. Желая поправить свои сборы и зная, что оперы всегда привлекали публику, он вздумал поставить на сцену премилую оперку «Фаншона» и распределил в ней роли престранным образом: сам играл Сен-Валя, мамзель Лёве заставил играть Фаншону, Шульца — аббата, Берлинга — Эдуарда и так далее. Он вообразил, что можно петь без голосов и что если всякий оперный певец, по нужде, может

---

[1] Тогдашняя публика немецкого театра не была похожа на нынешнюю. Она состояла большею частью из ревностных поклонников искусства. В то время немецкий театр, так же как и русский, имел постоянных своих посетителей, принимавших горячее участие в представлениях. (*Позднейшее примеч.*)

играть в драмах и комедиях, почему ж и всякий драматический актер не может, по нужде, петь в операх? Это логика совершенно немецкая; но какова бы она ни была, только представление «Фаншоны» было последним представлением немецкого театра, происходившим под управлением Арресто: в десять часов окончился спектакль, а в одиннадцать пожар прекратил уже кушелевский театр со всеми принадлежностями в пепел. Государь изволил быть на пожаре и тут же благоволил дать повеление о «причислении немецкой труппы к императорской Дирекции театральных зрелищ». Радость артистов была неописанна. Искатель приключений Мире выехал из Петербурга почти нищим и отправился в Линц один, оставив жену на руках Арресто, который вскоре уехал с нею в Германию чрез Ревель и Ригу, где проездом дал несколько представлений. Sic transit gloria mundi!

Теперь немецкая труппа благоденствует, хотя и не в прежнем своем составе, под заведованием театрального переводчика Н. С. Краснопольского. Режиссерами назначены: по части драматической — Гебгард, комической — Линденштейн и оперной — Цейбиг, которому поручена также и оперная репетитура.

22 мая,
среда.

Я дал бы полжизни, чтоб быть на месте этого счастливца Крюковского [1]. И отчего же не пришло в голову мне вместо «Артабана» написать какую-нибудь трагедию из отечественной истории, вместо того чтоб время и труд тратить по-пустому над этим персидским негодяем? Вот что называется торжество, и такое, от кото-

---

[1] Вам, почтенные театралы моего времени, которым удалось видеть первое представление трагедии «Пожарский», посвящается дневник 22 мая. Вам принадлежит он по праву, потому что вы были свидетелями невиданного и неслыханного успеха такой пьесы, которая если и могла заслуживать какое-нибудь внимание, то единственно по намерению сочинителя, но в художественном отношении не имела никаких достоинств. Как ни смешны восторги театрала-юноши, однако ж вы должны признаться, что они были в то время верным отголоском мнения публики, противу которого не смели возражать даже и самые опытные драматические наши литераторы. (*Позднейшее примеч.*)

рого если не умереть, так с ума сойти можно. Что ни говори князь Шаховской, Крылов и Гнедич, но я уверен, что и они бы не прочь от такого триумфа. «Пьеса кстати, пьеса кстати!» — повторяют они, и только; а разве этого мало? Мне кажется, это в с ё. Я сам знаю, что пьеса Крюковского посредственна, да и самые стихи в роли Пожарского, которые приводили в такой восторг публику, пахнут сумароковщиной. Да какое до того дело? В моем «Артабане» стихи пощеголеватее, а на сцене не произвели бы никакого действия. И лишь теперь, увидев представление «Пожарского», я начинаю понимать, что для полного успеха трагедий на русской сцене только и нужно, чтоб они были «кстати» и чтоб играл в них Яковлев.

После обеда мы с Гнедичем вместе отправились в театр, и хотя пришли довольно рано, но он уже почти был полон. Все лучшее общество красовалось в ложах, а партер был буквально набит битком. Мы заметили Михайла Астафьевича Лобанова, молодого преподавателя русской словесности у Строгановых, в числе несчастных партерных пациентов: он опоздал найти себе место и принужден был жаться между стоящими. Невольно пришло мне в голову, что без особого покровительства князя Шаховского я бы сам терпел такое же истязание, между тем как теперь сижу преспокойно в креслах. Время переходчиво: прежде завидовал я другим, теперь другие завидуют мне. Спектакль начался получасом позже обыкновенного времени, шести часов, потому что поджидали Александра Львовича. Он приехал в сопровождении многих знатных особ и, против обыкновения своего, поместился не в ложе, а в директорских своих креслах между главнокомандующим С. К. Вязмитиновым и старым графом Строгановым; прочие же кресла в первом ряду занимали граф Кочубей, Н. А. Загряжский, граф Салтыков, Д. Л. Нарышкин, генерал-адъютант князь Гагарин, князь Ив. Ал. Гагарин, граф В. В. Мусин-Пушкин, А. И. Корсаков, А. С. Шишков, И. С. Захаров и другие, которых я не знаю. Представление началось: сцена Заруцкого (Шушерин) с есаулом (Щеников) прошла холодно. Но вот наконец появился Пожарский (Яковлев). Он остановился посредине сцены, прискорбно взглянул на златоглавую Москву, прекрасно изображенную на задней декорации, глубоко вздохнул и с та-

ким чувством решимости и самоотвержения произнес первый стих своей роли:

Любви к отечеству сильна над сердцем власть! —

что театр затрещал от рукоплесканий. Но при следующих стихах:

То чувство пылкое, творящее героя,
Покажем скоро мы среди кровава боя.
Похищенно добро нам время возвратить! —

начались топанья и стучанья палками и раздались крики «браво! браво!» до такой степени оглушительные, что Яковлев принужден был оставаться минуты с две неподвижным и безгласным. С таким восторгом приняты были почти все стихи из его роли, которая состоит из афоризмов и декламаций о любви к отечеству. На трактацию сюжета и роли других актеров публика не обращала никакого внимания: она занималась одним Пожарским — Яковлевым; и лишь только он появлялся, аплодисменты и крики возобновлялись с большею силою. Я запомнил несколько стихов, которые более других на меня подействовали:

Погибни лучше все! и град порабощенный
В отеческой стране рукой иноплеменной
Готов разрушить я, в прах здания попрать,
Во храмы бросить огнь и пламенем объять
Их гордые главы, что в золоте сияют
И блеск протекшего величия являют;
. . . .
Россия не в Москве — среди сынов она,
Которых верна грудь любовью к ней полна...

Или:

Ты обрати свой взор на храмы опаленны,
Селенья выжженны, поля опустошенны
. . . .
Не их ли то дела?..
Убогой хижины они развея кров
И удалив жену от верного супруга,
Отторгли буйственно оратая от плуга;
Луга притоптанны увяли в красоте;
Остался пепл один в наследство сироте!
. . . .
И если встречу смерть толико в бранях лестну,
Тень грозная моя восстанет меж рядов
И воспалит ваш гнев и ярость на врагов!

Эти стихи, конечно, хороши и стоили одобрения; но стих, возбудивший наибольший энтузиазм, находит-

ся в сцене, в которой Пожарский, узнав в одно и то же время об измене Заруцкого и об опасности, в которой находится его семейство, бросается к Москве, не слушая убеждений своих приверженцев поспешить на помощь родным своим:

Родные! но... Москва не мать ли мне?..

Говорят, что такого энтузиазма публики, какое произвел этот стих, никто не запомнит; и это должно быть справедливо, потому что восторги зрителей при первом представлении «Димитрия Донского», в сравнении с нынешними, могут назваться умеренными.

Воспитанник театральной школы Сосницкий очень мило сыграл роль Георгия. Маленький актер с таким чувством продекламировал:

Мне жаль, что не могу сей слабою рукою,
Схватив булатный меч, идти на брань с тобою... —

и далее:

Кто смело в бой идет, тот будет победитель! —

что впору было бы иному и опытному актеру. Автора вызывали, и Александр Львович из кресла нарочно входил в ложу, чтоб представить счастливца Крюковского публике.

24 мая,
пятница.

Вчера переехал на новую квартиру в дом Харламова. Комнаты мои неприятны — настоящие сараи. Хозяин встретил меня с хлебом и солью, уверяя, что дешевле и удобнее квартиры я не найду для себя в целом Петербурге. В отношении к дешевизне, может быть, он и прав; но что касается до удобства — дело другое: предчувствую, что в этих сараях мне жить одному будет тошно. Челядинцы мои болтают, что об моей квартире ходят между живущими в доме какие-то неприятные слухи. Если дело идет о каком-нибудь привидении — я его не боюсь, потому что хозяин мой советник Губернского правления и в дружбе с Эртелем, пред которым должны исчезнуть все возможные привидения.

Князь Горчаков в сатире своей жалуется, что литературу нашу наводнили журналы:

И, наконец, я зрю в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной.

Где ж эти тысячи? Первóй, другой, и — обчелся! Скорее надобно бы нашему сатирику жаловаться на недостаток журналов: у нас и прежде было не много периодических изданий, а нынешний год особенно так ими беден, что если б кому вздумалось познакомить публику с своим сочинением, то автор просто не приищет куда поместить его. «Вестник Европы», «Друг юношества», «Весенний цветок» и «Журнал изящных искусств» в Москве [1], да «Северная пчела», издаваемая Гимназией и не помещающая чужих сочинений, и «Экономический журнал» Кукольника здесь, в Петербурге,— вот и все т ы с я ч и. Охота же князю Горчакову так клепать на нашу литературу! В прошедшем году кроме «Вестника Европы» были еще кой-какие журналы, например «Любитель словесности» Остолопова, «Лицей» Мартынова, «Московский зритель» кн. Шаликова, «Московский собеседник» и «Дамский журнал», а в нынешнем такой в них недостаток, что из рук вон! Говорят, что с будущего июня несколько молодых людей с дарованиями: Шредер, Делакроа и Греч — собрались издавать журнал под заглавием «Гений времен»; но этот журнал будет исторический и политический, и для литературных статей едва ли сыщется в нем место; к тому ж издателей много, а у семи нянек дитя всегда без глазу [2]. Впрочем, увидим.

Если б князь Шаховской серьезно принялся за издание театрального журнала, то в теперешнее скудное время петербургской литературы этот журнал мог бы иметь огромный успех. Только достанет ли у Шаховского на то времени? Рыкалов берет на себя издержки и все хлопоты по изданию, но с тем, чтоб доставили ему материалов по крайней мере на два месяца вперед: он, как видно, не очень надеется на аккуратность князя Шаховского и говорит, что одними мелкими стихотворениями не поддержишь издания и что нужны капитальные прозаические статьи. Хотя Марин и Писарев обещали доставлять некоторые переводы из французских

---

[1] Издаваемые М. Т. Каченовским, М. И. Невзоровым, К. Андреевым и Буле.

[2] Однако ж «Гений времен» издавался чуть ли не около трех лет. (*Позднейшее примеч.*)

авторов о правилах театра, а первый даже вызвался перевести стихами поэму Дората о декламации, но тот и другой люди военные и заняты службою, следовательно, на постоянное участие их также слишком полагаться нельзя.

Гнедич сказывал, что получил от знакомца своего, Батюшкова, стихотворное послание «К Озерову» [1], которое чрезвычайно хвалит. По словам его, Батюшков имеет большой талант, но чрезвычайно застенчив и до сих пор не решается печатать своих стихотворений. Он служит в егерском полку, с которым и находится теперь в походе. Гнедич дал слово князю Шаховскому также участвовать в издании театрального журнала и пригласить к тому некоторых знакомых ему авторов.

25 мая,
суббота.

Тетрадь, подаренная мне Иваном Афанасьевичем, чрезвычайно интересна: в ней, между прочим, заключается и реестр пьесам, игранным не только в продолжение всего сценического его поприща, то есть с эпохи прибытия его из Ярославля в Петербург в 1752 году до увольнения от театра в 1787-м, но и до того времени. Это драгоценный манускрипт для истории нашего театра, и я не понимаю, как он мог оставаться до сих пор в безгласности; а еще более удивляюсь, каким образом решился старик отдать его мне, и так легко, не придавая никакой важности своему подарку.

В этой тетради любопытнее всего заметки об успехе или неуспехе игранных пьес и о том действии, какое они производили на двор и публику. Есть также краткие замечания на игру некоторых актеров, в числе которых красуются имена известных и нам Померанцева, Шушерина и нескольких других. Если предполагаемое издание театрального журнала состоится, тогда я буду в возможности снабдить его хорошею статьею и сколько-нибудь расквитаться с князем Шаховским за дозволение пользоваться его креслами в театрах.

Из Коллегии заходил к Яковлеву поздравить его с

---

[1] В последующем году оно напечатано было в «Драматическом вестнике». (*Позднейшее примеч.*)

новым успехом в роли Пожарского. Он что-то не в духе: на все вопросы отвечал как бы нехотя; сидит на диване, насупясь, и думает какую-то думу. Я не хотел надоедать ему и скоро ушел, даже и не простившись с ним.

26 мая, воскресенье.

Наконец видел «Модную лавку» и насмеялся досыта. Как эта комедия ни хороша в чтении, но она еще лучше на сцене, потому что разыгрывается отлично. Рыкалов и Рахманова в ролях Сумбурова и Сумбуровой превосходны. Мало того что они смешат, но вместе заставляют удивляться верности, с какою представляют своих персонажей. Это настоящие провинциалы, но провинциалы совершенно русские; и кто живал в отдаленных губерниях, тому, наверно, удавалось не раз встречать подобные оригиналы. Прочие роли выполнены были также прекрасно: Жебелев очень удачно сыграл роль француза Трише, плута и афериста, для которого все средства хороши, чтоб сколотить деньгу; Ежова была препорядочною мадам Каре, модною торговкою, которая в женщинах точно то же, что Трише в мужчинах; в Бельё видели мы тип магазинной девушки, хорошенькой, ловкой и плутоватой, а о Пономареве, игравшем деревенского слугу Сумбуровых, Антропку, нечего и говорить: это один из прежних знаменитостей русской сцены. Непостижимо, как мастерски отделал он эту почти ничтожную роль Антропки. Что за физиономия, какая фигура! какие ухватки! какая походка и какой разговор! Как уморительно снимает он с барыни салоп и носит его на руке! с каким любопытством и удивлением рассматривает вещи, напоказ выставленные в лавке: шляпки, чепчики и проч. и проч.,— ну, право, этот Пономарев в своем роде Превиль. Дайте роль Антропки другому актеру — она выйдет бесцветна и незаметна. Говорят, что память начинает изменять ему. Жаль; впрочем, и Превиль под старость также ослабел памятью и потому отказался от прежних больших ролей своих и начал играть маленькие, ничтожные роли, которые отделывал с таким искусством и рельефностью, что они выходили чрезвычайно замечательными.

Во время страшного пожара, бывшего Владимир-

ской губернии в городе Судогде, у казенной кладовой стоял на часах штатной команды солдат Пичугин. Вдруг прибегает к нему сосед с известием, что домишко его занялся и чтоб он скорее сменялся с караула и спешил спасать домашних. «Не можно,— отвечал он,— казну еще не повытаскали». Прибегает другой посланный: «Пичугин, жена твоя и с ребенком чуть ли не сгорели. Ступай домой».— «Не можно,— отвечает он опять,— казну не совсем еще повытаскали». Наконец казну повытаскали, и Пичугин, сменившись с караула, опрометью побежал к своему пепелищу; но домишка со всеми пожитками как не бывало, а жену с ребенком нашел, бедняк, обгоревшими в уголь. Государь, узнав о поступке Пичугина, приказал дать ему в награждение пятьсот рублей единовременно и триста рублей ежегодной пенсии. Кажется бы, и делу конец. Нет, подвиг Пичугина не кончен: полученные пятьсот рублей от щедрот государя он роздал все до копейки пострадавшим вместе с ним от пожара.

Доктор Крейтон рассказывал, что года четыре назад случилось ему в Англии быть при анатомировании тела одного семилетнего мальчика по фамилии Малкен, который не только умел уже правильно читать и писать по-английски, но знал латинский язык и географию и рисовал очень порядочно. Между прочим, этот мальчик незадолго до своей смерти сочинил описание какого-то небывалого государства, которому очень остроумно придумал свойственные законы, учреждения и обряды, вовсе не похожие на английские и, однако ж, возможные. По вскрытии головы найдено, что мозг Малкена в объеме и весе превосходил мозг других детей равных с ним лет более нежели в полтора раза.

Не любо — не слушай, а лгать не мешай [1].

28 мая,
вторник.

Вчера целый день пробыл в Павловске у И. П. Эйнбродта. Нагулялся вдоволь, так что и теперь еще ног под собою не слышу. Ивану Петровичу в Павловске

---

[1] Виноват! Впоследствии я удостоверился неоспоримыми доказательствами, что этот мальчик действительно существовал. (*Позднейшее примеч.*)

не житье, а рай: квартира великолепная и стол придворный; чего хочешь, того и проси — все есть: что называется, ешь — не хочу. Видел императрицу Марию Феодоровну и маленьких князей Николая и Михаила Павловичей, которые что-то копали в саду. Императрица прогуливалась по парку с великими княжнами Екатериною и Анною Павловнами и тремя придворными дамами в длинной открытой линейке. Шталмейстер Муханов с какими-то двумя кавалерами ехали верхами. Императрица два раза проезжала мимо меня и каждый раз милостиво и с улыбкой кланялась мне, когда я останавливался и снимал шляпу. Великая княжна Екатерина Павловна — красавица необыкновенная; такого ангельского и вместе умного лица я не встречал в моей жизни; оно мерещится мне и до сих пор, так что я хотя и плохо владею карандашом, но могу очертить его довольно сходно.

У Ивана Петровича обедали Ф. П. Аделунг и доктор Рюль, которого видал я у Эллизена. У последнего физиономия невзрачная, а говорить искусен и к тому же искателен, следовательно, имеет все средства выйти в люди. Толковали большею частью о военных действиях, о которых, впрочем, ничего положительного не слышно. Все известия из армии ограничиваются только тем, что государь здоров и что вскоре должно произойти сражение. Аделунг сказывал, что начальник его, статс-секретарь Витовтов, был назначен в это звание единственно за свои человеколюбивые подвиги. Государь как-то случайно узнал о них и, при встрече с Витовтовым во время обыкновенной своей прогулки по Дворцовой набережной, поздравил его статс-секретарем своим. Государь, по словам Аделунга и Эйнбродта, чрезвычайно внимателен к людям возвышенных чувств и в тех лицах, которыми себя окружает, не терпит ничего неблагородного и особенно неблагодарности, хотя и снисходит к их слабостям по человечеству. Василий Назарьевич Каразин, очень умный человек, назначенный государем в статс-секретари по рекомендации Николая Николаевича Новосильцева, потерял доверенность государя и впал в немилость только потому, что осмелился при докладе опорочивать действия покровителя своего, Новосильцева, по какому-то делу, не объяснившись с ним предварительно.

Возвращаясь из Павловска ночью на пароконном

своем извозчике, я почти во всю дорогу должен был править его клячами сам. Автомедон мой нагрузился до такой степени, что от самой Пулковой горы был без чувств; я боялся, чтоб он не умер и чтоб по этому случаю не привязались ко мне; уж то-то бы, как говорится,

Купил себе лихо
Да за свои гроши.

К счастью, этого не случилось, потому что, подъехав к заставе, я встретил другого извозчика, который сжалился надо мною и мастерски разбудил пьяницу, влепив ему по крайней мере десятка два ударов кнутом и окатив его ведром воды из канавы. Это значит по-русски!

29 мая,
среда.

Опера князя Шаховского «Любовная почта» разыгрывается у нас так хорошо, что лучше не разыграли бы ее и французские актеры. Особенно Воробьев, в роли председателя, и Рахманова, в роли помещицы Сутяги, были бесподобны. Игра Воробьева естественна и верна, а веселость его на сцене чрезвычайно сообщительна. Пономарев и Самойлов также играли хорошо, а последний и пел отлично. Музыку на слова сочинял капельмейстер Кавос, и по всему видно, что он хотел угодить князю Шаховскому: все мотивы очень веселы, приятны и, сверх того, согласуются с словами, что редко удается слышать в операх, особенно в русских.

Пишут из Москвы, что дела немецкого театра плохи и директор его, А. Муромцев, несмотря на свои восемьсот душ, так запутался, что больше не в состоянии платить актерам жалованье. Некоторые сюжеты едут сюда, Гунниус с семейством в Германию, а Литхенс начал учиться математике, с намерением вступить в военную службу по артиллерии. Вот куда бросило нашего Карла Моора! [1] На французском театре готовятся дать «Тартюфа», которого будет играть Дюпаре, а Эльмиру — долговязая мадам Ксавье; между тем прихотливая

---

[1] Литхенс был убит в Бородинском срежении в чине поручика Конной артиллерии. Он оставил по себе память храброго и знающего свое дело офицера. (*Позднейшее примеч.*)

французская публика с нетерпением ожидает давно возвещенной комедии «L'Homme à bonne fortune» Барона, пьесы в стихах и очень длинной, такой длинной, что едва ли, по словам моего корреспондента, публика досидит до пятого акта. Из чего ж она, матушка, так заботится и хлопочет?

30 мая,
четверг.

Идучи в Коллегию, заметил я необыкновенное движение в городе: множество экипажей скакало по улицам и большая часть из них останавливалась у подъезда главнокомандующего. «Это не даром,— подумал я,— должны быть какие-нибудь вести из армии». И точно: Илья Карлович, бывший у министра с докладом, привез известие, что маршал Ней разбит наголову под Гутштадтом. Потеря французов огромна; но и мы потеряли немало; между прочим, у нас тяжело ранены два генерала: граф Остерман-Толстой и Сомов. Ожидают других важнейших известий. Кусовников слышал от отца, что на Бирже большое движение и купцы спешат делами, как будто в предчувствии чего-нибудь чрезвычайного; требования на наши товары беспрерывно возрастают и цены на них возвышаются; но вместе с тем, вопреки обыкновению, лаж на серебро и золото увеличился: серебряный рубль ходит 1 р. 50 к., а червонец — 4 р. 90 к. Говорят, что это признак дурной, то есть признак продолжения войны.

31 мая,
пятница.

За обедом у Лабата пили шампанское за здоровье государя и в честь одержанной победы. Старые эмигранты порядочно подвеселились и непременно требовали тоста Лудовику XVIII, которого уже воображают на престоле своих предков. Эти эмигранты точно дети, и Марья Лукинична чуть ли не права, называя их полоумными: то, при малейшей неудаче наших войск, они упадают духом и находятся в каком-то состоянии безнадежного отчаяния, то вдруг, при известии об успехе

нашей армии, как бы ни был он маловажен, занесутся так высоко, что и земли не слышат под собою: делят Францию, сажают Бонапарте в Бисетр и вдаются в другие подобные несбыточные предположения. Нечего сказать: «народ и скучный и смешной!»— хотя в отношении к привязанности к королю и заслуживает уважение.

Старые актеры говорят, что московского театра актер Иван Калиграф играл роль Димитрия Самозванца лучше всех известных актеров, и не постигают, почему эту роль почитают триумфом Дмитревского, который, по их мнению, был в ней просто слаб; для этой роли у него недоставало ни органа, ни груди; и как он ни старался сохранить себя для пятого акта, но никогда не в состоянии был кончить пьесу без потери голоса и истощения сил. Торжеством Дмитревского могла назваться роль Тита в трагедии Княжнина «Титово милосердие», но и в этой роли актер Лапин едва ли не был его превосходнее. Дмитревского надобно было видеть в комедиях, например в Реньяровом «Игроке», в Мольеровом «Мизантропе» и некоторых других: в этих ролях он был, бесспорно, совершенным, и никто даже из французских актеров соперничать с ним не мог. Калиграф имел большие средства, но, к сожалению, карьера его была непродолжительна; он умер в 1780 году, вскоре после пожара, истребившего театр, бывший на Знаменке, в доме графа Воронцова, и случившегося в самое время представления «Димитрия Самозванца».

Шушерин утверждает, что жена Калиграфа имела еще больше дарования, чем муж ее; но способностей своих она не могла развить вполне по недостатку ролей, им соответственных. Единственная роль мистрис Марвуд в трагедии «Мисс Сарра Сампсон», переведенной Левшиным, была по ее сильным средствам, и она играла ее в совершенстве. «В настоящее время,— продолжал Шушерин,— Надежда Калиграф была бы отличною Медеею, Клитемнестрою и Гермионою; а впрочем, кто знает, может быть, и ее заставили бы, так же как Марью Синявскую, то есть Сахарову, играть у Семеновой наперсниц, как и меня, вероятно, хотели бы заставить играть наперсников у Яковлева».

Шушерин, как видно, чем-нибудь огорчен, а к тому ж Надежда Калиграф — его сожительница. Мне сказывали, что старики до сих пор живут душа в душу.

1809 год

15 декабря. До сих пор я только урывками говорил о графе Потемкине, у которого вчера обедал. Я познакомился с ним в 1807 году, когда он был еще преображенским офицером, в театре, по случаю суждения о ком-то из актеров. Он любит театр, занимается литературою и волочится за Валберховой, которой суждено, кажется, быть предметом страсти всех знакомцев Шаховского, то есть Крюковского, меня и его, Потемкина. Это предобрейший и прелюбезнейший человек в свете, готовый на всякую услугу и на всякое доброе дело. Он очень дружен с братьями Шапошниковыми, из которых младший — его сослуживец, видный собою молодец и человек с талантом. Рыбак рыбака далеко в плесе видит... В прошедшем году Потемкин напечатал свою оперу в пяти действиях под названием «Душенька», взятую из сочинения Богдановича, и напечатал ее по-своему, то есть по-графски, роскошно, на веленевой бумаге, и украсил бесподобными гравюрами. Лучшего издания в России нет. Жаль, что эта опера неудобна для представления на театре, потому что потребовала бы огромных издержек на обстановку и такой музыки, для сочинения которой едва ли найдется у нас капельмейстер. Но еще больше жаль, что в стихах его оперы находится много таких слов, которые неупотребительны в легком разговорном языке. Мне кажется, чуть ли он не хотел похвастаться пред староверами русского языка в знании языка славянского и взятыми из него выражениями заменить употребительные выражения, имеющие в основании языки иностранные. Теперь занимается он вместе с младшим Шапошниковым переводом Расиновой «Аталии». Я слышал некоторые сцены и запомнил много стихов, врезывающихся в память. Славный, энергический перевод. Он лучше всех оригинальных «Душенек» в свете, хотя бы они были изданы вдвое роскошнее, что, впрочем, мудрено. Мой Потемкин такой хлебосол и такой мастер на угощение, что едва ли кто может в этом отношении сравниться с ним в Питере,— даром что молодой человек. Видно по всему, что он дорожит своими гостями: нет ничего такого, чем бы он подорожил для них. Настоящий Лукулл и достойный однофамилец и родственник Таврического. Брат его, говорят, не таков: будто бы горд и

знается большею частью с вельможами и их женами. Самое лучшее в нашем Потемкине есть качество развязывать ум и руки своим знакомым: он становится всегда с тобою на втором плане, и не входишь к нему без особого удовольствия и не выходишь от него без сожаления. Старший Шапошников, кажется, живет у него и занимается его поручениями. Девятнадцатого числа в воскресенье я опять обедать буду у него с Иваном Ивановичем Дмитревским и Ленцем и, может быть, с их семействами. Авось удастся прослушать всю «Аталию», в которой главная роль назначается Валберховой.

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА

Дмитревский. — Державин. — Французские трагические актеры классической эпохи.— Плавильщиков и Шушерин.— Князь А. А. Шаховской и Озеров.— А. С. Яковлев.— Несправедливость к его памяти.— Его стихи, наружность, образ жизни, сценическое поприще.— Лучшие роли Яковлева.— Судовщиков и его комедия «Неслыханное диво».— Семенова и начало певучей декламации.— Гнедич и его правила декламации.— Подражательный талант Семеновой.— Актриса Жорж и наставник ее Флоранс.— Актриса Бургоен.— Валберхова и заблуждение князя Шаховского насчет ее таланта.— Театралы прежнего времени. Вечер у князя Шаховского.— Первое действие комедии Крылова «Ленивый».— Послание А. Я. Княжнина.— С. Н. Марин.— Кенотафия Яковлева слуге.— Я. Г. Григорьев, будущий Брянский.— Испытание его в декламации.— Замечание И. А. Крылова и совет его.— Замечание Княжнина.— Наперсники и наперсницы.— Дебют Григорьева под фамилиею Брянского в роли ЛапеРуза.— Предсказания князя Шаховского сбываются.— Экспромт Милонова.— Огромный репертуар Брянского.— Актер Толстиков.— Разочарование князя Шаховского.— Его послание.— Актер Мочалов (отец).— Послесловие вместо предисловия

I

...У Г. Р. Державина познакомился я с Иваном Афанасьевичем Дмитревским, которого советами он руководствовался в сочинениях своих, назначаемых для

сцены. Это было 2 января 1807 года. Дмитревский был старец замечательной наружности, с правильными чертами лица и с умною, выразительной физиономиею. Голова его, несмотря на то что беспрерывно тряслась, имела в себе много живописного, и особенно белые как снег волосы, зачесанные назад, придавали ей вид, внушавший невольное уважение. Все его движения были изучены и рассчитаны, а речь была тихая, плавная, и выражения, употреблявшиеся им в разговоре, большею частью изысканные. В продолжение двенадцати лет моего близкого с ним знакомства не случалось мне видеть, чтоб когда-нибудь он погорячился или заспорил, напротив, при первом возражении кого-нибудь из собеседников он тотчас же переставал говорить и предоставлял ему продолжение разговора. Вообще, все манеры Дмитревского отличались необыкновенною вежливостью, каким-то достоинством придворных века Екатерины, и после того неудивительно, что он умел приобресть такое всеобщее уважение во всех разрядах общества, каким пользовался до самой своей кончины, последовавшей не в 1812 году, как утверждал г. Аксаков, но в 1821 году, на 88-м году от рождения.

Основываясь на рассказах одного старого отставного суфлера, В. А. Б. (смотри «Дневник студента» в «Москвитянине», № 3 1853 года; днев. 4 марта), известного под общим названием д е д у ш к и, который знал коротко всех артистов своего времени (с 1765 по 1803) и при ясном уме соединял необыкновенную в его лета память с детским простосердечием, я был давно предубежден против Дмитревского: «дедушка» не любил его. «Куртизан,— говаривал он,— настоящий куртизан, эффектщик». Но при первой встрече с Дмитревским предубеждения мои рассеялись совершенно; я не мог постигнуть, как этот знаменитый актер, слава русского театра, изучивший знаменитого Лекена, увлекательного Бризара, необъяснимого Гаррика, чувствительного Офрена, благородного Флоридора, милую Госсен, бурную Дюмениль, непогрешительно-правильную Клерон, с которыми он был знаком дружески, как этот человек, один из старейших членов Российской академии, по-видимому столь скромный, умный, начитанный, высокообразованный, мог в искусстве своем удалиться от натуры и гоняться за одними эффектами, а в общественных сношениях своих унизиться до притворства

и лести? Я полагал, что если в рассказах «дедушки» (человека, не способного ни к каким предубеждениям, а тем более к неснисходительному злоречию, потому что он был весь любовь и радушие) и заключалось предубеждение противу Дмитревского, так это потому, что он имел превратные понятия как об искусстве театральном, так об условиях высшего общества и светских приличий, которые «дедушка» изучить не мог, сидя в суфлерском месте своем; однако ж, к сожалению, истину слов его я испытал впоследствии на деле.

Державин представил меня Дмитревскому как молодого писателя с огромным трагическим талантом. «Он сочинил,— говорил Гаврило Романович,— бесподобную трагедию, в которой действие наводит ужас, а стихи так звучны, что, право, не понимаешь, откуда набрал он столько громких слов и сильных выражений. Это будущий Бобров!» (Державин необыкновенно уважал Боброва). Трагедия моя называлась «Артабан» и была, по отзыву князя Шаховского и по собственному моему впоследствии сознанию, смесью чуши с галиматьею, помноженных на ахинею. Чего не было в ней — прости господи! измены и предательства, убийства и кровосмешения, темницы и цепи, бури и наводнения — было все, кроме здравого смысла. Но великий Державин, при всей своей гениальности, был плохой судья в литературе драматической, а сверх того, по необъятной доброте души своей, так был пристрастен к людям, которых почитал себе преданными, и особенно к старым знакомым, что не мог или не хотел видеть в них ни малейших недостатков. Знаменитый поэт любил меня как юношу, восхищавшегося его творениями, и еще более — как внука одного из лучших друзей своих, с которым он некогда так близко сошелся во время губернаторства своего в Тамбове. Вследствие этой рекомендации, Дмитревский просил прочитать ему мою трагедию и пригласил меня к себе на другой день утром.

С какою живою радостью, с каким восхищением прибежал я на другой день к Дмитревскому, таща под мышкою пресловутое свое творение, в достоинстве которого удостоверил меня благоприятный о нем отзыв Державина! Я нашел Дмитревского в том же коричневом кафтане с стальными пуговицами, в каком видел его накануне, в том же шитом камзоле, в кружевных брыже и маншетах, словом, одетым чрезвычайно опрят-

но и сидевшим в вольтеровских креслах. «Очень, очень рад, душа (Дмитревский несколько картавил и в дружеских разговорах употреблял слово «душа»), видеть вас и прослушать трагедию вашу. Милости просим сюда в кресла, а я посижу на диване; но прежде запремся, чтоб нам не помешали».— И с этим словом старик встал и запер дверь. «Ну теперь начинайте, душа, да читайте не торопясь: у нас времени много». Я начал. Чтоб придать более силы и выражения стихам своим (в моей трагедии их было около 3000 вместо 1300 или 1400, положенных классицизмом по штату), я стал читать громко, со всем жаром и увлечением записного метромана, как вдруг Дмитревский остановил меня, примолвив: «Мне кажется, душа, лучше бы сначала читать не так громогласно, а то этак, того и смотри, до конца не доберемся». По желанию его, я начал читать тихо и в конце первого действия имел несказанное прискорбие видеть Дмитревского спящим. Я остановился; но эта внезапная остановка чтения пробудила старика, который спросонья положил мне руку на колено и вскрикнул: «Прекрасно, душа, прекрасно! продолжайте: очень, очень хорошо. Да на каком, бишь, это мы действии остановились?» При этом вопросе у меня замерло сердце и опустились руки; я хотел было сложить тетрадь свою, но Дмитревский настоял, чтоб я непременно продолжал чтение. Кое-как добрался я до конца своей пьесы при беспрестанных восклицаниях старика: «Прекрасно! бесподобно! восхитительно!» и проч. (произносившихся им, вероятно, для того, чтоб опять не заснуть), но добрался сконфуженный и читал так вяло, что сам чуть было не уснул от скуки. Однако ж надобно было вывести из этого чтения какой-нибудь результат, и я решился просить Дмитревского, чтоб он откровенно сказал мне свое мнение, заслуживает ли мой «Артабан» быть представленным на театре. «А вот видите, душа,— отвечал он мне чрезвычайно ласково,— молвить правду-матку, пьеса-то ваша, при всех достоинствах, немного длинновата, публика не очень ее поймет: ведь она у нас такая прихотливая... а к тому же — пусть только это останется между нами — публика не имеет достаточной образованности, чтоб возвыситься до вашей пьесы, для которой нужна скорее публика французская: вот она-то бы уж похлопала и наверное наградила бы вас вызовом».— «Ну, а располо-

жение трагедии, Иван Афанасьич? а трактация сюжета, а стихи? Это главное — потому что если пьеса только длинна, так можно ее укоротить».— «Да как сказать вам, душа моя? Вот изволите видеть: мне кажется, в первом действии экспозиция немножко растянута, и это естественно: вы хотели быть ясным; во втором и третьем сюжет развивается медленно и персонажи не довольно определительно объясняются в своих намерениях, отчего в четвертом происходит какая-то, с позволения сказать, путаница; ну а в пятом развязка слишком внезапна, да и страшна... куда как страшна! иной зритель не усидит, особенно из тех, которые поближе сидеть будут к сцене. Что касается до стихов, то, конечно, могли бы быть и лучше — да как быть! зато звучны, очень звучны. А впрочем, душа, все прекрасно, истинно прекрасно!»

Я ушел от Дмитревского совершенно разочарованный насчет огромности трагического своего таланта и вспоминая справедливость слов «дедушки». Вскоре я имел случай встречать Дмитревского почти ежедневно и еще более убедиться в беспрерывных его опасениях огорчить кого-либо неугодным словом. Как часто доводилось мне быть свидетелем весьма странных сцен, в которых врожденная всякому человеку правота боролась в Дмитревском с этими опасениями и, к счастью, иногда побеждала их, проявлялась в ответах его комически-остроумных и мастерски согласованных с характером тех лиц, к которым они относились. Тогда приходило мне на мысль, не проистекает ли это человекоугождение Дмитревского от излишней безусловной доброты его сердца и, может быть, оттого, что он в продолжение долгой жизни своей горьким опытом дознал, что советы редко исправляют, а, напротив, часто обижают самолюбие тех, кому они даются, а обиженное самолюбие никогда не прощает?

Впрочем, каковы бы ни были причины, заставлявшие Дмитревского действовать таким образом, нельзя не пожалеть, что, по свойству его характера и образу мыслей, все приобретенные им глубокие сведения о театре и сценическая опытность пропали для современников даром. Покойный Аполлон Александрович Майков справедливо заметил, что Дмитревский «похож на заколдованный сундук, в котором перемешано множество драгоценных вещей с разною ветошью и всяким

хламом; этот сундук отворяется для всякого, и всякому дозволяется рыться в нем и выбирать любую тряпицу, но драгоценности ни за что никому не даются: они видны, но неуловимы». Для меня всегда странно слышать, когда так называемые знатоки истории нашего театра провозглашают Дмитревского отцом сценического искусства в России, учителем Плавильщикова, наставником Шушерина, образователем Яковлева. Нет. Дмитревский никогда ничьим учителем, ни наставником не был по той причине, что быть ими по природе своей не мог, если бы даже и хотел! Присутствие в почетном кресле на репетициях, в спектаклях театральной школы, прослушивание иногда ролей у молодых нововступающих на сцену актеров и актрис — не значит еще быть учителем и наставником их. Плавильщикова создала страсть к театру, умного Шушерина — расчет: лучше быть актером, чем приказным; он был дитя искусства и в этом случае сходен с Дмитревским. Яковлев — сын природы, бессознательный сценический гений. С молодыми актерами, приходившими за советами к Дмитревскому, он поступал точно так же, как и с молодыми писателями, как поступил и со мною: расхваливал их наповал, ласкал, провожал до лестницы — и только. Никто не вынес от него ни одного настоящего понятия об изучаемой роли, ни одного указания на ее оттенки, ни малейшего наставления о постепенных возвышениях и понижениях голоса, никакого вразумления об искусстве слушать на сцене, искусстве столь же важном и для актера необходимом, как и самое искусство говорить,— ничего, решительно ничего! Это могут подтвердить многие находящиеся еще в живых актеры, и между прочим, почтенная М. И. Валберхова, актриса умная, с истинным дарованием и отличавшаяся в то время обворожительною наружностью, но для ролей того амплуа, которое ей было предназначено,— амплуа цариц, не имевшая, к сожалению, достаточно сил физических. В продолжение трех лет я был почти ежедневным свидетелем прохождения ее ролей с кн. Шаховским в присутствии Дмитревского — и что ж! Между тем как Шаховской, фанатик своего дела, выбивался из сил, чтоб передать молодой, прекрасной актрисе настоящий смысл затверженной ею роли, показать ее оттенки, вразумить в ситуацию персонажа, Дмитревский ограничивался одними обыкновенными восклицаниями: «Пре-

красно, душа, прекрасно!» Один только раз случилось мне видеть, что Дмитревский посоветовал Валберховой в роли Электры держать урну с предполагаемым прахом Ореста несколько выше и по временам прижимать ее к сердцу. «Вот так, душа, будет эффектнее!» Эффект был душою Дмитревского. Я не видел его на сцене, и по маленькой роли старого служивого, игранной им в 1812 году в одной патриотической пьесе Висковатова, «Всеобщее ополчение», не могу судить об его искусстве; но из всего, что слышал я в молодости от старых театралов, и между прочим, от графа А. С. С. и князей Б. и Ю. (бывшего директором театра), истинных и просвещенных любителей и покровителей сценических талантов, Дмитревский точно был превосходным актером в комедиях, особенно в ролях резонеров, но в трагедиях был гораздо слабее, и для них, видевших все сценические знаменитости тогдашнего времени, далеко не безукоризнен, напыщен и холоден. По словам их, «c'était un acteur sage, mais sans entrain et qui se possédait même dans les endroits les plus pathétiques; toujours coquet et visant aux effets, le seul rôle, où il a été véritablement beau, c'est le rôle de Titus dans la tragédie du même not et c'est justement parce que c'est un rôle froid, tout en récit et raisonnements tant soit peu boursoufflés» [1]. И в самом деле, на какие роли и какие места в этих ролях, в которых Дмитревский почитался превосходным, указывает нам предание? На I сцену V действия «Димитрия Самозванца», в которой при звуке колокола он вскакивает с кресел:

В набат биют; сему биенью что причина?
В сей час, в сей страшный час пришла моя кончина.
О ночь, о грозна ночь! о ты, противный звон!
Вещай мою беду, смятение и стон! и проч.;—

на сцену Росслава, в которой этот последний, ударяя себя в грудь, беспрестанно повторяет:

...Я росс, я росс! —

---

[1] «Это был актер умный, но игравший без увлечения и владевший собой даже в самых патетических местах; он был всегда кокетлив и рассчитывал на эффекты, и единственная роль, в которой он был действительно хорош, была роль Тита в трагедии того же названия — и именно потому, что эта роль холодная, состоящая из повествования и рассуждений несколько напыщенных» (*франц.*).

на последнюю сцену трагедии «Синав и Трувор», в которой Синав, карикатура Расинова Ореста, с четверть часа беснуется на сцене без всякой надобности:

> Туман от глаз моих скрывает солнца свет! —

и далее:

> Но кто, поверженный, там очи к небу мещет?
> Какой несчастливый в крови своей трепещет?
> Едва, едва дыша томится человек...
> То Трувор, брат мой то! ах, он кончает век! —

и проч. и проч. Но эти самые места и доказывают, что талант Дмитревского производил впечатление на зрителей большею частью в сценах неестественных, в ролях персонажей характеров уродливых, которые для исполнения их не требовали от актера ни чувства, ни увлечения. Для предков наших, видевших Дмитревского в этих ролях и не видавших ничего лучшего, он точно показаться мог чудом искусства; но это еще не доказательство, чтоб он в сущности был великим, самостоятельным актером, за какого хотят непременно нам его выдать; а еще менее, чтоб он был образователем Плавильщикова, Шушерина и особенно Яковлева, не имевшего с ним во всех отношениях ни малейшего сходства. Учениками великого мастера могут почитаться только те, которые усвоили себе манеру своего учителя; так, например, великолепную актрису Жорж можно было назвать ученицею знаменитой актрисы Рокур, потому что она была живая Рокур, хотя и в совершеннейшем виде; живописец Боровиковский несомненно был учеником Лампи, потому что произведения Боровиковского нельзя почти отличить от произведений его учителя; точно так же кто, слышавший один раз Паганини, не признает в скрипачах Сивори и Контском учеников его? Но Яковлев не был не только учеником, но даже и подражателем Дмитревского, потому что, по своенравной натуре своей, он с самого вступления на сцену не хотел слушать Дмитревского. «Хорошо или дурно я играть буду, о том пусть решает публика; а уж обезьяною никогда не буду». Вот что говорил молодой купец Яковлев Дмитревскому при самом вступлении своем на сцену, кажется в 1794 году. Дмитревский и Яковлев были совершенные антиподы в отношении дарованиям, мыслям, чувствованиям и воззрению на искусство. Плавильщиков, Шушерин и впоследствии

Яковлев вступили на петербургский театр в то время, когда Дмитревский, окончив в 1787 году сценическое свое поприще, оставался только режиссером придворного театра. Разумеется, эти молодые артисты более или менее были от него в зависимости, и вот почему вскоре укоренилось в обществе мнение, что он был их образователем. Но если он может назваться настоящим образователем кого-нибудь из актеров, то скорее всего Лапина, который поступил на театр между 1778 и 1780 годами, играл вместе с Дмитревским, имел все его приемы, его дикцию, отличался в тех же ролях, в каких отличался и Дмитревский, например в роли Тита в «Титовом милосердии»,— словом, был живая с него копия со всеми его достоинствами и недостатками; но Лапин вскоре (в 1784 или 1785-м), по каким-то неудовольствиям с великим актером, отправился в Москву и поступил на театр Медокса, человека необыкновенно умного, знатока своего дела и отличного директора театра, который умел находить и ценить таланты. Лапин был высокий, красивый мужчина, с выразительною физиономиею, и современные театралы не иначе называли его, как русским Ларивом (проименование русского Лекена оставалось за Дмитревским). На место Лапина принят был Плавильщиков, но и он как-то не ужился с своим режиссером и также уехал в Москву под крылышко Медокса, и тогда, наконец, благодаря Н. И. Перепечина, отыскавшего в какой-то лавчонке Гостиного двора молодого сидельца, декламировавшего трагедии, явился на сцене звездою первой величины Яковлев, который с самого почти появления своего затмил своих предшественников и заставил почти забыть самого Дмитревского. Огромный успех Яковлева не совсем был пó сердцу нашему Лекену, и это доказывается тем, что в 1797 году он не допустил его играть в «Димитрии Самозванце» (представленном при дворе) роль самого Самозванца, но играл ее сам, хотя около десяти лет уж не был на сцене; а преклонные его лета, совершенно ослабевший организм и увеличившееся трясение головы вовсе не соответствовали самому характеру роли. Этот чрезвычайный успех нового актера как ни был несогласен с видами Дмитревского, однако ж умный и осторожный старик, рассчитывая, что с расположением публики к молодому артисту шутить небезопасно, принялся ему покровительствовать из всех сил и своенравного два-

дцатитрехлетнего юношу провозгласил под рукою лучшим и любимейшим учеником своим, присовокупив, однако ж, к тому, что он упрямец и большой неслух. До самой кончины своей Яковлев был за то признателен Дмитревскому и, несмотря на частые с ним размолвки вследствие неумеренных возлияний Бахусу на веселых пирушках, сохранял к нему искреннюю любовь и уважение; в то время эту признательность проявил Яковлев в сочиненной им надписи к портрету Дмитревского, писанному знаменитым Лампи в костюме Олега, надписи, которая по тогдашнему времени могла назваться недурною:

Се лик Дмитревского, любимца Мельпомены,
Который русский наш театр образовал,
Искусством коего животворились сцены:
Он Гаррика в себе с Лекеном сочетал!

Несмотря на все данные, на основании которых Дмитревского нельзя признать ни великим актером, ни великим образователем юных талантов, он был, однако ж, человек необыкновенно полезный на своем поприще; и если Волков заслуживает названия основателя русской сцены, то Дмитревскому принадлежит не менее почетное название распространителя сценического искусства в России и деятельного, просвещенного исполнителя и совершителя намерений великой монархии во всем, что только могло относиться до внутреннего управления и распоряжения театром, о котором прежде имели столь превратные понятия. Ему, и ему только одному, обязаны мы, что русская сцена облагорожена и существовавшее тогда на театре гаерство вконец истреблено и уничтожено. Он первый подал пример, как должен вести себя настоящий артист и до какой степени уважения может он достигнуть при надлежащих познаниях, неукоризненном поведении, проникнутый сознанием своих обязанностей. В этом отношении заслуги Дмитревского неоценимы. Не говорю о его глубоких сведениях в классико-драматической литературе: это было необходимою принадлежностью его звания; но какими обширными познаниями в области других наук обладал этот человек — право, непостижимо! Как знал он историю, географию и статистику — разумеется, в тех пределах, в которых они в его время существовали! А память, память! Он мог рассказать биографии всех замечательных лиц XVIII столетия, знал все закулисные

тайны французского и английского театров; знал характеры, привычки и связи принадлежащих к ним артистов; знаком был с Калиостро и Казановою, беседовал с Швенденборгом и Поль-Джонсом — словом, память его была неистощима, а мастерство и очаровательность рассказа в дружеской беседе с людьми, которые были ему по сердцу и по его мерке, за стаканом легкого пунша, поистине необыкновенны!

Я пользовался благосклонностью Дмитревского, и он часто бывал у меня в 1811 году в то время, когда я жил вместе с князем Шаховским в доме Ефремова, у Харламова моста. По совету его я тогда занимался переводом «Атрея», предпринятым для бенефиса Яковлева [1]. Он следил за моим переводом; но я так дорожил посещениями Дмитревского, что не только не смел за-

---

[1] Тут совершенно убедился я в страсти Дмитревского к эффектам. Окончание «Атрея» очень просто: после того как Фиест, увидев в поднесенной ему примирительной чаше вместо вина кровь и узнав, что это была кровь его сына, закалывается, проклиная Атрея и предрекая ему различные бедствия, этот аргосский пострел говорит только три стиха:

...à ce prix j'accepte le présage;
Ta main en t'immolant a comblé mes souhaits
Et je jouis enfin du fruit de mes forfaits.

⟨за такую цену я принимаю предсказание. Твоя рука, закалывая тебя, насытила мои желания — и я наконец наслаждаюсь плодом своих злодейств (*франц.*)⟩. Кажется, делу бы и конец; но Дмитревский настоял, чтоб я приделал новую тираду вроде исступлений Орестовых; и когда, в угодность ему, я присочинил известную тогда знаменитую галиматью, в которой были, между прочим, следующие стихи:

Быв здесь разлучены, нас вместе ад не примет,
И тень моя твоей там тени не обымет.
Пусть боги мещут гром и тьмою кроют свет,
Хвала им: я отмщен — и зрю в геенну след...
Разверзлися пред мной предвечные заклепы,
И Фурий на меня стремится полк свирепый;
Уста их точат яд, кровь каплет из очей...
Кому сии венцы плетут из черных змей?
Кому во дланях их кинжалы остры блещут?
Стремятся — прочь! — Меня и Фурии трепещут,—

и далее:

Явится тень моя, злодейством знаменита,
Обиду брату мстить и на брегах Коцита! —

Дмитревский обнял меня с величайшею нежностью, примолвив: «Браво, душа, браво!» Вот тут-то нашему Алексею (Яковлеву) будет где поразгуляться!»

нимать его чтением моей дребедени, а напротив, отклоняя его приглашения, приказывал подавать чай, заводил речь о его путешествии во Францию и Англию, заговаривал об известных артистах того времени и проч. и проч. Тут-то надобно было послушать старика! И я до сих пор живо помню многие из любопытных его рассказов о французских и английских актерах, о Гаррике, о тогдашнем состоянии французской литературы и академии, о вельможах и придворных французского двора и проч. Попытаюсь передать, как сумею, один из этих рассказов о первом знакомстве Дмитревского с девицами Клерон и Дюмениль.

«Первый визит мой был,— говорил Дмитревский,— к мамзель Клерон, потому что тогда она была в большой приязни с любимцем короля и другом Вольтера, маршалом Франции дюком де Ришелье, которого называли «le sultan de la Comédie Française» (после они поссорились). Она жила в улице Chaussée d'Antin и занимала довольно большой дом. Меня ввели в гостиную, убранную со всем возможным великолепием. На передней стене висел огромный портрет хозяйки дома в роли Медеи, писанный знаменитым Ванло; на другой — портрет какого-то немецкого маркграфа. Минут через пять вышла ко мне молодая девица, лет восемнадцати, высокая, стройная, черноволосая, довольно смуглая, но с необыкновенно выразительным лицом и огненными глазами: это была девица Рокур, ученица г-жи Клерон и впоследствии знаменитая актриса. Она объявила мне, что мамзель Клерон занята очень нужным делом и извиняется, что принуждена заставить меня ждать несколько минут. Разговаривая с девицею Рокур, я и не заметил, как протекли эти минуты, и вот отворилась дверь и показалась сама хозяйка, разряженная в пух, в платье с шлейфом и в фижмах, с высокой прической à la corbeille, набеленная, нарумяненная и с мушкою на левой щеке, что означало на модном языке того времени неприступность. Девица Клерон была роста чрезвычайно малого, но держала себя очень прямо и походку имела важную и величественную. Лицо ее бы-

---

Князь Шаховской справедливо заметил: отчего приходить в бешенство Атрею, когда он отмстил брату и достиг своей цели? «Как отчего? — возразил Дмитревский.— От радости, ваше сиятельство, от радости!»

ло несоразмерно велико противу ее статуры (собственное выражение Дмитревского), но черты лица были правильны: римский нос, глаза большие, хорошо врезанные и выразительные, зубы белые и ровные, которыми, казалось, она щеголяла, а руки — совершенство в своем роде: таких рук никогда не случалось мне видеть, но зато телодвижения ее были несколько принужденны, guindés. Не говоря еще с нею, я успел заметить, что она была пресамолюбивая кокетка. И в самом деле, посадив меня на табурет (на кресла сажала она только самых почетных гостей), она ни с того ни с другого начала говорить о своих связях, о своих успехах на театре, о влиянии, которое она имеет на своих товарищей (sociétaires), о совершенном преобразовании сцены и театральных костюмов, ею задуманном и исполняемом Лекеном по ее плану и указанию; что настоящее ее амплуа — роли принцесс (des grandes princesses), как то: Медеи, Гермионы, Альзиры, Пальмиры, Аменаиды, Роксаны, Электры и проч.— и что роли цариц и матерей предоставила она бедной Дюмениль, которая исполняет их кое-как (à cette pauvre femme de Dumesnil, qui s'en acquitte cahin-caha), и проч. и проч. Об искусстве собственно ни слова и ни слова также о предметах, писанных ей в поданном мною рекомендательном письме, которое она пробежала мельком, примолвив: c'est bon. Затем распространилась она о девице Рокур и Лариве, которых театральное образование приняла на себя, и жаловалась на недостаток их способностей и непонятливость, leur manque d'intelligence (Рокур и Ларив непонятливы и без способностей!), но изъявляла надежду, что неимоверные труды ее, настойчивость и средства, придуманные ею к передаче ученикам своим всех тайн искусства, со временем увенчаются успехом; словом, я вышел от Клерон, не слыхав ничего другого, кроме похвал ее самой себе, и, крайне не довольный сделанным ей визитом, отправился к Дюмениль в улицу Marais, где жила она в небольшой квартире третьего этажа. Я позвонил; меня встретила женщина лет сорока, которую я принял за кухарку: растрепанная, в спальном чепце набекрень, в одной юбке и кофте нараспашку, с засученными рукавами; в передней две женщины полоскали какое-то белье; на окошке облизывался претолстый ангорский кот, и вот какая-то паршивая собачонка с визгом бросилась мне

под ноги. Я отступил, полагая, что ошибся нумером квартиры и зашел к какой-нибудь прачке: «Pardon, madame; mais j'aurais désiré de parler à m-lle Dumesnil».— «C'et moi, monsieur,— отвечала прачка,— qu'y a t'il pour votre service?» Я остолбенел! «Il ya, madame, que j'ai une lettre de recommandation pour vous et je suis bien heureux d'avoir l'honneur de parler à la célèbre tragédienne». Она взяла письмо, мигом пробежала его и бросилась обнимать меня: «Comment, c'est vous, monsieur! mais savez-vous que je suis enchantée de vous voir. J'ai été prévenue de votre visite et je vous attendais — oh! comme je vous attendais! Mais c'est véritablement un plaisir pour moi que de faire connaissance avec un homme doué d'un aussi beau talent (в рекомендательном письме я был расхвален на чем свет стоит), comme vous et qui en même temps désire de s'instruire pour être utile à son pays. Tenez, je vais vous donner tout de suite un billet pour le spectacle de demain». С этим словом побежала она в какую-то темную каморку, притащила небольшой ящик, выхватила из него несколько билетов и, подавая их мне, продолжала: «Voici pour vous et vos amis si vous en avez. Je joue «Mérope». Je la joue bien et je la jouerai encore mieux en votre honneur: vous serez content de moi. En attendant, pardon, je suis dans mon jour de ménage. N'oubliez pas, que tous les jours depuis midi jusqu'à l'heure du spectacle, je suis chez moi pour tout le monde; mais vous particulièrement, vous me trouverez à toutes les heures du jour le matin comme le soir et j'éspère que nous causerons souvent et suffisamment; ah! nous causerons bien, n'est-ce pas? bon jour». С последним словом она только что не вытолкала меня за дверь. Этот бесцеремонный, радушный прием восхитил меня до чрезвычайности. Дюмениль была женщина более нежели среднего роста, довольно плотная, с доброю подвижною физиономиею, имела сильный, звучный и вместе приятный орган, достигавший до сердца, говорила быстро, и заметно было, что она говорила только то, что чувствовала; все движения ее были просты и натуральны, хотя и не отличались величавостью; но увидев на сцене Дюмениль, забудешь о величавости. Я изучал ее в ролях Меропы, Клитемнестры, Семирамиды и Родогуны: игра безотчетная — но какая игра! Это непостижимое увлечение: страсть, буря, пламень! Подлинно великая, великая актриса!

Ее упрекали в недостатке благородства на сцене и уверяли, что она придерживалась чарочки; но бог с ней! Без недостатков и слабостей человек не родится: надобно довольствоваться и тем, если в нем сумма хорошего превозвышает сумму дурного; а недостатки в Дюмениль в сравнении с высокими ее качествами — капля в море».

Я мог бы рассказать много подобных анекдотов, слышанных мною от Дмитревского, если б не боялся наскучить своею болтовнею и если б не должен был еще говорить о другом, важнейшем предмете, то есть о лучших наших трагиках, постепенно являвшихся на сцене после Дмитревского, которых я видел, изучал и с которыми большею частью был коротко знаком в свое время. Рассказы мои о самом Дмитревском не что иное, как только одно вступление к другому, более обширному рассказу, и предлагаются единственно в том намерении, чтоб доказать несправедливость мнения, выдающего нам Дмитревского за образователя некоторых наших самостоятельных талантов. Suum cuique! [1] Достаточно для него того уважения и той славы, которые приобрел он другими отличными качествами своего ума, своих познаний, своей многолетней деятельностью и даже своего таланта, если не самостоятельного, то, без сомнения, в высокой степени подражательного. Однако ж не могу расстаться с Дмитревским, не приведя нескольких примеров удивительной его находчивости в тех затруднительных и деликатных случаях, в которых он иногда находился вследствие своих отношений к литераторам, артистам и другим знакомым, поставлявшим его в необходимость сказать им горькую и обидную для самолюбия их истину или, унизив себя очевидною им потачкою, обнаружить пред обществом слабость своего характера. С глазу на глаз — другое дело; но при свидетелях — боже избави!

Державину очень хотелось видеть на сцене трагедию свою «Евпраксия»; но князь Шаховской не любил подобных произведений, кому бы они ни принадлежали, и потому не принимал ее, под предлогом недостатка денег в кассе на обстановку пьесы, требовавшей великолепного спектакля. Державин, потеряв терпение, решился, наконец, отнять всякий предлог к отказу и поставить пьесу на свой счет, о чем и поручил мне объя-

---

[1] Каждому свое! (*Лат.*)

вить Шаховскому, потому что я жил тогда вместе с Шаховским. При этом объявлении Шаховской вспыхнул, как бурак, и комически разразился на меня всеми швермерами своего гнева. «Это все, братец, ваши затеи с К*, а старику и в голову бы не пришло ставить трагедию; шематоны вы этакие!» Приятельница его Катерина Ивановна Ежова — женщина добрейшая (она до такой степени баловала меня, что даже неразлучного моего товарища, легавую собаку Цыгана, кормила рябчиками, в предосуждение аппетита Шаховского), но одаренная таким могучим контральто, что князь Шаховской трепетал перед нею,— живо приняла мою сторону. «Ну, что ты в самом деле, князь, упрямишься? Только наживешь себе неприятелей. Упадет трагедия, так пусть упадет — тебе какое дело! О костюмах заботиться нечего: русские взять из „Русалки", а татарские из „Невидимки" да „Ильи Богатыря"». Князь Шаховской захохотал и, обратясь к сидевшему тут Дмитревскому, сказал: «Вот поди ты с ней! Ей вздумается, пожалуй, представить и „Гектора" [1]».— «А что ж, ваше сиятельство,— возразил Дмитревский,— Катерина Ивановна рассудила умно: отказом вы только обратите на себя негодование Гаврилы Романовича, и я, право, думаю, что лучше согласиться».— «И вы туда же, Иван Афанасьич! — завопил Шаховской.— А я полагал, что вы уважаете Державина и любите его славу».— «Ну, конечно, люблю, но люблю и ваше сиятельство, и потому-то думаю, что лучше согласиться, а там — что бог даст!» Шаховской решился принять трагедию, но с тем, чтоб сделаны были в ней некоторые изменения и сокращения. На другой день я известил о том Державина, который, в восхищении, тотчас же пригласил к себе Дмитревского. «Вот, Иван Афанасьич, «Евпраксию» мою просят на театр, но с тем, чтоб сделать в ней кой-какие перемены. Пособи, пожалуй: тебе со стороны виднее».— «Знаю, знаю, и я уж читал вашу трагедию, раза два читал от первого до последнего стиха, и, приз-

---

[1] Трагедию, присланную на просмотр кн. Шаховскому Иваном Семеновичем Захаровым, известным сочинителем «Похвального слова женам», и посвященную ему каким-то приказным писакою. В ней Андромаха для освобождения из заключения Гектора, своего супруга, подкупает темничного стража за три тысячи червонных, в то время когда кулисы, как сказано в выноске, должны были представлять молнию и гром.

наюсь, ничего не нашел, что бы переменить было должно: все так превосходно, истинно превосходно!» — «Однако ж нельзя не потешить Шаховского, надобно что-нибудь переделать, а иное и выкинуть».— «Ну, конечно, если уж непременно вам угодно, то мне кажется, что вместо убиения русскими князьями Батыя можно было бы пригвоздить его, как Прометея, к какой-нибудь скале, да и заставить проговорить тираду посильнее, стихов в двадцать пять: будет эффектно, очень эффектно! Только я должен вам откровенно доложить, что я полагал бы лучше вашу бесподобную трагедию представить у вас на домашнем театре: ведь издержки-то будут одни и те же, а между тем декорации и костюмы остались бы дома. Театр у вас прекрасный, да и актеры-то, право, не уступят придворным, хоть бы, например, Петр Иваныч [1], Степан Петрович [2] и Вера Николавна с сестрицею и братцами [3]: ведь представляли же вашу «Федру» прекрасно; а то возиться и хлопотать, а пуще обрезывать или переменять сцены у такого сокровища — для неблагодарных!» — «И вестимо так,— подумавши, сказал простосердечный поэт.— Спасибо, Иван Афанасьич, за совет. Сыграем ее дома, а ты уж, братец, одолжи меня, похлопочи за репетициями».

Князь Шаховской был очень рад, что дело обошлось без него, и при всяком свидании благодарил Дмитревского, что избавил его от возни и хлопот. «Не за что, не за что благодарить меня, ваше сиятельство,— говорил Дмитревский.— Это услуга не вам, а Гавриилу Романовичу».

После представления «Атрея» в бенефис Яковлева собрались к нему на вечеринку все его приятели, в числе которых был и Дмитревский, занимавший у Яковлева почетнейшее место. Судили, рядили, спорили о трагедии и актерах и, в ожидании закуски, пили пунш, не жалея французской водки, и, разумеется, все сделались отменно веселы. Тогдашнее угощение было неразорительно. Почтенный Василий Михайлович Федоров, сослуживец мой по Коллегии иностранных дел, автор драмы «Лиза, или Торжество благодарности», и Степан Иванович Висковатов, известный автор трагедии «Ксения и

[1] Соколов, уже умерший.
[2] Пишущий сии строки.
[3] Львовы — племянницы и племянники Гавриила Романовича.

Темир», подсели к Дмитревскому и завели с ним речь о составе «Французской комедии» во время двукратной бытности его в Париже, и в особенности о Лекене, любимейшем предмете его разговоров. Между тем закадычный друг Яковлева, добрейший малый, хотя и довольно пустой человек, Сергей Иванович К*, подбежав к Дмитревскому, вдруг спросил его: кто в бытность его в Париже играл «Атрея» — Лекен или другой актер? Тот отвечал, что в его время «Атрея» на французском театре более не давали, потому что в ходу были Вольтеровы пьесы, да и никто из великих актеров не хотел принять на себя эту неблагодарную роль, особенно Лекен, которого высокий талант как-то не согласовался с этою ролью, а прочие роли ничтожны, да и трагедия сама по себе, несмотря на мрачность сюжета, несколько холодна. «Если так, то отчего же присоветовали вы Жихареву перевести «Атрея» для бенефиса Алексея Семеновича?» — «Оттого, душа, что молодому человеку при легкой должности не баклуши бить, а заниматься же чем-нибудь; да и роль-то Атрея нашему Алексею по плечу: он хорошо ее понял, а в последней сцене примирительной чаши и во всей приделанной тираде был точно ужасен и произвел большой э ф ф е к т».— «Так вы считаете,— возразил К.,— что Алексей Семеныч выше вашего Лекена?» — «Ростом, душа, гораздо выше: вершка на три будет»,— отвечал Дмитревский, которому, видно, надоели расспросы К. Все захохотали. «А чему смеетесь вы?» — подхватил подошедший бенефициант. К. тотчас передал ему слова Дмитревского. «А ты веришь этой старой лисице? — вскрикнул вдруг обидевшийся и разгоряченный пуншем Яковлев.— Ростом выше, одним только ростом? Ну что его Лекен, да и сам-то он что? Им и во сне не грезилось так играть, как я сегодня играл». И он заревел:

...Отмщенья полн
Без страха преплыву чрез сонмы адских волн,
Явится тень моя, злодейством знаменита
(*указывая на Дмитревского*),
Обиду брату мстить и на брегах Коцита!

«Ну, что скажешь, мусье Лекен-Дмитревский? Ноги-то у тебя колесом, голоса нет, груди не бывало, косноязычен — так, мямло».— «А вот что скажу, душа,— очень хладнокровно отвечал Дмитревский,— что если бы

третьего дня не занял я у тебя на нужды сыну ста рублей, то я бы наговорил тебе таких вещей, каких ты от роду не слыхивал!» Все расхохотались. Яковлев также и бросился Дмитревскому в ноги. Старик знал Яковлева коротко и был уверен, что этот человек, забывавший так часто в продолжение двадцати лет должное к нему уважение, в нужном случае кинется за него в воду.

Многие утверждают, что Дмитревский играл в пьесе кн. Шаховского «Встреча незваных», данной будто бы в бенефис вдовы Яковлева по смерти его, в 1817 году. Это неправда: в это время он был опасно болен.

II

Для основательного суждения о степени значения наших трагических актеров в области сценического искусства и беспристрастной оценки их талантов, заслуживших от самих иностранцев полное уважение [1], надобно принять во внимание, что все они, до Брянского

---

[1] Выписка из моего дневника: «9 генваря 1809 года. Вчера вечером сидел у графа Монфокона ⟨старого знатного эмигранта, прежде страстного посетителя (habitue) «Французской комедии» (Comédie Française), приятеля Лекена и некогда счастливого обожателя Дюкло, соперницы Лекуврер.— *Примеч. авт.*⟩ и встретил Лароша ⟨талантливый ветеран тогдашней французской труппы в Петербурге.— *Примеч. авт.*⟩. Он играет завтра «Танкреда» и очень боится за себя. Он прав: в 60 лет играть «Танкреда», которого не играл около тридцати лет (последний раз в Лионе)! Что ж делать, играть больше некому! Танкред стар, зато Аменаида молода. Ларош уверяет, что Жорж увлекательна, и это страшит его еще более. Старые французы толковали о нашем театре: Ларош хвалит Яковлева и Семенову, Шушерина и Сахарова: les premiers trois surtout sont des talents de premier ordre ⟨особенно первые трое — таланты первого разряда (*франц.*)⟩. Но фаворит его — Рыкалов; говорит, что он один из лучших актеров в Европе pour les rôles à manteaux et les financies ⟨для ролей плаща и денежного туза (*франц.*)⟩. Сказывал, что Дюкруази, несмотря на то что одного с ним амплуа, est enchanté de lui dans les comédies de Molière ⟨очарован им в комедиях Мольера (*франц.*)⟩. Ларош отзывается о Крутицком как о гении: «C'etait un génie, un autre Prèville et certes le thèâtre russe possède des grands talents, mais il lui manque l'ensemble, qui est presque t o u t. L'ensemble fait oublier quelque fois l'absence des talents» ⟨«Это был гений, второй Превиль, и русский театр, конечно, обладает большими талантами, но ему не хватает ансамбля, а это почти в с ё. Ансамбль иногда заставляет забыть об отсутствии талантов» (*франц.*)⟩.

и Каратыгина включительно, образовались под влиянием доходивших до них преданий о французской классической декламации и что все почти трагедии, представляемые на русском театре, в которых они по главному своему амплуа занимали прежде роли, были составлены по образцу французских классических пьес или просто переводились с французского. К этому должно присовокупить и те обстоятельства, в которых трагические актеры наши принуждены были находиться в отношении к исполнению своих ролей и требованиям современной им публики. Смотреть на них с другой точки, полагаю, было бы несправедливо. Если б Плавильщиков, Шушерин, Яковлев и Брянский были на сцене французского театра, имели другой партер и были актерами исключительно трагическими, они не уступили бы, может быть, если не Лекену и Тальме, то уж, конечно, ни Бризару, ни Монвелю, ни Лариву и проч., потому что не принуждены были бы совращаться с того единственного пути, который в искусстве ведет к цели, называемой совершенством; но когда актер сегодня играет Ярба, а завтра — негра Ксури, сегодня Агамемнона, а завтра — Мейнау, сегодня Ахилла, а завтра — бургомистра Вольфа, сегодня — первосвященника Иодая, а завтра — рекрута Фрица в «Сыне любви», то, воля ваша, актеру трудно усовершенствоваться. Прежде ни один знаменитый классический трагедиант не решался нисходить до драмы, и самые пьесы Дидро «Отец семейства» и «Беверлей», несмотря на влияние, какое автор их по связям своим имел на французских актеров, представлены были актерами второстепенными (doublures). То же можно сказать и о первостепенных актерах романтических: ни Гаррик, ни Кембль, ни Кин, ни Эк, ни Ифланд, ни Померанцев, ни Крутицкий не принимали на себя ролей классических. Кембль попытался было сыграть Катона Адиссонова, но эта попытка обошлась ему дорого; а для представления трагедии «Сицилийские вечерни» не нашлось в Англии хороших актеров. Нет сомнения, что в отношении многосторонности дарований прежние наши актеры заслуживают преимущественное уважение пред дарованиями современных им актеров иностранных театров; но для совершенного исполнения специального дела нужен и талант специальный; иначе уделом его будет посредственность. Мы, русские люди, в обыкновенном

быту имеем свой взгляд на предметы: дай нам лошадь, которая бы возила воду и воеводу, собаку, которая бы стерегла двор и ходила под ружьем, дай нам повара, который бы ездил кучером, и музыканта, который бы служил ловким лакеем. Все это прекрасно и очень покойно, и я сам не против этого; но в таком случае не надобно желать совершенства и требовать, чтоб хороший классический трагедиант исполнял так же хорошо роли Ксури и Фрица, как исполняет он роли Эдипа или Агамемнона, и обратно. Классическому трагедианту для достижения возможного совершенства в своем искусстве нужны глубокие сведения во многих отраслях наук; ему надобно много учиться и размышлять, и он не может тратить времени для наблюдения за мелочными случаями обыкновенной частной жизни, которое так необходимо для актера романтического. Мне скажут: да вы отъявленный партизан классицизма! Нет, я не классик и не романтик: с равным удовольствием смотрю на трагедию и драму, на Рашель и Вольнис в тех пьесах, где они хороши, и так же искренно, от души любуюсь игрою крестника моего, В. В. Самойлова, и любовался игрою сестры его, Веры, как некогда любовался Семеновою и Яковлевым, Тальмою и Дюшенуа, единственно желая, чтоб процветал наш театр и совершенствовалось искусство,— а для этого — чтоб всякий артист имел свое назначение, сообразно тем дарованиям, какие он получил от бога.

Я упомянул о преданиях французского классического театра, руководствовавших наших трагедиантов на сценическом их поприще, и полагаю нелишним объяснить, в чем заключались эти предания и как образовалось, развивалось и усовершенствовалось классическое драматическое искусство.

Игра французских актеров имела еще до Барона, величайшего актера тогдашнего времени, свои непреложные законы: ни один актер, как бы ни был любим публикою, не смел выходить из тех пределов, какие ему этими законами были предначертаны: строгость партера, неподкупного в своих суждениях, охраняла их. Этот партер состоял из знатоков драматического искусства, не поддававшихся никогда минутному увлечению чувствительности или влиянию побочных обстоятельств, до частной жизни актера относящихся. Страстные любители театра посещали его ежедневно не для того,

чтоб слышать и видеть пьесу, которую они слышали и видели сотни раз и знали всю наизусть, но для того, чтоб слышать и видеть, так ли известный актер сыграет известную сцену сегодня, как сыграл ее вчера, или так ли другой актер произнесет такую-то фразу или тираду, как произносил его предшественник. Актеру дозволялось играть таким образом, какой мог быть согласнее с его средствами, то есть с большим или меньшим воодушевлением, с большим или меньшим возвышением или понижением голоса, но он не должен был не только изменять характера представляемого им лица, но и отступать от усвоенных ему положений на сцене. Исключения были редки и прощались единственно артистам гениальным, которые приобрели настолько доверия и уважения публики, что могли отважиться на какое-нибудь нововведение в свои роли и, в случае успеха, сделаться для других образцами. Так мало-помалу составились предания, которые существовали со времени Барона и до Рашели включительно [1], и вот несколько примеров, как из этих преданий образовались для трагической декламации и сопряженной с нею пантомимой постоянные правила. Митридат в Расиновой трагедии того же названия, закоренелый враг и ненавистник

---

[1] То есть до тех пор, пока она не променяла первоначальной простоты своей дикции на какую-то искусственную, жертвуя всем пластике, даже иногда смыслом стихов, ею произносимых; и вот тому доказательство. В последней сцене 4-го действия «Федры» Рашель вместо того, чтоб, по примеру великих своих предшественников, сказать известные стихи: «Détestables flatteurs» и проч., с воплем отчаянного негодования и раскаяния изнемогающей женщины удаляется в глубину сцены, становится в позитуру древнего оратора, поднимает руку и громовым, цицероновским голосом, в виде нравоучения, произносит, обращаясь к партеру:

Détestables flatteurs, présent le plus funeste,
Que puisse faire aux rois la colère celeste.

⟨Презренные льстецы, самый гибельный дар, который может поднести королям небесный гнев (*франц.*)⟩. Правда, все это делает она прекрасно и грациозно; да разве это Федра? И не покажется ли после того справедливым замечание одного из наших театралов: qu'elle frappe plus fort que juste ⟨что она бьет не столько верно, сколько сильно (*франц.*)⟩. Попытайся она пропеть эти стихи таким же образом пред прежним партером французского театра, это не прошло бы ей даром. Зато, верная преданиям, роль Гермионы она выполняет в совершенстве.

римлян, узнав о приближении их, внезапно вскрикивает: «Les Romains!» Все актеры, игравшие роль Митридата до Бризара, с восклицанием: «Les Romains!» становились в гордую, презрительную позитуру и обнажали мечи, как бы неустрашимо ожидая римлян; но Бризар, напротив, при известии о приближении римлян внезапно, как бы ужаленный змеею, схватывал со стола шлем и с неистово-радостным криком поспешно надевал его на голову и тогда обнажал уж меч. Эта скорость движения, этот шлем, так быстро наброшенный на голову и вдруг увеличивший и без того уж замечательный рост актера, производили необыкновенное впечатление, и с тех пор все актеры, игравшие роль Митридата,— Офрен, Монвель [1], Сен-При и даже толстый хрипун, но увлекательный Деглиньи — стали подражать Бризару.

Известные стихи в рассказе Эдипа в трагедии Вольтера «Эдип»: «J'étais jeune et superbe» [2] и проч.— со времени Дюфрена произносимы были всеми актерами с какою-то гордостью и самохвальством, и ни Лекен, ни Ларив не произносили их иначе — до Тальмы, который изменил совершенно интонацию этих стихов и усвоенную им пантомиму: вместо гордого, самонадеянного и повелительного царского вида Тальма принимал положение смиренное и, потупив глаза, как бы стыдясь своего поступка, с трогательным чувством сожаления и раскаяния произносил: «J'étais jeune — et superbe!» — и одним этим полустишием умел трогать душу [3]. Роль

---

[1] Отец и образователь незабвенной г-жи Марс, актер очень невеликий ростом, уродец, но великий талантом, умом и чувствительностью.

[2] «Я был юн и прекрасен» (*франц.*).

[3] Наш Яковлев угадал верность произношения этих стихов Тальмою. Я живо помню, как прекрасно играл он Эдипа в трагедии Грузинцева «Эдип царь» и какой высокий талант обнаружил он в сцене рассказа. К сожалению, тогдашняя публика не поняла его. То же случилось с ним и в трагедии Озерова «Поликсена», в которой занимал он роль Агамемнона. С каким неизъяснимым чувством и достоинством произносил он следующие стихи, ответ Пирру, требовавшему Поликсены в тризну Ахиллу и напоминавшему, что он некогда и сам не пожалел предать на заклание в жертву дочь свою, Ифигению:

«Я молод был тогда, как ныне молод ты;
Но годы пронесли тщеславия мечты,
И, жизни преходя судьбой пременно поле,

Федры создала актриса Шанмеле (Champmêlé), которая в сцене с Ипполитом произносила известный стих:

Au défaut de ton bras, prête moi ton épée [1],—

с умоляющим видом протягивая руки и становясь почти на колени, что и было исполняемо всеми актрисами до Адриенны Лекуврер; но эта молодая, прелестная, одаренная в высшей степени чувствительностью актриса отважилась изменить пантомиму сцены с Ипполитом и при словах:

Au défaut de ton bras, prête moi ton épée,—

с воплем бросалась на меч Ипполита и вырывала его из ножен. Движение Лекуврер перешло в предание.

Вот еще пример: в известных импрекациях [2] Клитемнестры Агамемнону в трагедии «Ифигения в Авлиде», импрекациях, необыкновенно сильных и требующих от актрисы неимоверного одушевления и могучих средств,—

Oui, vous êtes le fils d'Atrée et de Thyeste...—

далее:

Bourreau de votre fille, il ne vous manque enfin
Que d'en faire à sa mère un horrible festin...—

и наконец:

Venez, si vous l'osez l'arracher à sa mère! [3] —

Стал меньше пылок я и жалостлив стал боле;
Несчастья собственны заставили внимать
Несчастию других!» и проч.
И что ж, вся эта сцена прошла почти незамеченною у большей части публики, и только немногие умели оценить великого актера.

[1] Не хочешь руку дать, так одолжи свой меч (*франц.*).

[2] Прошу извинения за употребление французского выражения, которому не мог приискать равносильного русского. Упрек, проклятие и другие, по мнению моему, не выражают технического слова imprecation, и я искренно благодарен буду тем, кто примет на себя труд исправить мою ошибку.

[3] Да, ты — сын Атрея и Фиеста... Тебе, палачу своей дочери, остается только готовить из нее для матери ужасное пиршество... Попробуй, коли посмеешь, исторгнуть ее у матери! (*Франц.*)

все актрисы, игравшие Клитемнестру, бросаясь на Ифигению, обхватывали ее и самонадеянно, как бы пренебрегая могуществом Агамемнона, произносили с неистовою угрозою: Venez si vous l'osez и проч.; но великая Дюмениль действовала иначе: она, сжимая в объятиях Ифигению, с чувством величайшей материнской нежности и как бы невольно сознавая слабость свою для защиты дочери от могущественного отца, произносила знаменитый стих:

Venez, si vous l'osez l'arracher à sa mère! —

с отчаянным воплем и с крайним напряжением голоса, задушаемого слезами; произносила не в таком уж смысле, как другие, то есть: «попытайся только сунуться ко мне, так я тебе глаза выцарапаю», а, напротив, придавая стиху совершенно другое выражение, то есть: «неужели у тебя достанет духу вырвать дочь из объятий матери?». И вот игра Дюмениль для всех актрис, исполнявших после роль Клитемнестры, сделалась образцовою и необходимым условием успеха. Жорж была в этой роли восхитительна!

Мы теперь едва ли можем основательно и беспристрастно судить о той добросовестной точности, с какою прежние актеры исполняли свои обязанности на классической сцене. Каждое слово, каждое положение было ими обдумано, изучено и соображено. Эти люди, то есть такие, как Барон, Дюфрен, Лекен, Тальма, Дюмениль, Лекуврер и некоторые другие, желали оставить по себе память в истории искусства, желали не совсем умереть — non omnis moriar, и этот неимоверный, почти безвозмездный труд, это самоотвержение прежних артистов для достижения совершенства в своем искусстве могут показаться нашему поколению не имеющими смысла и почти несбыточными; однако ж это было так до того времени, пока решительный переворот в драматической литературе, разразившийся в двадцатых годах, не поколебал основания древнего здания классической трагедии — и последних достойных ее представителей: Жорж, Марс и некоторых других не низвел до мелодрамы; иначе они играли бы пред рядом пустых кресел. К счастью, такое унижение классических трагедиантов продолжалось во Франции не так долго, благодаря таланту Рашели, этой великолепнейшей натурщицы для живописцев и ваятелей, которая хотя и не

совсем верно передает Корнеля и Расина, но зато удивляет пластическими и грациозными своими позами, оглушает громовым голосом и, что называется, берет не мытьем, так катаньем; а между тем публика ходит смотреть ее, время идет своим чередом и — кто знает? к знаменитой Гермионе может под пару вдруг присоединиться другой Тальма — Орест, и тогда, нет сомнения, классическая трагедия займет опять принадлежащее ей место на французской сцене. Упоминая о Рашели, нельзя не вспомнить о нашем Каратыгине, которого талант имел для наблюдателя такое сходство с талантом Рашели. Его физические средства, орган, дикция, пристрастие к пластике, смышленость и любовь к своему делу при других обстоятельствах и при другом направлении драматической литературы сделали бы его замечательным классическим трагедиантом: это было настоящее его призвание, и Каратыгин во всех лучших последних ролях своих, начиная от ролей Ляпунова и Пожарского до ролей студента Карла Моора, игрока Адольфа Жермани и даже денщика, бессознательно был то Агамемноном, то Орестом, то Арзасом или Сеидом.

Я видел Плавильщикова в первой моей молодости (с 1805 по 1807), видел его на сцене и в обществе и, по тогдашней моей страсти к театру, изучал его как человека и как актера так внимательно, что записывал его суждения и разговоры, отмечая те места в его ролях, в которых он мне больше нравился. В то время казался он мне актером необыкновенным, неподражаемым, и только впоследствии, при сравнении игры его с игрою других актеров, наших и иностранных, я стал замечать, что иные роли он мог бы исполнить с большим чувством и соображением — не говорю с большею силою и одушевлением, потому что Плавильщиков обладал этими качествами даже в излишней степени. Я видал его в ролях Ярба, Росслава, Тита, Эдипа, Беверлея, Ермака, Мейнау, Досажаева и купца Бота и до сих пор не забыл еще его произношения, звучного и ясного, ни его телодвижений. Часто встречался я с ним у князя Михаила Александровича Долгорукова, которого он был задушевным другом и за столом которого занимал всегда почетнейшее место. Плавильщиков был человек чрезвычайно умный, серьезный, начитанный, основательно знал русский язык, литературу и говорил мастер-

ски. Физиономия его свободно и естественно выражала все страсти и ощущения души, кроме радости и удовольствия, которых она никогда выразить не могла. Я заметил, что он был несколько самолюбив и предубедителен. Но разве актер может быть не самолюбив и не иметь предубеждений? Он не любил Яковлева и величал его неучем, не любил Шушерина, в игре которого не находил увлечения и чувствительности, и называл его, по игре и характеру, школьником Дмитревского; а Сахаров с женою[1], по мнению его, были не что иное, как выпускные куклы. Несмотря на эти недостатки, до искусства не относящиеся, Плавильщиков был талант во всем смысле слова и заслуживал вполне свою репутацию и уважение, которое к нему имели. В то время, когда, по приезде моем сюда в Петербург, я ознакомился с здешним театром и так близко сошелся с его начальством, я нередко говорил о Плавильщикове с князем Шаховским и удивлялся, как это дирекция оставляет такого человека заброшенным в Москве, тогда как он мог быть полезен в Петербурге не только для сцены, но и для театральной школы в качестве преподавателя декламации. Князь Шаховской прежде отшучивался от прямого ответа, а наконец как-то проговорился: «Ну, что ты прикажешь делать с этими московскими бригадирами? Живут привольно, своим домком, обленились и разбогатели; послушать их, так на нашей сцене хоть трава расти. Оно бы, конечно, лучше, да не в ноги же ему кланяться: батюшка, Петр Алексеевич, пожалуйте к нам и пособите горю». Из последних слов я заключил, что Плавильщикову были деланы предложения о перемещении его в Петербург, но что он отклонил их.

Никто не вправе требовать полной веры к своим суждениям, рассуждениям и особенно осуждениям без доказательств; а между тем какие можно представить доказательства, когда дело идет о достоинствах или недостатках артистов сценических, сошедших с поприща сцены и — жизни? Какие, повторяю, можно представить

---

[1] Урожденною Синявскою, занимавшею прежде первые роли в трагедиях. Впоследствии, во время появления на сцене Семеновой и Валберховой, мы видели ее в ролях наперсниц, которые принимала она на себя единственно по убеждению кн. Шаховского, чтоб содействовать на сцене молодым актрисам. Она прекрасно читала стихи.

доказательства их искусства, когда это искусство не оставляет по себе памятников, никакого следа и умирает вместе с артистом? Это звук колокола, исчезающий в воздухе. Мне скажут: мнение современников; но мнение современников часто пристрастно и несправедливо; да и может ли быть основательно мнение в таком деле, которое зависит от вкуса, прихоти, степени образованности, образа воззрения ценителей артиста и чаще от их личных к нему отношений? Вот почему, не имея данных, нельзя быть довольно осторожну и добросовестну в суждениях об умершем актере. Легко сказать: Шушерин был хороший актер, а Плавильщиков нет, или обратно; но на чем может быть основано такое суждение? На сказаниях таких-то и таких-то лиц? Но какую степень доверенности приобрели эти лица, чтоб им верить на слово? Для Николая Ивановича Кондратьева, известного своим фанатизмом к театру, Мочалов-отец был первым трагедиантом в свете, и ни Плавильщиков, ни Шушерин, ни Яковлев, по собственному его выражению, «не годились ему в подметки». Будь этот Николай Иванович в высшем кругу знакомства, умей он приобрести доверенность к своему званию и, главное, пиши он лучше, нежели писал свои нелепые послания, то не мудрено, что мы давно уж читали бы, что Мочалов был первый трагический актер в России и заткнул (как говорил он) за пояс Яковлева. Нет сомнения, нашлись бы люди, которые поверили бы биографии, напечатанной самовидцем, и вот приговор Яковлеву готов: суди потомство! Ведь умели же напечатать, что Плавильщиков в роли Эдипа «ползал на четвереньках», а Яковлев в роли Тезея произносил известные стихи: «Мой меч союзник мне» и проч. с неистовым криком, беснуясь и выходя из себя! Плавильщиков на четвереньках в роли Эдипа! Яковлев — сорвавшийся с цепи безумец в роли Тезея!.. Я видел Плавильщикова в Москве в роли Эдипа в два первые представления этой трагедии, в 1805 году, и был свидетелем, как он восхитил всех простою и величественною игрою своею; да и мог ли играть иначе единственный в то время защитник простоты и естественности на театральной сцене? Правда, некоторые стихи, как то:

Храм Эвменид! Увы! я вижу их: оне
Стремятся в ярости с отмщением ко мне;

В руках змеи шипят, их очи раскаленны
И за собой влекут все ужасы геенны! —

или в импрекациях сыну:

Тебя земля не примет,
Из недр извергнет труп и смрад его обымет! —

произносил он с излишним одушевлением, чтоб не сказать горячностью, в чем извиняет его ситуация персонажа; но ползанья на четвереньках я не заметил, да едва ли заметил его и кто-нибудь из тысячи наполнявших театр зрителей. Видел я также, и не один раз, Яковлева в роли Тезея и отступил бы от правды, если б решился сказать, что Яковлев был в ней дурен и бесновался без причины; напротив, Яковлев не любил этой роли и не мог любить ее, потому что она не согласовалась с его талантом, не заключая в себе развития ни одной страсти; а в тех ролях, которые были ему не по нраву, он играл без дальнего одушевления и старался только сохранить приличные им благородство и важность. Он уверял, что роль Тезея принадлежит по всему праву актеру Глухареву, обыкновенному его наперснику. «Мужик большой, статный, красивый,— говорил Яковлев,— чем не Тезей? Ведь передал же я ему оперную роль Ильи Богатыря: там, по крайней мере, надобно сражаться с разбойниками да ломать деревья, а тут и того нет. Право, скоро заставят играть Видостана в „Русалке"».

В избежание таких же поверхностных суждений о наших трагических актерах, я поставил себе правилом говорить о них не по рассказам других, а на основании сделанных мною самим замечаний. Для совершеннейшего понятия об игре их надобно было бы сделать сравнение между ними в одних и тех же ролях и тех же сценах, в которых они преимущественно снискали себе репутацию; но я не в силах предпринять этот труд, да и к чему бы послужил он? Классическая трагедия более у нас не существует; это мертвая буква на нашем театре: следовательно, ни в примерах, ни в поучениях нет надобности. Если же для того, чтоб похвастаться памятью, в чем иные не оставят упрекнуть меня, то в том нет большого достоинства. Бесполезные знания не уважаются. Впрочем, вот несколько сцен, давно разобранных мною во всей подробности. Пусть этот сравнительный разбор послужит если не в поучение настоящим

актерам нашим, то по крайней мере в защиту знаменитым их предшественникам и к удовлетворению любопытства немногих любителей старины.

Беру, например, некоторые сцены из роли Эдипа, которая прославила игравших ее в одно почти время Шушерина в Санкт-Петербурге и Плавильщикова в Москве.

Вот выступает на сцену Эдип — Шушерин:

Постой, дочь нежная преступного отца,
Опора слабая несчастного слепца.
Печаль и бедствия всех сил меня лишили!

Эти стихи произносил Шушерин слабым, болезненным, совершенно изнемогающим голосом, едва-едва передвигая ноги и опираясь трепещущею рукою на Антигону. На слове всех он делал ударение и заметно возвышал голос, но затем тотчас же понижал его.

Плавильщиков входил также опираясь на Антигону, но походка его была несколько тверже, рука не трепетала и, по свойству своего органа, он говорил не так слабо, хотя печально и прерывающимся от усталости голосом, однако без признаков отчаяния, как человек, привыкший к своему положению.

Печаль и бедствия — всех сил меня лишили,—

и на все последнее полустишие он делал сильное ударение. За сим:

Видала ль ты, о дочь, когда низвергнут волны
Обломки корабля?..—

и далее:

Вот жизнь теперь моя!

Этим стихам придавал Шушерин какую-то грустную мечтательность, а последнее полустишие выражал так, как будто все происшествия жизни царственного страдальца вдруг одно за другим ожили в его воображении. Он не обращался к дочери с этим уподоблением себя обломку корабельному, но, погрузившись в грустную думу, как бы в полусне, тихо и медленно, с легким наклонением головы произносил:

Вот жизнь теперь моя!

Напротив, Плавильщиков, начитавшийся Софокла и не допускавший никакой мечтательности в роли грека Эди-

па, передавал эти стихи очень просто, с чувством одной только печальной существенности, в буквальном их значении и уподоблении, обращаясь к дочери и как бы желая вразумить ее в истину этого уподобления:

Вот жизнь теперь моя!

При извещении Антигоны, что Эдип находится близ храма Эвменид, Шушерин, верный своему понятию о роли Эдипа как изнемогающего и дряхлого старца, произносил известные стихи:

Храм Эвменид! Увы! я вижу их: оне
Стремятся в ярости с отмщением ко мне;
В руках змеи шипят, их очи раскаленны
И за собой влекут все ужасы геенны! —

не вставая с места, с сильным восклицанием на первом полустишии: «Храм Эвменид!» — а затем вдруг понизив голос и с содроганием протягивая вперед руки, как бы стараясь защититься от преследующих его фурий, отрывисто продолжал:

Увы! я вижу их: оне
Стремятся в ярости с отмщением ко мне,—

и опять постепенно возвышая голос:

В руках змеи шипят, их очи раскаленны...—

и, наконец, всплеснув руками, разражался отчаянным воплем:

И за собой влекут все ужасы геенны!

Но Плавильщиков играл эту сцену иначе: с страшным восклицанием: «Храм Эвменид!» — вскакивал он с места и несколько секунд стоял как ошеломленный, содрогаясь всем телом. Затем мало-помалу приходил в себя, устремляя глаза на один пункт и, действуя руками, как бы отталкивая от себя фурий, продолжал дрожащим голосом и с расстановками:

Увы!.. я вижу их... оне
Стремятся в ярости... с отмщением ко мне;—

глухо и прерывисто:

В руках — змеи шипят... их очи раскаленны,—

усиленно:

И за собой влекут...—

в крайнем изнеможении:

все ужасы геенны! —

и с окончанием стиха стремительно упадал на камень.

Гора ужасная, несчастный Киферон!
Ты, первых дней моих пустынная обитель,
Куда на страшну смерть изверг меня родитель,
Скажи, пещер твоих во мрачной глубине
Скрывала ль ты когда зверей, подобных мне?

Это обращение к Киферону Шушерин обыкновенно произносил так: первые три стиха печально, несколько мечтательно, с горьким воспоминанием, делая ударение на слова ты и скажи, а последний, при возвышении голоса, с чувством сожаления о невольных преступлениях и как будто с ропотом на предопределение судеб, с сильным ударением на словах подобных мне.

Плавильщиков же в обращении к Киферону Эдипа видел только выражения раскаивающегося преступника, справедливо наказанного богами и покорного их воле, а потому передавал все четверостишие в этом смысле. Голосом слабым, но решительным, без задумчивого мечтания и не придавая никакого постороннего значения стихам:

Гора ужасная, несчастный Киферон
. . . .
Видала ль ты когда зверей, подобных мне? —

произносил он так, как будто хотел сказать: «Ну, есть ли на свете подобный мне злодей?» — а не так, как разумел их Шушерин, то есть: «Ну, есть ли на свете подобный мне несчастливец?»

Здесь кстати вспомнить о Яковлеве. Он прекрасно читал в «Эдипе» все те стихи, которые наиболее казались ему поэтическими, и от обращения к Киферону бывал в восхищении: проклятие Полинику декламировал он мастерски, с слезами на глазах, и заставлял нас плакать. Между прочим, я живо помню, с каким глvбоким чувством и с какою благородною греческою простотою произносил он два стиха:

Родится человек лет несколько поцвесть,
Потом — скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть! —

и рыдал как ребенок.

По отъезде Шушерина в Москву комику Рыкалову, имевшему пристрастие к прежнему своему амплуа бла-

городных отцов [1], вздумалось сыграть роль Эдипа в свой бенефис. По этому случаю мы стали уговаривать Яковлева, чтоб лучше он сыграл Эдипа, в том убеждении, что он произведет восторг. «Благодарю за предложение,— отвечал он.— Этого только и недоставало мне: привязать седую бороду и надеть лысый парик! Пусть роль останется за Рыкаловым». В самом деле, Яковлев имел какое-то отвращение от седых бород; даже в роли первосвященника Иодая он не хотел подчиниться обыкновению и играл ее в черной как смоль бороде.

Но возвратимся к «Эдипу».

До сих пор в сценах с дочерью преимущество, кажется, должно оставаться за Шушериным; но зато в сценах с Креоном и Полиником Плавильщиков, по мнению моему и многих театралов того времени, был превосходнее своего соперника, потому что в этих сценах требовалось от актера больше силы, увлечения и достоинства, которыми обладал он с избытком и чего Шушерину в классических трагедиях иногда недоставало. Эти сцены, конечно, и Шушерин играл прекрасно, потому что дурно играть не мог: талант его был безукоризненно ровен; он не падал, как Плавильщиков и особенно Яковлев, но зато и не восторгал никогда зрителей в такой степени, как восторгали последние. Вот Эдип — Плавильщиков в сцене с Креоном: он старался приблизиться, сколько позволяла ему слепота, к Креону и с видом глубокого презрения и уверенности, что Креон способен на всякое постыдное дело, сначала глухим,

---

[1] Амплуа, из которого насильно вытащил его князь Шаховской и сделал из ничего не значащего актера одного из величайших классических комиков в свете. Так отзывались о нем и старые французские актеры Ларош, Дюкроаси и Деглиньи; но Рыкалов не очень уважал свой талант комика и почитал себя отличным драматическим актером. На другой день своего бенефиса, на репетиции спрашивал он у некоторых актеров: как, по их мнению, он сыграл Эдипа? «Ну, точно, батюшка,— отвечала ему простодушная К. И. Ежова,— как из мешка вылезал», разумея сцену в «Скапиновых обманах», где Рыкалов, в роли старого скряги Геронта, был превосходен и, прибитый Скапином в мешке, в который его засадили, вылезал из него с необыкновенно комическим видом, заставлявшим весь театр хохотать до упаду. Комик Бобров был также некогда актером драматическим и в ролях Омара и посла Мамаева был недурен.

прерывающимся голосом, а после постепенно возвышая его, произносил:

Иль по следам моим — твой царь тебя прислал,
Чтоб на челе моем ты грусть мою читал?
Чтоб видел нищету, в которой я скитаюсь,
И как народами я всеми отвергаюсь...—

с горькой иронией:

Иль лучше ты скажи, что волею своей
Пришел — увериться о горести моей...—

с гордою решимостью:

Но не увидишь ты ни слез моих, ни стона; —

резко:

Нет,— ими веселить не буду я...—

с глубочайшим презрением:

Креона!

с печальным убеждением:

Давно уже, давно Эдип тебя проник!

Наконец, следующие стихи были торжеством декламации Плавильщикова:

Хотя я в нищете, но не сравнюсь с Креоном! —

с величайшим достоинством:

Я был царем — а ты...—

с негодованием и отвращением:

...лишь ползаешь пред троном.

Шушерин этой сцене придавал какую-то излишнюю чувствительность; например, при стихе:

Чтоб видел нищету, в которой я скитаюсь,—

хватался за свое рубище и показывал его Креону; а при стихах:

Но не увидишь ты ни слез моих, ни стона;
Нет — ими веселить не буду я Креона,—

утирал глаза, как бы желая скрыть от Креона невольно текущие слезы, и говорил с едва удерживаемым рыданием. Произнося стих:

Я был царем! — а ты лишь ползаешь пред троном,—

он при первом полустишии глубоко вздыхал и затем уже оканчивал его с видом отвращения и презрения. Все это, вообще исполненное мастерски, производило, конечно, эффект удивительный; но была ли в такой декламации истина?

Всю сцену Эдипа с Полиником, в 4-м явлении IV действия, Плавильщиков играл с необыкновенным одушевлением и особенно был превосходен в знаменитой импрекации:

Меня склонить к себе ты тщетно уповаешь.

Какое чувство, какой огонь, хотя и старческий! какая энергия и какое достоинство! В этой импрекации он был истинный царь и вместе жестоко оскорбленный отец.

Сей скиптр, который мне столь щедро предлагаешь,—

с горьким упреком:

Не я ль оставил вам, не я ли вам вручил?
Не я ли дней моих покой вам поручил?..—

грозно:

Коль смеешь ты — на мне останови свой взор: —

пылко и с большим чувством:

Зри ноги ты мои, скитаясь изъязвленны,—

постепенно возвышая голос:

Зри руки, милостынь прошеньем утомленны,
Ты зри главу мою, лишенную волос...—

с выражением скорби и жестокого страдания:

Их иссушила грусть — и ветер их разнес.

Пауза — и далее с ироническим упреком:

Тем временем тебя как услаждала нега,
Твой изгнанный отец без пищи, без ночлега,
Не знал, куда главу несчастну преклонить...
Иди, жестокий сын...—

грозно и напряжением голоса:

Как без пристанища скитался в жизни я,
По смерти будет так скитаться тень твоя,
Без гроба будешь ты...—

с выражением величайшего гнева и как бы вне себя:

Тебя земля не примет,
От недр отвергнет труп — и смрад его обымет!

При последнем полустишии Плавильщиков превосходил себя. Нельзя себе представить выражения лица его. Чувство ужаса, отвращение, омерзение отражались на нем как в зеркале. А пантомима? Он отворачивал голову и действовал руками жест, как бы желая оттолкнуть от себя труп, зараженный смрадом. Но Плавильщиков имел огромные природные способности: звучный голос, сильную грудь, произношение огненное, которых, повторяю, у Шушерина не было, и он заменял их умом, искусством и, так сказать, отчетливою отделкою своей роли. В местах патетических он как будто бы, говоря технически, захлебывался; но для большей части зрителей этот недостаток (вероятно, следствие старости) был почти незаметен. Роль Эдипа понимал он согласно с своими средствами; но такова была прелесть игры его в этой роли, что хотя он придал ей излишнюю и несообразную с характером древних греков чувствительность и некоторые стихи передавал уже слишком в буквальном их значении, то есть тоном одряхлевшего и нищего старца:

Зри ноги ты мои, скитаясь изъязвленны,
Зри руки, милостынь прошеньем утомленны,
Ты зри главу мою, лишенную волос:
Их иссушила грусть и ветер их разнес,—

однако ж производил эффект невообразимый, а последующие стихи продолжал голосом, задушаемым слезами:

Как без пристанища скитался в жизни я,
По смерти будет так скитаться тень твоя;
Без гроба будешь ты...—

и оканчивал тираду с каким-то воплем отчаяния и смертельного ужаса:

Тебя земля не примет,
От недр отвергнет труп и смрад его обымет!

Сорок три года прошло с того времени, как я в последний раз видел Шушерина на сцене, в роли Эдипа, и до сих пор не могу забыть его: я как теперь его вижу... Нынче вошли в употребление, или, скорее, в злоупотребление, слова: пластика, пластичность. Говорят: какая у такого-то пластика! как такой-то пластичен, а на поверку выходит, что эти такие-то единственно рисуются на сцене точно так же, как и сама Ра-

шель, хотя она, разумеется, в превосходнейшей степени. Одна пластика не составляет достоинства, и некоторые фигуры Раппо были очень пластичны! Пластичность на сцене — качество побочное, а в бездарном артисте — даже и смешное: оно доказывает только неуместные притязания на отличие от других, притязания, не извинительные на сцене. Возьмем в пример Шушерина: он был невзрачен собою, довольно толст и мешковат и едва ли когда, бывая на сцене, имел в виду пластику, или пластичность, а между тем — ссылаюсь на беспристрастие старых театралов и на некоторых еще живых ветеранов прежней русской сцены, например Александру Дмитриевну Каратыгину, Марью Ивановну Валберхову и Григория Ивановича Жебелева — до какой превосходной степени Шушерин был пластичен в роли Эдипа! Картины французских живописцев Жерара и Герена, изображающие знаменитых нищих-слепцов: Гомера, Велизария, Эдипа и Оссиана [1], которыми любовался я в оригиналах, ничто в сравнении с тою картиною, которую бессознательно представлял из себя нищий-слепец Шушерин, сидя на камне и с таким чувством произнося прекрасные слова своей роли:

Слепец, чтоб слезы лить, осталися мне очи;
Дни ясны для меня подобно мрачной ночи.
Нет, никогда уже мой не увидит взор
Ни красоты долин, ни возвышенных гор,
Ни в вешний день лесов зеленые одежды,
Ни с жатвою полей — оратаев надежды,
Ни мужа кроткого приятного чела,
Которого рука богов произвела...
Сокрылись от меня все прелести природы!

А отчего был он так пластичен? Оттого, что был верен природе, разумеется с благородной ее стороны. То же бывало в иных ролях и с Яковлевым, о котором речь впереди.

Нет сомнения, что Озеров всем успехом «Эдипа»

---

[1] У Шушерина был эстамп, изображающий слепца Оссиана, сидящего у водопада на камне и играющего на арфе; над ним воздушный сонм героев и дев, им воспетых: Фингал, Кушуллин, Мальвина и проч. Шушерин очень любил этот эстамп, но подарил его Н. И. Гнедичу, в благодарность за перевод «Леара», сделанный ему в бенефис. Фигура Фингала — совершенный портрет Яковлева. Этот любопытный эстамп принадлежит теперь Н. В. Кукольнику.

был единственно обязан Шушерину и должен был бы посвятить свою трагедию ему, а не Державину, который за это посвящение отплатил ему плохими стихами:

Вития, кому Мельпомена,
Надев котурн, дала кинжал, и проч.

Здесь место упомянуть о некоторых обстоятельствах, относящихся до трагедии «Эдип» и ее автора.

Мне часто говорят: «В ваше время, то есть во время оно, любили литературу собственно для литературы; все литераторы были братья; не было ни зависти, ни преследований, ни недобросовестных журналистов,— словом, существовал золотой век для пишущей братии». Отвечаю: нет! все было точно так же, как и теперь. Изменились обстоятельства и формы, но люди как люди, все те же; партии существовали и в мое время, и партизаны гомозились так же: это я готов доказать кому угодно историческими фактами, если так можно назвать записки, веденные мною в продолжение сорока восьми лет ежедневно, и огромную переписку по разным случаям. Я сам, каюсь в вине своей, насмехался над писателями почтенными, легкомысленно преследовал, совокупно с другими, литераторов заслуженных, которые и по личному достоинству, и по положению своему в обществе стояли гораздо выше и были во сто крат полезнее меня и моего прихода. Скорблю о том теперь; но к извинению своему должен сказать, что скорбел и в то время и только не имел достаточно нравственной силы, чтоб расстаться с людьми, с которыми свела меня судьба в моей молодости. Из многих примеров, которые я мог бы представить в подтверждение сказанного, приведу здесь два случая.

Все литераторы, вероятно, слыхали о мнимом преследовании князем Шаховским Озерова, будто бы из зависти к его таланту. Об этом повторяли в обществах, об этом печатали в журналах, провозгласили в биографии Озерова с присовокуплением, что он преждевременно погиб жертвою гонений и проч. Разумеется, об имени князя Шаховского не было упомянуто, но это не препятствовало клевете делать свое дело. Озеров служил, был награждаем, вышел в отставку по страсти к литературе, получал пенсион, жил в деревне, и никто никогда его не преследовал (кроме собственного его непомерного самолюбия); так если и могло быть какое

гонение, то уж, конечно, литературное; а так как он писал театральные пьесы, то гонителем непременно должен был оказаться начальник по репертуарной части, который в то же время был и сам автор. Стали говорить, что князь Шаховской препятствует принятию пьес Озерова на театр, а принятые обставляет плохими актерами, не делает новых декораций, не назначает вовремя репетиций и проч. и проч.; наконец, написали на него эпиграмму, включив в нее всеми уважаемого А. С. Шишкова, что и заставило кн. Шаховского сказать, что за помещение его в такое хорошее общество сердиться нельзя; а между тем вот как преследовал князь Шаховской знаменитого впоследствии автора «Эдипа»: в начале 1804 года Озеров представил свою трагедию, по принадлежности, на просмотр князю Шаховскому. Князь, прочитав ее, был в восторге и тотчас доложил о ней тогдашнему главному директору Александру Львовичу Нарышкину, с тем чтоб немедленно разучить ее и поставить на сцену. Нарышкин был очень рад, но прежде приказал узнать, какие могут быть издержки на постройку костюмов и постановку декораций. Бывший казначей театра, Петр Иванович Альбрехт, лицо историческое в летописях тогдашнего театрального управления, представил, что в кассе только 215 руб. и что нет возможности сделать издержки 1200 руб., исчисленные на монтировку пьесы, которая, может, еще и гроша не принесет. Начались споры; дело пошло в оттяжку. У князя Шаховского собрался комитет из А. Н. О., графа В. В. М., князя И. А. Г., Павла Мих. А., А. А. М., И. А. Дмитревского и И. А. Крылова (писавшего тогда свою «Модную лавку»), чтоб посоветоваться, как помочь горю. Думали, думали, выпили два самовара чаю — и ничего не придумали.

Вдруг пылкий князь Шаховской вскочил с своего места: «Ах, я дурак какой! да дело очень просто. Макар! (служитель князя Шаховского) беги к Альбрехту и зови его сейчас сюда». Тот приехал. «Вот, батюшка, Петр Иваныч, вы все думаете и делаете по-немецки, сбили с толку и Александра Львовича, а мы так вот по-русски: «Эдипа» я ставлю на свой счет. У меня гроша нет, да мое жалованье у вас. Если трагедия выручит, вы мне возвратите деньги, в противном же случае — моя беда».— «Ну, этак можно,— сказал

omnipotent [1] театральной кассы,— мы ничего не теряем, а ваши интересы до вас касаются». И вот как представлена была трагедия «Эдип» — на счет преследователя ее автора; а чтоб успех представления обеспечить вполне, выписан был нарочно из Москвы для роли Полиника известный тогда драматический (а после комический) актер Григорий Иванович Жебелев, здравствующий и поныне, на 85-м году от рождения.

Теперь вот в какой мере противился князь Шаховской принятию на театр трагедий Озерова. Они представлены: «Эдип» 23 ноября 1804-го, «Фингал» 8 декабря 1805-го, «Димитрий Донской» 14 января 1807-го, «Поликсена» 14 мая 1809 года... Кажется, промежуток времени между представлениями этих трагедий не так велик, чтоб заставить предполагать умышленную медленность. Только между «Димитрием Донским» и «Поликсеною» прошло два с небольшим года, и то по случаю небытности автора, который в это время жил в казанской своей деревне и прислал «Поликсену» оттуда. Все эти пьесы даны с возможным по тогдашнему времени великолепием и самою рачительною обстановкою. Роль Поликсены была последняя, которую Семенова проходила с князем Шаховским в присутствии Дмитревского; затем поступила она, по выражению Яковлева, на выправку к Н. И. Гнедичу, который писал для нее ноты [2].

А вот и другой случай. Князь Шаховской, как всем известно, имел страсть к драматической литературе и театру: им, безусловно, посвятил он все свои способности, все время, всю жизнь; и теперь, когда для него началось потомство, кто не отдаст справедливости его таланту, уму и глубокому знанию сцены? Но не всем

---

[1] Всемогущий (*лат.*).
Любопытна жалоба французского актера Каллана (Calland), отличного комика, на Альбрехта, в стихах, в числе которых есть очень смешные:

Au caissier Albrecht je m'annonce
Et lui dit qu'un besoin urgent
Me fait demander de l'argent:
Niet, niet, niet, ce fut sa reponse.

⟨Я являюсь к кассиру Альбрехту, крайняя нужда заставляет меня просить денег, а у него один ответ: нет, нет, нет (*франц.*)⟩.

[2] Об этом будет сказано в своем месте.

известно, что он был человек отлично добрый, бескорыстный, чрезвычайно приятный собеседник, любивший искренно своих приятелей, которых имел мало, и прощавший врагам своим, которых у него, как обыкновенно у всякого человека, принужденного по званию своему быть иногда неблагосклонным и не потворствовать чужому самолюбию,— было много. С этими качествами соединялись в нем и важные недостатки: он имел характер слабый, неопределенный, всегда готовый быть под влиянием первого человека, ему польстившего; в обращении был иногда неуместно откровенен, колок и насмешлив до такой степени, что если не над кем было подтрунить, то подшучивал над своим брюхом, талией и особенно носом, который, по огромности своей, чаще представлял ему случай к остроумной игре слов. Занимая место, требовавшее некоторой степенности в обращении, он, напротив, имел всю живость двадцатилетнего юноши, что вовсе не согласовалось с его лицом и фигурою [1] и было очень смешно. Словом, он не имел никакого, что называется, такта и всех почти судил по себе и своим чувствам, пока не разочаровывался впоследствии; но это разочарование проходило скоро, и он забывал полученные им уроки. Отсюда проистекали все его промахи.

Но исключительною страстью князя Шаховского было давать советы драматическим писателям и актерам и учить декламации. Несмотря на неуклюжую свою фигуру и неясное произношение, он, однако ж, чрезвычайно был полезен в этом деле. Еще живы люди, помнящие его заслуги и неутомимую деятельность в преподавании правил декламации. Он угадал и образовал таланты Семеновой и Валберховой, образовал Брянского, Сосницкого и Рамазанова; дал совершенно другое направление талантам Боброва и Рыкалова и из плохих драматических актеров сделал превосходных комических; дал случай Рожественскому, который считался актером третьестепенным (utilité) развить прекрасное дарование в ролях Пурсоньяков и поставил его в глазах знатоков дела едва ли не на первый план; и талан-

---

[1] Я познакомился с ним в конце 1807 г., когда ему минуло тридцать лет; тогда казался он лет около шестидесяти; зато до самой кончины сохранил свою физиономию без перемен.

ты Самойловых, мужа и жены, и Болиной, к сожалению, так рано оставившей сцену [1], много обязаны были его настойчивым наставлениям. Самойлова-певца он почти насильно заставлял, для усовершенствования сценического таланта, играть в комедиях и даже поручил ему роль Нового Стерна в своей комедии, которая, по непостижимому недоразумению касательно цели, с которою была написана, навлекла на него такую толпу врагов непримиримых.

А между тем этого образователя актрисы Семеновой вдруг обращают в жестокого ее притеснителя! Десятка два языков, лижущих с тарелок молодой актрисы, провозглашали князя Шаховского гонителем ее дарования! Он не назначает ей ролей, присвоенных ее амплуа; он дает превратное направление ее таланту; он учит ее умышленно неправильной декламации и заставляет понимать и произносить стихи в трагедии совершенно противно их смыслу, путает ее на репетициях в репликах, искажает пантомиму... Обвинения действуют в обществе, потому что обществу нельзя знать, что происходит в кабинете князя Шаховского (в котором во время прохождения им с Семеновой ролей, кроме Ив. Аф. Дмитревского, князя Г*, редко Гнедича, реже Крылова и иногда меня, не бывало никого из посторонних),— и вот князь Шаховской признается гонителем таланта Семеновой, к спасению которого не находят другого средства, как поручить ее Гнедичу. Однако ж дело было просто и заключалось в том, что при поступлении на сцену Валберховой надобно было назначить и ей некоторые роли; но эти роли были именно те, которых Семенова никогда не играла; в удел Валберховой достались: Пальмира в «Магомете», Дидона и Софонизба Княжнина и несколько других, в которых стихи без поправки князя Шаховского переломали бы язык молодой актрисе. Считавшиеся же тогда лучшими роли Антигоны, Моины, Ксении, Поликсены, Корделии, Аменаиды и проч., то есть все писанные языком человеческим, остались за Семеновою; и доказательством, до какой степени несправедливы были приверженцы Семеновой к Шаховскому, может служить то ревностное участие, которое принимал он в составлении ее бенефисов. В 1809 году, по неимению новой роли, в которой

[1] Болина вышла замуж за сослуживца моего, Маркова.

бы Семенова могла блеснуть своим дарованием, князь Шаховской предложил перевести для нее Вольтерову «Заиру»; и так как приближалось время ее бенефиса, а переводчика в виду не было, то он уговорил нас, обыкновенных своих собеседников, перевести трагедию по актам и кинуть жребий, кому какой акт достанется. Первый акт достался Полозову, второй Гнедичу, третий Лобанову, четвертый мне, а пятый принял он на себя. Трагедия была переведена, выучена и поставлена на сцену в течение шести недель. Этот знаменитый перевод Яковлев называл переводом семи Симеонов, но был рад роли Оросмана, бывшей торжеством Лекена, и, по вдохновению, прекрасно ее исполнил. Впоследствии для бенефисов Семеновой были переведены Лобановым «Ифигения» и «Федра».

Eh voilà comme on écrit l'histoire! [1] и вот как люди подпадают незаслуженному нареканию!.. Из этого можно заключить, что и в мое время были партии и существовало недоброжелательство...

Я сказал, что на долю Валберховой в первое время ее вступления на сцену досталось несколько ролей из прежних трагедий; но впоследствии, когда талант ее более развился, сочинители и переводчики стали назначать ей роли в своих трагедиях, что весьма было не по нраву Семеновой и ее приверженцам. Так, Грузинцев поручил Валберховой свою Электру, Висковатов — Зенобию, граф Потемкин — Гофолию, князь Шаховской — Идамию и Дебору и проч. К несчастью, большая часть этих ролей была не по средствам этой умной и прелестной актрисы. Так иногда и услуга бывает не в услугу, и князь Шаховской, со всем его знанием и опытностью, заблуждался насчет ее дарования: превосходная в ролях первых трагических любовниц и в комедиях, она была несколько слаба в ролях цариц и матерей, требовавших большей степени одушевления, сильнейшей груди и более могучего голоса.

Знаю, что кто говорит много, тот мало доказывает; но, воля ваша, нельзя иногда утерпеть, чтоб не обличить несправедливость, отягчающую память знакомого, достойного человека.

---

[1] Так вот как пишут историю! (*Франц.*)

III

При сравнении игры Плавильщикова с игрою Шушерина в сценах «Эдипа», сколько дозволяла мне память, я имел одно намерение: показать относительные достоинства наших великих артистов в трагедиях классических; о тех же ролях, которые с таким успехом занимали они в драмах и комедиях, потолкуем впоследствии. Пора теперь поговорить о человеке, который был одарен талантом исключительным и над памятью которого тяготеет более или менее несправедливость. Этот человек — Яковлев. Тридцать семь лет минуло с тех пор, как прах его покоится в земле, и сорок два года с того времени, когда, в припадке жестокой меланхолии, он покусился на жизнь свою и утратил большую часть своих способностей; а между тем рассуждают о нем, как о живом человеке. Кто ж из людей настоящего поколения видел, слышал и достаточно изучал Яковлева, чтоб получить право произнести определительный ему суд не по одной только наслышке и произвольным умозаключениям?

Нередко случалось и случается мне слышать от людей, не видавших Яковлева или видевших его в упадке его дарования, что он хотя и имел природные способности, но не умел ими пользоваться и, сверх того, был гуляка и горлан. По мнению моему, не такими эпитетами надлежало бы чествовать память великого актера, славу русской сцены. Что ж это такое? Желание ли похвастать своими познаниями или умышленное уничижение величайшего таланта, какой когда-либо являлся на нашем театре и, может быть,— не боюсь вымолвить — на театрах целого света, для того, чтоб на развалинах репутации одного дарования воссоздать репутацию другого? Гуляка и горлан! Пусть так; но и Кин с Шериданом были люди невоздержанные, и Тальма в первую эпоху свою был также горлан, а между тем англичане и французы справедливо гордятся ими, хотя в Англии и особенно во Франции было более талантов первоклассных, нежели у нас. Мочалов-сын был также человек невоздержанный, а о страсти к крепким напиткам современника его, актера Ширяева [1], так бы-

[1] Я изумился, увидев в первый раз этого актера. Какой талант! Какая дикция и какое чувство!

стро промелькнувшего на московской сцене, одного из величайших талантов в драматических ролях благородных отцов и резонеров, нечего и упоминать, и однако ж никто не говорит о том — да и зачем говорить? Мы не имеем права входить в частную жизнь актера, следить за его поступками и разбирать их вне театральной залы. Но если уж мы решились на такой подвиг, то будем разбирать его как человека, всего, стараясь указывать не на одни только его слабости и недостатки, без которых не родятся люди, но и на добрые его качества, которые также более или менее свойственны всем людям. Если мы, повторяю, решились принять на себя обязанность строгих судей и обличителей нравов, то будем и поступать как судьи и со всем беспристрастием вникнем в причины этих слабостей. Конечно, слабостей в человеке защищать нельзя; но принимать в уважение обстоятельства, породившие эти слабости, и некоторым образом извинять их — должно; этого требует не одна поверхностная снисходительность, но самая справедливость и человеколюбие. Еще простительно быть неосторожным в суждении о писателях, потому что они в своих творениях имеют сильных за себя защитников пред потомством; но есть ли другая защита актеру, который сорок лет назад исчез из глаз публики, кроме справедливых о нем отголосков его современников?

Правда, Яковлев имел пристрастие к крепким напиткам или, вернее, к тому состоянию самозабвения, которое производит опьянение [1], пристрастие, развившееся особенно в последние годы его жизни; но зато какими прекрасными и возвышенными качествами души и сердца искупал он эту слабость! Он был умен (не говорю: рассудителен), добр, чувствителен, честен, благороден, справедлив, щедр, набожен, одарен пылким воображением и — трезвый — задумчив, скромен и прост как дитя. Не имей Яковлев этой слабости, он, кажется, был бы совершенным; и да не подумают, чтоб все исчисленные мною качества были с моей стороны произволь-

---

Какое благородство и естественность! Он, помнится,
был не более двух лет на сцене...

[1] Он не знал никакого вкуса в вине и не пил его,
как пьют другие, понемногу или, как говорится, смакуя,
но выпивал налитое вдруг, залпом, как бы желая залить
снедающий его пожар.

ным и ни на чем не основанным панегириком,— нет, я могу сослаться в том на многих живых еще людей, которые вместе со мною были очевидными свидетелями его христианских подвигов, так же как и его заблуждений. Отдать последний грош нуждающемуся человеку, пристроить бедного сироту, похоронить на свой счет беднягу, взять на попечение подкидыша и обеспечить существование несчастного ребенка, защитить в известном обществе приятеля от клеветы в предосуждение своим выгодам и все это стараться делать по писанию, втайне — вот весь Яковлев! Я не пишу его биографии и потому не хочу распространяться о делах его в подробности, но почитаю обязанностью честного человека удостоверить примерами, что этот артист думал иногда о чем-нибудь важнейшем, чем о стакане крепкого пунша. Яковлев может быть единственным исключением из того правила, чтоб актера не смешивать с человеком: он в совокупности был и актером и человеком превосходным.

Наружность его была прекрасна: телосложение правильное, рост высокий, но не огромный, благородная поступь, движения естественные: ничего угловатого, ничего натянутого. Лицо было зеркалом души его: открытый лоб, глаза светлые и выразительные, рот небольшой, улыбка пленительная [1]; память имел он необычайную, орган — какого никогда и нигде не удавалось мне слышать: сильный, звучный, приятный, доходящий до сердца и вместе необыкновенной гибкости,— он делал из него что хотел. Яковлев превосходен был в сценах страстных; особенно же в сценах ревности был неподражаем. Впрочем, всюду, где только был ему случай, по выражению Дмитревского, п о р а з г у л я т ь с я, то есть в ролях наиболее поэтических, как, например, в роли первосвященника Иодая, он играл всегда отлично; зато в таких ролях, как роль Тезея, и других, ей подобных, был всегда сам не свой, играл вяло и слабо, как бы нехотя и в тот день обедал сытно и выпивал стакан пуншу, между тем как в день представления любимой трагедии он мало ел и ничего не пил, кроме квасу. Так поступал

---

[1] У меня есть прекрасный портрет Яковлева, чрезвычайно с ним схожий, которым со временем поделюсь с читателями моих воспоминаний.

он, впрочем, до 1813 года; а после... но зачем говорить об этой печальной эпохе?

В нормальном состоянии своем Яковлев никогда не смеялся, был очень умерен, кроток, скромен, всегда задумчив и любил уединение. Бывало, сидит себе один на диване и читает Библию, всемирную историю Плутарха или прежние сочинения Державина, которые любил страстно и называл свыше вдохновенными. С 1811 года начал он читать Штиллинга и Эккартсгаузена и несколько раз признавался мне, что ничего не понимает. Однако ж Штиллингова «Тоска по отчизне» его заинтересовала: ему понравилось предсказание автора, что со временем Россия для всех народов будет обетованною землею и что ей одной предназначено видеть у себя начало благодатного тысячелетнего царствования Христова. Иногда он писал стихи, но они всегда отзывались слогом наших трагиков прошедшего столетия, хотя и заключали в себе сильное чувство и особенно з а д н ю ю м ы с л ь о той несчастной страстной любви, которая пожирала его существование. Это мысль, которая, как ни тщательно он хотел скрыть ее, проявлялась почти во всех его стихотворениях, даже и в шуточных, написанных им в последние годы [1].

---

[1] Вот для доказательства несколько стихов его и, между прочим, небольшое пригласительное ко мне послание, писанное в то время, как я переводил или, скорее, изводил для него «Атрея»:

Не побрезгуй, Атрей,
Вечеринкой моей,
  Я прошу;
Да кутни хоть слегка:
Я для вас индыка
  Потрошу.
Выпить пуншу стакан
Афанасьич Иван 〈Дмитревский.— *Примеч. авт.*〉
  Тут как тут!
И Сергей, молодец 〈Кусов.— *Примеч. авт.*〉,
И Григорий отец
  Оба ждут.
Но брюзгу ты оставь
И себя поисправь:
  В этот день
Чур меня не корить,
Свысока городить
  Дребедень.
Если по льду скользя 〈я расшибся, катаясь на коньках.— *Примеч. авт.*〉,

Но если Яковлев трезвый был тих, скромен и молчалив, то под влиянием пуншевых паров чрезвычайно был эксцентричен, хотя так же добр, чувствителен и безобидчив; и это эксцентричество, конечно, кроме Яковлева,

---

Не упасть нам нельзя —
    Как же быть,
Чтоб с страстьми человек,
Не споткнувшись, свой век
    Мог прожить?
Поневоле кутнешь,
Иногда и запьешь,
    Как змея
Злая сердце сосет,
И сосет и грызет...
    Бедный я!

Стой, помедли, солнце красное,
И лица не крой блестящего
В хладной влаге моря синего.
Не взойдешь уже ты более
Для очей моих...
Се врата пред мною вечности!
Я готов в путь, неизвестный мне!
Да не судит меня строгий ум:
Кто во счастии проводит дни,
Тот не знает дней несчастного!

. . . .

Ах! я двух лет от рождения
Был несом за гробом отческим;
На осьмом за доброй матерью
Шел покрыть ее сырой землей!
Горько, горько сиротою жить
И рукой холодной чуждого
Быть взращаему, питаему,
И на лоне нежной матери
Не слыхать названий ласковых.
    Пролетели дни младенчества,
Наступили лета юности,
Резвой юности мечтательной;
Но — увы! на милой родине
Я пришлец был мало знаемый.
Я искал сердец чувствительных —
Находил сердца холодные
И повсюду видел облако,
Думы полное и мрачное!
    Так летело время быстрое —
Друг и недруг переменчивый,
К одному лишь мне несчастному
В неприязни постоянное.
Тут увидел я прелестную:
Жизнь моя текла отраднее;

никому не прошло бы даром. Так, однажды, вскоре после представления «Ирода и Мариамны», пришел он к Державину, остановился в дверях его кабинета и громовым голосом произнес: «Умри, Державин! ты переживаешь свою славу!» Великий поэт не знал, что подумать о такой выходке, и, приглашая Яковлева садиться, просил его объяснить, в чем дело. «Дело в том,— отвечал трагедиант,— чтоб ты, великий муж, слава России, не писал больше стихов: будет с тебя!», и вдруг, ни с того ни с другого, начал:

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи естества, и проч.—

прочитал всю оду от первого до последнего стиха и, окончив: «Ну,— сказал он,— теперь прощай!» — и уехал. В другой раз, во время представления французскими актерами «Андромахи», после сцены Гермионы с Орестом, которого играл молодой, вновь прибывший актер Ведель — совершенная карикатура Тальмы, Яковлев вдруг является в ложу главного директора, кланяется ему в пояс и говорит: «Ну, ваше высокопревосходительство, уж актер! и это Орест? да это ветошник! Где только этакие шалопаи родятся? а чай жалованья получает втрое больше Яковлева». Добрый Александр Львович захохотал и пригласил Яковлева приехать к нему для объяснения на другой день... Так проказничал наш русский Тальма; но его коротко знали, любили и прощали его выходки.

Но меж нас судьбина лютая
Создала преграду крепкую:
Я из бедного беднейшим стал!
Тридцать семь раз косы жателей
Пресекали класы злачные,
Но во все сие теченье лет
Я и дня не видел красного и проч.

Как странник к родине стремится,
Спеша увидеть отчий кров,
Или невольник от оков
Минуты ждет освободиться,
Так я, объятый грусти тьмой,
Растерзан лютою тоскою,
Не находя нигде покою,
Жду только ночи гробовой,
Чтобы обресть себе покой!

Сценическое поприще Яковлева можно разделить на три эпохи: одну — со времени вступления его на театр в 1794 году до появления трагедий Озерова в 1804 году [1]; другую — с 1804 по 1813 год и последнюю — с этого года по 1817 год, время его кончины. В первую из этих эпох Яковлев играл только в трагедиях Сумарокова и Княжнина и в двух или трех старинного перевода. Он признавался, что из всех трагических ролей, им тогда игранных, любил только роли Синава, Ярба, Массиниссы и Магомета, но что все прочие были ему как-то не по душе, особенно роль Росслава. «Нечего сказать,— говорил он,— уж роль! хвастаешь, хвастаешь так, что иногда, право, и стыдно станет». Не любил также роли Тита, о которой отзывался, что это роль оперная; роли же Ярба, Массиниссы и Магомета играл и впоследствии охотно, исправив в первых двух всю шероховатость стихов и устаревшего языка. То же бы сделал он и с ролью Магомета, если б не уважал Дмитревского, которому предание приписывало перевод этой трагедии, хотя этот перевод известен был с именем графа П. С. П. В последующую же эпоху репертуар Яковлева чрезвычайно обогатился новыми ролями: Тезея, Фингала, Димитрия Донского, обоих Агамемнонов (в «Поликсене» и «Ифигении»), Пожарского, Эдипа-царя, Радамиста, Гамлета, Лавидона, Иодая, Отелло, Атрея, Чингисхана, Ирода, Ореста, Оросмана, Танкреда и другими, в которых стихи если были не равного достоинства и иногда довольно слабы, но все же лучше тех, которые заключались в прежних его ролях. В эту эпоху Яковлев, так сказать, нравственно вырос и дарования его получили полное развитие. В промежутке новых пьес Яковлев, разумеется, играл и в драмах, даже в небольшой комедии Дюваля «Влюбленный Шекспир» прекрасно выполнил роль Шекспира; но как речь теперь идет о Яковлеве-трагедианте, то об игре его в драмах говорить пока не буду. Только в продолжение этой эпохи Яковлев познакомился с настоящим искусством театра, с искусством оттенять свои роли и иногда из простых изречений и ситуаций представляемого им персонажа

---

[1] Не говорю о трагедии его «Ярополк и Олег», представленной в 1798 г., трагедии, составленной и написанной по образцам трагедий Сумарокова и Княжнина.

извлекать сильные эффекты, чего ему, по неимению образования и по недостатку примеров, прежде недоставало. В то время, когда Яковлев поступил на театр, Дмитревский больше не играл, французских актеров он не разумел: следовательно, и неоткуда было ему почерпнуть надлежащих понятий о всех тонкостях искусства; да и зачем ему было до того времени знать их? Публика была не очень взыскательна, а представляемые им небывалые на свете персонажи, с малым исключением, не имели ни определительного характера, ни физиономии исторической. Достаточно было, если трагический актер проговорит известную тираду вразумительно, ясным и звучным голосом и под конец ее разразится всею силою своего органа или в ролях страстных будет уметь произнести с нежностью выражение любви — и дело кончено: публика аплодировала; а кому она аплодировала, тот, значило, был актер превосходный. Замечательно по этому случаю признание самого Яковлева. «Пытался я,— говорил он,— в первые годы вступления на театр играть (употреблю его собственные выражения) и так и сяк, да невпопад; придумал я однажды произнести тихо, скромно, но с твердостью, как следовало: Росслав и в лаврах я и в узах я Росслав — что ж? публика словно как мертвая — ни хлопанчика! Ну, постой же, думаю: в другой раз я тебя попотчую. И в самом деле, в следующее представление «Росслава» я как рявкну на этом стихе, инже самому стало совестно; а публика моя и пошла писать, все почти с места повыскочили. Да и сам милый Афанасьич-то наш после спектакля подошел ко мне и припал к уху: «Ну, душа, уж сегодня ты подлинно отличился». Я знал, что он хвалил меня на смех, да бог с ним! После, как публика меня полюбила, я стал смелее и умнее играть; однако ж много мне стоило труда воздерживаться от желания в известных местах роли попотчевать публику. Самолюбие — чертов дар». О последней эпохе яковлевского поприща сказать нечего: он упадал с каждым днем и я не узнавал его в лучших его ролях.

Сожалею, что не могу представить подробного сравнения игры Яковлева с игрою других достойных актеров в одних с ним ролях: я не видал в них Шушерина, а Плавильщикова видел в одной только роли Ярба, но был в то время так молод, что теперь не смею доверить тогдашним своим ощущениям. Однако ж начало

первой сцены и конец последней второго действия «Дидоны» врезались у меня в памяти, потому что игра Плавильщикова тогда меня поразила. Вот его выход: он в величайшем раздражении вбегал на сцену и тотчас же обращался к наперснику, выходившему с ним рядом:

Се зрю противный дом, несносные чертоги,
Где все, что я люблю,— немилосерды боги
Троянску страннику с престолом отдают!

Эти стихи произносил он дрожащим от волнения голосом, особенно налегал на последний и, окончив, как будто в отчаянье закрывал себе лицо руками:

Гиас

Ты плачешь, государь? твой дух великий...

Ярб

Но знай, что слез своих напрасно я не трачу,
И слезы наградят сии — злодея кровь!

Это плачу Плавильщиков произносил так дико и с таким неистовым воплем, что мне становилось страшно, а на словах злодея кровь делал сильное ударение с угрожающею пантомимою.

Гиас

К чему, о государь, ведет тебя любовь!

Ярб

Любовь?

(Приближаясь к наперснику, с возрастающим бешенством)

Нет! тартар весь я в сердце ощущаю,
Отчаиваюсь, злюсь, грожу, стыжусь, стонаю...

Яковлев играл иначе: он входил тихо, с мрачным видом, впереди своего наперсника, останавливался и, озираясь вокруг с осанкою нумидийского льва, глухим, но несколько дрожащим от волнения голосом произносил:

Се! зрю противный дом, несносные чертоги,
Где все, что мило мне,— немилосерды боги...

с горьким презрением:

Троянску страннику...

с чувством величайшей горести и негодования:

с престолом отдают!

Здесь только подходил к нему наперсник с вопро-

сом: «Ты плачешь, государь?» Схватывая руку Гиаса, он прерывающимся от слез голосом произносил:

Плачу;

с твердостью и грозно:

Но знай, что слез своих напрасно я не трачу:
З а н и х — Е н е е в а р у ч ь е м п о л ь е т с я к р о в ь!

Последний стих Яковлев переделал сам, и он вышел лучше и удобнее для произношения. Так поступил он и с прочими своими ролями.

Я желал бы, чтоб все, так много толкующие теперь о пластике, видели этот выход Яковлева в роли Ярба: я уверен, что они отдали бы ему справедливость, несмотря на то что он б е с с о з н а т е л ь н о был пластичен. Того же, как произносил он стихи:

Любовь? Нет! тартар весь я в сердце ощущаю,
Отчаиваюсь, злюсь, грожу, стыжусь, стонаю...—

я даже объяснить не умею: это был какой-то волкан, извергающий пламень. Быстрое произношение последнего стиха с постепенным возвышением голоса и, наконец, излетающий при последнем слове «стонаю» из сердца вопль — все это заключало в себе что-то поразительное, неслыханное и невиданное... Не в моих правилах хвалиться, но мне удалось на веку моем видеть много сценических знаменитостей, и однако ж, смотря на них, я не мог забыть впечатления, которое и н о г д а в иных ролях производил на меня так называемый г о р л а н Яковлев; и отчего ж этот горлан в известной тираде последней сцены второго действия:

Пройду, как алчный тигр, против моих врагов,
Сражуся с смертными, пойду против богов;
Там в грудь пред алтарем Энею меч вонзая
И сердце яростной рукою извлекая,
Злодея наказав, Дидоне отомщу
И брачные свещи в надгробны превращу! —

вовсе не горланил, и всю эту тираду, в которой, по выражению Дмитревского, был ему простор п о р а з г у л я т ь с я, он произносил почти полуголосом, но полуголосом глухим, страшным, с пантомимою ужасною и поражающею, хотя без малейшего неистовства; и только при последнем стихе он дозволял себе разразиться воплем какого-то необъяснимо-радостного исступления, производившим в зрителях невольное содрогание. Меж-

ду тем Плавильщиков декламировал эту тираду, употребляя вдруг все огромные средства своего органа и груди, и, конечно, производил на массу публики глубокое впечатление; но игра его вовсе не была так отчетлива. Да и какая разница между ним и Яковлевым в отношении к фигуре, выразительности лица, звучности и увлекательности голоса и даже, если хотите, самой естественности![1]

Бесспорно лучшими ролями Яковлева, разумея в отношении к искусству и художественной отделке, независимо от действия, производимого им на публику, были роли: Ярба, Агамемнона в «Поликсене», Отелло, Эдипа-царя, Иодая, Радамиста, Гамлета, Ореста в «Андромахе», Оросмана и в особенности Танкреда; что ж касается до ролей Фингала, Димитрия Донского и князя Пожарского (в трагедии Крюковского), в которых он так увлекал публику и оставил по себе такое воспоминание, то, по собственному его сознанию, эти роли не стоили ему никакого труда и он играл их без малейшего размышления и соображения, буквально как они были написаны. «Не о чем тут хлопотать! — говаривал он.— Нарядился в костюм, вышел на сцену, да и пошел себе возглашать, не думая ни о чем,— ни хуже, ни лучше не будет; так же станут аплодировать — только не тебе, а стихам».

Здесь кстати заметить, что на всех больших театрах, на которых давались классические трагедии, для первых трагических ролей (premiers rôles) находилось всегда почти два актера: один для ролей благородных, страстных, пламенных (chevaleres ques), как то: Оросмана, Танкреда, Ахилла, Арзаса, Замора и проч[2], а другой для таких ролей, которые требовали таланта более глубокого и мрачного, как, например: Ореста, Эдипа-царя, Манлия, Ярба, Магомета, Отелло, Рада-

---

[1] Прошу извинения у тех, которые судят о Яковлеве, видев его на сцене в последние годы его жизни или в ненормальном его положении.

[2] К слову о Заморе нельзя не вспомнить пресмешного экспромта В. Л. Пушкина по случаю представления на одном театре в Москве «Альзиры». «Как нравится тебе представление?» — спросил Пушкина хозяин дома. Пушкин без запинки отвечал:

«Альзиру видел я, Гусмана и Замора —
Умора!»

миста, Цинны и проч. (последние роли на первом французском театре занимал Тальма, а первые играл Лафон); но Яковлев, по гибкости таланта своего, играл не только роли обоих амплуа, но и других, лишь бы они пришлись ему по сердцу, и с равным успехом представлял первосвященника Иодая и царя Агамемнона, Танкреда и Оросмана, Ярба и Радамиста. Как в этом случае, так и в других, нельзя не согласиться с неизвестным автором надписи к его портрету:

Завистников имел, соперников не знал.

Между 1809 и 1812 годами служил при театре некто Судовщиков (помнится, Николай Родионович), автор многих сатирических сочинений, и между прочим, комедии в стихах: «Неслыханное диво, или Честный секретарь». Эта комедия точно заслуживала названия неслыханного дива по своему дикому тону и изображению подмеченной верно натуры без всяких прикрас; но вместе с тем она исполнена была таких комических сцен и забавных характеров, что, видя ее на сцене, нельзя было не хохотать, особенно при уморительной игре Рыкалова, представлявшего председателя-взяточника, и Рожественского, игравшего роль его дворника. Например, председатель учит этого дворника, как принимать просителей и о чем говорить с ними:

Пр.— Ну понял ли?
Дв.— Смекнул: ведь я тебе не ворог.
Пр.— Примолвить не забудь, что нынче сахар дорог...—

или в сцене с секретарем, где последний просит дозволения жениться на его дочери и объясняет, что чувства любви дают ему на это право:

Пр.— Любовь и чувство, брат...
Прочь, прочь с механикой! —

или в другой сцене, где дочь, поверяя служанке, что отец хочет выдать ее за какого-то старого богатого скрягу, описывает его так:

Лицом такой фатальный,
И стар, и крив, и пьян, и отставной квартальный.

Наконец, дворник, поссорившись с служанкой, величает ее так:

Эх ты, нагайская кобыла!

Вся комедия в таком тоне; но дело не в комедии, а в том, что этот чудак Судовщиков был отменно умный человек, страстный любитель театра и чрезвычайно верно судил об актерах. Он особенно восхищался Семеновою, когда она еще была в низшем классе, то есть проходила роли с князем Шаховским, и не попала в высший, то есть на руки Гнедичу. Однажды Судовщиков приходит ко мне утром, как будто чем-то встревоженный. «Что такое произошло у вас?» — «А что?» — «Как что? разве ты не знаешь? ведь Аменаида-то наша вчера на репетиции волком завыла».— «Как завыла и отчего?» — «Ну, полно притворяться, будто и в самом деле не знаешь?» — «Право, не знаю».— «Да на репетицию был приглашен и Гнедич и явился с нотами в руках».— «Что ты говоришь, любезный! Будь это не поутру, а после обеда, так я подумал бы...» — «Что тут думать? Честью уверяю, услышишь сам сегодня; не узнаешь Семеновой: воет, братец ты мой, что твоя кликуша». Я посмотрел ему в глаза, полагая, что он, имея привычку придерживаться подчас рюмочки, в самом деле не хватил ли через край. «Да что ты на меня смотришь? Поверь, что говорю правду. Вон, поди к князю, не через улицу переходить, сам тебе скажет; он в отчаянии». Я побежал к Шаховскому, прося Судовщикова обождать меня. «Скажите, что такое говорил мне Судовщиков? Семенова воет кликушей, Гнедич с нотами в руках... Я, право, ничего не понимаю».— «А то, братец, что нашей Катерине Семеновне и ее штату не понравились мои советы: вот уж с неделю, как она учится у Гнедича, и вчера на репетиции я ее не узнал. Хотят, чтоб в неделю она была Жорж: заставили петь и растягивать стихи... Грустно и жаль, а делать нечего; бог с ними!» Я возвратился к себе и просил Судовщикова объяснить все в подробности. Он рассказал мне, что на репетиции встретил его Гнедич с тетрадкою в руках и пригласил послушать новую дикцию Семеновой. «Я обомлел от удивления,— продолжал Судовщиков.— «Чему ж удивляетесь вы? — сказал мне с самодовольством Гнедич.— Вот, батюшка, как учить должно». И тут, развернув тетрадь, показал мне роль, в которой все слова были то подчеркнуты, то надчеркнуты, смотря по тому, где должно было возвышать или понижать голос, а между слов в скобках сделаны были замечания и примечания, например: с восторгом, с пре-

зрением, с исступлением, ударив себя в грудь, подняв руку, опустив глаза и проч.[1] Я, братец, и не нашелся, что отвечать, а признаюсь, засмеяться хотелось. Зато наш Танкред разодолжил его. Гнедич, заметив, что он сидит один очень задумчив и еще натощак, подсел к нему и начал говорить ему комплименты: «Славно же вы прошедший раз играли Танкреда; я был очень доволен вами и особенно в сцене вызова. Что, если б всегда так было! Я уверен, что вам самим любо, когда вы чувствуете себя здоровым. В самом деле, стоит ли искажать свой талант, дар божий, неумеренностью и невоздержанием? Ну, признайтесь, не правда ли?» — «Правда,— вздохнув, отвечал Танкред,— совершенная правда. Гадко, скверно, непростительно и отвратительно!» И с последним словом встав с места, подошел к буфету: «Ну-ка, братец, налей полный, да знаешь ты, двойной». И залпом осушив стакан травнику, зарепетировал сцену вызова:

Пусть растворяют круг для соисканья славы,
Пусть выйдут судии пред круг сей боевой,—

и, обратясь к Гнедичу:

О, гордый Орбассан, тебя зову на бой!

Мы так и померли со смеху. Кажется, что Гнедич с этих пор будет следить за игрою Семеновой дома, а в театр на репетицию больше не приедет».

Все это я рассказываю для удостоверения, что Семенова изменила свою дикцию только с 1810 года, что она первая запела в русской трагедии и что до нее хотя и читали стихи на сцене не так, как прозу, но с некоторым соблюдением метра, однако ж вовсе не пели; что нововведение Семеновой растягивать стихи и делать на словах продолжительные ударения привилось от неправильно понятой дикции актрисы Жорж и вовсе не было одобряемо нашими старыми и опытными актерами, которые остались непричастны этому недостатку, несмотря на весь успех, который приобрела Семенова певучею своею декламациею.

Однако ж, несмотря на ложное направление, данное таланту Семеновой, этот талант был превосходный, хотя

---

[1] Я сам видел у Гнедича такие тетрадки, приготовленные для Семеновой.

исключительно подражательный. Если б предоставить Семенову самой себе, отняв у ней руководство, чье бы то ни было, Шаховского или Гнедича, она не в состоянии была бы ни обдумать своей роли, ни оттенить ее как бы следовало. Бог ее наградил, как и актрису Жорж, необыкновенными средствами: хорошим ростом, правильным телосложением, красотою необыкновенною, физиономиею выразительною, сильным, довольно приятным и гибким органом — словом, она имела все, что может только иметь женщина, посвящающая себя театру, кроме того, чего не имела и сама Жорж, то есть достаточного образования, способности понимания [1] и дара слез. В первой своей молодости, играя некоторые легкие роли, как то: Антигоны, Моины и Ксении, выученные ею под руководством князя Шаховского в присутствии Дмитревского, она была прелестна, и эта прелесть простой и естественной игры ее была неразлучна с нею до самого прибытия сюда знаменитой французской актрисы, которая вскружила голову ей и вместе многим почитателям ее таланта, в главе которых находился Гнедич, человек умный, благонамеренный, талантливый, постоянно верный в своих привязанностях, но фанатик своих собственных мнений и — самолюбивый. Кто ж не имеет недостатков? Гнедич не путешествовал, не видал никого из тогдашних сценических знаменитостей, не имел случаев сравнивать одну с другою, что необходимо для постижения истины во всяком искусстве, а тем более в театральном; и вот первая попавшаяся ему на глаза актриса с бесспорным талантом, но также подражательным, ученица славной Рокур, сделалась для него типом, по которому он захотел образовать Семенову. Гнедич всегда пел стихи, потому что, переводя Гомера, он приучил слух свой к стопосложению греческого гекзаметра, чрезвычайно певучему, а сверх того это пение как нельзя более согласовалось с свойствами его голоса и произношения, и потому, услыхав актрису Жорж, он вообразил, что разгадал тайну настоящей декламации театральной, и признал ее необходимым условием успеха на сцене. Вот Семенова и запела... К несчастью, эта неслыханная на русском театре дикция нашла своих

---

[1] Говорю: п о н и м а н и я, а не п е р е н и м а н и я, ибо последнею способностью она обладала в высокой степени.

приверженцев, понравилась публике и Семенову провозгласили первою актрисою в свете.

Но если Жорж п е л а, не надобно думать, чтоб она пела, как Семенова: у этой актрисы, сводившей с ума весь Париж красотою, прославившейся некоторыми приключениями в сношениях с Наполеоном [1] и приехавшей сюда двадцати четырех лет от роду во всем блеске своей красоты и силе таланта, были минуты истинного вдохновения в некоторых ролях, как то: Федры, Меропы, Клитемнестры, Семирамиды и проч., минуты, которые старик Флоранс, преподаватель декламации в Консерватории, приехавший вместе с Жорж, ловил, так сказать, на лету и потом обращал их в неизменные для нее правила. На другой год по приезде сюда Жорж прибыла и другая красавица с французского театра — девица Бургоен, на так называемые роли принцесс (grandes princesses, fortes jeunes premières), как то: Андромахи, Монимы, Заиры, Арисии, Аталиды и проч., актриса талантливая и очень уважавшаяся в своем трудном и часто неблагодарном амплуа; но она оставалась не более года...

Семенова уже пользовалась известностью отличной актрисы и успела заслужить полную благосклонность публики, когда Валберхова поступила на сцену. Эта образованная и пригожая собою актриса, которой истинное и сообразное с ее природными способностями назначение должно было состоять в исполнении ролей в трагедиях — «принцесс», а в высоких комедиях — Эльвир и Селимен, по какому-то непостижимому недоразумению должна была принять на себя роли цариц и матерей, то есть что называется п е р в ы е т р а г и ч е с к и е р о л и, несоразмерные с ее силами. Нет сомнения, что она выполняла их довольно успешно и могла бы даже снискать в них заслуженную славу, если б мы

[1] Вот одно из них, которое Жорж не скрывала. Однажды, желая доказать привязанность свою к великому человеку, она вздумала попросить его портрета. «Qu'à cela ne tienne»,— отвечал Наполеон и, схватив горсть бриллиантов и двадцатифранковую монету с своим изображением, подал их актрисе. «Le voici,— сказал он,— et que ceci vous contente» ⟨«Это очень просто. Вот он, и будьте довольны этим» (*франц.*)⟩. Я видал Жорж почти ежедневно и как ни был молод, однако ж заметил, что она была глупа.

не имели уже Семеновой, которой сценические качества были свойственнее сильным ролям, чем качества вновь появившейся актрисы. Признаюсь, я не мог постигнуть заблуждения князя Шаховского относительно настоящего ее призвания: вместо того чтоб обратить Семенову на сильные роли, как то: Дидоны, Софонизбы, Гофолии, Деборы, Кассандры, а Валберховой предоставить легкие роли Семеновой, например Моины, Антигоны, Ксении, Поликсены и т. д., князь Шаховской с какою-то беспечностью смотрел на такое распределение ролей в предосуждение пользе обеих актрис и собственному своему спокойствию. Правда, он мог иметь в виду и то обстоятельство, что Семенова не выпустит из рук тех ролей, которые приобрели ей благосклонность публики в начале ее поприща, и что в таком случае, если ей будут отданы роли Валберховой, эта последняя останется совсем почти без ролей, а потому и не действовал; но как бы то ни было, отсюда проистекли все неудовольствия на князя Шаховского и то, что сделано им по неведению или по невозможности, отнесено к умыслу. Впоследствии собственно для каждой из обеих актрис сочиняемы и переводимы были их приверженцами разные трагедии, но это уже не могло поправить дела.

Все эти обстоятельства, вся эта кутерьма из каких-нибудь ролей могут теперь показаться очень мелочными, очень ничтожными и даже достойными смеха; но надобно вспомнить, что все это происходило сорок пять лет назад, когда театральные дела как на самой сцене, так и за кулисами трактовались с некоторою важностью. Тогда существовали еще записные театралы из людей всех сословий и высшего общества; тогда первое представление какой-нибудь трагедии, комедии или даже такой оперы, как «Илья Богатырь» Крылова, возбуждало общий интерес, производило повсюду толки, суждения и рассуждения; тогда всякая порядочная актриса и даже порядочный актер имели свой круг приверженцев и своих недоброжелателей; между ними происходили столкновения в мнениях, порождавшие множество случаев и сцен, иногда занимательных, иногда и нет, но всегда поддерживавших общественное любопытство. Составлялись разные закулисные анекдоты, переходившие от одного к другому, конечно большею частью в превратном виде... Да какое до того дело? Анек-

доты не история; достаточно и того, что они были забавны... Словом, для театра и театралов было золотое время. Но другие времена — другие нравы!

IV

Однажды, как-то в конце июля 1811 года, вечером сидело у князя Шаховского несколько обыкновенных его посетителей: И. А. Крылов, старик С. С. Филатьев, А. Я. Княжнин, С. И. Висковатов, П. И. Кобяков и проч. Беседа была оживленная: толковали о том о сем, разумеется наиболее о литературе, о театре и актерах, и, между прочим, горевали о том, что Крылов потерял первое действие начатой им комедии «Ленивый». В первой сцене этого действия слуга, сочиняющий за барина письмо к его родителям, двумя стихами чрезвычайно резко обрисовал характер Ленивца:

«Ну, что ж еще писать?..
Все езжу по делам!» — Да, ездит уж неделю
С постели на диван, с дивана на постелю; —

читали некоторые сцены из комедии Пикара «La Petite ville», переведенной Княжниным и доставленной князю Шаховскому при стихотворном посвящении, которое начиналось так поэтически:

Любезнейший мой князь, прими сего дитятю,
Который отыскал в тебе драгого тятю,
Хотя Пикар ему был истинный отец;
Но я свернул его на русский образец, и проч.—

уговаривали Филатьева отказаться от бесплодного труда над переводом Лукановой «Фарсалии» в прозе и предпринять что-нибудь полезнейшее, хотя бы, например, диссертацию о Китае, который почитал он земным раем, а китайцев — образованнейшим народом в целом свете; задевали за живое Висковатова, который в своих переводах трагедий вовсе не держался подлинника и для рифм изменял не только смысл стихов, но и даже характеры персонажей; словом, досталось всем сестрам по серьгам, не исключая и самого хозяина, которому напомнили сцену в четвертой части его «Русалки», когда Тарабар с Кифаром вылезают из котлов, в которых кипятил их волшебник Злорад, чихают и начинают разговор тем, что один говорит здравствуй, а другой отвечает благодарствуй! Время проходило незаметно, как вдруг вошел исторический

Макар[1] с докладом о приходе какого-то Якова Григорьевича Григорьева. «Ах, боже мой! — вскричал Шаховской,— я было и забыл. Как я рад, как я рад! Посмотрите, господа, какое нам бог посылает сокровище! Зови, зови скорее!» Надобно знать, что наш комик чрезвычайно легко пристращался ко всем людям, особенно же к таким, которых почитал способными для сцены и которых мог учить декламации. Вот входит Григорьев: молодой человек лет двадцати, пристойно одетый, прекрасной наружности и с открытою физиономиею. «Ну, что, братец, решился?» — «Давно решился, ваше сиятельство».— «А увольнение от службы получил?» — «Нет еще, но обещают скоро уволить».— «Да, похлопочи, любезный, пожалуйста, похлопочи; август на дворе, в школе начнутся спектакли, а тебе надобно сначала поиграть в школе, чтобы попривыкнуть к лампам; да почитай-ко что-нибудь из тех ролей, какие ты знаешь. Роль Тверского я слышал: нет ли другой?» — «Разве прикажете из роли Полиника, сцену с отцом?» — «Прекрасно, валяй! а вот Семен Семеныч и Эдипом будет, чтоб тебе знать, к кому обращаться». И вот переводчика Лукановой «Фарсалии» поставили противу Григорьева чучелою Эдипа. Молодой кандидат

---

[1] С. Н. Марин, известный своим остроумием, многими сатирическими сочинениями в эпоху с 1797 по 1800 г., переводом «Меропы» и, наконец, многими шуточными посланиями, как то: к Геракову, к уличному стихотворцу Патрикеевичу и проч., обессмертил слугу бывшего своего сослуживца стихотворным наставлением, кого именно впускать и не впускать в кабинет князя Шаховского:

Старинный, верный раб фамилии старинной,
Немыслящий мудрец, о ты, Макар предлинный,
Наперсник и лакей, дворецкий и швейцар,
К тебе склоняю речь, единственный Макар! и проч.

Макар и Семен, слуга Яковлева, которого наш Тальма называл Семениусом, в то время часто служили предметами шуток молодых весельчаков; последнему с кем-то удалось побывать на кавказских водах, и он не мог наговориться о них и забыть ни виденной будто бы им за 700 верст известной горы Шат (Эльбрус), ни кизлярского вина, которое, по его сказанию, распивали там ушатами. По этому случаю Яковлев написал ему следующую кенотафию:

Под камнем сим лежит Семениус великой,
Кто невозможному служил живой уликой:
Из-за семисот верст он видел гору Шат
И залпом выпивал кизлярского ушат.

на звание актера, нимало не конфузясь, вышел на середину комнаты и хотел было начинать роль свою, как вдруг князь Шаховской, остановив его, закричал: «Подайте чистую простыню!» — «А на что тебе простыня?» — отозвался глубокий контральт из ближней комнаты. «Нужно, нужно; подайте скорее!» Простыня была принесена, и князь нарядил Григорьева греком не хуже тогдашнего костюмера Бабини. «Это для того, любезный, чтоб видеть, как будешь ты действовать в костюме. Ну, теперь начинай». Григорьев начал:

Итак, я осужден на вечные мученья,
Итак, не должно мне надеяться прощенья! и проч.—

и продекламировал всю эту тираду ясно, вразумительно, голосом твердым, без излишней горячности и соблюдая нужную постепенность; а при стихе:

Твой кающийся сын падет к твоим ногам,—

бросился к ногам Филатьева очень ловко, не путаясь в простыне, которою был окутан, и последующую тираду:

Чтоб, чувствия свои ко мне переменя, и проч.,—

проговорил, усилив голос и еще с большим одушевлением, чем прежнюю,— словом, декламировал так, как иногда не удается иному и опытному актеру.

«Хорошо!» — вскрикнул восхищенный князь Шаховской. «Хорошо»,— повторили хором все присутствующие, кроме Крылова, который никогда не увлекался и, вместо всяких возгласов, только спросил Григорьева: «А что, умница, ты учишься у кого-нибудь?» — «Никак нет-с»,— отвечал молодой человек. «Ну, так и подлинно бы, князь, поскорее им заняться, а то, пожалуй, еще и с толку бьют». Князь Шаховской просил Григорьева настоятельнее хлопотать о скорейшем увольнении от должности, а между тем поручил ему выучить некоторые роли для школьных спектаклей, как то: Лаперуза, Влюбленного Шекспира, Солимана в «Трех султаншах» и несколько других в комедиях, в том убеждении, что ничто так не развязывает молодого актера и не приучает его к естественности, как игра в комедиях. Крылов заметил, что после школьных спектаклей всего бы лучше на Большой театр выпустить его в какой-нибудь ничтожной роли, но в таком костюме,

который бы пристал к нему, хоть бы, например, в роли Видостана в двух первых частях «Русалки». Князь согласился с замечанием и, отпуская Григорьева, пригласил его ходить к нему ежедневно по утрам, с тем что он будет проходить с ним все роли. «Да пожалуйста, братец,— примолвил он,— не очень слушайся дурных советников, а пуще всего заруби себе на нос, что если наградил тебя талантом бог, то развить его ты должен сам постоянным трудом и прилежанием. Читай и учись».

Этот Григорьев впоследствии был — актер Брянский.

По выходе Григорьева стали толковать о новом приобретении для русской сцены, и князь Шаховской, по обыкновению, не в состоянии был удержаться от своих фанатических восторгов: «Да, это сущий клад, сокровище! Вот увидите, что из него выйдет».— «А выйдет то, что бог даст,— сказал хладнокровный Крылов,— только с этим талантом надобно поступать осторожно; мне кажется, первые два-три года не должно бы давать ему ролей слишком страстных: не мудрено привить фальшивую дикцию и приучить к неумеренным и неуместным возгласам по обязанности. Этот поддельный огонь спалил не одного молодца на сцене. Малой читает мастерски, слова нижет как жемчуг, да надобно подождать, чтоб он их прочувствовал. Заставь-ка его выучить роли Тита или Тезея и пусть его себе разглагольствует, пока не созреет для ролей страстных; Полиника сыграет он и теперь лучше Щеникова, но рано и опасно вверять ему такие роли». К слову, о Полинике А. Я. Княжнин сделал очень смешное замечание: «Знаете ли, господа, отчего трагедия «Эдип» имела такой неслыханный успех на театре?» — «Разумеется, оттого,— подхватили все собеседники,— что она прекрасно написана и что Шушерин был в ней превосходен».— «Не угадали,— сказал Княжнин,— оттого, что на сцене видели первую трагедию, в которой был наперсник один, а по штату необходимо иметь двух, не говоря о наперсницах». Все засмеялись. «Что ж вы смеетесь?» — продолжал Княжнин.— Я, право, полагаю, что если б можно было составить трагедию совсем без наперсников, то она бы еще больше успеха имела».— «Как будто бы таких трагедий и нет? — возразил Шаховской.— «А «Гофолия»? а «Магомет»? а «Поликсена»? а все трагедии Альфиери? да и в моей «Деборе»

наперсников нет. Можно, пожалуй, и не выводить на сцену официальных персонажей, называемых наперсниками, confidents; но тогда и заставь, как Альфиери, главных своих персонажей говорить самих с собою. Как ни велик талант Альфиери, а трагедии его все-таки сухи. Но пусть наперсников и не будет: так все же надобно обставить трагедию другими персонажами, например жрец Матфан и военачальник Омар разве не такие же наперсники Гофолии и Магомета? Дело не в наперсниках, а в ходе пьесы, в занимательности ее содержания, в верном изображении характеров, нравов и в таком расположении действия, чтоб ни один персонаж не входил на сцену и не сходил с нее без причины, как то делается в «Русалке» или в «Артабане», трагедии одного из друзей моих (я поклонился). Какой хочешь имей талант, а из одних сцен à tiroirs [1] трагедии не составишь, все-таки придется склеить их посредством каких-либо лишних персонажей: наперсников просто или наперсников — жрецов и военачальников, да и в самом «Эдипе» Антигона, в сущности, не та же ли наперсница? В сюжетах из древней истории и таких, которые взяты из Эсхила, Софокла и Еврипида, наперсники не мешают: они заменяют хор древних; но, конечно, странно видеть в трагедиях, взятых из русской истории, наперсников и наперсниц, как у Сумарокова, у твоего батюшки и даже как у нашего Владислава Александровича, который в «Димитрии Донском» дал наперсницу Ксении; а кажется, нетрудно было бы заменить ее кормилицей, няней — чем хочешь, пожалуй, хоть барской барыней, если не нравилась боярыня».

Князь Шаховской и в серьезных разговорах не мог обойтись без колкости и насмешек.

В конце августа Григорьев, получив увольнение от службы, поступил на театр и, приняв фамилию Брянского, дебютировал в сентябре (на театре, бывшем в доме Кушелева, где теперь Главный штаб) в роли Лаперуза. Эта драматическая роль дана была ему с намерением, чтоб удержать его от излишней горячности, которая всегда почти увлекает молодых артистов и заставляет их невольно выходить из пределов благоразумия. Брянский выполнил роль хорошо и имел успех. После того он играл во многих пьесах, большею частью

[1] Без связи (*франц.*).

комедиях, и разумеется, как прежде предположено было, Видостана в «Русалке» и Солимана в «Трех султаншах», которых богатые костюмы так приличествовали его красивому стану и пригожему лицу. Он начинал привыкать к сцене, ознакомился с ее условиями, стал развязнее, почти овладел интонациею своего голоса, узнал публику и через четыре месяца, то есть 6 января 1812 года, явился в роли Шекспира в комедии «Влюбленный Шекспир» [1], в которой Яковлев был превосходен. Эта роль хотя и комическая, но написана Дювалем для актеров трагических и собственно для Тальмы; Брянский, несмотря на сравнение с великим нашим актером, которое его ожидало, имел отличный успех. Я помню, что он прекрасно играл ту сцену с Кларансою, в которой, проходя с нею роль, он делается недоволен ее бесстрастным выражением любви и ревности и начинает вразумлять ее, что́ значат страсти любовь и ревность и как должно изображать их: «Ревность — адское чувство, гнетущее здесь, то есть сердце...» Игра в этой сцене Брянского нравилась и самому Яковлеву, который был чужд зависти, принимал радушное участие в успехах молодых талантов и готов был уступать им роли, если они находили их по своим силам. Исполнив роль Шекспира, Брянский занял решительно почетнейшее место на русской сцене после Яковлева. Предсказания князя Шаховского начинали сбываться; однако ж он на этот раз последовал совету Крылова и заставлял Брянского большею частью играть в драмах, комедиях, а иногда и в водевилях. Для Брянского, собственно, возобновлена была комедия в стихах Ефимьева «Преступник от игры, или [2] Братом предан-

---

[1] Комедия «Влюбленный Шекспир» переведена Д. И. Языковым и замечательна тем, что напечатана без еров.
Это было первое нововведение в нашу азбуку. За букву ер вступились многие литераторы, и по этому случаю появилось много забавных стихотворений, которых, впрочем, цитировать не стоит.

[2] Это несчастное или было и в старину в большом употреблении. Известный Милонов, который столько раз...

Так пил, так пил, что чуть не пропил глаз,—

в один из этих разов написал следующий шуточный экспромт Н. Ф. Грамматину по случаю попытки его отдать на театр какую-то комедию, переведенную из Гольдони:

ная сестра», в которой он отлично выполнил роль Безрассудова.

Я следил за игрою Брянского до конца августа 1816 года, то есть до того времени, когда я оставил Петербург; следовательно, могу только говорить о т о м Брянском, которого я видел и слышал в первой его молодости, и к тому ж в немногих ролях классических трагедий, ролях, принадлежащих, по мнению моему, к настоящему его амплуа, потому что он показался мне в них превосходнее, нежели в ролях прочих пьес. Говорят, что впоследствии он с огромным успехом играл в драмах, и особенно роли злодеев, как то: Вальтера в «Женевской сироте», Франца Моора в «Разбойниках» и проч. Может быть. Следуя правилу не судить об актерах по рассказам других, я не стану говорить о том, чего не видал, но едва ли талант и физические свойства, созданные для классической декламации и превосходные в ролях, требующих сценического благородства, могли подчиниться условиям, необходимым для верного изображения таких злодейских характеров, какие он, судя по обширному своему репертуару, принимал на себя. Впрочем, это покамест в сторону. Я видел Брянского в следующих ролях: Марцелла в «Маккавеях», Ираклия в «Ираклидах», князя Курбского в «Покоренной Казани», Ореста в «Ифигении в Авлиде», Трувора в «Синаве и Труворе», Фарана в «Абуфаре», Парида в «Гекторе», Амана в «Эсфири» и, наконец, Танкреда в «Танкреде». Все эти роли, кроме Танкреда,

---

Твоя комедия без и л и,
И на театре ей не быть:
Она сгниет в архивной пыли;
Да почему ж ей и не сгнить,
Когда и с прибавленьем и л и
Давным-давно две Лизы сгнили?
Я разумею: Лизу, и л и
Признательности торжество;
И ту, какой и естество
Не создавало: Лизу, и л и
Распрепечальный р е з у л ь т а т
И г о р д о с т и и о б о л ь щ е н ь я.
Ну, так бери свои творенья
Да и скорей их в печку, брат!

(Здесь имеются в виду драмы Н. И. Ильина «Лиза, или Торжество благодарности» и В. М. Федорова «Лиза, или Следствие гордости и обольщения».— *Примеч. ред.*)

были им созданы, и никто не мог служить ему в них образцом, а молодой двадцатипятилетний актер, который только четыре года действует на сцене, создающий роли Ахилла, Ореста и Фарана на сцене обширной, пред многочисленною публикой,— такое явление, которому не только в России, но и в самой Франции — отечестве первостепенных сценических талантов — примера не было; однако ж мы были свидетелями этого события, и, к удивлению, все вышеперечисленные роли Брянский исполнил прекрасно; а в тех местах, которые не требовали большого увлечения и пылу, мог даже назваться превосходным. Брянский был чтец по преимуществу, чтец, каких я мало встречал в жизни, и в этом отношении он чрезвычайно был полезен сочинителям и переводчикам трагедий, которые поверили ему свои произведения: ни одно слово, ни одно выражение не пропадали даром; по замечанию Крылова, он низал их бисером и умел выказать все красоты и достоинства стихов. Много трагедий, благодаря Брянскому, удержалось на сцене, и без него «Ифигения в Авлиде», несмотря на игру Семеновой в роли Клитемнестры, не произвела бы такого впечатления, потому что тогда роль Ахилла должен был бы играть Яковлев, а важная роль Агамемнона, за увольнением Шушерина, досталась бы Сахарову или Каменогорскому — и какие были бы это Агамемноны? Впрочем, я всегда думал, что Яковлев в роли кипучего Ахилла (le bouillant Achille), а Брянский в роли Агамемнона, если б не его молодость, были бы более на своих местах. Как бы то ни было, Брянский выполнил роль Ахилла, к общему удовольствию знатоков, и если он, по природе своей, не мог быть в такой же степени кипуч, как Лафон, то играл с таким же благородством и достоинством, как и знаменитый Ахилл Французского театра.

В роли Танкреда Брянский подражал Яковлеву. Не знаю, почему Яковлев передал эту роль, одну из своих любимейших, молодому актеру, но помню, что дня за два до моего отъезда из Петербурга [1], приехав с ним проститься, я сказал ему, что завтра увижу его в последний раз в роли Танкреда. «Увидишь Танкреда, да не меня,— отвечал мне Яковлев,— я передал роль Брян-

[1] Это было накануне представления «Танкреда» 23 августа 1816 г., а я оставил Петербург 25-го числа.

скому». Я удивился. «И Пожарского передал,— продолжал он,— да скоро и все передам».— «А сам-то?.. Кажется, пора перестать дурить».— «Дурить? Эх, вы!» Он отвернулся и больше ни слова. Я не имел времени долго толковать с ним, будучи занят сборами к отъезду по службе, но на другой день приехал в театр видеть нового Танкреда. Публика собралась многочисленная: с нетерпением выслушал я два первые действия в ожидании третьего, и вот, наконец, любопытство мое удовлетворено: подымается занавес и на сцену входит новый Танкред, без робости, медленным, но твердым шагом, обводит глазами сцену, кладет левую руку на плечо следовавшего за ним Альдамона, смотрит с какою-то грустно-приятною улыбкою на стены сиракузские и, наконец, тяжело вздохнув, произносит:

Для благородных душ сколь родина священна!
О, как душа моя в стенах сих восхищенна!

Театр поколебался от рукоплесканий. После этого выхода Брянский безнаказанно мог играть как хотел: публика заранее ему все простила и сравнение с Яковлевым было позабыто. Разумеется, в сцене вызова он далеко отстал от Яковлева, потому что игра последнего в этой сцене превосходила все, что только вообразить себе можно, и Лафон, у которого роль Танкреда была торжеством, по *благородному* выражению Кондратьева, не годился ему в подметки. Однако ж Брянский исполнил ее прекрасно и страстный пыл великодушного рыцаря заменил благородством и достоинством. Больше нельзя было и требовать от молодого актера.

Говоря о таланте Брянского, нельзя не сказать несколько слов и о сценической его деятельности вообще. Эта деятельность с 1811 года по день его кончины превосходит всякое понятие, какое можно себе представить о средствах артиста. Мне попался случайно репертуар его ролей, и я не знал, чему изумляться: числу ли этих ролей, или их разнообразию? Нельзя поверить, чтоб один человек мог вынести весь этот репертуар на плечах своих, какую бы обширную память ни имел он. Еще при жизни Яковлева часть его ролей перешла к Брянскому, а по смерти его он занял весь репертуар его амплуа и, сверх того, должен был создавать роли в новых пьесах трагических, драматических и комических;

но этого мало: по вступлении в 1820 году Каратыгина на сцену он уступает ему несколько ролей, что, казалось бы, должно было облегчить его,— нет! Он занимает амплуа Шушерина и начинает тем, что для дебюта Каратыгина в «Фингале» обращается в Старна; в «Танкреде» играет Орбассана, в «Радамисте» Фарасмана и вслед затем является опять в своей роли Ярба и Арзаса в «Семирамиде»; то играет Отелло и Оросмана, то Пронского или Изборского; то предстает пред публикою наперсником Тераменом в «Федре», то Ломоносовым в водевиле, то старцем Леаром или Клердоном и опять Мольером или Езопом, читая на сцене лучшие басни Хемницера и Крылова... да это сущий Протей! И все это выполняет он, не имея более тридцати двух лет от роду (род. в 1790 году)! Как же требовать совершенства от такого актера? Репертуары всех сценических знаменитостей мне известны: двадцать, много тридцать ролей [1] на целую жизнь, и к тому ж таких ролей, которые обдумать за вас потрудились другие. Однако ж я помню, что в то время, когда я видел Брянского, он если не во всех ролях был одинаково хорош, то и не одной из них не портил.

Брянский был одним из числа тех очень немногих людей, которые сохранили к князю Шаховскому должное уважение после увольнения его от театра и не забывали его попечений. Зато и автор «Полубарских затей», сколько мне известно, не переставал любить и всегда уважать Брянского. В бытность свою в Москве, в 1842 году, он часто бывал у меня [2] и всегда с удоволь-

---

[1] Рашель имеет их не более двадцати пяти, а постоянный репертуар Тальмы составлен был с чем-то из тридцати.

[2] В последний раз виделся я с старым сожителем моим у себя за обедом. На пригласительную записку мою он отвечал следующими стихами, с которых снимок приложен к драматическому альбому г. Арапова:

Прежде — бывший твой сосед,
Только брюхом нынче дюжий,
На приятельский обед
Норовит свой рот досужий,
Чтоб без совести пожрать
И без панциря поврать;
И хоть прежде рот зубастый
Нынче вовсе без зубов,
А работать все готов,
И к беседе умной зов

ствием вспоминал о Брянском. «Это человек,— говорил он,— для которого труды мои не погибли!» И правду сказать, по обыкновенному своему увлечению и страсти к преподаванию уроков декламации, много трудов его погибло даром, потому что он иногда настойчиво хотел сделать таких людей актерами, которые рождены были быть полотерами; и вот тому пример: в один прекрасный день... нет, этот галлицизм здесь не у места, напротив, случай, о котором я рассказать хочу, происходил в один прескверный день февральской погоды в Петербурге: страшная метель бушевала по улицам, сырой снег валил хлопьями и вьюга беспощадно свистела в щели неплотно вставленных окон нашей квартиры; в такую погоду я не решился идти в Коллегию. Напившись чаю, мы сидели с подругою князя у затопленной печки (каминов у нас не было) и болтали всякий вздор, между тем как наш метроман углубился в какое-то сочинение. Вдруг докладывают, что некто г. Толстиков пришел с письмом от одного из братьев князя, живущего в Ярославской губернии; входит человек лет под пятьдесят, среднего роста, очень смуглый, очень неопрятный, небритый, посинелый от холода, в сером сюртучишке и, держа в одной руке дырявую шляпенку, другою подает князю письмо. Князь распечатывает и читает письмо, которым рекомендовался Толстиков как отличнейший актер с огромным трагическим талантом, что он играл все первые роли в трагедиях и драмах с величайшим успехом на всех театрах губернских, преимущественно на ярославском, и что он во всех отношениях достоин быть принят в число придворных актеров, почему и отправляется к князю прежде для испытания, а потом, разумеется, для определения на петербургский театр. Когда дело шло о приобретении сюжета для театра, князь

В матушке Москве не частый
Не забыл: душевно твой
Обветшалый Шаховской.

В это время жил он у общего нашего приятеля Л. К. Н., внука старого своего начальника, в подмосковном селе его. Л. К. старался успокоить старого беспечного комика и помогал ему в делах его словом и делом, советами и деньгами. На советы друзей не обережешься, но на деньги — дело другое, и в этом отношении Л. К. составляет исключение из общего правила.

Шаховской размышлял недолго и, не обратив внимания на невзрачную наружность пришельца, вступил с ним в разговор. «Какие роли вы знаете?» — «Да всякие, ваше сиятельство; играем все, что под руку попадется,— отвечал актер настоящим ярославским наречием,— Димитрия Самозванца, Синава и Беверлея».— «Прочитайте же нам что-нибудь, если можете».— «Теперь не могу, ваше сиятельство: иззяб до смерти; пришел без шубы».— «Ну, так согрейтесь прежде». Толстиков поклонился. «Вот изволите видеть, ваше сиятельство, кабы водочки, так я бы, может быть, и скорее поотогрелся».— «Кажется, водки-то у нас нет (и никогда не бывало ни водки, ни вина), а не хотите ли чаю?» — «Чаем не занимаемся, ваше сиятельство».— «Ну, так придите завтра или послезавтра утром: я пройду с вами какую-нибудь роль, а там увидим». Едва Толстиков вышел, мы захохотали. «А чему обрадовались? смешон-то смешон: но кто знает, может быть, что-нибудь и путное выйдет: наружность обманчива».— «Да выговор-то не обманывает, князь».— «Выговор и перемениться может; впрочем, без испытания не узнаешь, на что этот человек способен. Не для трагедии, так, может быть, для комедии пригодится: Рожественский не лучше был».

Каждое утро в продолжение недели возился князь Шаховской с ярославским Гарриком и, наконец, потерял терпение. «Нет, тут уж ничего не сделаешь,— вопил он пискливым своим голоском,— решительно ничего! Охота же моему братцу навязывать на меня таких пострелов!» Несмотря, однако ж, на этот гневный отзыв, Толстиков дебютировал в роли Беверлея и, разумеется, возбудил общий хохот.

Впоследствии, роясь в записках своих, я нашел, что этот Толстиков, купеческий сын, был некогда выкуплен ярославским дворянством из какой-то беды. Благодарственное письмо его, довольно безграмотное, напечатано в 22 № «Московских ведомостей» 1806 года.

Мочалов-отец играл прежде в драмах и комедиях, а иногда и в операх. Я видал его на московской сцене в 1804, 1805 и 1806 годах, большею частью в ролях серьезных молодых людей и в опере «Иван Царевич». Он был очень статен и красив собою, старателен, память имел хорошую; но в то время ничто не предвещало в нем будущего трагедианта; однако ж он сделался им и еще при жизни Плавильщикова имел репутацию хорошего

трагического актера. Н. И. Кондратьев, отчаянный его партизан, приехав сюда в конце 1812 года, несколько прежде своего любимца и прочих московских актеров, рассказывал чудеса о его таланте, и многие поверили ему на слово, но скоро разочаровались, увидев Мочалова на сцене. В Петербурге он играл роли Кассио в «Отелло», князя Тверского в «Димитрии Донском», Орбассана в «Танкреде» и несколько других второстепенных ролей, в которых не произвел на публику никакого впечатления, хотя, надобно отдать ему справедливость, он был лучший Кассио, лучший Тверской и лучший Орбассан, какие когда-либо появлялись у нас до Брянского. Я заметил, что он чрезвычайно старался обратить на себя внимание публики, не оставаясь ни на секунду без движения; а в сценах ссоры Тверского с Димитрием и вызова в «Танкреде» забегал на авансцену и посматривал иногда на партер, как бы желая сказать: «Вот, дескать, мы каковы, и вашего Яковлева не струсили!» Дикция его была прерывиста, и мне кажется, он не мог произнести стиха без того, чтоб не перевести дыхания. Что было с ним и как играл он по возвращении своем в Москву, мне совершенно неизвестно, но знаю, что репутация сына его, Павла, поглотила собственную его репутацию, и если имя Мочалова останется в памяти будущих поколений, так это благодаря таланту сына, таланту в высокой степени драматическому и самостоятельному, одному из тех талантов, какие появляются, и то не последовательно, в одни только полувековые периоды времени. Но чудное дело! кто поверит, что я, старый театрал, живя в Москве двадцать два года и после того одиннадцать лет в Петербурге, видел Каратыгина в одной только роли классической трагедии, и то в начале его поприща, а Павла Мочалова не видал ни в одной! Что ж касается до игры их в немногих виденных мною драмах и новейших трагедиях, что сказать могу, чего бы уж не знали и о чем бы не судили современники? И если в продолжении моих рассказов, которое, вероятно, когда-нибудь появится в свет, я случайно и касался этих знаменитостей нашей сцены, то, конечно, не с намерением возбудить полемику: я не стою за свои мнения, потому что не считаю их непогрешительными, и единственно забочусь о том, чтоб представить все события моего времени, с самого почти начала текущего столетия, в настоящем виде, описывая их, по вы-

ражению известного З. А. Горюшкина[1], вдолбительно и вразумительно, без всяких прикрас, для которых, к сожалению, я устарел и, волею-неволею, принужден повторить слова поэта, почтившего меня стихотворным своим посланием:

. . . .
Нет восторгов прежних боле;
Бог тебе сей жребий дал,
Чтоб в твоей смиренной доле
Ты прозаик пошлый стал.
Умерли в тебе желанья,
И надежд веселых нет:
Ты ослеп для созерцанья
Призраков грядущих лет;
Нынче все твои мечтанья
Лишь одни воспоминанья,
Лишь минувшему привет:
Ты рассказчик — не поэт!

[1] Бывший преподаватель юриспруденции в Московском университете в первых годах текущего столетия.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РО ГПБ — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Эйх.— Жихарев С. П. Записки современника. Ред., статьи и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., Изд-во АН СССР, 1955.

Аксаков — Аксаков С. Т. Собр. соч. В 3-х т. М., 1986.

Альтшуллер — Альтшуллер М. Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество «Беседа любителей русского слова»). Ann Arbor, 1984.

Арапов — Летопись русского театра. Составил Пимен Арапов. Спб., 1861.

Бантыш — Бантыш-Каменский Д. Словарь достопамятных людей русской земли... М., 1836, ч. IV.

Вигель — Записки Филипа Филиповича Вигеля. В 4-х ч. М., 1891—1892.

Всеволодский — Всеволодский (Гернгросс) В. Театр в России в эпоху Отечественной войны. Спб., 1912.

Всеволодский-Гернгросс — Всеволодский-Гернгросс В. Н. И. А. Дмитревской. Очерк из истории русского театра. Берлин, 1923.

Вяземский — Вяземский П. А. О жизни и сочинениях В. А. Озерова.— В кн.: Сочинения В. А. Озерова. Спб., 1817, ч. 1.

Глинка — Записки Сергея Николаевича Глинки. Спб., 1895.

Гозенпуд — Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Л., 1959.

Державин — Сочинения Державина. В 8-ми т. Спб., 1864—1880.

История — История русского драматического театра. В 7-ми т. М., 1977—1987.

Марин — Марин С. Н. Полн. собр. соч. М., 1948 (Летописи Гос. литературного музея, кн. X).

Медведева — Медведева И. Екатерина Семенова. Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.

Мерзляков — Мерзляков А. Ф. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ея состоянии.— Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете. М., 1812, ч. 1.

Озеров — *Озеров В. А.* Трагедии. Стихотворения. Л., 1960.
Полн. собр. законов — Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Спб., 1830, т. XXIX.
Поэты — Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971.
Родина — *Родина Т. М.* Русское театральное искусство в начале XIX века. М., 1961.
Чаянова — *Чаянова О.* Театр Маддокса в Москве. 1776—1805. М., 1927 (Труды Гос. театрального музея им. А. Бахрушина, т. 1).
Шаховской — *Шаховской А. А.* Комедии. Стихотворения. Л., 1961.
Шильдер — *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Спб., 1904, т. 2.
Яковлев — Сочинения Алексея Яковлева, Придворного Российского Актера. Спб., 1827.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 1800-х гг.

Готовясь к переезду в столицу, Жихарев принялся сочинять трагедию, и не случайно. К началу XIX в. словесность заняла высокое место в сознании образованного общества и занятия ею (конечно, дилетантские) сделались почти обязательными для человека, претендующего на причастность к этому кругу. Жихарев достаточно откровенно признается, что своим «Артабаном» хотел доставить себе «входной билет» в «хорошее общество». Он желал быть принят в Петербурге как литератор, а не как недоучившийся студент, ищущий «места». Однако нельзя не обратить внимания на избранный им жанр: юный театрал ощутил насущную потребность русского театра 1800-х гг. в трагедии.

Пестрота репертуара и засилие драмы на рубеже XVIII—XIX вв. не вытеснили представления о том, что именно трагедия является вершиной театрального искусства. Она воплощала на сцене вечные человеческие страсти и героическое начало, делавшее театр школой гражданственности и патриотизма. Однако в первые годы XIX в. в русском театре не было трагедий, которые отвечали бы вкусам публики. Творения Сумарокова, Княжнина, Николева и других драматургов XVIII в., хотя и ставились на сцене, были явлениями прошедшей эпохи и не могли удовлетворить ни зрителей, ни актеров. Недаром А. С. Яковлев, по свидетельству Жихарева, с неудовольствием отзывался о роли Росслава из одноименной трагедии Княжнина: «Нечего сказать, уж роль! хвастаешь, хвастаешь так, что иногда и стыдно станет». А ведь лет за двадцать до этого, в 1780-е гг., эта роль считалась торжеством И. А. Дмитревского и вызывала бурный восторг зрительного зала. Учитель Жихарева А. Ф. Мерзляков проницательно заключил: «Отчего упали трагедии Сумарокова? — Причина: устарелой язык и неблагородство разговора, которой часто бывает ниже комического» (*Мерзляков*, с. 99). Русскому театру нужна была новая трагедия.

В эпоху наполеоновских войн, в которую Россия опять вступила в 1805 г., возрожденная трагедия должна была откликнуться на всеевропейский интерес к героической древности и вместе с тем вобрать в себя лучшие завоевания драмы — внимание к обыкновенному человеку и его внутреннему миру. Драма научила зрителей сопереживать любовным страданиям, несчастьям героев,

проливать слезы. Теперь этим чувствам необходимо было придать иные масштабы.

Переворот на русской сцене произвели трагедии В. А. Озерова, начавшие, по выражению П. А. Вяземского, «новую эпоху в истории трагического нашего театра» (*Вяземский*, с. IV). Современники разгадали секрет их успеха: «Красота слова в трагедиях Озерова составляет главное достоинство» (*Мерзляков*, с. 101). Исследователи уточняют: «Речь шла о новом ⟨...⟩ строе фразы, обновленном составе слов, о новом звучании александрийского стиха» (*Медведева*, с. 69); «...у Озерова, увлеченного раскрытием душевной жизни человека, его индивидуальной реакцией, стих становится средством самовыражения героя ⟨...⟩, он приближается к интонациям реальных человеческих переживаний» (*Родина*, с. 118). Недаром зрители заучивали наизусть многие монологи из трагедий, переписывали их к себе в альбомы. Высокий лиризм, тонкость в передаче чувств и вместе с тем живой отклик на политические события современности, аллюзионность — вот что обеспечило озеровским трагедиям блестящий, хотя и недолгий успех. В 1820 г. в «Моих замечаниях об русском театре» Пушкин назвал их «несовершенными творениями несчастного Озерова», а на сцене они продержались достаточно долго лишь благодаря игре великой русской актрисы Е. С. Семеновой. Явления переходной эпохи, лирические трагедии Озерова должны были отойти вместе с ней. Однако в первом десятилетии XIX в. все виделось в ином свете.

Драматурга и соперника Озерова из Жихарева не получилось, зато он довольно быстро познакомился со столичными театральными знаменитостями, стал за кулисами своим человеком и потому живо реагировал на происходящие там события. Менялся репертуар, стиль актерской игры, появлялись новые актерские имена, из них самое яркое — Е. С. Семенова, которая была принята в штат петербургского театра в июле 1805 г. и которой суждено было стать музой русской трагедии. «Дневник чиновника» доносит до нас заботы, восторги и огорчения русского театра в трудный, переломный для него момент.

Мы уже знаем, что Жихарев не был свидетелем триумфальных премьер «Эдипа в Афинах» (23 ноября 1804 г.) и «Фингала» (8 декабря 1805 г.), однако эти спектакли не сходили со сцены и в конце ноября 1806 г., когда Жихарев приехал в Петербург. На премьере трагедии «Димитрий Донской» (14 января 1807 г.), успех которой превзошел все ожидания, ему уже довелось присутствовать.

В начале XIX в. спектакли императорской русской труппы в Петербурге происходили в великолепном здании Большого Каменного театра, построенного в 1802 г. Тома де Томоном на месте старого театрального здания (и на месте нынешней Консерватории на Театральной площади). Оно вмещало около полутора тысяч зрителей. Вот как описывает свое детище сам архитектор: «Фасад представляет собой портик ионического ордера из восьми колонн, увенчанных фронтоном. Фронтон украшен барельефом, изображающим Аполлона, окруженного хором муз. Первый этаж состоит из круглого в плане вестибюля, в который ведут три главных входа. Направо и налево две лестницы с двойным маршем ведут во второй этаж. Остальное пространство занято девятью другими входами: выходными лестницами, кассами и помещениями различных служащих. ⟨...⟩ Украшения внутренние — сделаны в стиле греческих театров» (цит. по: *Медведева,* с. 74; оригинал по-французски). Сов-

ременники вспоминали, что подобного театрального здания не было в самом Париже. Этот замечательный памятник русского ампира погиб от пожара 1 января 1811 г.

Декорации в Большом Каменном театре писал великий театральный художник Пьетро Гонзага, и они создавали полную иллюзию реальности: благодаря глубокой перспективе казались объемными. Кроме того, Гонзага был величайшим колористом, мастером светотени. В соответствии с устремлениями эпохи в его декорациях доминировали архитектурные детали: колонны, портики, статуи, «чертоги». Они удачно гармонировали с самим зданием театра, создавая единство стиля. Его поддерживала и музыка замечательного композитора О. А. Козловского, чаще других писавшего к трагедиям увертюры, хоры, танцы (см.: *Гозенпуд*, с. 321—323). Такая обстановка как нельзя более способствовала успеху трагедий Озерова и вместе с ними возрождала интерес к жанру трагедии. Между тем стиль актерской игры и сложившиеся привычки этому противоречили.

Петербургская сцена начала XIX в. знала замечательных драматических актеров А. С. Яковлева, А. Д. Каратыгину, Я. Е. Шушерина, а также прекрасных комиков В. Ф. Рыкалова, А. Е. Пономарева и некоторых других. Шушерин, Яковлев и Каратыгина, несмотря на существенную разницу в возрасте (первый был старше двух других почти на 30 лет), сформировались как актеры на исполнении «слезной» драмы. Не случайно Шушерин, будучи с 1803 по 1811 г. инспектором русской драматической труппы, культивировал этот жанр на петербургской сцене. Драма требовала от актера внутреннего слияния с образом, «задача его, в сущности, сводилась к тому, чтобы эмоционально подменить изображаемое лицо, найдя в запасах своей памяти чувства, близкие или аналогичные тем, которые требовали положения пьесы» (*Родина*, с. 80). Такая исполнительская манера с наибольшей силой воплотилась на русской сцене рубежа XVIII—XIX вв. в творчестве А. С. Яковлева.

Фигура глубоко трагическая (умный, гордый, ранимый человек, поэт, всю жизнь любивший замужнюю женщину — свою партнершу А. Д. Каратыгину, с горя начал пить, пытался покончить с собой; см.: *Куликова К. Ф.* Алексей Яковлев. Л., 1977), «...он играл удивительно хорошо и искренно только те роли, которые чувствовал, т. е. те, которые совпадали с его субъективным душевным складом. Для объективного творчества, где актеру приходится совершенно выходить из своей индивидуальности, у Яковлева не хватало ни понимания, ни вкуса, ни умения» (*Коровяков Д. Д.* Алексей Семенович Яковлев, русский трагический актер.— Ежегодник императорских театров. Сезон 1893—1894 гг. Спб., 1894. Приложения. Кн. 1, с. 21). В этом наблюдении кроется и разгадка слов Пушкина о «диком, но пламенном» Яковлеве, «который, когда не был пьян, напоминал нам пьяного Тальма», «имел часто восхитительные порывы гения, иногда порывы лубочного Тальма» («Мои замечания об русском театре»).

Александра Дмитриевна Каратыгина была актрисой гораздо меньшего масштаба, чем Яковлев. Непревзойденная во всей Европе Эйлалия («Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу), она по своим творческим возможностям не могла выйти за пределы драмы. Вполне владея «даром слез», по определению Жихарева, Каратыгина явно этим злоупотребляла, что делало ее игру однообразной и часто приторной.

Яков Емельянович Шушерин не обладал счастливыми внешними данными своего младшего собрата по должности «первого актера» — красавца А. С. Яковлева. Вот как описывает его внешность С. Т. Аксаков: «Нос небольшой, несколько вздернутый кверху, широкие скулы и маленькие серые глаза, но зато выразительные, умные и даже хитрые» (*Аксаков*, т. 2, с. 314). Дорога Шушерина на сцену была нелегкой: как и Яковлев, он был самоучкой. Актер добился большого искусства и славы благодаря своему острому аналитическому уму, силе воли, постоянной кропотливой работе над ролями, умению учиться и в зрелом возрасте. За долгую творческую жизнь Шушерин много играл не только в драмах, но и в трагедиях, однако, по проницательному заключению исследовательницы, «стремился превратить трагическую роль в бытовую, выходил за пределы стихотворного ритма или, наоборот, оказывался скованным, выспренним, ненатуральным» (*Медведева*, с. 38). Лучшей его ролью все-таки оставался негр Ксури из драмы Коцебу «Попугай» (см.: *Аксаков*, т. 2, с. 358—359).

Возобновившийся с появлением пьес Озерова интерес к трагедии был для петербургской труппы большим испытанием. Яковлев не любил ролей Тезея, Фингала и даже Димитрия Донского, в которых имел огромный успех, так как считал их «выходными», не требующими актерской работы. «Не о чем тут хлопотать! — говаривал он,— нарядился в костюм, вышел на сцену, да и пошел себе возглашать, не думая ни о чем,— ни хуже ни лучше не будет; так же станут аплодировать — только не тебе, а стихам» («Воспоминания старого театрала»). Шушерин, как это видно из анализа Жихаревым его игры, стремился усилить в роли Эдипа содержащееся в ней сентиментально-драматическое начало, что и давало ему возможность произвести глубокое впечатление на зрителей. Из всей труппы по-настоящему тяготела к жанру трагедии только Екатерина Семеновна Семенова. Недаром Пушкин писал: «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только об ней. 〈...〉 Семенова не имеет соперницы» («Мои замечания об русском театре»).

На страницах своих дневников-мемуаров Жихарев уделяет довольно много места отзывам и размышлениям об игре Семеновой. Он воздает должное ее необыкновенной красоте и таланту, но все же отдает предпочтение Яковлеву. Как во всяком суждении об актерском искусстве, здесь есть доля личного пристрастия и человеческой привязанности: Яковлев удостоил Жихарева дружбой, а Семенова не позволила к себе приблизиться и ответила на комплименты юного театрала «презрительно и свирепо» (запись от 13 января 1807 г.). Однако к этому дело не сводится. Жихарев оказался свидетелем перелома в творческой манере Семеновой и не одобрил его. Надо сказать, что здесь он был не одинок. Когда в 1808 г. актриса начала регулярные занятия декламацией с Н. И. Гнедичем, Я. Е. Шушерин прямо заявил, что «этот одноглазый черт (Гнедич был слеп на один глаз.— *Л. К.*) погубит талант Семеновой» (*Аксаков*, т. 2, с. 321). А. А. Шаховской тоже был в ужасе от этих занятий. К мнению таких знатоков Жихарев, безусловно, прислушивался, особенно к мнению Шаховского, который играл в жизни русского театра начала XIX в. исключительную роль.

Князь Александр Александрович Шаховской хотя происходил из боковой и довольно захудалой ветви княжеского рода, все же принадлежал к титулованной знати и еще в детстве был записан

в привилегированный лейб-гвардии Преображенский полк. Однако, не прослужив и пяти лет, Шаховской вышел в отставку в невеликом чине штабс-капитана. До этого момента его поведение не выходило за принятые рамки, зато далее он совершил шаг исключительный: в 1802 г. он поступил на службу в Дирекцию императорских театров. Пробовал он себя и как актер-любитель, и кто знает, если бы не его комическая внешность и дефекты произношения («смешное бормотанье, какое-то особенное пришептыванье» — *Аксаков*, т. 2, с. 387), возможно, князь решился бы поступить и на сцену. Этого не случилось, но тем не менее не будет преувеличением сказать, что он отдал свою жизнь театру. По должности Шаховской был членом репертуарного комитета, а практически на нем лежал ворох административных забот и — что самое главное — он был постановщиком большинства шедших на сцене пьес. Он же брался быть руководителем всех актеров, поступающих на театр. Кроме того, Шаховской беспрерывно писал и переводил для театра, щедро раздаривая актерам к бенефисам «своих комедий шумный рой», так что к концу жизни его драматургическая продукция насчитывала более ста наименований (см.: *Шаховской*, с. 817—825).

Однако при всем своем искреннем энтузиазме Шаховской не обладал ни твердостью в репертуарной политике, ни четкой системой подготовки актеров. Будучи сторонником классицистской трагедии, он тратил массу усилий на постановку сентиментальных драм, восхищался Озеровым, поставил за свой счет «Эдипа в Афинах» и — пренебрегал репетициями его последней трагедии «Поликсена». По меткому выражению И. Н. Медведевой, не Шаховской менял мнения, а «мнения меняли его» (*Медведева*, с. 36). В его неустанных, самоотверженных занятиях с актерами также не было четкости и последовательности. Замечательный комедиограф, одним из первых сумевший передать в комедии разговорную интонацию, добиться естественного, характерного диалога, близкого к живой речи, Шаховской добивался этого и от актеров. Он следовал здесь за французской школой естественной игры, восходящей к Мольеру и продолженной в XVIII в. Офреном (долго жившим в Петербурге), Монвелем и другими. В комедии и сентиментальной бытовой драме такая манера игры давала прекрасные результаты. Однако трагедия, особенно стихотворная, требовала иного подхода. Разговорная интонация разрушала стихотворный ритм, не гармонировала с героическим пафосом трагедии. Шаховской понимал это, но не мог отчетливо определить своего идеала актерской игры в трагедии и тем более не мог указать средств для достижения идеала.

Е. С. Семенова, проходившая с Шаховским роли, довольно скоро поняла, что он не может быть ее наставником в трагедии. У русских актеров ей также неоткуда было ждать поддержки. Единственной ее опорой в профессиональной театральной среде мог стать Иван Афанасьевич Дмитревский, тонкий знаток трагедийного жанра и в прошлом замечательный трагический актер. Дмитревский, приехавший в Петербург из Ярославля в 1752 г. в составе труппы Ф. Г. Волкова, являлся живым воплощением истории русского театра. Крупнейший русский театральный деятель XVIII в., он был учителем Семеновой в театральной школе и с гордостью называл ее лучшей своей ученицей. Однако Дмитревский старел и слабел физически и, конечно, не мог принять на себя роль наставника. Эту многотрудную роль взял на себя поэт Николай Иванович Гнедич.

Имя Гнедича памятно всем благодаря труду его жизни — переводу с греческого полного текста «Илиады» Гомера. Реже вспоминают его теперь как своеобразного поэта, драматурга и театрального переводчика, а его заслуги как театрального педагога для неспециалистов обычно остаются в тени. Между тем он отдал около двадцати лет напряженнейшим занятиям декламацией с Е. С. Семеновой, а затем и с некоторыми ее партнерами, что стоило ему здоровья: в конце жизни поэт страдал болезнью горла. Сам Гнедич был довольно известным чтецом-любителем. Его манера чтения многим современникам, в том числе Жихареву, казалась излишне театральной, напыщенной. По отзыву С. Т. Аксакова, чтение Гнедича было «певучее, трескучее, крикливое, но страстное и, конечно, всегда согласное со смыслом произносимых стихов», в нем было «много силы и выразительности» (*Аксаков*, т. 2, с. 322, 332).

Суть метода Гнедича в занятиях с Семеновой состояла фактически в переводе бессознательных порывов вдохновения в продуманную систему, основанную на глубоком анализе роли и, главное, движения авторской мысли в стихе. Отсюда — появление тетрадок, вызвавших такое неодобрение Жихарева (см. «Воспоминания старого театрала»), где были размечены интонации, логические ударения, жесты и т. д. Гнедич обратил особое внимание на соблюдение стихотворного ритма, который составлял камень преткновения для русских актеров. «Он читал вслух, повторяя, отрабатывая по отдельным кускам текст и уподобляясь репетиторам оперных певцов. Он тренировал Семенову на каком-нибудь труднейшем пассаже так настойчиво и долго, как этого требовала безусловная точность произнесения стиха и передачи чувства» (*Медведева*, с. 107). Семеновой под руководством Гнедича удалось создать четкий, ровный рисунок своих ролей, добиться гармонии мастерства и вдохновения, что было совершенно чуждо Яковлеву, не говоря о других русских актерах. Это и позволило ей занять то исключительное место на отечественной сцене, которое принадлежало ей безраздельно на протяжении всего ее театрального поприща (в 1826 г. Семенова покинула подмостки и вышла замуж за князя И. А. Гагарина).

Но путь к новой системе не был гладким. Как считает исследовательница, вначале в игре Семеновой, видимо, чувствовалось напряжение, усилие выдержать ритм (см.: *Медведева*, с. 106—107), что и дало основание Жихареву, Аксакову, Шушерину и другим говорить о ненатуральности, подражательности. Однако они явно преждевременно оплакивали гибель ее таланта. Будущее показало, что новая система дала мощный толчок развитию ее необыкновенного дарования (см. новейшую работу о творчестве актрисы: *Беньяш Р.* Катерина Семенова. Л., 1987, с. 104 и далее).

Семенова и Гнедич в полной мере учли опыт французской актрисы Жорж (Маргариты-Жозефины Веймер), приехавшей в Петербург в 1808 г. и имевшей бурный успех. Внимание публики (особенно аристократической — см.: *Всеволодский*, с. 75—79) к приезжей знаменитости, сразу возникшее ощутимое пренебрежение к русскому театру в какой-то мере поставили под угрозу его будущее. Необходимо было во что бы то ни стало вернуть расположение зрительного зала, и Семенова взяла на себя эту трудную миссию.

Ее творческое соревнование с Жорж продолжалось несколько лет. Оно существенно обогатило весь русский театр, так как внесло дух профессионализма и системы в искреннюю, но безотчетную и неровную игру русских актеров. Победа в конечном итоге оказалась

на стороне Семеновой, но это будущее находится уже за пределами тех временных границ, которые охватывают дневники-мемуары Жихарева.

В русском театре Жихарева интересовали, в первую очередь, драматические спектакли. Императорская труппа была крайне немногочисленной. Если суммировать данные «Дневника чиновника» (см. запись от 7 марта 1807 г.) и «Летописи русского театра» (см.: *Арапов*, с. 199—203), то получается 39 человек. В их число входили и оперные артисты, которых в начале XIX в. было всего несколько: замечательные певцы Я. С. и А. Воробьевы, В. М. и С. В. Самойловы (см. о них: *Гозенпуд*, с. 324—326, 429—440). Поэтому в оперных спектаклях участвовали драматические актеры и ученики театральной школы, где давалась достаточно разносторонняя подготовка (обучение обязательно начиналось в танцевальном классе, кроме того каждый обязан был уметь петь и аккомпанировать себе на клавире). Не очень занимаясь оперными постановками русской труппы (видимо, в этом случае он предпочитал легкие французские спектакли), Жихарев вместе с тем верно отметил главную особенность современного ему музыкального театра: развлекательный репертуар, копировавшийся с французского в надежде на успех у широкой публики. Взыскательному театралу, привыкшему слышать в Москве Моцарта и Сальери, досадно, «отчего на здешнем театре не дают таких опер, как „Волшебная флейта", „Похищение из сераля", „Дон-Жуан", „Аксур" и проч., и довольствуются „Русалками", „Князем-невидимкою"» (запись от 6 марта 1807 г.). Он замечает, что возможности русских оперных певцов значительно превосходят имеющийся репертуар. Жихарев с сочувствием приводит отзыв знаменитого певца Воробьева о модных операх: «Надоели проклятые... черт знает что такое! Только на потеху райку» (запись от 8 января 1807 г.).

Вместе с тем автор «Дневника чиновника» был еще слишком молод, чтобы не поддаться обаянию великолепных обстановочных спектаклей (à grande spectacle) с легкой напевной музыкой, роскошными костюмами, декорациями и эффектными трюками. В этом отношении его запись от 12 мая 1807 г., где идет речь о постановке «Князя-невидимки», как бы противоречит тому, что он ранее говорил о модных операх. Сам Жихарев, видимо, чувствовал это и потому писал в несколько полемическом тоне: «Говори что хочешь и, пожалуй, называй все это глупостью и балаганными штуками, однако ж изредка взглянуть на эти штуки весело» и т. д. Здесь явно идет спор с математиком-музыкантом П. А. Рахмановым, резко осуждавшим феерии, под влиянием которого возникли в дневнике предыдущие рассуждения об этих операх. Жихарев очень зависит от чужого авторитетного мнения (мы видели это и в случае с Е. С. Семеновой), хотя ему самому собственная позиция представляется самостоятельной и независимой.

Несколько особняком в театре стояла балетная труппа, где, по данным Жихарева, кроме балетмейстеров Ш. Дидло и И. Вальберха было всего десять танцовщиков и танцовщиц.

Первые годы XIX в. были переходным периодом в развитии русского балета. Деятельность Дидло в России только начиналась и еще не успела дать настоящих плодов. Русская национальная хореография, по сути, только зарождалась — в творчестве балетмейстеров И. Вальберха, А. Глушковского (о русском балете начала XIX в. см.: *Красовская В. М.* Русский балетный театр от воз-

никновения до середины XIX века. Л.; М., 1958; *Гозенпуд*, с. 450—550; *Слонимский Ю.* Дидло. Л.; М., 1958 и др.). Балетная труппа особенно активно использовала в спектаклях учеников театральной школы, где танцевальный класс был самым большим (см., например: *Каратыгин П. А.* Записки. Л., 1970). Однако о балетных спектаклях Жихарев упоминает уж совсем вскользь, лишь однажды описав дивертисмент, данный после «Эдипа в Афинах» Озерова (см. запись от 10 декабря 1806 г.) с участием ведущих артистов. Нельзя не заметить, что и в этом описании основное место отведено не балетному искусству, а внешности танцоров (безобразию Дидло, красоте Икониной) и закулисным историям (происхождению Огюста). Видимо, балет мало занимал Жихарева.

Театральный Петербург начала XIX в. предоставлял зрителям не только спектакли императорской русской труппы. Как и в Москве, здесь существовали французский и немецкий театры, которым Жихарев отдал дань, а также итальянская оперная труппа. О последней он даже не упоминает.

Французы играли в помещении Большого Каменного театра, поочередно с русскими актерами. В отличие от Москвы, в Петербурге французская труппа занимала ведущее место среди иностранных трупп и постоянно соперничала с русской из-за приоритета. Состав французских актеров был отменный, и Жихарев отзывается об их игре с неизменной похвалой: «Здешний французский спектакль — совершенство в своем роде, настоящий спектакль для избранного общества» (запись от 21 апреля 1807 г.), «во французском театре надобно более всего удивляться совершенству ансамбля, и если актеры одни лучше других, то можно решительно сказать, что дурного нет ни одного» (запись от 11 мая 1807 г.). С одинаковым удовольствием Жихарев смотрит драматические спектакли (где явно преобладали комедии) и оперные (где также доминировал легкий развлекательный репертуар). Он особенно выделяет игру Дюкроаси, а также Деглиньи, Дюрана, Каллана, Лароша, пение Филис-Андриё и Мееса (это были действительно лучшие певцы французской труппы — см.: *Гозенпуд*, с. 336—341). Правда, иногда у него возникают замечания по трактовке отдельных образов (см. запись от 11 мая 1807 г.), игре некоторых актеров (например, тенора Андриё). Кроме того, он замечает, что ведущие драматические актеры труппы весьма немолоды, но вынуждены, по традиции Théatre Français, продолжать выступления в ролях, «не свойственных их летам и наружности» (запись от 11—13 апреля 1807 г.). Как опытный театрал, автор «Дневника чиновника» не мог не отметить, что такой порядок, основанный на предрассудке, препятствует выдвижению молодых дарований. Однако все эти замечания не мешают Жихареву быть в восхищении от французской труппы. Безусловно, эти спектакли привлекают и особым — «избранным» — составом зрителей. Жихарев не без удовольствия записывает, что видел М. А. Нарышкину — известную красавицу и любовницу Александра I. Весь цвет петербургских гостиных, двор и сам император часто бывали на спектаклях. Французских актеров чаще других приглашали в Эрмитажный театр, что не только обыкновенно доставляло им богатые подарки, но и поднимало их официальный престиж. На содержание французской труппы отпускалось больше всего средств, она имела самые богатые костюмы, которые далеко превосходили по роскоши гардеробы ведущих европейских театров. Жалованье средней французской актрисы было втрое

больше оклада звезды русской сцены Е. С. Семеновой (которая получала в год 1300 рублей и 500 рублей квартирных). Любимец русской публики А. С. Яковлев получал самое большое в русской труппе жалованье — 4 тысячи рублей в год, и все же оно было меньше тех 5—6 тысяч, которые беспрекословно выплачивались рядовым французским актрисам. Когда же приехала Жорж, ей было дано единовременно 15 тысяч и обещано около 10 тысяч в год — сумма, превышавшая все самые высокие гонорары, принятые в Европе. Как актеры императорской труппы, французы имели право и на пенсии, которые выплачивались им, в какой бы стране они потом ни проживали. Очевидная дискриминация русской труппы по сравнению с французской вызывала негодование у ревнителей национального искусства как свидетельство пренебрежения правительства к русскому театру. Но высший свет не придавал значения этому негодованию, и французский театр процветал даже в период войны России и Франции в 1805—1807 гг. Только «гроза двенадцатого года» заставила несколько умерить восторги — в июне 1812 г. французские спектакли мало посещались публикой. Однако дирекция догадалась распустить труппу лишь 18 ноября 1812 г., выплатив актерам жалованье и прогонные для возвращения на родину (см.: *Всеволодский*, с. 172—173).

Петербургский немецкий театр располагался в начале Невского проспекта, в так называемом доме Кушелева (на месте Главного штаба), а его подъезд выходил на Дворцовую площадь и находился прямо против главных ворот Зимнего дворца. Хотя кушелевский дом и называли «маленьким Пале-Роялем», поскольку «в нем были прекрасные магазины, богатые рестораны и кондитерские, давались маскарады и балы» (*Всеволодский*, с. 52), но зрительный зал был беден и некрасив. Ветхие декорации, грязные драпри, тусклые люстры и копоть от неисправных ламп — такая обстановка заметно отличалась от благоустроенного Большого Каменного театра. Спектакли давались всю неделю, за исключением вторников и пятниц. Труппа была смешанная — драматическая и оперная, и она явно уступала не только остальным петербургским театрам, но и московской немецкой труппе. Тем не менее Жихарев благоволил к немецким спектаклям (см. запись от 7 мая 1807 г.). Ни с кем он не сходился так коротко, как с немецкими актерами. Здесь он встретил своих старых знакомых: некоторые актеры перебрались из Москвы в Петербург. Они пригласили Жихарева на свой пикник, и он с удовольствием принял в нем участие. Однако все-таки тон записей о немецких спектаклях в «Дневнике чиновника» гораздо сдержаннее, чем в «Дневнике студента». Это нетрудно объяснить вполне объективными обстоятельствами, о которых говорилось выше. Но может быть, есть и еще одна причина. Немецкий театр в Петербурге, как и в Москве, не очень посещался русской публикой, поэтому над Жихаревым менее тяготели авторитеты известных театралов или же светских львов. Здесь он чувствовал себя свободнее и в поведении, и в суждениях. Автор «Дневника чиновника» резко и уверенно критикует постановку «уродливой» драмы Коцебу «Октавия», называя актерскую манеру «египетско-чухонскими ужимками и ухватками». Он сделал даже решительный вывод, что немцы вообще не могут играть героических трагедий из античной истории (см. запись от 14 февраля 1807 г.). Нельзя, однако, не заметить, что и за этим, казалось бы, вполне самостоятельным суждением стоит

чужой авторитет. Сам Жихарев вспоминает слова покойного Штейнсберга о том, что героические пьесы и высокие комедии «не по масштабу» немецкому театру (запись от 5 февраля 1807 г.).

Так формировались театральные суждения Жихарева, и нам очень важно было проследить, как именно это происходило. Театральный завсегдатай, «почетный гражданин кулис», стремящийся к знакомству со всеми театральными знаменитостями и подверженный чужому мнению, и вместе с тем литератор, даже драматург (хотя и неудачливый), серьезно озабоченный судьбами сценического искусства, Жихарев составлял ту часть зрительного зала, которая «делала погоду» в театре. Своими дневниками-мемуарами он предоставил нам замечательную возможность проникновения в тайны русского театрального мира начала XIX в.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ 1800-х гг. В «ЗАПИСКАХ СОВРЕМЕННИКА»

1800-е гг. — время в литературной жизни напряженное и знаменательное, и Жихарев оказался свидетелем интересных событий. Это делает «Записки современника» и особенно «Дневник чиновника» важным источником не только для истории театра, но и для истории русской литературы.

В начале XIX в. русские литераторы разделились на два враждебных лагеря — «карамзинистов» (последователей Н. М. Карамзина) и «шишковистов» (последователей А. С. Шишкова). Такое противопоставление отчетливо выявилось после выхода в 1803 г. «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» Шишкова. За мирным академическим названием скрывался отнюдь не спокойный филологический трактат (да и автор его был профессиональным моряком, а не филологом), а пламенный призыв к спасению русского языка, словесности, в конечном итоге самой России от гибели. Опасность адмирал Шишков усматривал в утрате русской культурой своего национального лица, в подражании иностранным образцам, в постепенном отходе от национального языка (таковым он считал церковно-славянский), от национальных литературных традиций (древнерусской письменности, народного творчества). Причину он видел в деятельности Н. М. Карамзина, его реформе русского литературного языка и общей культурной ориентации на Европу. Развернулась знаменитая полемика о языке, которая продолжалась более десятилетия. Сторонники Карамзина отвечали Шишкову остроумными журнальными статьями, эпиграммами, литературными пародиями, Шишков отвечал пространными «возражениями на критики» и новыми книгами. Карамзин в полемику не вмешивался — с 1803 г. он целиком посвятил себя работе над «Историей государства Российского».

Филологические идеи Шишкова были несостоятельны, обвинения в адрес Карамзина несправедливы, но его книга остро поставила вопрос о национальной самобытности культуры, о народности литературы — то есть те вопросы, которые волновали писателей и общественных деятелей всей Европы в эпоху наполеоновских войн. Прямолинейно трактуя некоторые полемические декларации карамзинистов (например, заглавие сборника Карамзина «Мои безделки»), Шишков обвинял своих противников в отношении к словесности как к забаве, лишенной серьезного смысла. Именно пафос борьбы за

национальную культуру, стремление вернуть литературе высокое гражданское звучание привлекли в его лагерь таких крупных литературных деятелей, как Державин, Крылов, Гнедич.

Какова же была позиция С. П. Жихарева в этой сложной литературной борьбе? Сам он противопоставляет «петербургскую» и «московскую» школы и относит себя к последней, другими словами — причисляет себя к карамзинистам. Однако в Петербурге в 1807 г. он оказался участником собраний сторонников Шишкова. Эти литературные вечера послужили затем основой официальной организации шишковистов — «Беседы любителей русского слова» (1811 г.), членом которой стал и Жихарев. Вместе с тем, когда карамзинисты, наконец, сплотились в «Общество безвестных людей, или Арзамас» (1815 г.), автор «Записок современника» становится одним из его членов-учредителей, отрекшись от своего «беседного» прошлого, по обычаю произнеся надгробное слово — самому себе (см.: Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 100—101).

Такая смена лагерей показательна. Думается, что свести объяснение к личным качествам Жихарева, его «неустойчивости», было бы не плодотворно. Разгадка кроется и в особенностях его позиции, и в особенностях литературной жизни начала XIX в.

Литературные симпатии Жихарева сформировались в Благородном пансионе при Московском университете, где его наставниками в словесности были магистр П. И. Богданов и профессор-поэт А. Ф. Мерзляков. Кроме того, близость к кружку Мерзлякова, а также знакомство с И. И. Дмитриевым обозначили круг авторитетов, которым Жихарев никогда не изменял. «Великими поэтами» он считал Державина, Карамзина, Дмитриева, Мерзлякова, поклонялся Жуковскому (его «Вадима» и многие стихотворения Жихарев знал наизусть, наряду с «Марфой Посадницей» Карамзина), был в восторге от таланта Буринского, с уважением произносил имена Нелединского-Мелецкого («образцовый поэт»), Хераскова (хотя к нему отношение сложнее — проглядывают и нотки скепсиса, зароненные Мерзляковым). Отзывы Мерзлякова и Дмитриева оказывают решающее влияние на литературные суждения Жихарева не только в «Дневнике студента», но и позднее в «Дневнике чиновника».

Литературная борьба начала XIX в. также отразилась в «Записках современника», но достаточно своеобразно. Первые ее отзвуки встречаются уже в записи от 2 марта 1805 г., где приведены слова А. М. Пушкина о том, что П. И. Голенищев-Кутузов — «другой секты в литературе», чем В. Л. Пушкин. Затем мелькают иронические отзывы о том же Кутузове (известном гонителе Карамзина), Николеве, графе Хвостове как бездарных стихотворцах — опять-таки наблюдается полное соответствие со вкусами карамзинского лагеря. Наконец, мы узнаем, что в начале 1806 г. Жихарев, желая угодить И. И. Дмитриеву, переводит с немецкого апологетическую статью пастора Гейдеке о Карамзине (отрывки приведены в записи от 2 февраля 1806 г.). Разумеется, Жихарев в восторге от статьи, называет ее «бесподобной», однако снабжает ее любопытным комментарием: «Есть чему порадоваться и о чем попечалиться. Порадоваться, потому что нашлись и в числе иностранцев люди, которые умели оценить нашего гениального писателя, а попечалиться о том, что не нашлось ни одного человека из русских, который бы вооружился за него против его недоброжелателей». Похоже, что Жихарев действительно не знает блестящей статьи

П. Макарова против Шишкова («Московский Меркурий», 1803, № 12, с. 155—198), которая вышла за год до статьи Гейдеке. Возможно и то, что ее содержание просто не отразилось в его сознании. В любом случае нам это кажется знаменательным: суть полемики о языке явно не интересует Жихарева. В противном случае он не мог бы записать в своем дневнике после первой встречи с А. С. Шишковым: «Не могу поверить, чтобы этот человек был таким недоброжелателем нашего Карамзина, за какого хотят его выдать» (запись от 9 января 1907 г., разрядка моя.— *Л. К.*). И далее: «Колкие замечания на некоторые фразы Карамзина доказывают не личное нерасположение к нему Александра Семеновича, а только одно несходство в мнениях и образе воззрения на свойства русского языка» (там же). Расхождение было действительно принципиальным, но «добродушием», как утверждает затем Жихарев, отзывы Шишкова о Карамзине отнюдь не отличались. Достаточно прочесть первую фразу «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», чтобы понять, что раздражение автора вызывают не «некоторые фразы». Шишков привлекает все силы и средства для полного морального уничтожения Карамзина: «Всяк кто любит Российскую словесность, и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстью к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных» (*Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. Спб., 1803, с. 1).

Отсутствие у Жихарева интереса к существу коренного вопроса литературной жизни лишний раз показывает, что он судит о словесности как дилетант, а не как писатель, принимающий на себя груз литературной борьбы. Литература для Жихарева, безусловно, важная часть его жизни, без которой он не мыслит своего существования, и в этом проявляются характерные черты эпохи (см.: *Поэты,* с. 32—33). Он заинтересован в литературных достижениях, любопытен к новинкам, к анекдотам из жизни писателей, заботится и о собственных литературных трудах. Он ощущает свою причастность к карамзинизму, которая проявляется не только в его вкусах, но и, как показал Б. М. Эйхенбаум (см.: *Эйх.*, с. 654—656), в слоге и способах построения текста его дневников-мемуаров. Однако о «чистоте позиции», об отмежевании от противоположного литературного лагеря Жихарев совсем не заботится. Никто не мешает ему — карамзинисту — участвовать в шишковистских собраниях. Нельзя не отметить, что в этом сказывается и отличительная особенность карамзинистского мышления — его «теоретическая и практическая широта, граничащая с эклектизмом» (*Поэты*, с. 14). Точки соприкосновения имеются: любовь к словесности, личное уважение к инициаторам собраний, наконец, любовь к церковнославянскому языку и Священному писанию, столь ценимым Шишковым. Особенность эпохи такова, что она еще не требует разрыва личных отношений во имя принципиальных политических или литературных соображений. Поэтому решающую роль в литературной ориентации Жихарева играют биографические обстоятельства.

Приехав в Петербург, Жихарев получает возможность лично представиться Державину. Причины такого счастливого поворота судьбы — чисто домашние. «Великий поэт в эпоху губернаторства своего в Тамбове был дружен с дедом моим»,— поясняет мемуарист.

Радушие Державина, его искреннее стремление видеть в каждом начинающем писать юноше чуть ли не будущего гения открыли перед Жихаревым двери гостеприимного дома на Фонтанке, а также позволили сделать важные знакомства в литературном мире Петербурга. Жихарев исправно записывал свои впечатления о вечерах, которые устраивались в 1807 г. в домах Державина, Шишкова, А. С. Хвостова, И. С. Захарова по инициативе Шишкова с целью собрать молодые литературные силы, стимулировать их творчество. Несколько обособленное положение Жихарева в этом кругу способствует тому, что он часто наблюдает происходящее как бы со стороны, и это позволило ему сделать важные заключения (заметим в скобках, что источников сведений о собраниях 1807 г. очень мало, и это повышает ценность сообщаемых Жихаревым данных. См. также: Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. 1. М.; Л., 1938, с. 359—407).

Сначала осторожно, потом все отчетливее Жихарев замечает, что наиболее интересной стороной шишковистских собраний была как раз не литературная часть. К сожалению, он не сообщает подробностей тех политических бесед, светских разговоров и воспоминаний, которым предавались участники, но перечисленные им темы весьма заманчивы (см. записи от 16 марта, 5 мая 1807 г.). Кроме того, по наблюдению Жихарева, сам облик вечеров иногда напоминал скорее важное государственное действо, чем собрание любителей словесности: «Вчерашний вечер у И. С. Захарова не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязмитинов» (запись от 17 февраля 1807 г.). Разумеется, усилия устроителей обеспечить участие сановной публики не были случайными. Исследователи уже неоднократно отмечали, что деятели шишковского лагеря, в 1800-е гг. не имевшие влияния на ход государственных дел и находившиеся в оппозиции к правительству Александра I, всячески стремились выйти из политической изоляции. Собрания с участием важных сановников создавали у них самих иллюзию (и, по их замыслу, должны были создать у окружающих впечатление) их государственной значительности. С другой стороны, «важная» обстановка литературных собраний соответствовала взгляду на словесность как на важное государственное дело. Правда, иногда это «государственное» значение понималось достаточно узко. В записи от 17 марта 1807 г. Жихарев привел рассуждение П. И. Соколова о том, что литература нужна лишь для образования эпистолярного и делового слога. Характерно, однако, что подобное представление было вполне в духе эпохи, когда слог имел немаловажное влияние на карьеру государственного чиновника. Одной из причин выдвижения М. М. Сперанского в начале 1800-х гг. был его хороший стиль. После отставки и ссылки Сперанского в 1812 г. Александр I хотел назначить на пост государственного секретаря Н. М. Карамзина, обстоятельства же вынудили его назначить нелюбимого им А. С. Шишкова. В результате манифесты периода Отечественной войны явились практическим воплощением шишковистской литературной программы. Пушкин писал о Шишкове во «Втором послании к цензору»: «Сей старец дорог нам. ⟨...⟩ Он славен средь народа священной памятью двенадцатого года». У императора же манифесты Шишкова вызывали лишь раздражение и неприязнь.

Для шишковистов «высокая» литература — это серьезный труд и для писателей, и для читателей. Отсюда — экспериментальный

характер многих их художественных произведений. Смелым экспериментом в области поэтического языка (обилие неологизмов, созданных по образцу церковнославянизмов) и стиха (безглагольные рифмы) были поэмы С. А. Ширинского-Шихматова, экспериментальными были и сочинения позднего Державина (см.: *Альтшуллер*, ч. 1, гл. 1—2). «Старшие архаисты» предлагали читателям материал для изучения, а не для развлечения и наслаждения. Читатель должен был, по их мысли, вникнуть в процесс творчества, а не только любоваться его результатами и пожинать его плоды. Читательское же сознание, воспитанное карамзинистской традицией, отвергало и подобные эксперименты, и подобную позицию. Оно применяло к литературным произведениям критерий «вкуса», включавший в себя требования легкости, изящества, «ровности слога», ясности, стройности мыслей. Недаром Жихарев, стоявший на этой точке зрения, столь отрицательно относится к тяжеловесным, «темным» сочинениям С. Боброва и позднего Державина и, хотя отдает должное мастерству Шихматова, не испытывает к его поэзии глубокого интереса. Расчет шишковистов на свои вечера как на средство овладения литературным фронтом и читательской аудиторией оказался несостоятельным.

Подробные отчеты Жихарева о литературной части вечеров 1807 г. ясно показывают, что настоящих литературных событий было на них немного: басни Крылова, гнедичевский перевод VIII песни «Илиады» и поэма С. А. Ширинского-Шихматова «Пожарский. Минин. Гермоген». Последнее произведение вызвало особый прилив радости и надежд у А. С. Шишкова: героическая поэма на сюжет национальной истории, сочиненная талантливым двадцатитрехлетним литератором, только начинающим свой путь в словесности и притом в соответствии с языковыми идеями неугомонного адмирала. Несмотря на бесспорную принадлежность И. А. Крылова к лагерю Шишкова (см.: Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975, с. 174—195), творчество великого баснописца по своим масштабам было гораздо шире этого лагеря, что ощущали все современники — и шишковисты, и карамзинисты. В некоторой степени сказанное относится и к Н. И. Гнедичу. Шихматов был счастливым исключением среди шишковистской молодежи. Большинство молодых авторов попадало на собрания по тому же «семейному» принципу, что и Жихарев. У каждого из «стариков»-устроителей (Жихарев постоянно подчеркивает их почтенный возраст) были свои протеже — начинающие и, как правило, совершенно бесцветные литераторы.

Дело в том, что наряду со взглядом на словесность как на высокое служение среди шишковистов отчетливо ощущается и другой — сановно-дилетантский. В своем большинстве «старшие архаисты» — это сановники от литературы, члены Российской академии без всяких особых на то прав и оснований. Разумеется, это утверждение не имеет отношения к Г. Р. Державину. Однако Жихарев справедливо возмущался членством в академии таких литературных пигмеев, как И. С. Захаров, П. И. Соколов, П. И. Кутузов и т. п., и отсутствием среди академиков имен Карамзина, Крылова, Озерова, Мерзлякова, составлявших лицо литературы 1800-х гг. Что же касается А. С. Шишкова, то нельзя не признать, что он был гораздо более талантливым и продуктивным публицистом, чем поэтом и прозаиком.

К словесности шишковисты подходили с чиновно-иерархических позиций. Жихарев не без иронии замечает, что «из москвичей один И. И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что сенатор и кавалер» (запись от 24 марта 1807 г.). Мы видим, что в деятельности писателя ценились не литературные заслуги, поэтому, беря на себя роль меценатов, «старшие архаисты» выбирают объекты для покровительства не по литературным признакам. Например, по наблюдению Жихарева, И. С. Захаров «покровительствует таким писателям, которых Мерзляков не допустил бы даже на свои лекции» (там же). Таким образом, среди будущих «беседчиков» оказалось мало выдающихся писателей. И это не было случайностью. Люди, для которых в литературе, по тем или иным причинам, главным становилась не литература, не могли собрать вокруг себя даровитую молодежь. Гнедич был прав, говоря Жихареву, что «наши юноши мало трудятся собственно для литературы и только стараются попасть в общество литераторов для каких-нибудь особенных целей, а может быть, и от нечего делать» (запись от 17 марта 1807 г.). Недалеко ушел от этих юношей и сам автор «Записок современника», незадолго перед тем признавшийся самому себе: «Благодаря музам, я попал в общество почтенных людей; надобно поддержать себя, и если я не могу сделаться литератором по призванию, так по крайней мере пусть узнают, что я не безграмотен и не хуже других гожусь на всякое дело по службе» (запись от 16 марта 1807 г.).

Писателя «по призванию» из Жихарева действительно не получилось, но участие в литературной жизни, близость к писательскому миру развили в нем те литературные задатки, без которых «Записки современника», конечно, не могли бы быть написаны.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕКСТУ «ДНЕВНИКА ЧИНОВНИКА»

С. 5

...пестуном древней столицы.— А. А. Беклешов был уволен с поста московского генерал-губернатора 3 августа 1806 г. (назначен 30 апреля 1804 г.) по собственной просьбе, мотивированной расстроенным здоровьем. Он совмещал функции генерал-губернатора и губернатора, тогда как обычно с 1775 г. в губернии назначались как генерал-губернатор (наместник верховной власти, имевший функции надзора и контроля, а также начальник местных воинских соединений), так и губернатор (начальник местного управления, председатель губернского правления).

...в чине моложе Беклешова.— В начале XIX в. присвоение генерал-губернатором звания главнокомандующего зависело от воли императора. С. К. Вязмитинову это звание было присвоено в 1805 г. Он, как и Беклешов, имел чин генерала от инфантерии, полученный в 1798 г., на год позже Беклешова (10 апреля 1797 г.).

...об эпохе чумы и пугачевского бунта.— Имеется в виду первая половина 1770-х гг.: чумный бунт в Москве 1771 г. и крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 1773—1775 гг.

С. 6

...И скачут, и ползут...— цитата из басни И. И. Дмитриева «Искатели фортуны» (1794 г., опубл. в 1797 г.).

С. 7

...подвинуть войска за границу.— См. манифест 30 августа 1807 г. «О предстоящей войне с Франциею».— Полн. собр. законов, т. XXIX, с. 701—702; ссылка на указ 1 сентября 1805 г.— с. 701. Жихарев всегда почти дословно приводит соответствующие места правительственных указов.

С. 9

...парфорсная охота...— Парфорсная (от франц. par force — насильно) охота заключается в преследовании зверей (чаще всего оленей, коз, лисиц) гончими собаками до изнеможения. Гончие выгоняют зверя из леса, и начинается бешеная скачка охотников по пересеченной местности, требующая виртуозного владения техникой верховой езды. В конце XVIII — начале XIX в. в Англии на первый план в парфорсной охоте выдвинулись упражнения в скачке с препятствиями. Традиционно французский вид охоты становится в это время английским модным развлечением.

С. 10

...не заботясь решительно ни о чем.— Парфорсная охота была очень дорогой, так как требовала содержания первоклассных верховых лошадей и гончих собак, поэтому охота вскладчину (своего рода охотничий клуб) делал ее доступной для людей небогатых.

С. 14

...русским де Сартином...— Московский обер-полицмейстер Н. П. Архаров считался мастером раскрытия преступлений, соперником легендарного парижского обер-полицмейстера де Сартина. Сведения о деле Перрена см.: *Пыляев М. И.* Старое житье. Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной жизни. Спб., 1892, с. 43. М. И. Пыляев относит дело к первым годам XIX в.

...как и его фамилия.— Шварц (нем. schwarz) — черный.

С. 15

...так потяжелеть мог.— Об анекдотической рассеянности сенатора и московского губернатора 1770-х гг. (с 1773 г.), сына петровского канцлера графа Ф. А. Остермана см.: *Бантыш*, с. 92—93; *Шубинский С.* Русские чудаки и остряки.— Всемирный труд, 1868, № 12, с. 18—20.

С. 16

...и неистовства народного.— Сенатор П. Д. Еропкин, которому 25 марта 1771 г. была поручена организация борьбы с чумой в Москве, принял ряд энергичных мер, но не смог предотвратить распространения эпидемии. 16 сентября 1771 г. в Москве начался бунт. Встревоженная Екатерина II послала в город своего фаворита графа Г. Г. Орлова, прибывшего 16 ноября, когда эпидемия начала спадать из-за наступления холодов, но честь победы была приписана ему. В Царском Селе были установлены триумфальные ворота с надписью «Орловым от беды избавлена Москва» и выбита золотая медаль с его портретом (см.: *Бантыш*, с. 50—51).

С. 25

...находится посланником в Мадриде.— И. А. Муравьев-Апостол, отец декабристов Матвея, Сергея и Ипполита Муравьевых-Апостолов, был в начале 1790-х гг. воспитателем вел. кн. Константина Павловича. Пьеса Шеридана в его переводе была впервые поставлена в 1793 г. в Эрмитажном театре.

С. 28

...ainsi du'à la nation.— Б. М. Эйхенбаум указал, что сходный по мыслям, но текстуально не совпадающий с приведенным Жихаревым отрывок был опубликован: Русский архив, 1866, с. 399—422. См.: *Эйх.*, с. 732—733.

С. 31

...Всему конец и связи нет! — цитата из стихотворения Н. М. Карамзина «Отставка» (1796 г.). В 4-й строке в оригинале — «меж ими».

...а преогромные бани.— Бани, выстроенные в центре Москвы в конце XVIII в. на средства братьев Сандуновых, приносили им солидный доход. До сих пор известны в Москве как «сандуновские».

С. 33

...Обуховской больницы умалишенных...— Первая городская больница в Петербурге, при ней был дом для умалишенных; расположена на наб. Фонтанки, д. 106 (ныне — филиал Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова).

...у Каменного моста.— Каменный мост, построенный в 1776 г., сохранился до настоящего времени и находится на пересечении ул. Дзержинского и канала Грибоедова.

С. 35

...у Спаса на Сенной — церковь в честь Сретения Господня на Сенной площади (ныне — пл. Мира), заложена в 1753 г. См.: Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Спб., 1878, вып. VI, с. 13—14. Уничтожена в 1961 г.

...манифест от 16-го числа о войне с французами.— См.: Ноября 16. Манифест. О начатии войны с Французами.— *Полн. собр. законов*, т. XXIX, с. 865—866.

...(ко Еффесеем зачало 233).— Послание к Ефесянам св. апостола Павла, гл. 6, ст. 11, 17.

С. 36

...под дирекциею Малиновского».— См. издание, осуществленное сотрудниками Архива иностранных дел под руководством А. Ф. Малиновского: Театр Августа фон Коцебу, содержащий Полное собрание новейших Трагедий, Комедий, Драм, Опер и других Театральных сочинений славнаго сего Писателя. Переведенный с Немецкаго. В 16-ти ч. М., 1801—1806; см. также его продолжение: В 4-х ч. М., 1807—1808.

С. 40

...манифест о милиции.— См.: Ноября 30 (печатан 3 декабря). Манифест. О составлении и образовании повсеместных временных ополчений или милиции.— *Полн. собр. законов*, т. XXIX, с. 892—897. Все сословия призывались жертвовать для земского войска

деньгами, хлебом, амуницией и оружием. Особенно остро ощущалась нехватка оружия: ружьями смогли снабдить только пятую часть 612-тысячного ополчения, остальные получили пики и колья (см.: *Шильдер*, с. 287).

С. 41

...и Адмиралтейской площади... — Дом, где в первой половине XIX в. помещалась одна из лучших гостиниц города — «Лондон», не сохранился (теперешний дом № 1 по Невскому пр. построен в 1910—1912 гг.).

С. 43

...он сын того Хмельницкого....— Н. И. Хмельницкий — впоследствии известный водевилист, ценимый Пушкиным, и переводчик Мольера; соавтор А. А. Шаховского и А. С. Грибоедова в комедии «Своя семья, или Замужняя невеста» (1817 г.).

...Языком сердца говорили! — несколько видоизмененная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Лебедь» (1804 г., опубл. в 1808 г.).

С. 44

...невысокого дома на Фонтанке...— Собственный дом Державина на Фонтанке у Обуховского моста (ныне наб. Фонтанки, 118; перестроен) был построен по проекту его друга — замечательного архитектора, поэта и ученого Н. А. Львова. См.: *Глинка Н. И.* Державин в Петербурге. Л., 1985.

С. 45

...были ему вовсе неизвестны...— Это утверждение Жихарева нельзя принимать всерьез. Державин внимательно следил за развитием литературы. Жуковскому он посвятил стихотворение еще в 1799 г. (см.: «Жуковскому и Родзянке, приславшим с большими похвалами автору перевод его оды «Бог» на французский язык»), в 1808 г. он писал: «Тебе в наследие, Жуковский! Я ветху лиру отдаю...»

...память по Николае Александровиче Львове — 6 (19 по н. ст.) декабря — день св. Николая, очень почитаемый в России праздник («зимний Никола»). В этот день был именинником Н. А. Львов, скончавшийся 21 декабря 1803 г. Державин написал тогда стихотворение «Память другу».

С. 48

...Какого Крез не собирал! — цитата из оды Г. Р. Державина «Фелица» (1782 г.).

...Его в серпянный свой диван — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Мой истукан», написанного в 1794 г., когда скульптор Жан-Доминик Рашетт изваял мраморный бюст поэта. Строки обращены к первой жене Державина, Катерине Яковлевне. В ее комнате на втором этаже Фонтанного дома, прозванной диванной, хранился бюст Рашетта.

С. 49

...моего Беатуса.— Имеется в виду ироническая ода Г. Р. Державина «На Счастье» (1789 г.), 21-я строфа которой была на-

правлена против графа П. В. Завадовского (см. объяснения поэта: *Державин*, т. III, с. 626). Беатус — латин. «блажен» — начало оды Горация, которую любил повторять Завадовский.

...настоящий Немврод...— в Ветхом завете — богатырь и охотник.

...свой домик в Мещанской...— ныне ул. Плеханова.

С. 50

...она именинница.— 9 декабря по ст. ст.— день пророчицы Анны, а также день зачатия праведной Анны девы Марии. В том, что Жихарев не знал дня именин А. И. Ададуровой, нет ничего удивительного: Анна прославляется 14 раз в году, поэтому при отсутствии близкого знакомства с носительницей этого имени очень трудно угадать день ее именин.

С. 51

...это царь на сцене.— Ср.: «Ла-Рив царь на сцене» (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Письмо из Парижа 29 апреля 1790 г.).

С. 52

...бывшей любовницы графа Кутайсова.— Певица французской оперы в Петербурге Шевалье была любовницей всесильного временщика Павла I И. П. Кутайсова — пленного турка, возведенного из брадобреев в графское достоинство. О ее влиянии на своего патрона и о всемогуществе свидетельствовали в мемуарах Ф. Ф. Вигель и Н. И. Греч (см.: *Эйх.*, с. 735—736).

С. 53

...менее того заслуживали. — Ср. аналогичные свидетельства в воспоминаниях С. Т. Аксакова «Знакомство с Державиным» (*Аксаков*, т. 2).

С. 54

...в Казанском соборе...— Имеется в виду церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте, освященная в 1737 г. «в воспоминание явления Казанской иконы» и именовавшаяся Казанским собором по находившейся там чудотворной иконе Божией матери. В непосредственной близости к церкви в 1801 г. началось строительство Казанского собора А. Воронихина. Новый собор был освящен 15 сентября 1811 г., а старая церковь в 1813 г. была разобрана. См.: Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии, вып. 1, разд. II, с. 128—130.

...подражание собору св. Петра в Риме.— Архитектор А. Н. Воронихин (по происхождению крепостной гр. Строгановых) соотнес свой проект с собором св. Петра в Риме, даже пудожский камень, которым был облицован Казанский собор, напоминал камень, из которого был построен знаменитый римский храм. Строителем Михайловского замка Воронихин не был.

С. 55

«Ossian's und Sined's Lieder» — Б. М. Эйхенбаум сообщает, что упомянутые издания (Вена, 1784—1792) — «сборник, составленный немецким поэтом Синед (псевдоним, сделанный из фамилии Denis) из переводов поэм Оссиана и собственных стихотворений

(6 томов). В томе IV (с. 121—126) напечатано стихотворение: «Die Octobernacht. Eine alte Nachtahming Ossians» («Октябрьская ночь. Странное подражание Оссиану»), послужившее основой для поэмы Жихарева «Октябрьская ночь, или Барды» (*Эйх.*, с. 736).

С. 57

...озадаченный сановник... — Фрейлиной могла быть пожалована только девица.

...плохим переводчиком «Федры»... — В. Г. Анастасевич — поэт, переводчик, журналист, библиограф, был личностью незаурядной, выделялся своей антикрепостнической позицией. См.: *Поэты*, с. 565—569; *Лотман Ю. М.* К характеристике мировоззрения В. Г. Анастасевича.— Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 65, 1958, с. 17—27. О его переводе «Федры» более ничего не известно.

С. 58

...булат обдержанный в боях... — цитата из оды Г. Р. Державина «На отправление в армию фельдмаршала графа Каменского» (1806 г.).

...разбив наголову Бонапарте и аггелов его.— Престарелый фельдмаршал Каменский предводительствовал армией только семь дней. 7 (19) декабря он подъехал к главной квартире русской армии в Пултуске на простой телеге — в подражание Суворову. В ночь на 14 (26) декабря он внезапно передал командование генералу Буксгевдену, приказал срочно отступать к границам России, а сам уехал в Остроленку. Действия Каменского едва не стоили армии гибели, но Наполеон приписал беспорядочные передвижения противника хитроумному маневру и промедлил с наступлением (см.: *Шильдер*, т. 2, с. 258—260). В 1809 г. Каменский был убит крестьянами в своем имении в Орловской губернии.

С. 59

...при Пултуске... — Сражение под Пултуском было дано вопреки приказу Каменского генералом Беннигсеном 14 (26) декабря 1806 г. Александр I, ненавидевший Беннигсена за участие в убийстве Павла I, вынужден был наградить его орденом Георгия 2-й степени и пятью тысячами золотых, так как получил донесение о разгроме самого Наполеона. На деле русская армия, имевшая численное превосходство, сражалась с большими потерями против маршала Ланна (там же, с. 288).

...дюка де Серра Каприола... — Герцог Антонио Мареска де Серра-Каприола — в 1782—1807 гг. неаполитанский посол в Петербурге, крайний роялист; был женат на дочери генерал-прокурора князя А. А. Вяземского.

...на обе руки. — Наполеоновский министр полиции Фуше, «о котором говорили, что, не будь на свете Талейрана, он был бы самым лживым и порочным человеком из всего человечества» (*Тарле Е. В.* Талейран. М., 1962, с. 201), действительно вел двойную игру и впоследствии был министром полиции при Людовике XVIII.

С. 60

...посредством магнетизма.— Согласно учению австрийского врача XVIII в. А. Месмера, существует особая жизненная сила (животный магнетизм), с помощью которой организмы «таинственно взаимодействуют».

С. 61

...нет никакого случая»... — Слово «случай» в языке XVIII — начала XIX в. имело несколько оттенков значения, в частности: «покровительство», «сильная рука».

С. 62

...врач Осип Кириллович Каменецкий... — один из первых русских ученых-врачей, автор популярного «Краткого наставления о лечении болезней простыми средствами» (1803 г.), где использовались достижения народной медицины (см.: *Эйх.*, с. 737).

...к обер-егермейстерскому ведомству — ведомство, управлявшее императорской охотой. Обер-егермейстерская канцелярия была образована в 1744—1745 гг., в 1773 г. ей был придан статус коллегии.

С. 68

...к Петру Александровичу Рахманову...— П. А. Рахманов — один из первых крупных русских математиков, почетный член многих иностранных и русских ученых обществ, автор довольно многочисленных трудов (см.: Собрание сочинений Петра Рахманова. Спб., 1807, ч. 1; Опыт о теории наибольших и наименьших величин функций многих переменных количеств. Спб., 1810; Опыт о различных теориях Дифференциального Изчисления и о сравнении оных. Спб., 1812 и др.). В 1807 г. поступил в чине штабс-капитана в свиту его императорского величества по квартирмейстерской части (будущий Генеральный штаб). В 1810—1812 гг. предпринял на свой счет издание «Военного журнала» (всего вышло 24 книги), где поместил немало собственных статей. В 1810 г. вышел в отставку в чине майора. Был страстным пропагандистом математических знаний: в Петербурге у себя на квартире читал желающим бесплатные лекции. В 1812 г. из патриотических побуждений вступил в армию, в 1813 г. был убит под Лейпцигом (см.: Русский биографический словарь. Том «Притвиц — Рейс». Спб., 1910, с. 512—517).

...В. Ф. Вельяминова-Зернова... — В. Ф. Вельяминов-Зернов — ученый-законовед, сотрудник М. М. Сперанского по изданию Полного собрания законов, в молодости занимавшийся литературой. В 1804 г. кончил Университетский благородный пансион, поступил на службу в Петербурге. Участвовал в качестве переводчика с английского и французского в журналах «Приятное и полезное препровождение времени» (1794—1798 гг.), «Новости русской литературы» (1802 г.), в 1805 г. совместно с П. М Дружининым издал 5 номеров журнала «Северный Меркурий». В 1807 г. издал небольшую книгу «Путешествие дружбы. Отрывок» (переводы из Дюмутье, с посвящением М. М. Сперанскому), вступил в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». Подробную биографическую справку и публикацию двух стихотворений см.: Поэты-радищевцы. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. М.; Л., 1935, с. 733—740.

С. 70

...обратить на него внимание государя.— П. С. Молчанов с 1808 г. был управляющим делами комитета министров, имел большое влияние на государственные дела. В конце жизни ослеп, умер от холеры в 1831 г. Был в дружеских отношениях с Пушкиным, Дельвигом,

Плетневым, Вяземским. См. о нем письмо Пушкина к Плетневу в середине июля 1831 г.

...*все однокашники.* — П. А. Словцов и М. М. Сперанский, действительно, были «однокашниками», так как учились одновременно в Санкт-Петербургской Главной семинарии (1788—1793 гг.). Имени Панина в списках семинаристов, приведенных авторитетным исследователем, нет. См.: *Чистович И.* История Санкт-Петербургской Духовной Академии. Спб., 1857.

С. 71

...*и все толки умолкли.*— Резкая сатирическая комедия В. В. Капниста «Ябеда» была напечатана в 1798 г. с посвящением Павлу I. Поставлена в том же году, но вскоре запрещена и изъята из продажи. Вновь разрешена в 1805 г. (см.: *Эйх.*, с. 739). В. В. Капнист, Н. А. Львов и Г. Р. Державин (вторым браком) были женаты на сестрах.

С. 72

...*день памяти св. шести мучеников...* — 14 декабря прославляются семь мучеников: Фирс, Левкий, Каллиник, Филимон, Аполлоний, Ариан, Фестих.

С. 73

...*благости твоея, господи!* — слова из тропаря Индикта: «Благослови венец лета благости Твоея, Господи», который поется в церковное новолетие 1 сентября (по ст. ст.).

С. 76

...*чем на старого актера.* — Костюм, осанка, манера поведения И. А. Дмитревского были глубоко продуманы. «Светскость была одной из ролей Дмитревского, которую играл он неизменно в обществе, желая поднять авторитет актерского звания ⟨...⟩ он был первым, кто в России стал побеждать предубеждение к актерам, на которых принято было смотреть как на барских или ярмарочных шутов» (*Медведева,* с. 25).

...*я не мог играть с Гарриком...* — Как установил В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Дмитревский не мог встречаться с Гарриком в Париже, так как время их пребывания в столице Франции не совпадает (см.: *Всеволодский-Гернгросс,* с. 32, 27). Дмитревский составил впечатление о его игре по рассказам и отдал предпочтение французской актерской школе.

с. 80

...*по случаю пултускской победы...* — «Ода на новый год» (1807 г.) А. Ф. Мерзлякова принадлежит к числу «заказных», которые он вынужден был писать как университетский профессор.

«*Чужой толк*» — сатира И. И. Дмитриева, была направлена против бездарных одописцев.

С. 81

...*вот прямо русский человек!* — В способности Александра I выстоять крещенский парад в одном мундире сказалась совсем не «русская» натура, а школа павловских вахт-парадов, которую прошли великие князья Александр и Константин Павловичи.

С. 82

Гебгард принес мне книжку... — Как показал Б. М. Эйхенбаум, эта запись полна ошибок и, видимо, является результатом позднейшей правки. Автор книги — Вильхаузен, и она была издана в 1803 г. (см.: *Эйх.*, с. 739—740).

С. 83

...*Милая моя, прощай.*— ария Тарабара из I части «Русалки» (д. 1, явл. 18). См.: Русалка, опера комическая в трех действиях. Ч. I, Спб., 1804, с. 51.

...*Других обижать?* — дуэт Личарды и Прияты из «Князя-невидимки» (д. 2, явл. 2). См.: Князь Невидимка, или Личарда Волшебник. Опера... Спб., 1805, с. 48. См. коммент. к с. 290.

С. 84

...*Нам не хуже, и проч.*— цитата из стихотворения для детей А. С. Шишкова «Николашина похвала зимним утехам» (1785 г.), помещенного в его популярном издании «Собрание детских повестей» (переизд.— Спб., 1806, с. 176) — переделка и подражание «Kleine kinder Bibliothek» Кампе. См. также: *Поэты*, с. 362.

С. 86

...*отправляют доучиваться в Геттинген...*— Семья собиралась послать Н. И. Тургенева в Геттинген еще в 1805 г., но план не осуществился; он выехал в Германию лишь в июне 1808 г.

...*референдария* — то есть докладчика. Лучшую биографию А. И. Тургенева см.: Сочинения Батюшкова. Т. 1. Спб., 1885, с. 355—372.

С. 87

...*на Захарьевской улице...*— Ныне ул. Каляева.

С. 88

...*и приготовиться к настоящему представлению.*— В конце жизни Жихарев написал «драматическую быль» «13-го генваря 1807 года, или Предпоследняя репетиция трагедии „Димитрий Донской“», которая шла в театре дважды: 9 и 11 января 1856 г., но успеха не имела, так как талантом драматурга Жихарев не обладал. Подробнее см.: *Эйх.*, с. 740—741.

С. 89

...*der Alter überall und nirgends.*— Как указал Б. М. Эйхенбаум, «Старик везде и нигде» — это название романа немецкого писателя Шписа (1792 г.) — *Эйх.*, с. 741.

С. 92

...*заиграл симфонию...*— Точнее — увертюру.

С. 97

Политики наши высчитывали... — Высчитывать величину ополчения не было никакой необходимости, так как она была точно определена манифестом от 30 ноября 1806 г. (612 тыс.). Призыв к пожертвованиям был сделан в манифесте от 6 декабря 1806 г. (*Полн. собр. законов,* т. XXIX, с. 920—923). Было обещано публиковать имена жертвователей в столичных газетах.

...plus sot gui l'admire... — последний стих 1-й песни «Поэтического искусства» Буало.

...учреждении комитета как раз вовремя. — Комитет «охранения общей безопасности» получил официальное наименование «Комитет 13-го января 1807 года» и действовал до 1829 г. Планировался как своего рода замена тайной экспедиции, осужденной и уничтоженной Александром I в 1801 г. Член комитета сенатор А. С. Макаров был когда-то преемником печально знаменитого «кнутобойца» Шешковского в тайной экспедиции (см.: *Шильдер*, т. 2, с. 152—164). В период наполеоновских войн Комитет особенно тщательно расследовал слухи о намерениях Наполеона освободить крестьян. Их, видимо, имеет в виду и Жихарев.

С. 98

...подвергнуть их заблагорассудит.— Указ Сенату 28 ноября 1806 г. предписывал выслать из России в 10-дневный срок всех французов и уроженцев земель, подвластных Франции. Был, однако, сделан и ряд исключений: «В ведении Театральной дирекции состоящие актеры и музыканты, подданные Франции и областей вышеозначенных, имеют быть обязаны присягою в том, что они во все продолжение настоящей войны никаких сношений ни с кем во Франции и областях Французскому Правительству подвластных, ни под каким видом иметь не будут, и что в противном случае подвергнутся они наказаниям, какия по Российским законам за сие положены» (*Полн. собр. законов*, т. XXIX, с. 886; форму присяги см. на с. 889). Как мы видим, Жихарев почти дословно цитирует указ.

...и рядовых. — Жихарев опять почти дословно приводит место из именного указа от 28 ноября 1806 г. «О продовольствии взятых в плен Французов. С приложением расписания о их содержании» (*Полн. собр. законов*,тXXIX, с. 892).

...à mon passage! — несколько видоизмененная цитата из трагедии Расина «Британик» (*Эйх.*, с. 741).

С. 99

...покойного Харитона Андреевича... — Жихарев повторяет свою ошибку насчет Х. А. Чеботарева (см. т. 1 наст. изд., коммент. к с. 204, 235). О. П. Козодавлев был однокашником А. Н. Радищева по Лейпцигскому университету (1766—1773 гг.). Впоследствии известен как крупный администратор (обер-прокурор Сената, министр внутренних дел). Писал стихи, занимался переводами (например, трагедии Гете «Клавиго»). Был соредактором «Собеседника любителей русского слова» (1783 г), основал газету «Северная почта» (1809 г.), был ее редактором и сотрудником. См.: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. Спб., 1882, вып. VI.

...о любви своей к Димитрию. — Мнение Г. Р. Державина о трагедии Озерова совпадало с критикой А. С. Шишкова, который, по свидетельству С. Т. Аксакова, «принимал за личную обиду искажение характера славного героя Куликовской битвы, искажение старинных нравов, русской истории и высокого слога. ⟨...⟩ «Хорош великий князь Московский! — говорил Шишков. — Увидав красивую девицу в Успенском соборе, невзвидел святых мощей и забыл о них. Можно ли написать такую дичь о русском великом князе, жившем за четыреста лет до нас?» и т. д. (*Аксаков С. Т.* Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове.— В кн.: *Аксаков*, т. 2, с. 277. См. также:

Сидорова Л. П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской». — Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 18. М., 1956). Безусловно, Озеров не стремился к исторической достоверности: его волновала современность и современники, их чувства, влияние любви на их душу. Наряду с политическими аллюзиями, именно эта сторона привлекала зрителей к озеровской трагедии. Круг Державина—Шишкова находился в оппозиции к общественному вкусу. Однако видеть в их критике требование историзма было бы преждевременно. Исследователи уже отметили целый ряд искажений исторических фактов, которые совершенно не задели критиков Озерова (см.: *Сидорова Л. П.* Указ. соч., с. 155). Шишковисты стремились лишь к углублению исторического колорита, что само по себе говорит о новаторском подходе к драматургии. И. А. Дмитревский стоял в этом споре на стороне публики.

С. 101

...превосходных актеров.— Как уже отмечалось выше, Дмитревский не мог видеть Гаррика в Париже. Не ясно, является ли приводимый Жихаревым рассказ результатом аберрации памяти старого актера или неверной интерпретации его слов мемуаристом.

...«Время проходит, время летит»... — Имеется в виду популярное стихотворение А. П. Сумарокова «Часы» (1769).

С. 104

...я и сам давнишний стихотворец... — Поэтические произведения Яковлева были собраны и напечатаны посмертно (см.: *Яковлев*).

...это какой-то омег.— «Горечь 〈...〉 хмельной, одуряющий, ядовитый напиток» (*Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979, т. 2, с. 672).

...оракул Воспитательного дома...— Видный чиновник А. А. Саблуков с 1799 г. состоял опекуном петербургского Воспитательного дома.

Эти матадоры играли в карты.— Матадор — главный боец в бое быков, наносящий животному смертельный удар шпагой.

С. 107

...преуморительным набором слов. — Шуточная «Ода в громко-нежно-нелепо-новом вкусе» Панкратия Сумарокова (Журнал приятного, любопытного и забавного чтения, 1802, ч. II). См.: *Эйх.*, с. 742.

Видно, на все мода! — Упоминание о провале гастролей в Москве в 1793 г. французской труппы см.: *Чаянова,* с. 99.

С. 108

«Mozart's Geist» — Как указал Б. М. Эйхенбаум (*Эйх.*, с. 743), сообщение об этой книге появилось в «Журнале новостей на 1805 год» (№ 1, с. 71).

С. 110

...очень образованная девушка. — Речь идет о М. И. Валберховой, любимой ученице и протеже А. А. Шаховского, который в юности жил в семье Валберхов и стал их другом. Увлекавшийся Шаховской видел в Валберховой восходящую звезду, соперницу Е. С. Семеновой. Он начал выдвигать ее на роли Семеновой (дебю-

тировала 30 апреля 1807 г. в роли Антигоны), но сравнение не пошло на пользу начинающей актрисе. Валберхова покинула сцену в 1812 г. и затем в 1818 г. вновь явилась на театре, сменив амплуа. Как комедийная актриса она достигла больших успехов и популярности. См.: *Загулина А. Т.* Бенефисы М. И. Валберховой и их значение в театрально-общественной жизни Петербурга.— В кн.: Русский театр и общественное движение (конец XVIII — начало XX века). Л., 1984, с. 97—109.

С. 112

...и по возможности счастливить других.— Яркую характеристику личности и деятельности А. Л. Нарышкина см. в кн.: *Всеволодский,* с. 32—40.

С. 113

...его расторопности. — Ф. Ф. Эртель, бедный выходец из Пруссии, был павловским выдвиженцем из гатчинских офицеров. Проявил личную храбрость в войне со Швецией (1788—1789 гг.) В 1798 г. в чине генерал-майора был назначен московским обер-полицмейстером, прославился своей строгостью. В 1801 г., желая угодить общественному мнению, Александр I сместил его с должности, но в 1802 г. назначил петербургским обер-полицмейстером (был им до 1808 г.). В дальнейшем, вплоть до своей смерти в 1825 г., Эртель был одним из руководителей военной полиции; в этой роли участвовал в войне 1812—1815 гг.

...им только она и бредила.— Эти сведения о Марион Делорм легендарны: она умерла в 1650 г. тридцати девяти лет. Легенды о ней стали возникать в XVIII в. В «Журнале новостей на 1805 г.» (№ 1, с. 95), явно бывшем в поле зрения Жихарева, появилась статья о ней, излагавшая эти легенды как истину (см.: *Эйх.*, с. 743).

С. 117

...можно бороться с ним не без успеха.— Сражение под Прейсиш-Эйлау произошло 27 января (8 февраля) 1807 г. Русская армия под командованием Беннигсена, сражаясь против главных сил французов под командованием самого Наполеона, потеряла 26 тысяч человек. Каждая из сторон приписала победу себе, но французская армия покинула поле боя на 10 часов позже русской. Это было первое не выигранное Наполеоном сражение. Любопытно, что слова Жихарева о битве почти совпадают с отзывом Наполеона: «Не сражение, а резня».

«Белые листы для записок на 12 месяцев» — Я. А. Галинковский был родственником первой жены Державина и активно помогал стареющему поэту в работе над трактатом «Рассуждение о лирической поэзии или об оде». Однако Галинковского нельзя причислять к безликой массе литераторов, искавших покровительства Державина или Шишкова. Он был издателем своеобразного журнала — литературно-теоретического трактата «Корифей, или Ключ литературы» (1802 г.), затем ряда критических статей, в которых занял антикарамзинистскую позицию (см.: *Лотман Ю. М.* Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский.— В кн.: XVIII век. Сб. 4. М.; Л., 1959, с. 235—239), с чем, видимо, и связан иронический тон записи Жихарева. Кроме того, в Москве мемуарист мог слышать о нем отрицательные отзывы И. И. Дмитриева. Требования Галинковским ученой критики, профессиональный подход к литературе, пристрастие

к В. К. Тредиаковскому тоже не могли импонировать дилетанту Жихареву. Поэтому и сборник «Утренник прекрасного пола» (Спб., 1807) аттестован высокомерно и несправедливо: листы для заметок презрительно названы «статьей».

С. 119

«Гимн кротости» — Стихотворение было написано в 1801 г. по поводу коронации Александра I.

...Но умирать еще тошней. — Басня И. А. Крылова называется «Крестьянин и Смерть». Последние стихи процитированы не совсем точно.

С. 120

...он щедр на порицанья. — Послание кн. Горчакова к Честану не сохранилось.

...и прекрасным языком. — Как отметил Б. М. Эйхенбаум, стихотворения, о которых говорит Жихарев («Кручина старого пахаря», «Старый наездник-хвастун»), принадлежат к разделу «Шуточныя» и написаны в традициях анакреонтической лирики Державина «простым» языком. Они были напечатаны в издании: Сочинения и переводы Петра Карабанова, императорской Российской Академии члена. В двух частях. М., 1812, с. 308—312.

...от горняго Сиона. — В указанном издании сочинений Карабанова этих стихов нет.

С. 121

...на пороге в академию... — В члены Российской академии Шихматов был избран в 1809 г. Интересна судьба поэта. В 1827 г. он вышел в отставку (с 1804 г. он служил воспитателем в Морском корпусе), отпустил на волю своих крестьян, в 1830 г. постригся в монахи под именем Аникиты, в 1834—1836 гг. совершил паломничество в Иерусалим и затем служил в русской посольской церкви в Афинах. Здесь в 1837 г. архимандрит Аникита скончался.

...в словах его есть много и правды. — Ср. аналогичные суждения самого Жихарева в «Дневнике студента» (запись от 18 декабря 1805 г.).

С. 122 (сноска)

...изданной г. Гречем.— Впервые это стихотворение под заглавием «К Филалету» было опубликовано в «Сыне отечества» (1816, № XXXI, с. 205—207) — см.: *Эйх.*, с. 744—745. Заметим, что в выборе стихотворного размера — гекзаметра,— без сомнения, сказалось влияние А. Ф. Мерзлякова.

С. 123

...адмиралу Ушакову. — Челенга (султан или перо) — высшая награда Оттоманской Порты, пожалованная в 1799 г. адмиралу Ф. Ф. Ушакову за взятие русской и турецкой эскадрой острова Корфу.

...большою народностью. — Занятие русской эскадрой адмирала Д. Н. Сенявина группы островов в Адриатическом море (Курцоло, Брацо, Лиезино) — лишь эпизод из длительной, смелой и самостоятельной борьбы Д. Н. Сенявина с Францией за независимость Ионических островов и Далмации. Она закончилась неудачей в результате общего поражения России в войне 1805—1807 гг. По

Тильзитскому и Пресбургскому договорам Россия уступала свое влияние на Средиземном море, и эскадра Сенявина в октябре 1807 г. покинула его пределы. Победы Сенявина на фоне поражений русской армии, естественно, возбуждали к нему симпатию в обществе.

Румфордов суп — суп, приготовленный из костей, крови и других дешевых питательных веществ. Состав изобретен в конце XVIII в. английским физиком Б.-Т. Румфордом.

С. 124

...употребляемо в пищу. — Растение из семейства *Onagraceae*, иначе еще называемое рогульник или водяной орех, болотный орех и т. д. Растет в стоячей воде, его клубни съедобны, поэтому в дельте Волги, около Пензы и пр. служило предметом торговли.

С. 125

...приписывают графу Растопчину. — Сочинение Растопчина было напечатано анонимно. См.: Плуг и соха̀, писанное степным дворянином. Отцы наши не глупей нас были. М., 1806. Растопчин выступил против английских приемов обрабатывания земли, введение которых он считал очередной модой легкомысленного русского дворянства. Жихарев прав, утверждая, что книга была полемически направлена против деятельности Д. М. Полторацкого. Брошюра Растопчина явилась одним из первых сочинений «русского направления» конца 1800-х — начала 1810-х гг. О Растопчине см. также т. I наст. изд., коммент. к с. 56.

...Без звезд на персях зримых! — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На выступление гвардии в поход» (1807 г.).

С. 126

...но большой вольтерианец. — Известный издатель, переводчик и литератор И. Г. Рахманинов был владельцем типографии в Петербурге, где в 1788—1789 гг. печатался издававшийся им еженедельный журнал «Утренние часы», а в 1789 г. журнал Крылова «Почта духов». В 1793 г. он уехал в свое имение Казинку Козловского уезда Тамбовской губернии (см.: *Мартынов Б. Ф.* Журналист и издатель И. Г. Рахманинов (1753—1807). Тамбов, 1962, с. 41, 52), где в 1791 г. завел типографию для печатания «Полного собрания всех до ныне переведенных на российский язык и в печать изданных сочинений господина Вольтера... с присовокуплением жизни сего знаменитого писателя и многих вновь переведенных... сочинений...» (В 3-х ч. Козлов, 1791). В 1794 г. после доноса козловского городничего типография была закрыта, вскоре началось уголовное дело, которое было прекращено в 1797 г. в связи с пожаром, уничтожившим типографию. Все перечисленные Державиным книги были изданы Рахманиновым (см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. М., 1964, т. 2, № 4165, 4233; М., 1966, т. 3, № 6403). См.: *Заборов П. Р.* Русская литература и Вольтер. XVIII — первая треть XIX века. Л., 1978, с. 75—78.

...случившейся года три назад. — А. И. Клушин умер 11 мая 1804 г. В начале 1790-х гг. был соиздателем Крылова, Плавильщикова, Дмитревского и сотрудником журналов «Зритель» (1792 г.) и «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793 г.), навлекшего правительственные преследования. Однако Клушину удалось получить отпуск и жалованье за 5 лет для путешествия за границу, за что он отблагодарил Екатерину II одой, затем написал оду Павлу I. Поводом

для окончательного разрыва с Крыловым послужила «Ода на пожалование ордена Андрея гр. И. П. Кутайсову» (1800 г.). А. И. Клушин был также комедиографом, театральным цензором и инспектором русской труппы (1800 г.).

...новый перевод нравоучительных правил Рошфуко... — Имеется в виду знаменитое философское сочинение Ф. Ларошфуко «Размышления, или Моральные изречения и максимы» (1665 г.). Как указал нам В. П. Степанов, перевод был напечатан. См.: Нравственныя рассуждения герцога де Ла Рашфуко. Переведены с французского Дмитрием Пименовым. М., 1809.

С. 128

...ее судьбою славной — почти точная цитата из посвящения Александру I, которое было предпослано поэме: Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия. Лирическая Поэма в трех песнях. Сочинил князь Сергий Шихматов. Спб., 1807, б. с., 5-я строка: «Распространил ее на запад и на юг».

...носящийся над ней. — См.: Там же, с. 54. Конечно, точно запомнить со слуха стихи из 3-й песни большой поэмы было невозможно. Жихарев, безусловно, справлялся потом с печатным текстом.

С. 129

...И в чужбину путь направил, и проч. — Ф. П. Львов учел часть замечаний критиков и опубликовал текст под заглавием «Птичке»: «Птичка резвая, златая, / Что тебя с пути свело? / Легкое твое крыло, / Быстрой молнией летая, / Небеса с землей смежая, / Утрудиться не могло...» (Часы свободы и досуга в молодости Федора Львова. Спб., 1831, ч. 1, с. 39).

С. 130

...до позднего вечера. — Это место перепечатано в книге «И. А. Крылов в воспоминаниях современников» (М., 1982), где эпизод, записанный Жихаревым, прокомментирован. Он был лишь звеном в истории взаимоотношений двух литераторов. Д. И. Хвостов, мнивший себя великим баснописцем, ревниво относился к растущей славе Крылова. Примечательно, что именно в середине 1800-х гг. за Хвостовым утвердилась репутация графомана и чудака, он стал героем цикла анекдотов, и произошло это именно благодаря И. А. Крылову, «назначившему ему роль своего комического антагониста в собственной, крыловской, „легенде“» (Указ. соч., с. 455; далее — с. 456—457 — рассказано о попытке Хвостова выдать свои стихи за произведения Крылова).

...вскружила ему голову.— П. М. Дашков умер 6 января 1807 г., «быв 12 дней болен желчною горячкой и воспалением печени», как сказано на надгробном памятнике (см.: Московский Некрополь. Спб., 1907, т. 1, с. 362). В 1806 г. Дашков получил орден св. Александра Невского.

...не отправится в армию. — При получении известия о победе под Эйлау Александр I в письме к Беннигсену от 8 февраля 1807 г. спрашивал, когда его прибытие в армию окажется наиболее полезным (*Шильдер*, т. 2, с. 165). Не исключено, что слухи о предстоящем отъезде царя циркулировали в столице.

...Высокомерие предтеча есть паденья.— Я. К. Грот считал, что Жихарев имел в виду стихотворение С. Н. Марина «К Русским»,

так же полагал исследователь творчества Марина Н. Арнольд. См.: *Марин*, с. 121—122, 382. Строки, запомнившейся Жихареву, в тексте нет.

С. 131

...до коцебятины... — Ср. также статью против драм Коцебу: Ненависть к людям и раскаяние, драма Г. Коцебу (Из Histoire du thâatre français pendant le revolution).— Драматический вестник, 1808, № 71, с. 137—142.

С. 133

...заставил замолчать всех.— О Рахманове-математике см. коммент. к с. 68. Жихарев имеет в виду две работы Рахманова: «Опыт о поверхностях вращения» (Спб., 1806) и «Опыт о цилиндрических и конических поверхностях» (Спб., 1806).

...хором пристали к Рахманову. — Впоследствии Рахманов опубликовал рецензию на книгу Гурьева «Трансцендентная Геометрия кривых поверхностей» (Военный журнал, кн. XIX, с. 54—59).

...умеете прекрасно! — У Дмитриева в 1-й строке: «скажу я» (*Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений, Л., 1967, с. 146).

...многих переменных количеств...— Ср.: Опыт о теории наибольших и наименьших величин функций многих переменных количеств. Спб., 1810. Думается, что неискушенный в математике Жихарев мог точно воспроизвести заглавие работы только по печатному тексту, т. е. ретроспективно.

...будет обнародован.— См. манифест 13 февраля 1807 г.: Об учреждении особеннаго знака отличия в награждение и поощрение нижних чинов и рядовых под именем знака отличия Военного Ордена.— Полн. собр. законов, т. XXIX, с. 1013—1016. Любопытно, что дата записи Жихарева совпадает с датой подписания манифеста. Видимо, можно говорить о позднейшей вставке.

С. 134

...приехал в Петербург.— И. П. Тургенев приехал в Петербург лечиться у доктора Франка, но 24 февраля 1807 г. умер и был похоронен в Петербурге.

С. 140

*...обер-прокурору П**...*— Имеется в виду обер-прокурор, впоследствии директор Общей канцелярии министерства полиции, член «Беседы любителей русского слова» Г. Г. Политковский. О нем см. в «Певце в Беседе любителей русского слова» К. Н. Батюшкова.

С. 141

...под кров счастливый твой? — Стихотворение Жихарева под заглавием «К моей родине» было опубликовано: Драматический вестник, 1808, № 56, с. 30—32.

...записных аристархов...— то есть критиков.

С. 150

...последний род Багрима — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Приношение монархине». О попытках бездетного поэта передать свою фамилию кому-либо из родственников см.: *Державин*, т. VIII, с. 1005.

С. 151

...а о разумной твари — цитата из комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (д. 2, явл. 3, слова Советника).

С. 152

...порядочен и бережлив... — Подробную характеристику личности А. В. Каратыгина см. в мемуарах его сына: *Каратыгин П. А.* Записки. Л., 1970, с. 42—44.

С. 155

...пастор Рейнбот... — пастор лютеранской церкви св. Анны в Петербурге. В качестве духовника посещал в 1826 г. арестованного Пестеля.

С. 159

...у него в гостиной.— Ср.: «Некто шевалье де-Ламотт был ростом очень мал, щедушен, чрезвычайно кос, лицо имел самое отвратительное и на довольно большом пространстве поражал всякое чувствительное обоняние, а между тем уверял, что ко вступлению в отборный полк, в котором до революции служил капитаном, первыми условиями были молодечество и красота. ⟨...⟩ оба они (граф Монфокон и де-Ламотт.— *Л. К.*) торговали тогда винами, выписываемыми из Бордо» (*Вигель*, ч. II, с. 33).

Покаянный канон — имеется в виду покаянный канон св. Андрея Критского, читаемый на первой неделе Великого поста.

С. 160

...сделал прозелита — Здесь: католика. Речь идет об Иосифе (Жозефе) де Местре, одном из ведущих идеологов европейской реакции нач. XIX в. (см.: *Шебунин А. Н.* Европейская контрреволюция в первой половине XIX века. Л., 1925). Сходную с Жихаревым характеристику Ж. де Местра дает Вигель: «Чрезвычайно умный человек, красноречивый легитимист и бешеный католик ⟨...⟩ довольно явно показывал он нелюбовь к России, и единственно только за ее схизму» (*Вигель*, ч. II, с. 227).

С. 166

...русские остались победителями...— Речь идет о сражении в Семилетнюю войну, происшедшем 23 июля 1759 г.

С. 169

...основанием оспопрививанию.— Книга врача и профессора Московского университета Е. О. Мухина «Разговор о пользе прививания коровьей оспы» вышла в 1804 г.

...весть о нашей стороне — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798 г.).

С. 170

...мы вместе с ним и отправились.— Поэма Жихарева «Октябрьская ночь, или Барды» (Спб., 1808) была действительно напечатана в «типографии императорского театра». Однако посвящена она была не Державину, а Л. Д. Измайлову, нелестный портрет которого дан в «Дневнике студента». Б. М. Эйхенбаум объясняет это тем, что в 1806—1807 гг. Измайлов прославился устройством рязанского

ополчения. Сопоставляя «Бардов» с их литературным источником — поэмой Синеда (см. коммент. к с. 55), исследователь пишет, что «Жихарев взял у Синеда» только внешнее построение и некоторые особенности характерного для Оссиана мрачного пейзажа (*Эйх.*, с. 748). См. также: *Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе. Конец XVIII — первая треть XIX века. Л., 1980, с. 91—93.

С. 171

...в доме Латышева...— Трехэтажный дом купца Латышóва, нанимавшийся театральной дирекцией для актеров, до настоящего времени не сохранился (он находился на месте нынешнего дома № 2 по ул. Союза печатников). Описание дома см. в кн.: *Каратыгин П.* Записки. Л., 1970, с. 32 и далее.

С. 176

...песнями и плясками.— С. Шубинский в статье «Русские чудаки и остряки» (Всемирный труд, 1868, № 12), приводя рассказ Жихарева, расшифровывает князя У** как князя Урусова, а князя Ш** как князя Шаховского. См. здесь же колоритную характеристику Измайлова (с. 20—25). Карточные термины: выиграть соника — с первой же карты выиграть весь банк; играть мирандолем — не увеличивать первоначальной ставки; абцуг — каждая пара карт при прометке талии (то есть метании карт направо и налево при игре в банк).

С. 177

...на самом конце Невского проспекта.— Гнедич жил у церкви Входа Господня в Иерусалим, чаще именовавшейся церковью Знамения Божией матери (по одному из приделов), построенной в 1765—1768 гг. Она находилась на нынешней пл. Восстания, на месте станции метро, была уничтожена в 1940 г.

...достойным продолжателем.— В 1807 г. Н. И. Гнедич решил продолжать перевод «Илиады» Гомера, не законченный Е. И. Костровым в XVIII в. Костров переводил традиционным александрийским стихом — шестистопным ямбом с парной рифмовкой. Гнедич также поначалу использовал этот размер. Перевод VIII песни «Илиады» был напечатан в «Чтениях в Беседе любителей русского слова» (Спб., 1812, кн. 5). Изучение традиции В. К. Тредиаковского приводит его к мысли о гекзаметре как более точном русском аналоге античного стиха. После специальной полемики (см.: Чтения в Беседе любителей русского слова, кн. 13, 17). Гнедич окончательно останавливается на гекзаметре и начинает перевод заново (см.: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.; Л., 1964).

...«Московский курьер».— Ошибка: издателем этого журнала (1805—1807 гг.) был С. М. Львов.

С. 178

...будет фельдмаршалом.— Князь А. А. Прозоровский — боевой офицер в Семилетнюю и русско-турецкую войну 1768—1774 гг., однако карьерист и службист, не гнушавшийся никакими поручениями. Известен как усмиритель Крыма и Польши, организатор преследования Н. И. Новикова и московских масонов в период своего генерал-губернаторства в Москве в 1790—1795 гг. К началу XIX в. был генералом от инфантерии, старейшим георгиевским

кавалером. 30 августа 1807 г. был произведен в фельдмаршалы. Назначение его в 1806 г. (в 74-летнем возрасте) областным земским начальником, а в 1807 г. главнокомандующим русскими войсками в Молдавии демонстрировало стремление Александра I обойти ненавистного ему М. И. Кутузова. Неудачные действия Прозоровского в русско-турецкой войне, его интриги лишний раз доказали ошибочность царского выбора. Смерть Прозоровского в 1809 г. была благоприятна для армии.

С. 179

...по-прежнему немногочисленна.— Александр I выехал из Петербурга 16 марта 1807 г. Его сопровождали обер-гофмаршал граф Толстой, министр иностранных дел барон Будберг, генерал-адъютанты граф Ливен и князь Волконский, его личные друзья, члены бывшего «негласного комитета», князь Чарторижский, Новосильцев, граф Строганов (см.: *Шильдер,* т. 2, с. 165).

С. 180

...подтверждаются на опыте.— См. запись от 21 декабря 1806 г., слова министра юстиции П. В. Лопухина.

...дворянской родословной книги.— См.: Генваря 1. Именный, данный Генералу от Инфантерии Тутолмину. О доставлении в Дворянской родословной книге Московской Губернии особой части для взнесения в оную имен Начальников земскаго войска и учинивших разныя пожертвования.— *Полн. собр. законов*, т. XXIX, с. 979. Любопытно, что указ такого же содержания был дан и генералу от инфантерии графу Татищеву о дворянах Санктпетербургской губернии, но об этом живущий в Петербурге Жихарев не пишет.

...Москва не мать ли мне? — См.: Пожарской. Трагедия в трех действиях. Сочинение М. Крюковскаго. Представлена в первый раз на Императорском Санктпетербургском Театре Маия 22 дня 1807 года. Спб., 1807, с. 26 (д. II, явл. 6).

С. 182

...так переживете и меня.— По свидетельству С. Т. Аксакова, в 1807 г. Шушерин выхлопотал себе пенсию в 2 тысячи рублей в год, но обязан был прослужить еще два года в Петербурге. «Шушерину не хотелось долее оставаться на петербургской сцене, потому что репертуар изменился и ему приходилось играть невыгодные для себя роли; для *любовников* он уже устарел, а в *героях* его совершенно затмил актер Алексей Семеныч Яковлев». Шушерин притворился больным, чтобы не появляться в театре (*Аксаков*, т. 2, с. 318). Видимо, на эти обстоятельства и намекал Яковлев.

С. 183 (сноска)

...а верится с трудом! — «Горе от ума», д. 2, явл. 2.

С. 185 (сноска)

...ты счастлив стал! — Этого стихотворения нет в издании «Сочинения Алексея Яковлева...» (Спб., 1827). Здесь, однако, помещено «Письмо к С. И. Кусову» (с. 53—54).

С. 186

...les grandeurs vont elles se nicher? — Барон А. В. де Ланглад был городничим в г. Данкове Рязанской губ. Французская фраза —

перефразировка известных слов Мольера, сказанных нищему, вернувшему ему золотую монету, поданную по ошибке (см.: *Эйх.*, с. 750).

С. 187

...трудится третий год... — Имеется в виду С. С. Филатов — переводчик, впоследствии член «Беседы любителей русского слова». Переводил прозой незаконченный исторический эпос римского поэта Марка Аннея Лукана «Фарсалия, или О гражданской войне» (издан в 1819 г.; см.: *Эйх.*, с. 750—751).

...в Грязную улицу... — Торговый мост — мост через Крюков канал в районе Театральной пл.; сохранил свое название. Грязная ул.— ныне ул. Марата.

С. 188 (сноска)

...все китайское находил безусловно превосходным.— Интерес к Китаю восходит к эпохе Просвещения, к поискам идеального государства (Вольтер). В русской литературе XVIII в. см.: Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951 (указатели); *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1941, т. 2 (Письмо о Китайском торге).

С. 189

...от крепкого изыдет сладкое.— См.: Книга Судей Израилевых, гл. 14, ст. 14.

С. 191

...у Арбатских ворот.— Новый театр был построен на Арбатской площади в конце Пречистенского (ныне Гоголевского) бульвара. Здание было деревянным, строилось по проекту К. Росси. Открытие состоялось 13 апреля 1808 г. пьесой «Боян, русский песнопевец древних времен. Пролог с хорами и балетами С. Н. Глинки на случай открытия нового Арбатского театра в Москве. Музыка Д. Н. Кашина» (М., 1808). Театр сгорел во время московского пожара в 1812 г. Краткое описание см.: *История,* т. 2, с. 45. «Модная лавка» И. А. Крылова была представлена в Москве 22 апреля 1808 г.

С. 192

...во французском прозаическом переводе...— Б. М. Эйхенбаум (*Эйх.*, с. 751) полагает, что Гнедич читал «Гамлета» во французском прозаическом переводе П. Летурнера, издавшего в 1776—1782 гг. всего Шекспира.

С. 194

...счастливейшим в моей жизни.— Гнедич посвятил С. А. К. «Элегию» (Лицей, 1806, № 1, с. 19—20). См.: *Эйх.*, с. 751.

...коллежский советник Марченко...— В. Р. Марченко выдвинулся в военно-походной канцелярии Аракчеева. Кончил жизнь членом Государственного совета; был статс-секретарем, правителем дел кабинета министров, государственным секретарем. Его «Записки» см.: Русская старина, 1896, № 3—5.

...и мастер писать.— М. М. Сперанский — сын бедного сельского священника, семинарист, был обязан своей головокружительной карьерой действительно «собственным заслугам». В описываемый период подходил к ее вершине и решающему влиянию на ход государственных дел. В 1808 г. в качестве статс-секретаря со-

провождал царя в Эрфурт, где был оценен Наполеоном как государственный человек. Работал над планом государственного преобразования (1809 г.). 16 марта 1812 г. внезапно выслан в Нижний Новгород. Во второй период деятельности крупнейшим достижением является составление «Полного собрания законов» и «Свода законов», осуществленное под его руководством в кратчайшие сроки, за что в 1833 г. был награжден орденом Андрея Первозванного, а 1 января 1839 г. возведен в графское достоинство. См.: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. В 2-х т. Спб., 1861; *Сперанский М. М.* Проекты и записки. М.; Л., 1961.

С. 195

...все боги и богини! — Чтения в Беседе любителей русского слова. Спб., 1812, кн. 5.

С. 196

...Крюковской служит в банке... — Краткую биографическую справку о М. В. Крюковском см. в кн.: Стихотворная трагедия конца XVIII — начала XIX в. М.; Л., 1964, с. 255—256. Здесь же перепечатана и его трагедия «Пожарский» (с. 257—284).

С. 197

...отвечал секретарь академии.— См. строки о Соколове в сатире А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших»: «Академии Расейской / Непременный секретарь. / Ничего не сочиняет, / Ничего не издает, / Три оклада получает / И столовые берет» (*Поэты*, с. 804).

С. 197 (сноска)

...в бенефис Шушерина.— «Леар. Трагедия в 5 действиях»— подражание трагедии Шекспира и ее французской переделке Ж.-Ф. Дюсиса, была впервые представлена в Петербурге 29 ноября 1808 г. в бенефис Я. Е. Шушерина, исполнителя главной роли. С. Т. Аксаков рассказывает, что Гнедич преподнес Шушерину экземпляр трагедии с посвящением: «Прими, о Шушерин, Леара своего, / Он твой, твои дары украсили его...» — а затем в печатном тексте адресовал посвящение Е. С. Семеновой: «Прими, Корделия, Леара своего...» — что, конечно, задело самолюбивого актера (*Аксаков,* т. 2, с. 348).

С. 198

...получает надлежащее ободрение.— Надо полагать, что А. С. Шишков имел в виду себя и своих приверженцев. Он мечтал о посте президента Российской академии, который получил в 1813 г., направив ее деятельность к «надлежащей», по его мнению, цели — занятиям «корнесловием» (т. е. наивно-этимологическими штудиями), что объективно явилось тормозом в ее развитии (см.: *Стоюнин В. Я.* Исторические сочинения Ч. 1. А. С. Шишков. Спб., 1880; *Кочубинский А. А.* Начальные годы русского славяноведения: Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Одесса, 1887—1888). Российская академия была основана в 1783 г. (первый президент — княгиня Е. Р. Дашкова) по образцу Французской академии как учреждение, призванное способствовать развитию русского языка и словесности. См.: *Коломинов В. В., Файнштейн М. Ш.* Храм муз словесных (Из истории Российской академии). Л., 1986, с. 143—147 (полный список членов академии).

С. 199

...за перевод «Пифагоровых учениц» Виланда... — Я. А. Дружинин — переписчик при Екатерине II, затем личный секретарь Павла I, был в 1800 г. избран в академию за упоминаемый перевод произведения X. Виланда.

С. 200

...прекрасный случай к вдохновению.— См. стихотворение Г. Р. Державина «Молитва по высочайшем отсутствии в армию его императорского величества».

Толковали о князе Платоне Александровиче Зубове...— П. А. Зубов, в двадцать два года сделавшийся фаворитом шестидесятилетней Екатерины II, приобрел огромное влияние, хотя способностями государственного человека (в отличие от князя Г. А. Потемкина) не обладал. За время близости к императрице (1789—1796 гг.) получил графское, потом княжеское достоинство, громадные поместья, чин генерал-адъютанта, должности начальника Черноморского флота, новороссийского генерал-губернатора и др. При Павле I подвергся опале, конфискации имений, которые были ему возвращены благодаря заступничеству графа И. П. Кутайсова.

...в сенаторы.— Г. Р. Державин был статс-секретарем (т. е. личным секретарем) Екатерины II «по принятию прошений» в 1791—1793 гг. Должность считалась формальной, Державин же принялся за дело всерьез, что привело к столкновениям с императрицей и разочарованию поэта в своем идеале Фелицы. В 1793 г. Державин был сделан сенатором и с почетом удален от двора.

С. 205

...не стану я терять...— цитата из басни И. И. Хемницера «Метафизический ученик» (или, по первой публикации в 1799 г.,— «Метафизик»). В оригинале 2-я строка: «Которую с глупцом я не хочу терять», в редакции В. В. Капниста 1799 г.: «Которую с глупцом не стану я терять» (см.: *Хемницер И. И.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1963, с. 140, 142).

С. 206

...кажется еще багровее.— П. В. Завадовский — действительный тайный советник, сенатор, выдвиженец П. А. Румянцева. В 1775—1777 гг. был фаворитом Екатерины II, получил большие поместья на Украине, из полковника стал генерал-адъютантом. При Павле I был возведен в графское достоинство. Александр I сделал его министром просвещения (1802—1810 гг.), в 1810 г. был назначен председателем департамента законов Государственного совета.

С. 207

...где должно преобладать одно чувство.— Стихотворения с таким эпиграфом нет в сборниках и «Собрании стихотворений» Анны Буниной. В сборнике «Неопытная муза» (Спб., 1809) есть два коротких стихотворения, посвященных смерти подруги: «На смерть друга моего» (с. 27 — 6 строк шестистопного ямба) и «Ей же» (с. 28 — 12 строк шестистопного ямба). В первой части «Собрания стихотворений» (Спб., 1819, с. 87—90) опубликована более поздняя «Песнь смерти» — 6 десятистрочных строф четырехстопного ямба. Оно более всего соприкасается с описанием Жихарева.

...о каком-то Селакадзеве...— Речь идет о дилетанте-археографе, коллекционере А. И. Сулакадзеве, авторе ряда подделок древнерусских текстов. См. о нем: *Сперанский М. Н.* Русские подделки рукописей в начале XIX века (Бардин и Сулакадзев).— В кн.: Проблемы источниковедения. Т. 5. М., 1956; *Лотман Ю. М.* «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII — начала XIX в.— В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962, с. 396—404.

С. 214

...чтоб познакомиться с Брусиловым.— Н. П. Брусилов — поэт и прозаик, издатель «Журнала российской словесности» (1805 г.). Краткую биографическую справку см.: Русская сентиментальная повесть. М., 1979, с. 326—327. Здесь же (с. 244—254) см. его повесть «Легковерие и хитрость» (1806 г.).

С. 215

...под именем «Параши».— П. М. Нилова (урожд. Бакунина), родственница Державина по второй жене, жила у него в доме. Ей посвящено стихотворение «Параше» (1798 г.).

...для свидания с ним.— Александр I прибыл в Поланген (Палангу) 20 марта 1807 г., куда приехал и прусский король Фридрих-Вильгельм. 21 марта они отправились в Мемель (ныне г. Клайпеда), 23 марта — под Юрбург, где был смотр русской гвардии. Александр I выехал из Юрбурга 2 апреля (см.: *Шильдер,* т. 2, с. 165—166).

С. 223

...Хоть много книг прочел — ума не начитался — цитата из первой сатиры А. А. Шаховского («Мольер! Твой дар, ни с чем на свете не сравненный....», опубл. в 1808 г.), ст. 17—20. См.: *Шаховской,* с. 75, весь текст — с. 75—78. Жихарев цитирует почти точно, лишь знаки препинания не соблюдены. Разночтения: «зависть вымышляет», «всклокатил голову». Комментируя сатиру, А. А. Гозенпуд обратился к свидетельству Жихарева и предположительно расшифровал его указания на прототипы следующим образом: Б. К. — В. Н. Бантыш-Каменский, брат историка, постоянный спутник А. Л. Нарышкина на утренних прогулках; селадон С.— граф А. И. Соллогуб, отец писателя В. А. Соллогуба, племянник А. Л. Нарышкина; «один ударился писать на все стихи» — Г. В. Гераков, выполнявший в салоне Нарышкина роль шута (*Шаховской,* с. 763—764).

С. 224

...Земных богов воспел.— Стихотворение А. Н. Буниной было впервые опубликовано в 1808 г. под названием «Сумерки. Гавриле Романовичу Державину, в его деревню Званку». См.: *Поэты,* с. 451—453. Разночтения: «Сквозь пальмовы древа я вижу храм».

...последний дурачина? и проч.— начало первой сатиры С. Н. Марина (вольный перевод IV сатиры Буало) — *Марин,* с. 116. Впервые опубликована в 1808 г.

...ниже бергамотов.— Ср. в «Письме о пользе стекла» М. В. Ломоносова (1752 г.): «Неправо о вещах те думают, Шувалов, / Которые стекло чтут ниже минералов».

С. 225

...Марья Лукинична именинница.— 1 (14) апреля прославляется св. Мария Египетская.

...основан весь интерес пьесы.— См. примеч. к с. 197. В предисловии к печатному изданию трагедии Гнедич обосновал свои отступления от текстов Шекспира и Дюсиса, считая, вслед за Шиллером, что легкомыслие Лира в начале пьесы вредит состраданию зрителей, а безумие унижает его, как Корделию и Эдгара — развязка, введенная Дюсисом. Подробнее см.: *Эйх.*, с. 754—755.

...переводить «Танкреда»...— Перевод трагедии Вольтера «Танкред» был закончен Н. И. Гнедичем в 1809 г. См.: *Гнедич Н. И.* Стихотворения. Л., 1956, с. 241—306. Перевод был выполнен для Е. С. Семеновой, чтобы дать ей выигрышную роль для творческого состязания с Жорж.

...«Разговор цензора с другом»...— вторая сатира А. А. Шаховского «Разговор цензора и его друга», впервые опубликована в 1808 г. См.: *Шаховской,* с. 78—81.

С. 226

...есть стихи под заглавием «Осень».— Впервые опубликовано: Драматический вестник, 1808, № 70, с. 132—136. Далее в записи от 27 апреля 1807 г. Жихарев говорит, что это переделка «Осени» Мери Робинсон.

С. 229 (сноска)

...не всякому доступными.— Вслед за Б. М. Эйхенбаумом полагаем, что речь идет о сведениях о декабристах, духовником которых в 1826 г. в крепости был протоиерей П. Н. Мысловский. См. об этом: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951; Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М.; Л., 1951 (указатели).

С. 230

...«молодцов» графов Орловых.— Имеется в виду княгиня Н. П. Голицына, прототип пушкинской старой графини из «Пиковой дамы». Турнир — карусель 1766 г. (см. т. 1 наст. изд., коммент. к с. 66). См. «карусельный» портрет Г. Г. Орлова работы В. Эриксена.

С. 231

...преужасную драму «Марфа Посадница»...— драма П. И. Сумарокова «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1807 г.). Б. М. Эйхенбаум отметил сходство отзыва о ней Жихарева с рецензией И. А. Крылова в «Драматическом вестнике» (1808, № 7). Исследователь считает, что Жихарев мог познакомиться с мнением Крылова на литературных собраниях 1807 г. (см. *Эйх.*, с. 757), однако не исключена и последующая вставка.

С. 232

...стоит ли чернил произведение.— Ср.: «Актер господин Шушерин, убедивший меня написать наскоро сию Драмму для его бенефиса, есть виновник ея порождения, а театр, обраковавшей оную за единое ея содержание, есть причиною непоявления оной на сцену. Я нахожу нужным донести, что она, кроме Исторических истин и обычных слов того века, весьма мало имеет сходства с известною

поемою того же имени (т. е. повестью Н. М. Карамзина.— *Л. К.*). Станок тиснул листы, мое дело окончено, талант в продаже за 7 гривен, и читателям остается теперь судить, стоит ли чернил произведение» (К Читателю.— В кн.: Марфа Посадница, или Покорение Нова-города. Драмма в трех действиях Павла Сумарокова. Спб., 1807, б. с.).

С. 237

...признает за лучшее.— 5 апреля 1807 г. Александр I прибыл в главную квартиру Беннигсена в Бартенштейн. Здесь он отдал приказ по армии, предоставлявший Беннигсену свободу действий, невзирая на присутствие императора (см.: *Шильдер,* т. 2, с. 166).

...и современными понятиями об искусстве.— По наблюдению Б. М. Эйхенбаума, эти слова почти точно повторены во «Вступлении» к № 1 «Драматического вестника» (1808 г.), на основании чего он предлагает считать Гнедича автором «Вступления» (см.: *Эйх.*, с. 758).

С. 238

...немецким драматургам-философам.— Видимо, Гнедич имеет в виду свое увлечение Шиллером (драматург-философ), хотя, с другой стороны, фразу «более десяти лет, как немцы соблазняют нас» можно интерпретировать как указание на засилие «коцебятины» на русской сцене конца 1790—1800-х гг. Суждение о драме Ильина см.: Северный вестник, 1804, № 1.

С. 239

...не дам тоске овладеть собою.— Мери Робинсон — ученица Гаррика, в 1776—1780 гг. актриса в Лондоне, известна как автор стихотворений, романов, пьес. Ее мемуары были изданы посмертно в 1801 г., затем в 1803 г. с приложением некоторых стихотворений. Французский перевод вышел в 1802 г., но там не было ни стихотворений, ни «замечаний об искусстве театральном». Таким образом, не ясно, каким изданием пользовался Жихарев, так как английского языка он не знал. Б. М. Эйхенбаум предположил, что источником последующего перевода (см. след. запись) могло быть какое-то неизвестное нам французское театральное сочинение, но никак не устный рассказ Лароша. Указание на рассказ — это обычное стремление скрыть печатный источник, чтобы не нарушать стилистику дневниковых записей (см.: *Эйх.,* с. 758—759).

С. 243

...умерла в забвении и нищете.— По наблюдению Б. М. Эйхенбаума, эти сведения совпадают с материалами заметки «Мисс Беллами, английская актриса» (Драматический вестник, 1808, № 11, с. 101—103) и являются переводом из ее книги: «An Apology for the Life of G. A. Bellamy» (В 6-ти т., 1785). См.: *Эйх.*, с. 759—760.

С. 245 (сноска)

...Завидую твоей, о П а т р и к е и ч! доле — неточные цитаты из разных мест (ст. 17—20, 33—36, 73—74) 2-й сатиры С. Н. Марина

(«Любимец нежных муз, питомец Аполлона...»). См.: *Марин,* с. 118—120. В. Семенников впервые обратил внимание на то, что стихотворец 1800-х гг. Патрикеич не мог быть адресатом «Послания к Ямщикову» Д. И. Фонвизина (1760-е гг.), которое далее цитирует Жихарев. О Патрикейче см.: Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. 1. М.; Л., 1938, с. 385—386. Подробнее см.: *Эйх.,* с. 760.

С. 246

...благословяще Христа во веки! — Слова из 8-й песни Пасхального канона Иоанна Дамаскина приведены почти точно. Ср.: «чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки».

...простим вся воскресением! — слова из стихиры Пасхи: «Воскресения день, и просветимся торжеством...»

...le crime a ses dégrés.— «Федра» Расина (акт IV, сцена 2).

С. 247

«Das waren mir seelige Tage!» — цитата из сборника песен немецкого поэта Христиана-Адольфа Овербека *«Fritzchens Lieder»* (1781 г.) (см.: *Эйх.,* с. 760).

С. 250

Иван Перфильевич Елагин — видный сановник (кабинет-министр, вице-президент главной дворцовой канцелярии) при Екатерине II, в 1766—1779 гг.— директор придворных театров и музыки (см.: *Максимов К. Е.* Театральная реформа И. П. Елагина в системе «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.— В кн.: Общественно-политическое развитие феодальной России. Сб. статей. М., 1985), один из ведущих деятелей русского масонства, писатель, переводчик. О его театральных сочинениях и его кружке см.: *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII в. Л., 1977, с. 61—71.

С. 252

...и знанием дела...— Конвенция между Россией и Пруссией 14 (26) апреля 1807 г. в Бартенштейне была составлѐна прусским министром иностранных дел бароном К.-А. Гарденбергом и являла собой яркий пример политического «романтизма» и игнорирования государственных интересов России Александром I: «Не победив еще Наполеона, союзники намеревались для утверждения независимости Германии уничтожить Рейнский союз, заставить Наполеона отвести свои войска за Рейн и основать в Германии конституционную федерацию под руководством Австрии и Пруссии. В случае присоединения Австрии и Англии к союзу им было обещано территориальное расширение. Россия за все пожертвования в пользу общего дела не выговаривала себе ничего. 〈...〉 К счастью для России, другие державы не нашли для себя возможным присоединиться к конвенции» (*Шильдер,* т. 2, с. 166—167).

...до десяти тысяч.— Англия действительно уменьшила обещанный десант до неопределенной цифры 10—15 тысяч и всячески оттягивала его выступление (см.: *Шильдер,* т. 2, с. 176, 291—292).

...займет граф Николай Петрович Румянцев.— Барон А. Я. Будберг считался сторонником продолжения войны с Наполеоном, поэтому в преддверии окончания войны слухи о его возможной отставке могли распространиться. Однако назначение министра коммерции графа Румянцева управляющим министерства иностранных дел со-

стоялось лишь 30 августа 1807 г., а окончательное утверждение в должности и отставка Будберга — 12 февраля 1808 г. (*Шильдер,* т. 2, с. 299).

С. 259

...голос огромный...— Жозефина Фодор (Федорова) дебютировала в 1808 г. «Она обладала феноменальным голосом (меццо-сопрано) редкой силы и красоты, тесситура которого равнялась трем октавам» (*Гозенпуд,* с. 330). Происхождение ее не ясно, Жихарев излагает один из наиболее вероятных вариантов. На русской сцене пробыла до 1812 г., потом уехала за границу, с успехом выступала в разных странах до 1825 г., когда потеряла голос. Произвела своим искусством глубокое впечатление на М. И. Глинку (см.: *Гозенпуд,* с. 330—332; *Эйх.,* с. 760—761).

...добыл себе «Псаммит Архимеда».— «Псаммит Архимеда» (от греч. псаммос — песок) — трактат, где доказывается возможность исчисления количества песчинок исходя из объема тел. На русском языке появился в 1824 г.

С. 262

...входит в переговоры с Бонапарте.— Англия отказала России в займе в 6 млн. фунтов. Швеция, по договору 2 (14) января 1805 г. состоявшая в антинаполеоновском союзе с Россией, Англией, Пруссией и Австрией, в апреле 1807 г. из-за военных поражений была вынуждена пойти на сепаратные мирные переговоры с Францией.

...телец упитанный есть — цитата из «Слова Огласительного во святый и светоносный день... Воскресения» Иоанна Златоуста: «Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай».

...не отпустится тощ.— См. предыдущее примечание.

С. 263

«Умеренность — лучший пир»... — заключительная строка стихотворения Г. Р. Державина «Приглашение к обеду» (1795 г.): «Умеренность есть лучший пир».

С. 264

...спустился с первой лавки на последнюю.— Анализ А. Ф. Мерзлякова трагедии Озерова «Фингал» был печатно изложен в его статье «Разбор трагедии «Един в Афинах» г. Озерова» (Вестник Европы, 1817, № 9, с. 24—47).

С. 265

...бесстрашным быть в боях...— слова из монолога Фингала (д. I, явл. 4): «Мое искусство все — бесстрашным быть в боях» (*Озеров*, с. 195).

...то верить ли кому? — реплика Фингала: «Царь, изменяешь ли ты слову своему? / Когда не веришь нам, то веришь ли кому?» (д. II, явл. 3; там же, с. 210).

С. 268

...не может быть сегодня именинником...— 30 апреля по ст. ст. православная церковь празднует память апостола Иакова Зеведеева.

С. 269

...поворачивала в обратный путь.— Екатерингоф был основан Петром I в 1711 г. на побережье Финского залива. Дорога к взморью (в основном по Петергофскому проспекту — ныне пр. Газа) со второй половины XVIII в. стала местом праздничных выездов высшего петербургского общества, а екатерингофская роща — местом народных гуляний 1 мая. Подробное описание маршрута и ссылки на литературу см.: *Великанова С. И.* Гравюра К. Гампельна «Екатерингофское гулянье 1-го мая» как источник для изучения архитектуры и быта Петербурга 1820-х годов.— В кн.: Старый Петербург. Историко-этнографические исследования. Л., 1982, с. 190—200.

С. 277

...описанием сельской своей жизни.— Знаменитое стихотворное описание жизни в имении «Евгению. Жизнь званская» Г. Р. Державина было создано в 1807 г.

...посвящает труды свои детям.— Трудно сказать, о какой повести Шишкова идет речь, так как обе части его «Детских повестей» вышли в 1806 г.

...оканчивающегося глаголом.— Безглагольные рифмы — устойчивый признак поэтики Шихматова (ср.: «Шихматов безглагольный» — К. Н. Батюшков. «Певец в Беседе...»). Однако в других местах стиха глаголы употреблялись им очень часто, поэтому «отсутствие их в рифме подчеркивает внутреннюю напряженность стиха» (*Альтшуллер,* с. 110).

С. 278

...вот я тебя, вострухуǃ— не совсем точная (видимо, по памяти) цитата из басни И. А. Крылова «Пустынник и Медведь» (опубл. в 1808 г.). Ср.: «Сам думает: „Молчи ж, уж я тебя, воструху!"»

...хвалили комедию его «Урок дочкам».— Комедия И. А. Крылова «Урок дочкам» писалась в конце 1806 — начале 1807 г. Поставлена впервые в Петербурге 18 июня 1807 г. и в этом же году вышла отдельным изданием.

С. 279

...старуху, жену свою...— См. последнее явление в комедии И. А. Крылова «Модная лавка» (1806 г.).

С. 280

...от Николая Петровича Архарова.— См. т. I наст. изд., 25 июля 1805 г.

С. 282

...на углу Большой Морской — ныне ул. Герцена.

С. 283

...Катерина Ивановна у себя — актриса Е. И. Ежова, гражданская жена А. А. Шаховского. См.: *Смирнов П. А.* Воспоминание о князе Александре Александровиче Шаховском.— Репертуар и пантеон, 1847, № 1, с. 111.

С. 285

...бранимся пока с Арсеньевым.— Необходимо отметить, что собравшиеся у Шаховского князь И. А. Гагарин, П. М. Арсеньев,

граф В. В. Мусин-Пушкин, как и сам хозяин, были членами репертуарного комитета при Дирекции императорских театров.

...пророчески ответы, и проч.— В басне И. А. Крылова «Оракул» 2-я строка: «стал он говорить».

С. 286

...как будто перед мором!— цитата из 2-й песни «ирои-комической» поэмы А. А. Шаховского «Расхищенные шубы». В оригинале: «Се мастер гробовой...» (*Шаховской,* с. 100). В предислови автор указывает на европейскую и русскую традицию героико-комической поэмы, в том числе Буало, который ей следовал. По замыслу поэма была резко полемическая, направленная против школы Карамзина и литературных врагов автора. Были опубликованы три песни, четвертая была прочитана в «Беседе», но не напечатана, а рукопись ее затерялась. В печатном варианте была в значительной мере сглажена полемическая острота поэмы (см.: *Шаховской,* с. 767—772). Возможно, рассказанный Жихаревым эпизод с пьяным швейцаром содержался в 4-й песне либо в каком-то из неизвестных теперь вариантов.

...ночи превращает в дни...— Княгиня Е. И. Голицына, адресат послания А. С. Пушкина («Краев чужих неопытный любитель...») и предмет его увлечения, хозяйка известного петербургского салона, не ложилась спать по ночам, так как ей была предсказана смерть ночью.

С. 287

...план разбить корпус Нея...— Можно предположить, что слухи о военных планах Александра I являются отдаленными отзвуками русско-прусской конвенции (см. коммент. к с. 252).

С. 290

...собственным своим сочинением.— А. А. Гозенпуд установил, что «Князь-невидимка» — переделка, а в основной части — перевод феерии «Принц-невидимка, или Арлекин, меняющий свой вид» французского автора М. Б. Апде (Hapde), положенной на музыку Фуаньи-младшим, впервые представленной в Париже в 1804 г. «Пьеса давала простор для создания обстановочного спектакля (à grande spectacle), составной частью которого являлись пантомимы, арии, марши, сражения, военные эволюции и 17 превращений» (*Гозенпуд,* с. 291). Исследователь отметил, что Е. Лифанов русифицировал текст, перенес действие на берег Днепра, изменил имена действующих лиц, активизировал роль Личарды, усилил лирический элемент. Музыка Кавоса тяготеет к романтически-сказочной опере и также подчеркивает лирическое начало. Однако первоначальный вариант «Князя-невидимки» был слишком длинным, и спектакль затянулся до утра. После сокращения опера прочно вошла в репертуар (см.: *Гозенпуд,* с. 291—293).

С. 291

...только воинская команда...— Имеются в виду сцены из д. 4, явл. 6—7, и д. 2, явл. 5. См.: Князь невидимка, или Личарда Волшебник..., с. 120—121, 51—53.

...приготовляемые теперь для оперы...— Слова «приготовляемые теперь» вызывают недоумение, так как волшебная опера И. А. Кры-

лова «Илья-богатырь» (музыка К. Кавоса) была впервые поставлена 31 декабря 1806 г. Особый успех опере обеспечивал русский национальный колорит, современные аллюзии (борьба с печенегами в Киевской Руси — борьба с Наполеоном), героическое начало, отсутствовавшее в других феериях. Оперу Крылова отличает также простота, ясность сюжета, подчиненность сценических трюков развитию действия (см.: *Гозенпуд*, с. 296—298). Преимущество «Ильи-богатыря» над «Русалкой» остроумно выразил в своем экспромте директор театра А. Л. Нарышкин: «Сравненья критиков двух опер очень жалки: / Илья сто раз умней Русалки!» (*Арапов*, с. 176).

Вольтер не любил больших опер...— Как указал Б. М. Эйхенбаум (*Эйх.*, с. 764), приведенные мысли Вольтера об опере были напечатаны в «Драматическом вестнике» (1808, № 17, с. 137—141).

С. 293

...перебиваюсь только мелочью.— Пьесы с названием «Прекрасный человек» (или подобным) в списке произведений и переводов Шаховского нет. Среди пьес члена Конвента Филиппа Фабра д'Эглантина, сторонника Дантона, казненного в 1794 г., комедия «Филент Мольера, или Продолжение Мизантропа» (1790 г.) пользовалась особой популярностью (о ней см.: *Эйх.*, с. 764—765).

С. 294

...в приданое около тысячи душ.— В. П. Пукалова, любовница А. А. Аракчеева, была незаконной дочерью П. С. Мордвинова. Ее муж, статский советник И. А. Пукалов, по словам Ф. Ф. Вигеля, «был слишком благоразумен, чтобы ревновать жену моложе его тридцатью годами. Он пользовался ея именем; она пользовалась совершенной свободой. Я знавал ее лично, эту всем известную Варвару Петровну, полненькую, кругленькую, беленькую бесстыдницу. 〈...〉 Она стала показываться на всех балах и изумлять своей наглостью. Все высокомощные стали ухаживать за нею и за мужем ея. А сей нечестивец, сей плут, всех уверял, что чрез жену делает из Аракчеева что хочет» (*Вигель*, ч. IV, с. 131). И муж, и жена вымогали подарки у просителей их заступничества перед Аракчеевым.

С. 295

...портрет какого-то немецкого маркграфа — портрет последнего ансбахбайрейтского маркграфа Александра (умер в 1806 г.), который был любовником Клерон (*Эйх.*, с. 765).

С. 298

...нежели талантом.— Авторитетный исследователь и знаток русского театра считает приведенные Жихаревым рассказы Дмитревского правдоподобными (см.: *Всеволодский-Гернгросс*, с. 33—37). Дмитревский был в Париже дважды: в сентябре 1765 — ноябре 1766 и феврале 1767 — сентябре 1768 г. — и встречался с великими французскими актерами Лекеном, Клерон, Дюмениль, Рокур, Дюбуа, Моле, Превилем и др.

С. 300

...мирными подвигами в тишине кабинета.— Трагедия Вольтера «Магомет» в стихотворном переводе П. С. Потемкина шла с 1795 г.

С. 301

Сеид! зачем ты здесь? — последняя фраза из монолога Магомета «Участники моих во славных свете дел» (д. 2, явл. 3), который Жихарев цитирует точно, за исключением первой строки и третьей («неустрашимы»). См.: Магомет. Трагедия в пяти действиях. Перевод с французского. Спб., 1798, с. 27.

С. 302

...сравнялся ль хоть один? — часть монолога Магомета (д. 2, явл. 5); Жихарев пропустил две строки после 4-й строчки: «Мой глас бы их сразил как громовой стрелою / И зрел бы их челом ниц падших предо мною» (там же, с. 33).

С. 303

...И чести в свете сем достоин он великой.— Жихарев цитирует с разночтениями сцену из д. 1, явл. 5 (там же, с. 14—15), и делает это, видимо, не по печатному тексту, а по сценической редакции начала XIX в., так как некоторые стихи облегчены и модернизированы. Ср.: «К прегнусной пышности привыкнувшие нравы», «человек скудельный и кичливый», «Что насекомая, ползущая под нивой» и др.

С. 304

...по случаю войны с турками...— Турция объявила России войну 18 (30) декабря 1806 г.

...надворный советник Владыкин...— А. Г. Владыкин — востоковед, филолог, один из участников миссии архимандрита Иоакима Шишковского в Пекине (1781—1794), затем переводчик с китайского и маньчжурского языков в Коллегии иностранных дел (см.: *Эйх.*, с. 765).

С. 305

...историческими и критическими замечаниями— С. Ю. Дестунис, грек с острова Корфу, воспитанник Московского благородного пансиона, впоследствии консул на Смирне. «Жизнеописания» Плутарха в его переводе выходили в 1813—1821 гг., в 1807 г. в Петербурге была издана книга «Военная труба. Печатано по приказанию Бонапарте в бытность его в Александрии 1801 г. С греческого перевел Сп. Дестуни». Подробнее о ней см.: *Эйх.*, с. 765—766.

...скажут ему не одно спасибо.— Ф. Л. Халчинский перевел: «Рассуждение генерала Жомини о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание походов Фридриха II и Наполеона» (в 8-ми т., 1809—1817); «Наполеон Бонапарт и французский народ» (1806 г.). См.: *Эйх.*, с. 766.

С. 306

...театрального журнала или газеты...— Это издание осуществилось под названием «Драматический вестник» (1808 г.). Номера были весьма невелики по объему (около восьми страниц каждый), так что издание в самом деле было чем-то средним между журналом и газетой. Издателями были: Шаховской, Крылов, Писарев, Языков, Марин, Гнедич, которые публиковали там и свои статьи, и сочинения. Жихарев тоже напечатал там свои стихотворения «К моей родине» (№ 56), «Осень» (№ 70). О позиции журнала см.: *Бабинцев С. М.* «Драматический вестник» (К 150-летию первого русского театрально-

го журнала).— В кн.: Книга. Исследования и материалы. Сб. 1. М., 1959, с. 253—266.

«А ларчик просто отворялся» — заключительная строка из басни И. А. Крылова «Ларчик»: «А Ларчик просто открывался».

С. 307

...пишет и переводит для театра...— См., например, перевод А. Лукницкого, изданный в том же 1807 г.: «Выдуманной клад, или Опасность подслушивать у дверей. Комическая опера в одном действии».

С. 308

...От драмы ошалев, еще Карлуша спал.— Под заглавием «Быль» произведение Лукницкого было опубликовано: Драматический вестник, 1808, № 6, с. 54—55. Цитата почти точная (см.: *Эйх.,* с. 767).

С. 309

...богача купца Молво...— Видимо, имеется в виду сахарозаводчик Я. Молво (*Эйх.,* с. 767).

С. 311

...генерал Клингер, друг Гете...— Ф.-М. Клингер в юности был прогрессивным немецким драматургом, автором драмы «Буря и натиск», давшей название целой эпохе в немецкой литературе. С 1780 г.— на русской службе: чтец при великой княгине (затем императрице) Марии Федоровне, директор Кадетского, затем Пажеского корпуса, в 1803—1817 гг.— попечитель Дерптского учебного округа и Дерптского (ныне Тартуского) университета.

С. 317

...Остался пепл один в наследство сироте! — Все приведенные цитаты из трагедии «Пожарский» — д. 1, явл. 2.

...и ярость на врагов! — там же, д. 1, явл. 4. В оригинале: «толико в брани лестну».

С. 318

...Москва не мать ли мне?...— там же, д. 2, явл. 6.

...идти на брань с тобою...— там же, д. 2, явл. 1.

...тот будет победитель! — там же, д. 3, явл. 3.

С. 319

...а книги ни одной — цитата из «Послания к кн. С. Н. Долгорукову» Д. П. Горчакова.

...под заглавием «Гений времен»...— Жихарев имеет в виду следующие издания: «Вестник Европы» (1802—1830 гг.), в 1805—1807 гг. издававшийся М. Т. Каченовским, «Друг юношества» (1807—1815 гг., изд. М. И. Невзоров); «Весенний цветок. Изд. на 1807 г.» (К. Ф. Андреев, ч. 1—3); «Журнал изящных искусств, издаваемый 1807 год Н. Ф. Буле... профессором при Московском университете. Перев. Н. Кошанского» (М., 1807, кн. 1—3); «Экономический журнал, издаваемый Васильем Куколником, словесных наук и философии доктором» (Спб., 1807, кн. 1—3); «Любитель словесности. Ежемесячное издание Николая Остолопова» (Спб., 1806); «Лицей. Периодическое издание Ивана Мартынова» (Спб., 1806, ч. 1—4, продолжение журнала «Северный вестник», 1804—1805); «Московский

зритель. Ежемесячное издание К[нязя] П. Шаликова» (М., 1806); «Московский собеседник, или Повествователь мыслей в вечернее время упражняющихся в своем кабинете писателей, рассказывающий повести, анекдоты, стихотворения, полезные рассуждения, а временем и критику. Ежемесячное издание» (М., 1806, ч. 1—2); «Дамский журнал» (М., 1806, изд. князь П. Шаликов); «Гений времен. Исторический и политический журнал» (Спб., 1807 — Ф. Шредер и И. Делакроа, 1808—1809 — Ф. Шредер и Н. Греч).

С. 320

...которое чрезвычайно хвалит.— Имеется в виду басня К. Н. Батюшкова «Пастух и Соловей», написанная в связи с нападками шишковистов на «Димитрия Донского» Озерова.

...и находится теперь в походе.— К. Н. Батюшков начал печататься в 1805 г., сразу же был принят в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» (1805 г.), член оленинского кружка. В 1807 г. записался в ополчение, участвовал в походе в Пруссию, был ранен под Гейльсбергом; к моменту разговора Жихарева с Гнедичем еще не был переведен в гвардию.

...не придавая никакой важности своему подарку.— Известно, что И. А. Дмитревский работал над историей русского театра, но рукописи труда не сохранились. Б. М. Эйхенбаум (*Эйх.,* с. 768) делает предположение, что подаренная Жихареву тетрадь — это «Драматический словарь» (М., 1787), автор которого до сих пор не установлен. Описание Жихарева и дата соответствуют содержанию, структуре и дате «Словаря».

С. 321

...в Бельё...— Исполнительница роли Маши А. Бельё разучивала роль под руководством самого Крылова, который был с ней близок и убедил перейти из балетной труппы в драматическую на роли субреток (см.: И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982, с. 131—132).

С. 323

...вскоре должно произойти сражение.— Сражение при Гейльсберге произошло 29 мая (10 июня) 1807 г.

...не объяснившись с ним предварительно.— Причина отставки В. Н. Каразина в 1804 г. из министерства народного просвещения до сих пор не вполне выяснена, как и его крайне противоречивая личность — основателя Харьковского университета, автора ряда либеральных проектов по крестьянскому вопросу и доносчика (в частности, на А. С. Пушкина). См. о нем в сатире А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших»: «Вот в передней раб-писатель, / К[аразин] хамелеон! / Филантроп, законодатель. / Взглянем: что марает он? / Песнь свободе, деспотизму, / Брань и лесть властям земным, /Гимн хвалебный атеизму / И акафист всем святым» (*Поэты,* с. 300). См. также: *Базанов В.* В. Н. Каразин и Вольное общество любителей российской словесности.— В кн.: *Базанов В.* Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, с. 162—217.

С. 324

Автомедон мой...— Автомедон — возница Ахиллеса из «Илиады»

Гомера. Ирнич.: извозчик. Ср.: «Автомедоны наши бойки» (А. С. Пушкин. Евгений Онегин, гл. VII, строфа XXXV).

...особенно в русских.— Своим успехом у публики опера «Любовная почта» была обязана музыке К. Кавоса (см.: *Гозенпуд*, с. 319—320).

С. 325

...разбит наголову под Гутштадтом.— Сражение под Гутштадтом произошло 28 мая 1807 г. См.: *Михайловский-Данилевский А.* Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. Спб., 1846, с. 302—305.

С. 326

...сажают Бонапарте в Бисетр...— дом для умалишенных под Парижем.

...эту роль почитают триумфом Дмитревского...— Ср.: «В 1771 году, февраля 1-го был поставлен *Димитрий Самозванец* и Дмитревский создал в нем главную роль: эта трагедия имела успех колоссальный. ⟨...⟩ Постоянно имел блестящий успех *Димитрий Самозванец*, в котором Дмитревский являлся великим актером» (*Арапов*, с. 76, 136). В комедиях в амплуа благородных отцов он «был неподражаем» (там же, с. 124). В последние годы своего пребывания на сцене (1790-е гг.) Дмитревский играл по преимуществу эти роли, поскольку «с появлением на сцене молодого Яковлева, физические средства которого брали преимущество в сильных и особенно пылких ролях, он их уступил Яковлеву» (там же). Жихарев, видевший Дмитревского глубоким стариком, легко верил рассуждениям о слабости его «органа».

...в самое время представления «Димитрия Самозванца».— Талантливый актер И. Калиграф прославился в роли Димитрия Самозванца в Москве. Театр на Знаменке сгорел 26 февраля 1780 г., во время представления сумароковской трагедии (см.: *Чаянова*, с. 28).

...переведенной Левшиным...— Знаменитая трагедия Лессинга «Мисс Сара Сампсон» (1755 г.) — родоначальница буржуазной драмы. В России занимала скромное место в репертуаре и чаще всего фигурировала без имени автора. Надежда Калиграф действительно прославилась в роли Марвуд сперва в Москве, затем в Петербурге (см.: *Летопись русского театра*, с. 134, 156).

...живут душа в душу.— О трогательных отношениях Н. Калиграф и Я. Е. Шушерина см. в воспоминаниях С. Т. Аксакова (*Аксаков*, т. 2, с. 319, 324, 355).

С. 327

...переводом Расиновой «Аталии».— Жихарев напрасно считал появление славянизмов в опере С. П. Потемкина случайностью. Писатель и переводчик, он был принят в 1811 г. в члены-сотрудники III разряда «Беседы любителей русского слова», его стихи печатались в «Чтениях в Беседе...» (кн. 7, 11). Трагедия Расина «Гофолия» («Аталия») была впервые поставлена на русской сцене в 1810 г. Перевод был выполнен С. П. Потемкиным в соавторстве с П. Ф. Шапошниковым, тоже впоследствии членом-сотрудником III разряда «Беседы», погибшим в Бородинском сражении.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕКСТУ «ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОГО ТЕАТРАЛА»

«Воспоминания старого театрала», как уже говорилось, представляют собой статью, написанную на материале «Дневника чиновника» (лишь расширенную хронологически до 1811 г.), поэтому здесь много повторений — иногда дословных — записей 1807 г. Для «Воспоминаний» Жихарев выбрал наиболее интересные факты из «Дневника чиновника», касающиеся театра. Они должны были служить рекламой готовящемуся изданию.

С. 331

Это было 2 января 1807 г.— Ср. с записью от 1 января 1807 г., а также примечаниями к ней.

...как утверждал г. Аксаков...— Здесь и в ряде других мест «Воспоминаний старого театрала» Жихарев полемизирует со статьей С. Т. Аксакова «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости» (впервые опубликована: Москвитянин, 1854, № 10, 11), в частности, уличая автора в фактических неточностях. Отвечая Жихареву, в заметке «Несколько слов о статье „Воспоминания старого театрала"» (Москвитянин, 1854, № 20), Аксаков признал свои ошибки: «Я не стану извиняться тем, что писал на память, писал о слышанном мною от других; я должен был прежде справиться, а потом печатать» (*Аксаков,* т. 3, с. 436). Тем не менее С. Т. Аксаков, высоко оценивший «Воспоминания» Жихарева, указал и на излишнюю запальчивость в полемике: «Неужели нельзя, опровергая чьи-нибудь мнения, обойтись без таких выражений и такого тона...» (там же, с. 437).

С. 332

...благоприятный о нем отзыв Державина! — Ср. запись от 3 января 1807 г.

С. 335

...быть учителем и наставником их.— Комментируя это место мемуаров Жихарева, историк театра решительно утверждает, что оно противоречит всему, что известно о Дмитревском. В доказательство большого влияния Дмитревского на актеров, создания им русской школы актерской игры, автор приводит слова современников Жихарева — Н. И. Ильина и актера Г. И. Жебелева: «По словам драматурга Н. И. Ильина, он (Дмитревский.— *Л. К.*) не мог играть без того, чтобы не показать каждому, как он должен выставить изображаемое им лицо, то есть: прежде нежели начнутся репетиции, Д[митрев]ский проходил с каждым роль» (*Брянский А. М.* Дмитревский и сценическое образование в России.— РО ГПБ, ф. 106, арх. А. М. Брянского, № 19, л. 17). По свидетельству Г. И. Жебелева, «он (Дмитревский.— *Л. К.*) иногда слово за словом разбирал реплики с ним игравших. Показывал положения и даже отдельные позы и движения. Эффекты он придумывал самые интересные, неожиданные, но все не нарушало общего хода пьесы, а каждое лицо не проигрывало в своей характеристике. ⟨...⟩ Все внимание его было в других и делал все сам, как для других то удобно. ⟨...⟩ Он заставлял любить театр, интересоваться делом своим и работать над каждым пустяком» (там же, л. 20). См. также аналогичные

утверждения П. Арапова (*Арапов*, с. 122) с опорой на свидетельства Е. С. Сандуновой, Е. С. Семеновой, А. В. Каратыгина.

С. 336

...Я росс, я росс!.. — слова Росслава из одноименной трагедии Я. Б. Княжнина (1784 г.), д. 3, явл. 3. У Княжнина реплика не повторяется.

С. 337

...ах, он кончает век!..— цитата из трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор» (1750 г.), д. 5, явл. 4. Видимо, Жихарев цитирует по памяти.

С. 338

....окончив в 1787 году сценическое свое поприще...— Ср.: «Хотя в 1787 году, января 5, высочайше конформирован был доклад о пожаловании пенсиона Дмитревскому, но и после этого он оставался еще долго действующим на сцене, и даже в 1797 году часто играл вместе с Яковлевым, на гатчинском и эрмитажном театрах». Последний раз Дмитревский играл роль Зопира в трагедии Вольтера «Магомет» 3 января 1799 г. (*Арапов*, с. 124). Последний выход на сцену — в 1812 г.

...около десяти лет уж не был на сцене...— См. предыдущий коммент. Полагаем, что Жихарев в своем утверждении не беспристрастен. Напомним, что Яковлев дебютировал 1 июня 1794 г. в роли Оскольда («Семира» Сумарокова; второй дебют — Синав в «Синаве и Труворе» Сумарокова) под руководством Дмитревского. В эрмитажном спектакле 1 декабря 1797 г. для польского короля (проспавшего все представление) Дмитревский играл роль Димитрия, однако Яковлев выступал в выигрышной для него благородной роли князя Георгия. Через несколько дней (8 декабря 1797 г.) в «Синаве и Труворе» Синава играл Яковлев, а Трувора — Дмитревский (*Арапов*, с. 124, 136).

С. 339

...с Лекеном сочетал! — В печатном тексте (*Яковлев*, с. 95) несколько иначе: «Се вид Дмитревского!» и «с Лекеном съединил».

С. 340

...у Харламова моста — ныне Комсомольский мост через канал Грибоедова (см.: *Горбачевич К. С., Хабло Е. П.* Почему так названы? Л., 1985, с. 466).

С. 345

...всеми швермерами своего гнева.— Нем. «schwärmer» употреблено в значении, использовавшемся в пиротехнике: змейка, ракета (см.: *Эйх.*, с. 770).

С. 346

... в бенефис Яковлева...— бенефисный спектакль состоялся 11 декабря 1811 г. (*Арапов*, с. 213).

...автор драмы «Лиза, или Торжество благодарности»...— Жихарев ошибся. В. М. Федорову принадлежит драма «Лиза, или Следствие гордости и обольщения».

С. 348

...и бросился Дмитревскому в ноги.— Размолвки между возбужденным винными парами Яковлевым и Дмитревским, досадовавшим на поведение своего ученика, видимо, были нередки. Ср. эпизод, описанный С. Т. Аксаковым (*Аксаков*, т. 2, с. 326—328).

С. 349

«Беверлей» — драму «Беверлей» написал Б.-Ж. Сорен, переделав ее из английской драмы Э. Мура «Игрок». «Беверлей» был впервые представлен в Париже в 1768 г., в бытность там И. А. Дмитревского, который перевел драму на русский язык (впервые издана в 1773 г.).

С. 350

...какие он получил от бога.— Замечания Жихарева верны и проницательны. Синтетический характер русского театра (в рамках одной труппы — драма всех видов, опера, балет), быстрая смена репертуара, связанная с постоянным составом зрительного зала, и его пестрота, вызванная стремлением дирекции угодить всем вкусам, полная зависимость актеров от воли дирекции — все это вынуждало артистов брать на себя самые разнообразные роли. Для драматического актера было вполне обычным явлением играть в сентиментальных драмах, классических трагедиях, комедиях, водевилях, операх, участвовать в «мифологических представлениях с хорами и балетами», причем порой менять роль на противоположную по характеру и настроению в пределах одного спектакля.

С. 353 (сноска)

...Несчастию других» и проч.— цитата из монолога Агамемнона (д. 1, явл. 2). У Озерова 3, 4-я строки: «И, жизни преходя волнуемое поле, / Стал мене пылок...», 6-я строка: «Несчастиям других...»

С. 354

...non omnis moriar...— цитата из оды Горация «Exegi monumentum».

С. 355

...даже в излишней степени.— Ср. отзыв об игре Плавильщикова его многолетнего партнера Я. Е. Шушерина (в передаче С. Т. Аксакова): «Читал мастерски, я лучше его чтеца не знаю... он, конечно, занимал первые роли и пользовался славой, но все не такой, какой бы мог достигнуть. Причина состояла вот в чем: у него было довольно теплоты и силы, но пылу, огня не было, а он именно их хотел добиться, отчего впадал в крик, в утрировку и почти всегда сбивался с характера играемой им роли. В таких пиесах, где нельзя было горячиться, он был превосходен» (*Аксаков*, т. 2, с. 340, см. также с. 341—342).

С. 355—356

...и говорил мастерски.— П. А. Плавильщиков был не только выдающимся актером, но и разносторонним культурным деятелем. Выходец из купеческой среды, он окончил Московский университет, где пристрастился к театру. Стал профессиональным актером сперва в Москве (1779—1782, 1784—1786 гг.), потом в Петербурге (1782—1784, 1786—1793 гг.), затем окончательно обосновался в Москве

(1793—1812 гг.), где был ведущим актером труппы. В Петербурге был преподавателем русского языка и словесности в Кадетском корпусе (см.: *Глинка,* с. 101) и Академии художеств, соиздателем и сотрудником Крылова и Клушина в журнале «Зритель» (1792 г.), членом типографической компании «Крылова с товарищи» (Крылов, Клушин, Плавильщиков, Дмитревский), теоретиком театра, драматургом (см. его трагедии «Рюрик», «Дружество», «Ермак»; комедии «Мельник и сбитенщик — соперники», «Сговор Кутейкина», «Бобыль», «Сиделец»; наиболее полное собр. соч.: Сочинения П. А. Плавильщикова. В 4-х т. Спб., 1816). См. о нем: *Давидович И.* Плавильщиков.— Русский биографический словарь. Том «Плавильщиков—Примо». Спб., 1905; *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII в. Л., 1977, с. 310—322.

С. 357

...писал свои нелепые послания...— См. запись от 5 ноября 1805 г.

...беснуясь и выходя из себя! — полемика со статьей С. Т. Аксакова.

...защитник простоты и естественности на театральной сцене? — Жихарев имеет в виду программную статью П. А. Плавильщикова «Театр» (1792 г.).

С. 358

...все ужасы геенны! — цитата из монолога Эдипа (д. II, явл. 1). У Озерова: «очи распаленны».

...и смрад его обымет! — цитата из монолога Эдипа (д. IV, явл. 4). У Озерова: «От недр отвергнет труп».

...играть Видостана в «Русалке».— Жихарев не точен. Ср.: «Старый театрал С. П. Жихарев в своих воспоминаниях ошибается, говоря, что роль Ильи Яковлев передал Глухареву; со второго представления, 15 января 1807 года, играл Илью Бобров, и потом уже Глухарев и Чудин; несправедливо также и то, что будто говорил Яковлев, что скоро заставят его играть в Русалке Видостана; Яковлев действительно играл Видостана в 1-й и 2-й части Русалки. При прежних постановках пьес это иначе и быть не могло» (*Арапов,* с. 176).

С. 359

...всех сил меня лишили! — реплика Эдипа (д. II, явл. 1).

...Обломки корабля?..— У Озерова реплика Эдипа: «Видала ль на брегу, когда извергнут волны / От грозных бурь морских обломки корабля?» (там же).

С. 361

...подобных мне? — слова Эдипа (там же). У Озерова в 5-й строке: «Чудовищ, равных мне».

...и смерти дань отнесть! — Слова Эдипа приведены точно (там же).

С. 363

...лишь ползаешь пред троном...— цитата из монолога Эдипа (д. III, явл. 2).

С. 364

...Без гроба будешь ты... — цитата из монолога Эдипа (д. IV явл. 4). У Озерова 3-я строка: «Не я ль оставил сам», в 5-й: «скитавшись», в 12-й: «приклонить».

С. 366

...фигуры Раппо были очень пластичны! — Силач-гимнаст Карл Раппо жил в России в 1825—1830 гг., затем трижды приезжал на гастроли.

...все прелести природы! — цитата из монолога Эдипа (д. II, явл. 1).

С. 367

...дала кинжал, и проч. — первые строки из стихотворения Г. Р. Державина «Г. Озерову на приписание Эдипа» (1806 г.).

...полезнее меня и моего прихода.— Видимо, имеется в виду «Арзамас» и его выпады против «Беседы любителей русского слова».

...с которыми свела меня судьба в моей молодости.— Жихарев имеет в виду тех членов «Арзамаса», с которыми он был знаком еще в Москве в годы обучения в пансионе: братьев А. И. и Н. И. Тургеневых, В. А. Жуковского, видимо, также Д. Н. Блудова, А. Ф. Воейкова, В. Л. Пушкина.

С. 368

...Павла Мих. А., А. А. М. ...— Имеются в виду А. Н. Оленин, гр. В. В. Мусин-Пушкин, кн. И. А. Гагарин, П. М. Арсеньев, А. А. Майков.

С. 369

...преследователя ее автора...— Отношение Шаховского к драматургии Озерова эволюционировало по мере нарастания в ней романтических тенденций: восторг перед «Эдипом в Афинах» сменился сдержанным отношением к «Фингалу» и неприязнью к «Поликсене». Однако считать постановку «Поликсены» провалом (как полагал Озеров) и винить в этом Шаховского нельзя. Приезд и бурный успех Жорж отвлекли внимание зрителей от русских спектаклей. Однако не только в кругу друзей Озерова, но и в обществе Шаховского считали его «гонителем» (особенно после того, как дирекция отказалась выплатить автору 3 тыс. рублей за «Поликсену») и приписывали ему вину за сумасшествие Озерова (см., в частности: *Аксаков,* т. 3, с. 436).

С. 371

...толпу врагов непримиримых.— Резко полемическая остроумная комедия А. А. Шаховского «Новый Стерн» (1805 г.) была направлена против сентиментального направления, т. е. карамзинизма. Непосредственными объектами для пародии послужили сочинения и — отчасти — биография В. В. Измайлова и кн. П. И. Шаликова (см.: *Шаховской,* с. 10—13). Однако высмеиваемые черты стиля (нарочитая изысканность, обилие галлицизмов, варваризмов, перифраз), а также ряд сюжетных ситуаций восходили к сочинениям самого Н. М. Карамзина 1790-х гг., что прекрасно понимал и что обыгрывал автор. Комедия вызвала литературный скандал и явилась вехой в борьбе шишковистов (в их числе — Шаховского) и карамзинистов. Не-

последовательность Шаховского могла сгладить в восприятии Жихарева его «антикарамзинизм».

...переломали бы язык молодой актрисе.— См. упоминание о Валберховой в записи от 25 января 1807 г. См. также коммент. к с. 372.

С. 371 (сноска)

Болина вышла замуж за сослуживца моего Маркова.— Поступок воспитанницы Театральной школы Болиной (замужество без разрешения дирекции) повлек за собой решение, запрещающее воспитанникам училища оставлять сцену ранее, чем через 10 лет службы, даже под предлогом супружества. Специальное разрешение могло быть выдано в том случае, если артист вносил сумму на воспитание десяти учеников (в училище воспитывались на казенный счет). Дальнейшая судьба Болиной была несчастна из-за ревности и предрассудков мужа (см.: *Эйх.*, с. 772—773).

С. 372.

...называл переводом семи Симеонов...— Коллективные переводы, широко вошедшие в театральный обиход начала XIX в., Пушкин называл «плачевными произведениями союзных поэтов, от которых каждый отец отрекается поодиночке» (Мои замечания об русском театре). Трагедия Вольтера «Заира» была впервые сыграна 18 октября 1809 г. I д. перевел Ю. А. Нелединский-Мелецкий, II д.— Н. И. Гнедич, III д.— М. Е. Лобанов, IV д.— А. А. Шаховской, V д.— С. П. Жихарев. Из пристрастия к Яковлеву Жихарев не упоминает, что тот фактически провалил спектакль (см.: Цветник, 1809, № 11, с. 246), другие актеры также не знали ролей и были навеселе (см. об этом также: *Медведева*, с. 286).

...ecrit l'histoire!.. — цитата из комедии Вольтера «Шарло», которая давно стала употребляться как поговорка.

...несколько ролей из прежних трагедий...— Жихарев не точен. Напомним, что Валберхова дебютировала 30 апреля 1807 г. в роли Антигоны, которая «была особенной ролью Семеновой, ее созданием, ее первой славой. Она очень любила эту роль и каждый раз вносила в нее нечто новое» (*Медведева*, с. 201). Роль Корделии, созданная для Семеновой (о переводе «Леара» см. коммент. к с. 197), была вскоре после премьеры «Леара» передана Валберховой (1807 г.) (см.: *Арапов*, с. 182). См. другие роли Валберховой в 1807—1812 гг., по данным П. Арапова: Ольга в «Пожарском» Крюковского, Зафира в «Росславе» Княжнина (1807 г.), Саломея в «Ироде и Мариамне» Державина (1808 г.), Пламира во «Владисане» и Дидона в одноименной трагедии Княжнина, Идалия в «Китайском сироте» Вольтера, Электра в «Электре и Оресте» Грузинцева, Зенобия в «Радамисте и Зенобии» Кребильона (1809 г.), Дебора в одноименной трагедии Шаховского (1810 г.), Семирамида в одноименной трагедии Вольтера, Юния в «Британике» Расина (1812 г.). В 1811 г. Шаховской, «желая выставлять Валберхову всюду в первых ролях, присудил обратить Каратыгину на роли благородных матерей, несмотря на то, что было всего 33 года и что она замечательно была хороша в ролях первых любовниц; много выходило закулисных неудовольствий по причине интриг и влияния кн. Шаховского на распределение амплуа» (*Арапов*, с. 209).

С. 375

...в роли первосвященника Иодая... роль Тезея...— Первосвящен-

ник Иодай — герой «Гофолии» Расина, Тезей — герой трагедии Озерова «Эдип в Афинах».

С. 376

...начал он читать Штиллинга и Эккартсгаузена...— К. фон Эккартсгаузен и И. Юнг-Штиллинг — немецкие писатели-мистики XVIII в., популярные среди русских масонов (см., в частности: *Аксаков С. Т.* Встреча с мартинистами (Воспоминание о петербургской жизни).— *Аксаков,* т. 2, с. 211—213). Б. М. Эйхенбаум указал (с. 773), что русский перевод мистического романа Юнг-Штиллинга «Тоска по отчизне» (1794 г.), начавший выходить в 1807 г., был уничтожен. Новое полное издание появилось только в 1818 г., поэтому не ясно, по какому изданию читал роман Яковлев.

С. 378

...Живый в движеньи естества, и проч.— цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784 г.). 2-я строка: «Живый движеньем вещества».

С. 378 (сноска)

...Я и дня не видел красного, и проч.— Жихарев цитирует по памяти с пропусками, перестановкой стихов и проч. стихотворение А. Яковлева «Мрачные мысли». Ср.: *Яковлев,* с. 83—85.

...Чтоб обресть себе покой! — Жихарев не совсем точно цитирует 13 и 14-ю строфы стихотворения Яковлева «Меланхолия». У автора: «Растерзан лютою тоскою, / Чтобы приблизиться к покою, / Жду только ночи гробовой» (*Яковлев,* с. 88).

С. 379

...особенно роль Росслава.— Жихарев перечислил роли из трагедий «Синав и Трувор» Сумарокова, «Дидона» и «Софонисба» Княжнина, «Магомет» Вольтера, «Росслав» Княжнина.

...Оросмана, Танкреда и другими...— Имеются в виду роли в трагедиях Озерова «Эдип в Афинах», «Фингал», «Димитрий Донской», «Поликсена», трагедии Расина «Ифигения в Авлиде» (в переводе М. Лобанова), а также роли в трагедиях: «Пожарский» Крюковского, «Эдип-царь» Грузинцева, «Радамист и Зенобия» Кребильона, «Гамлет» Шекспира—Висковатова, «Дебора» Шаховского, «Гофолия» Расина, «Отелло» И. А. Вельяминова (по Шекспиру—Дюсису), «Атрей и Фиест» Кребильона, «Китайский сирота» Вольтера, «Ирод и Мариамна» Державина, «Заира» и «Танкред» Вольтера.

С. 381

...грожу, стыжусь, стонаю...— цитаты из д. 2, явл. 1 «Дидоны». В 3-й строке у Княжнина: «с престолом предают». Ремарка в авторском тексте отсутствует

С. 382

...И брачные свещи в нагробны превращу!...— цитата из монолога Ярба (д. 2, явл. 3).

С. 384

...Эх ты, нагайская кобыла! — цитаты из комедии Н. Р. Судовщикова «Неслыханное диво, или Честный секретарь» (1790-е гг., издана в 1803 г.). По сравнению с печатным текстом есть серьезные разночтения. Д. 1, явл. 11: «Кривосудов (*про себя*). Вот

нужда какова! люби и дурака! (*Асмодею.*) Примолвить не заб[illegible], что нынче сахар дорог. А с м о д е й. Пожалуй, не учи, ведь я тебе не ворог — / Все знаю». Д. 2, явл. 6: «П р а в д и н. Любовь есть чувство... К р и в о с у д о в (*перебивая*). Прочь, с механикою, прочь!» Д. 2, явл. 4: «Вы знаете, сударь, что ходит к нам квартальный — / Он ростом невелик — лицом такой фатальный». Д. 1, явл. 14: «Взгляни-кось на себя: ведь ты уж кобылица» (Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX в. М.; Л.; 1964, с. 202, 218, 212, 204). Комедия считается предшественницей «Ябеды» В. В. Капниста. О ней и о ее авторе кратко: там же, с. 177.

С. 388

...девица Бургоен...— Приезд в Петербург французской актрисы М.-Т. Бургоен был связан с политическими событиями. Во время свидания Александра I с Наполеоном 15 (27) сентября — 2 (14) октября 1808 г. в Эрфурте играли лучшие парижские актеры (*Шильдер,* т. 2, с. 230). Заметив, что внимание Александра привлекла актриса Бургоен, Наполеон велел ей ехать в Россию (см.: *Всеволодский,* с. 70).

...Арисии, Аталиды и проч.— Имеются в виду роли в трагедиях «Андромаха» и «Митридат» Расина, «Заира» Вольтера, «Федра» и «Баязет» Расина.

С. 389

...Деборы, Кассандры...— роли в трагедиях «Дидона» и «Софонисба» Княжнина, «Гофолия» Расина, «Дебора» Шаховского, «Поликсена» Озерова.

...Ксении, Поликсены и т. д.— роли в трагедиях Озерова «Фингал», «Эдип в Афинах», «Димитрий Донской», «Поликсена».

С. 390

...с дивана на постелю... — Жихарев не точно цитирует I д., явл. 1 незаконченной комедии И. А. Крылова «Лентяй» (в первоначальной редакции — «Ленивый»). Ср.: «А тут бы написать: иль ем, иль пью, иль сплю.) / Все езжу по судам...» (Да, ездишь, уж с неделю / С постели на диван, с дивана на постелю.)» (*Крылов И. А.* Соч. В 3-х т. М., 1946, т. 2, с. 605).

С. 391 (сноска)

...единственный Макар! и проч.— из послания С. Н. Марина сохранились только строки, приведенные Жихаревым.

С. 392

...Чтоб, чувствия свои ко мне переменя, и проч.— монолог Полиника из трагедии Озерова «Эдип в Афинах», д. IV, явл. 4.

...Лаперуза, Влюбленного Шекспира...— роли из драмы Коцебу «Лаперуз» и комедии Дюваля «Влюбленный Шекспир».

С. 393

...актер Б р я н с к и й.— Ср. отзыв о нем А. С. Пушкина: «Яковлев умер; Брянский заступил его место, но не заменил его. Брянский, может быть, благопристойнее, вообще имеет более благородства на сцене, более уважения к публике ⟨...⟩ но зато какая холодность! какой однообразный, тяжелый напев! ⟨...⟩ Неловкий, размеренный, сжатый во всех движениях, он не умеет владеть

ни своим голосом, ни своей фигурою. Брянский в трагедии никогда никого не тронул, а в комедии не рассмешил. Несмотря на это, как комический актер он имеет преимущество и даже истинное достоинство» (Мои замечания об русском театре). Брянский был отцом А. Я. Панаевой (см. о нем в ее мемуарах: *Панаева (Головачева) А. Я.* Воспоминания. М., 1972, с. 19—63; см. о Брянском в статье В. Г. Белинского «Александринский театр»; *Аксаков С. Т.* Об игре актера Брянского.— В кн.: *Аксаков,* т. 3, с. 349—352).

С. 400 (сноска)

...в подмосковном селе его.— Имеется в виду подмосковное имение Л. К. Нарышкина (внука директора театра А. Л. Нарышкина) Кунцово.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СПЕКТАКЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Жихарев С. П.

Ж75 Записки современника. Воспоминания старого театрала. В 2-х томах. Т. 2.— Л.: Искусство, 1989.— 525 стр., 12 л. ил., портр.

Во 2-й том двухтомного издания вошли вторая часть «Записок современника» — «Дневник чиновника» и «Воспоминания старого театрала», погружающие читателя в атмосферу театрального Петербурга начала XIX века.

Издание иллюстрировано.

Для широкого круга читателей.

Ж $\frac{4907000000-031}{025(01)-89}$ 102-88 ББК 443(2)1

Степан Петрович Жихарев

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА. ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА

В 2-х томах

Том 2

Редактор А. В. Лисицын
Художественный редактор М. С. Стернина
Технический редактор Л. Н. Смирнова
Корректор Л. Н. Борисова

ИБ № 2837

Сдано в набор 17.02.89. Подписано к печати 02.10.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 29,08. Уч.-изд. л. 32,71. Усл. кр.-отт. 29,29. Изд. № 725. Тираж 25 000. Заказ № 67. Цена 2 р. 90 к.

Издательство «Искусство», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052, Ленинград, Измайловский пр., 29.

В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ИСКУССТВО» ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ В СВЕТ:

М. А. Гордин. ВЛАДИСЛАВ ОЗЕРОВ

В начале прошлого столетия поэтическую славу Озерова можно было сравнить только с державинской и пушкинской. Идеи чести и свободолюбия, которые он исповедовал, находили самый горячий отклик у передовой части общества.

Автор увлекательно рассказывает о загадочной и трагической судьбе поэта, воссоздает исторический и культурный фон эпохи, рисует портреты друзей и современников своего героя — Г. Державина, А. Шаховского, А. Оленина, Е. Семеновой, А. Яковлева.

Текст удачно дополняет красочный альбом иллюстраций, запечатлевший Озерова и его окружение, а также быт и нравы того времени.

Ю. Л. Алянский. ВАРВАРА АСЕНКОВА

Книга посвящена жизни и творчеству талантливейшей русской актрисы, блиставшей в конце 1830-х годов на подмостках петербургского Александринского театра. Ее грациозность, изящество, легкость и обаяние в полной мере раскрылись в популярных в ту пору водевилях. В особый восторг Асенкова приводила публику, появляясь перед ней в мужском костюме,— ее «юнкера» и «прапорщики» выходили на сцену под гром оваций. Играла она и в русском классическом репертуаре.

Здесь же на широком фоне театрального Петербурга бережно и подробно прослеживается нелегкая судьба актрисы, которой суждено было прожить на свете всего двадцать четыре года...

Текст сопровождается многочисленными, зачастую уникальными иллюстрациями — портретами актеров, зарисовками сцен из спектаклей, видами старого Петербурга.